

Зигфрид Ленц



# Урок немецкого

## Глава I

### Штрафной урок

Мне задали штрафной урок. Сам Йозвиг, наш любимый надзиратель, отвел меня в камеру, простучал оконную решетку и промассировал сенник, исследовал внутренность железного шкафчика и мой старый тайничок за зеркалом. Молча, все так же молча, словно затаив обиду, осмотрел он стол и щербатый от зарубок табурет, уделил внимание раковине, с пристрастием допросил подоконник, пытливо постучав по нему костяшками пальцев, проверил нейтральность печки, а затем все так же не спеша прощупал меня от плеч до колен, не прячу ли я что запретное в карманах. После чего он с немой укоризной положил мне на стол тетрадь с серым ярлычком «Сочинения на заданную тему Зигги Йепсена» и, даже не взглянув в мою сторону, повернул к двери с видом человека, обманутого в своих лучших чувствах и надеждах, так как от налагаемых на нас взысканий дольше всех и сильнее всех и с наибольшим эффектом страдает Йозвиг. Без слов, единственно той обстоятельностью, с какой он принялся закрывать дверь, дал он мне почувствовать всю меру своего огорчения: вяло потыкал ключом в замочную скважину, помедлил в нерешительности, до того как его повернуть, но, так и не завершив движения, позволил металлическому язычку отскочить и только потом, словно казня себя за минутную слабость, защелкнул замок на два крутых поворота. Ибо не кто иной, как Йозвиг, этот застенчивый человечек, посадил меня под арест для выполнения штрафного задания.

И вот я сижу битый день, а все не знаю, как приступить; стоит мне поглядеть в окно, и сквозь расплывчатое свое отражение я вижу Эльбу, но когда закрываю глаза, она все так же стремится вдаль, сплошь забитая отливающими синевой льдинами. Невольно провожаю

взглядом буксирные суда, чьи заскорузлые от наледи бушприты, снабженные кранцем, вычерчивают на льду серые узоры, слежу, как мощная река подбрасывает берегу от своих щедрот избытки льда и со скрипом и скрежетом теснит их все выше до иссохших зарослей прошлогоднего камыша, да там и забывает. С неприязнью наблюдаю я ворон, которые, видимо, уговорились собраться у Штаде: от Веделя, Финкенвердера и Ганёфер-Занда слетаются они поодиночке и стаяй кружат над нашим островом, то поднимаясь ввысь, то разворачиваясь ломаной линией, пока, доверяясь попутному ветру, не умчатся в сторону Штаде. Внимание мое отвлекает прибрежный тальник, его узловатые прутья так славно одеты глазурью и припорошены сухим инеем, отвлекает белая проволочная ограда, мастерские, стоящие вдоль берега таблички с предупреждающими надписями; мерзлые комья земли на огородах, которые мы сами весной обрабатываем под наблюдением надзирателей, и даже тусклое солнце, что светит будто сквозь матовое стекло, отбрасывая на землю длинные клиновидные тени. А когда я уже готов взяться за перо, взгляд мой задерживается на разошедшемся, висящем на цепях понтонном причале, куда пристаёт идущий из Гамбурга приземистый, отсвечивающий медью баркас, который раз в неделю высаживает на берег чуть ли не тысячную толпу психологов-практикантов, обуреваемых болезненным интересом к нашему брату, трудновоспитуемой молодежи. Не отрываясь, слежу, как они шагают по вихляющей береговой дороге, держа курс на голубое здание дирекции, и после обычных приветствий, быть может сопровождаемых наказом соблюдать осторожность и как можно незаметнее вести свои наблюдения, вырываются на волю и словно бесцельно кружат по острову, норовя пристроиться к кому-нибудь из моих дружков, к тому же Пелле Кастнеру, Эдди Зиллусу или горячке Куртхену Никелю. Должно быть, мы потому вызываем у них такой интерес, что, судя по выкладкам нашей дирекции, каждый воспитанник, прошедший здесь исправительный курс, выходит на свободу с восьмидесятипроцентным вероятием, что он уже не оскользнется в жизни. Не засади меня Йозвиг на замок, они, должно быть, ухлестывали бы сейчас и за мной, разглядывая мой жизненный путь под своей многоученой лупой и пытаясь составить себе представление о моей особе.

Однако пора уже подумать о том, чтобы наверстать упущенный сдвоенный урок немецкого и выполнить задание, которого ждут от меня наш худой как жердь, трусоватый учитель Корбюн вкупе с директором Гимпелем. На соседнем Ганёфер-Занде, ниже по реке, где такой же интернат для подлежащих исправлению, подобное было бы невозможно: хоть оба острова схожи, как родные братья — их омывают те же мутные маслянистые воды, мимо них проходят те же корабли и те же чайки оспаривают их для себя, — однако на Ганёфер-Занде нет ни учителя Корбуна, ни уроков немецкого, ни сочинений на заданную тему, которые, смею вас уверить, вредно отзываются даже на здоровье наших ребят. Многие из нас предпочли бы исправляться на Ганёфер-Занде, где проходят и морские суда и где трескучее рвущееся пламя над нефтеперегонным заводом, встречая и провожая, подолгу приветствует их.

На братском острове мне ни в коем разе не закатали бы штрафа, там невозможно то, что происходит здесь: у нас достаточно появиться знакомой фигуре попахивающего помадой тощего человека, который в ответ на наше «С-добрым-утром-господин-доктор!», ни слова не говоря, лишь обведя класс пугливо-ироническим взглядом, принимается раздавать тетради для сочинения, чтобы у каждого душа ушла в пятки. Вот и сегодня Корбюн без малейшего предупреждения проследовал к доске, воздел отвратную руку, отчего манжет съехал у него на самый локоть, обнажив сухую желтушную, по меньшей мере столетнюю конечность, и с торжеством ханжи стал выводить на доске ханжески-сутулым почерком тему очередного сочинения: «Радости исполненного долга». Я испуганно оглянулся, но увидел только сторбленные спины и растерянные лица; от парты к парте пробежал шепоток, зашаркали подошвы, над чернильницами повисли вздохи. Мой сосед Оле Плётц подвигал мясистыми губами, вполголоса прочитал тему и стал готовиться к своим корчам. Чарли Фридендер — у него особый дар напускать на себя болезненную бледность, ударяющую в зелень, так что учителя безо всяких отпускают его с урока, — Чарли уже привел в действие свои

дыхательные способности и хоть еще не переменялся в лице, но искусной игрою сонной артерии вызвал крупные капли пота на лбу и верхней губе. Я вытащил карманное зеркальце, навел на окно и, поймав солнечный луч, отбросил его на доску. Корбюн испуганно повернулся, в два шага достиг спасительной кафедры и из этой зоны безопасности дал команду приступить. Сухая рука его снова взлетела вверх, а указующий перст с повелительной неподвижностью уставился на тему: «Радости исполненного долга». Во избежание вопросов он добавил:

— Каждый может писать что хочет, лишь бы речь шла о радостях, которые дает исполненный долг.

Я считаю свою штрафную — при полной изоляции и временной отмене посещений — сущей несправедливостью; ведь моя вина не в недостатке памяти или воображения; напротив, я приговорен к затворничеству единственно оттого, что, послушно стараясь отыскать такие радости, припомнил их слишком много, или во всяком случае, столько, что растерялся и так и не знал, с чего начать. А поскольку это были не какие-нибудь, а вполне однозначные радости, которые по приказу Корбуна нам следовало открыть, описать и всячески обсмаковать, то мне мог явиться единственно мой отец Йенс Оле Йепсен, его мундир, его служебный велосипед, его полевой бинокль и накидка, его плывущий навстречу неустанному западному ветру характерный силуэт на гребне дамбы. Под требовательным взглядом доктора Корбуна он встал передо мною, как живой. Ранней весной, но также и осенью, а равно и в пасмурные ветреные летние дни он, как всегда, выводил свой велосипед к узенькой, мощенной кирпичом дорожке и у таблички «Ругбюльский полицейский пост», приподняв заднее колесо, ставил педаль в удобное положение, двумя толчками с разбегу вскакивал в седло и, поначалу ерзая и вихляя под напором западного ветра, разрывавшего на части его накидку, проезжал немного в сторону Хузумского шоссе, ведущего к Гамбургу и в степь, сворачивал у торфяного пруда и уже при боковом ветре, мимо серых, точно кротовые кучи, рвов следовал к дамбе, миновал, как всегда, бескрылый ветряк и, соскочив за бревенчатым мостиком, втаскивал велосипед, ведя его наискось на высокую дамбу; выбравшись наверх, отец на фоне пустынного горизонта обретал неожиданную значительность, а там снова садился на велосипед и, маяча одиноким парусником в своей раздуваемой ветром, туго натянутой и готовой лопнуть накидке, плыл по гребню дамбы, направляясь в Блеексварф, всегда и неизменно в Блеекенварф. Ни на минуту не забывал он полученного распоряжения. Когда ветер гнал по Шлезвиг-Гольштейнскому небу корветы туч, отец мой был в пути. Цветущей ли весной, в дождливые ли дни, в пасмурные воскресенья, утрами и вечерами, как в мирное, так и в военное время садился он на велосипед и направлялся в тупичок своей миссии, что неизменно вела в Блеекенварф, от века и до века — аминь!

Эта картина, эта, как уже сказано, утомительная служебная поездка, в которую регулярно отправлялся постовой ругбюльской сельской полиции, самый северный немецкий полицейский постовой, сразу пришла мне на память, и в своем желании угодить Корбюну и для этого теснее вжиться в прошлое я, обмотав шею шарфом, примостился на багажнике служебного велосипеда, чтобы попросту отправиться с отцом в Блеекенварф, как делал не однажды, цепляясь онемевшими пальцами за его портупею, меж тем как металлические ребра багажника преобильно врезались мне в бедра, оставляя багровые следы. Итак, я увязался с отцом и теперь видел нас обоих плывущими по дамбе на фоне неизбежных вечерних облаков; ветер, беспрепятственно и настойчиво налетавший с отмели, кренил велосипед, и я слышал, как отец побряхтывает от усилий справиться с его порывами, но не брюзгливо и сердито, скорее для порядка и даже, как мне казалось, со скрытым удовлетворением. Мимо отмели и вдоль хмурого зимнего моря направлялись мы в Блеекенварф, знакомый мне, пожалуй, не меньше, чем полуразрушенный ветряк и наш дом: я видел перед собой на грязной насыпи господскую усадьбу, к ней вела аллея, по обе стороны обсаженная ольхой со стесанными ветром кронами и скособоченными на восток стволами, я видел, как открываю распашные ворота и пытливо оглядываю жилой дом, хлев, сарай и

мастерскую, откуда мне обычно кивал Макс Людвиг Нансен, лукаво посматривая на меня и отечески грозя пальцем.

В ту пору ему запрещено было писать картины, и отец, ругбюльский полицейский, получил распоряжение денно и нощно и во всякое время года наблюдать, чтобы запрет этот не нарушался; на обязанности отца лежало пресекать всякие даже самомалейшие попытки писать картины, да и вообще не допускать крамольных самоутверждений света, словом, всеми доступными ему полицейскими мерами обеспечить, чтобы в Блеекенварфе больше не писали картин. Мой отец и Макс Людвиг Нансен издавна знали друг друга, и поскольку, оба они родом из Глюзерупа, то каждый понимал, чего ему ждать от другого, а также что им предстоит в дальнейшем и чем грозит каждому противная сторона, если такое положение затянется.

Немного так бережно сохранила мне память, как встречи отца с Максом Людвигом Нансеном; вот почему я так уверенно открыл тетрадь и отложил карманное зеркальце, чтобы описать поездки отца в Блеекенварф, хотя, конечно, не только поездки, но и все его подвохи и пакости в адрес художника, все как простые, так и замысловатые интриги и происки, какие рождала его мешкотная подозрительность, все его козни и каверзы — с тем чтобы, по желанию доктора Корбюна, присоединить сюда и радости, что достаются при исполнении долга. Однако это мне никак не удавалось. Все мои попытки терпели крах. Я то и дело начинал сызнова, посылая отца по дамбе то в накидке, то без накидки, при ветре и в штиль, по средам и субботам, — и все напрасно. Слишком много приплеталось сюда беспокойного, сложного, какое-то коловращение лиц и событий. Отец не успевал добраться до Блеекенварфа, как я уже терял его из виду: то у чаек поднимался переполох, то старый торфяной челн переворачивался вместе с грузом или над отмелью показывался парашют.

Главное же препятствие заключалось в том, что передо мной все время носился предприимчивый огонек, пожиривший памятные мне картины и события, он плавил их и сжигал, а то, что ускользало от пламени, съезживалось, обугливалось или исчезало за полыхающими язычками огня.

Тогда я взялся за дело с другого конца, я мысленно перенесся в Блеекенварф в надежде здесь обрести начало, и тут Макс Людвиг Нансен, поблескивая серыми с лукавинкой глазами, вызвался мне помочь просеять сквозь решето памяти осаждающие меня воспоминания: желая привлечь мое внимание, он вышел из мастерской и направился через палисадник к цинням, которые вы часто увидите на его картинах, а затем не спеша поднялся на дамбу, отчего по небу разлилась густая, сердитая желтизна, лишь кое-где подсвеченная темной синевой, и поднес к глазам бинокль. Однако стоило ему навести его на Ругбюль, как он тотчас же ринулся назад и скрылся в недрах дома. Это показалось мне неплохим началом, как вдруг открылось окно, и Дитте, жена художника, протянула мне, как обычно, кусок пирога с крошкой. И-тут на меня хлынуло со всех сторон: в Блеекенварфе пел хор школьников; я снова увидел огонек и услышал за дверью звуки, сопровождающие ночные вылазки отца; Ютта и Пост, чужие дети, вспугнули меня в камышах. Кто-то выбросил краски в лужу, и она запылала эффектным оранжевым глянцем. В Блеекенварф прибыл министр: отец стоял смиренно, руки по швам. Огромные автомобили с иностранными номерными знаками въезжали в усадьбу художника; отец, стоя навытяжку, отдавал честь. Я грезил в полуразвалившейся мельнице, в своем тайнике, куда прятал картины. Отец вел на поводке огонек и, отстегнув ошейник, приказывал ему: «Ищи!»

Все безнадежно запутывалось, скрещивалось, смешивалось, пока меня не настиг грозный взгляд Корбюна; и тогда, собравшись с духом, я расчистил пересеченную рвами равнину моей памяти и стряхнул с нее все маловажное, чтобы сделать остальное ясным и обозримым — в первую очередь отца и радости исполненного долга. И все же добился: я построил под дамбой, словно на параде, всех своих героев и уже собрался пропустить их мимо, как вдруг мой сосед Оле Плэц с истошным криком грохнулся оземь в убедительных корчах. Крик этот оборвал цепь моих воспоминаний, начало было утеряно, я махнул на все рукой и, когда доктор Корбюн начал собирать сочинения, подал ему пустую тетрадь.

Юлиус Корбюн отказался верить повести о пережитых мною трудностях; мои тщетные поиски начала его не убедили, он представить себе не мог, чтобы якорь моей памяти ни за что не зацепился, что, громыхая и волочась по грунту, он только взбаламутил тину, а так как волнение не утихло, то нечего было и думать затратить в прошлом пригодное начало.

Итак, когда учитель немецкого недоуменно полистал мою тетрадь, он с нескрываемым отвращением, смешанным с заметным интересом, вызвал меня к доске и потребовал объяснений, однако не считал возможным ими удовлетвориться. Он усомнился в доброй воле моей памяти, а равно и воображения и не внял моим жалобам на трудности начала. Заявив на все мои доводы: «Это на тебя не похоже, Зигги Йепсен!», он несколько раз повторил, что пустые страницы в моей тетради считает вызовом себе лично! Чем внять моим объяснениям, он усмотрел в них своеволие, строптивость и так далее, и поскольку такие случаи подведомы директору, то после урока немецкого, который не принес мне ничего, кроме огорчений из-за сумасбродных, непокладистых и, во всяком случае, бессвязных моих воспоминаний, мы направились в голубое здание дирекции, где на втором этаже рядом с лестницей расположен кабинет директора.

Директор Гимпель, в своей неизменной спортивной куртке и брюках гольф, был окружен толпой человек в тридцать с лишним психологов, проявлявших поистине фанатический интерес к проблеме юношеской преступности. На письменном столе возвышался голубой кофейник и лежали засаленные листы нотной бумаги, частично исписанные торопливыми строчками, — дань сельской музе; эти короткие песенки говорили об Эльбе, о влажном морском ветре, о похилившемся, но цепком волоснце и стремительном полете чаек, но также и о плещущих на ветру девичьих косынках и пронзительном воем сирены; воспринять эти песни от купели призван был наш местный хор.

Когда мы вошли в кабинет, психологи умолкли и стали прислушиваться к тому, что докладывал директору учитель Корбюн. Он докладывал, понизив голос, однако я уловил, что речь шла о сопротивлении и строптивости; а в доказательство он представил мою чистую тетрадь; директор, обменявшись с психологами озабоченным взглядом, подошел ко мне, свернул тетрадь в трубку и, похлопывая себя сперва по запястью, а потом по гольфам, потребовал объяснений. Я оглядел уставленные на меня с жадным любопытством лица, услышал за спиной похрустывание пальцев — это Корбюн выражал нетерпение, — и общее напряженное ожидание неприятно поразило меня. В широкое угловое окно, заставленное роялем, я видел Эльбу и над нею двух ворон, дерущихся на лету из-за чего-то мягкого, свисавшего вниз, быть может куска требухи, которую они поочередно выхватывали друг у друга, а заглотив, сразу же извергали, пока она не упала на льдину, где и была подхвачена зоркой чайкой. Тут директор, положив руку мне на плечо, чуть ли не по-приятельски мне кивнул и предложил опять привести свои объяснения перед всей его оравой психологов, что я и не преминул сделать. Я рассказал о постигшей меня неудаче, о том, что главное по теме сразу же пришло мне в голову, но мысли мои смешались и мне так и не удалось найти ход, который привел бы меня к желанному началу. Я также рассказал о множестве видений, меня обступивших, о воцарившейся в моих воспоминаниях путанице и толчее, в которой не мог сыскать концов, а тем более добраться до начала. Я также не забыл упомянуть, что исполнение долга и по сю пору радует моего отца, и, чтобы воздать ему должное, я обязан обрисовать эти радости во всей их полноте, а не по произвольному выбору.

С удивлением и, пожалуй, даже с каким-то пониманием слушал меня директор, между тем как психологи-дипломанты перешептывались, они еще теснее нас окружили и, подталкивая друг друга, взволнованно поминали какой-то «Вартенбургов дефект восприятия», а кто даже и «психосензорное расстройство», показавшееся мне особенно омерзительным. Итак, на меня уже наклеили ярлык — обстоятельство, достаточно мне знакомое. Я наотрез отказался привести дополнительные объяснения в присутствии этих господ: жизнь на острове многому меня научила.

Директор раздумчиво снял руку с моего плеча и критически оглядел ее, словно желая убедиться, что она еще цела, после чего под бесцеремонным присмотром психологов

отвернулся к окну, чтобы с минуту поглядеть на гамбургскую зиму, быть может ища у нее совета или подсказки, ибо, внезапно повернувшись ко мне и потупившись, он изрек свой приговор. Меня должно, заявил директор, запереть в моей камере, подвергнуть, как он выразился, «подобающей изоляции» — не в наказание, а чтобы я без помех осознал, что сочинения на заданную тему надо писать в обязательном порядке. Итак, мне давался шанс.

Директор пояснил, разумея мою сестру Хильке, что никакие посетители с воли не должны отвлекать меня от занятий, я также освобождался от работ в веничной мастерской и в местной библиотеке, да и вообще он обещал оградить меня от всяких помех и вторжений, за мной сохранялось пищевое довольствие, чтобы я мог полностью отдаться работе. Сроком, продолжал директор, он меня не ограничивает. От меня требуется лишь одно — прилежно исследовать радости, сопряженные с исполнением долга, Он не советовал торопиться. Пусть все помаленьку капает и нарастает, как мы это наблюдаем при образовании сталактитов и прочих тому подобных явлений природы; воспоминания в иных случаях оборачиваются коварной ловушкой, опасностью, которую даже время бессильно превозмочь. Тут психологи-дипломанты наострили уши, но директор едва ли не сочувственно пожал мне руку — рукопожатия его стихия — и, приказав позвать Йозвига, нашего любимого надзирателя, объявил ему свой приговор.

— Уединение, — добавил он напоследок, — вот что требуется Зигги в первую очередь — время и уединение; позаботьтесь же, чтобы он не испытывал в них недостатка.

С этими словами директор вручил Йозвигу мою пустую тетрадь и отпустил нас. Мы побрели по морозной площади — Йозвиг с таким укоризненно страдальческим видом, как будто мое штрафное задание он считал личным для себя оскорблением. Этот человек, которому дарованы только две радости — коллекция вышедших из обращения денежных купюр и выступления местного хора, — войдя со мной в камеру, угрюмо замкнулся в себе. Схватив его за руку, я попросил не очень на меня сердиться, на что он ответил: «Вспомни, что случилось с Филиппом Нефом», — как бы остерегая меня следовать примеру означенного Филиппа Нефа, одноглазого подростка, который, как и я, был посажен на замок, чтобы написать незадавшееся ему классное сочинение. Два дня и две ночи, как потом выяснилось, бедный малый терзался, не зная, как и приступить — заданная Корбюном тема, помнится, гласила: «Человек, который произвел на меня неизгладимое впечатление», — на третий же день, расправившись с надзирателем и придушив собаку директора, что произвело на нас особенно тягостное впечатление, он бросился к берегу и утонул при попытке переплыть Эльбу в сентябре. Единственное слово, которое Филипп Неф, этот трагический пример пагубной деятельности Корбюна, запечатлел в своей тетради, гласило: «Бородавка»; это можно понять в том смысле, что наибольшее впечатление произвел на него человек с мясистой бородавкой.

Это верно, что Филипп Неф был моим предшественником по камере, куда меня поместили по прибытии в колонию, и, когда Йозвиг напомнил мне о его судьбе, меня охватил незнакомый трепет, какое-то жгучее беспокойство; я прислонился к столу — и отпрянул в испуге, хотел сесть на привычное место — и побоялся; я медлил и дерзал, колебался и отваживался, хотел и не хотел и только частью сознания наблюдал, как Йозвиг обследует мое убежище, и не столько обследует, сколько готовит его для моей штрафной работы.

И вот я сижу битый день и, пожалуй, давно приступил бы, кабы мое внимание, словно нарочно, не отвлекали суда, плывущие по зимней реке; сначала их не видишь, а только слышишь: первым доносится слабое дребезжание машин, за ним следуют мерные толчки и шорох льда, трущегося о железные борта, а потом, по мере того как стукотня становится все явственнее и назойливее, они возникают на фоне свинцово-серого горизонта, выделяясь своими размытыми красками, влажные, вибрирующие, скорее явление воздушной, чем водной стихии. Я вынужден встречать и провожать их взглядом, пока они, пройдя по траверзу, не исчезнут вдали; их заскорузлые от наледи штевни, поручни и вентиляторы, их глазированные надстройки и заиндевевшие шпангоуты оживляют застывший пейзаж. Они скользят, оставляя на льду широкий, неровный извилистый обвод, который, убегая к

горизонту, постепенно сужается и зарастает. Что до света, то он на нижней Эльбе крайне ненадежен, переходя от свинцового к снежно-серому; фиолетовое то и дело меняет оттенки, красное обходится без своего дополнительного цвета, а небо по направлению к Гамбургу пестрит пятнами, словно от кровоподтеков.

Над противоположным берегом, откуда доносится приглушенный грохот молота, стоит узкая грязноватая полоска тумана, похожая на развернутый марлевый флюгер. Поближе, посреди реки, повисло облачко копоти, оставленное здесь с час назад небольшим ледоколом «Эмми Гуспел», который дробит и распахивает своим неугомонным носом синий лед; продолговатое облачко отказывается погрузиться в воду или раствориться в воздухе, да и многое нынче осталось незаконченным, оттого что мороз объявил забастовку, и даже дыхание застывает в воздухе клубочками пара. «Эмми Гуспел» уже дважды пропыхтела мимо, ей приходится поддерживать лед в движении и не допускать заторов, которые могут привести к деловому тромбозу.

На пустынном берегу покосились таблички с предостерегающими надписями, прибившийся лед расшатал столбы, полая вода довершила дело, а ветер их накренил, так что любителям водного спорта, к кому эти надписи обращены в первую очередь, приходится сильно нагнуть голову, чтобы прочесть, что причаливать, швартоваться и разбивать лагерь на этом берегу строго воспрещается. Однако к лету столбы будут снова укреплены, ведь спортсмены-водники — это как раз тот контингент, который особенно угрожает делу перевоспитания юных правонарушителей. Так считает директор, и такого же мнения, как нетрудно удостовериться, держится его пес.

И только в мастерских не замерла и не сникла жизнь: поскольку нас хотят ознакомить с преимуществами труда и даже открыли в труде некое воспитательное начало, тишине здесь объявлена война: жужжание динамо на электростанции, грохотание молотов в кузнице, яростный визг рубанков в столярной, перестук молотков и царапание скребков в веничной мастерской не прекращаются ни на минуту, и этот неумолчный шум заставляет забыть о зиме, а мне он напоминает о стоящей передо мной задаче. Пора начинать.

Опрятный старый стол испещрен потемневшими щербинами, исчерчен инициалами и памятными датами, говорящими о минутах озлобления, надежды, но также и строптивости. Передо мной открытая тетрадь, готовая запечатлеть мою штрафную работу. Мне больше нельзя уклоняться, пора начинать, пора повернуть ключ в замке и наконец отомкнуть несгораемый шкаф воспоминаний, чтобы достать оттуда то, что отвечает требованиям Корбюна — выявить радости исполненного долга, проследить их воздействие, которое упирается в меня самого, — и все это без помех, в порядке наказания, которое будет длиться, покуда я не докажу, что усвоил преподанный мне урок. Что ж, я готов. И так как мне предстоит продвигаться вперед, сперва надобно вернуться назад, произвести отбор и подыскать место действия — быть может, все же ругбюльский полицейский пост или даже всю Шлезвиг-Гольштейнскую равнину между Глюзерупом, Хузумским шоссе и дамбой, эту местность, которая пересечена для меня единственной дорогой — на Блеекенварф. И даже если придется растолкать дремлющее прошлое, неважно: пора начинать.

Итак, к делу.

## **Глава II**

### **Запрещение писать картины**

В сорок третьем году, если начать с этого, в одну из апрельских пятниц, утром или ближе к полдню, отец мой Йенс Оле Йепсен, полицейский ругбюльского участка — самый северный шлезвиг-гольштейнский полицейский пост — готовился к служебной поездке в Блеекенварф, чтобы вручить художнику Максу Людвигу Нансену, которого у нас называли не иначе, как художник, и никогда не переставали так называть, полученный из Берлина приказ,

запрещавший ему писать картины. Не торопясь собирал отец накидку, полевой бинокль, португепю, карманный фонарик и подолгу медлил у письменного стола; он уже вторично застегнул мундир, то и дело посматривая в окно на незадавшийся весенний день и прислушиваясь к завыванию ветра, между тем как я, укутанный с головой, неподвижно стоял и ждал его. Но ветер не только бушевал: норд-вест обрушил свои яростные набеги на дворы, на живые изгороди и высаженные ряды деревьев; испытывая суматошным буйством их устойчивость, он создавал свой собственный, пронизанный ветром черный пейзаж, перекошенный и растерзанный, исполненный неизъяснимого значения. Этот наш ветер, хочу я сказать, наделял крыши вещим слухом, а деревья — пророческим даром, старая мельница вырастала под его порывами, а низко метя над рвами, он вселял в них несбыточные мечты или же, набрасываясь на торфяные баржи, расхищал их беспорядочный груз.

Стоит разгуляться ветру, как нам приходится нагружать карманы балластом, пакетами гвоздей, обрезками свинцовых трубок или утюгами, чтобы сражаться с ним на равных. Такой ветер нам сродни, и нам нечего было возразить Максу Людвигу Нансену, когда он выжимал на холст целые тюбики цинковых красок, брал самые яростные оттенки лилового и холодные белила, чтобы изобразить норд-вест — наш славный и столь подобающий нам норд-вест, к которому отец прислушивался с такой опаской.

В кухне повисла дымная завеса. Пахнувшая торфом дымная завеса колебалась в гостиной. Ветер затаился в печи и попыхивал дымом, разнося его по всему дому, между тем как отец сновал взад и вперед, словно бы цепляясь за малейший повод замедлить свой отъезд: то он что-то отставит, то подберет, в конторе пристегнет краги, на кухне раскроет лежащий на столе служебный журнал, каждый раз находя что-нибудь, позволяющее ему отсрочить выполнение долга, покуда он, досадуя и удивляясь, вдруг не убедился, что в нем родилось нечто новое и он помимо своей воли превратился в неукоснительного по службе сельского полицейского, коему для выполнения задачи не хватает только служебного велосипеда, что ждет его в сарае, надежно прислоненный к деревянным козлам.

Похоже, на этот раз не служебное рвение, не радость, сопряженная с выполнением долга, и, уже во всяком случае, не полученное задание заставили его сняться с места, а привычная готовность нести службу, да он и часто отправлялся в поход единственно потому, что надел мундир и снарядился по всей форме. Уходя, он, как обычно, попрощался с домашними, так же вышел в полутемные сени, послушал, бродил в сторону запертых дверей обычное: «Так. Пока... мм...» — и, не получив ответа, не обиделся, не огорчился, а совершенно так, будто ему ответили, кивнул с довольным видом, все так же кивая, потянул меня к двери, на пороге снова повернулся и до того, как ветер вырвал его наружу, сделал неопределенный прощальный жест.

Выйдя, он стал левым плечом против ветра и опустил лицо — сухое, пустое лицо, на котором каждая улыбка, каждое выражение — недоверия или согласия — с трудом пробивало себе дорогу, приобретая неожиданную, хоть и замедленную значительность, отчего казалось: вот человек все как следует усвоил, хотя и с большим запозданием, а там, сгорбившись, пошел по двору, где волчком вертелся ветер, разрывая в клочья газету — победу в Африке, победу в Атлантике, чуть ли не решающую победу на фронте сбора металлолома, пока не прилепнул ее к проволочной изгороди, где она и застряла. Отец направился к открытому сараю. Кряхтя, посадил меня на багажник. Ухватив одной рукой заднюю скобу багажника, а другой раму, завернул велосипед. А потом повел его по кирпичной дорожке, остановился под табличкой «Ругбюльский полицейский пост», указующей на наш красно-кирпичный домик, поднял левую педаль в удобное положение, сел и поехал в раздуваемой, туго натянутой ветром накидке, скрепленной зажимом повыше колен, держа направление да Блеекенварф.

Так он благополучно следовал до самой мельницы и чуть ли не до Хольмсенварфа с его мятущимися живыми изгородями, поскольку ветер дул в спину, но затем повернул к дамбе и стал, скрючившись, выгребать вверх — точь-в-точь фигура с рекламного плаката «Велосипедом по Шлезвиг-Гольштейну», где неунывающий турист, согнувшись в три погибели и оторвавшись от седла, самоотверженно демонстрирует те усилия, какие ожидают



путника, вздумавшего наведать местные сельские красоты. Однако плакат показывает не только усилия, но и потребную меру умения, необходимую для того, чтобы при боковом ветре, беснующемся в припадке падушей, вести велосипед по гребню дамбы; он показывает положение тела опытного гонщика, свидетельствует о безбрежности северо-западного горизонта, наглядно представляет снежно-белые силовые линии ветра и к тому же, для украшения дамбы в доморощенном вкусе, прибегает все к тем же глупеньким кудлатым овцам, которые провожают глазами и нас с отцом.

Но поскольку описание плаката с необходимостью уподобляется описанию моего отца в его поездке в Блеекенварф, мне хочется для завершения картины не обойти и местных чаек, всех этих поморников, клуш и крачек во главе с редким у нас бургомистром, летящих над головой усталого гонщика декоративно расположенными группами, — слегка размытые неряшливой печатью, они повисли в воздухе, словно белые тряпки, вывешенные для просушки.

Неуклонно по гребню дамбы, неизменной узенькой тропкой, обозначенной коричневой лентой в невысокой траве, отражая наскоки ветра и опустив голубые глаза, с аккуратно сложенным приказом в нагрудном кармане, ехал отец по отлогости дамбы, не спеша, скорее через силу, так что можно было подумать, будто он держит путь на деревянное, выкрашенное в серый цвет здание гостиницы «Горизонт», чтобы согреться стаканом грога и обменяться рукопожатием с трактирщиком Хиинерком Тимсенем, а то и перекинуться двумя-тремя фразами.

Однако мы направлялись не туда. Неподалеку от гостиницы, выходящей на дамбу двумя деревянными пешеходными мостиками, что всегда напоминало мне собаку, положившую лапы на камни ограды, чтобы выглянуть из-за нее, свернули мы и стремглав скатились на утоптанную дорожку, бегущую у подножия дамбы, а потом забрали в обсаженную ольхой длинную подъездную аллею, что ведет в Блеекенварф, к распашным воротам, окантованным белыми планками. Напряжение росло. Нетерпение всегда нарастает, когда вы в апреле при сильном норд-весте движетесь по открытому пространству к определенной цели.

Со вздохом пропустили нас деревянные ворота, распахнутые приторможенным колесом, и мимо пустующего ржаво-красного хлева, мимо пруда и открытого сарая проехали мы не спеша, словно желая заранее предупредить о своем прибытии, а затем и мимо узких окон жилого дома; отец еще до того, как соскочить, оглянулся на пристроенную к усадьбе мастерскую и, поставив меня наземь, словно узел, повел велосипед к входу.

В наших местах не бывает, чтобы кто-нибудь незамеченным приблизился к дому, а потому было бы излишне заставлять отца постучаться, да еще, пожалуй, покричать в полутемную прихожую, излишне описывать приближающиеся шаги и взрыв изумленных приветствий; отцу достаточно было толкнуть дверь и высунуть руку из-под накидки, чтобы почувствовать, как ее тепло пожимают и долго трясут, после чего ему лишь оставалось сказать: «Добрый день, Дитте!», потому что жена художника, встречая нас, уже заранее направила к дверям, когда мы, подскакивая на ходу, еще только съезжали с дамбы.

В своем длинном платье из грубой ткани напоминая суровую голыштейнскую деревенскую вешунью, она прошла вперед, нащупала в темноте дверную ручку, распахнула дверь и попросила отца войти. Отец сначала отстегнул зажим, скреплявший полы его накидки, для чего широко расставил ноги, слегка согнул их в коленях и шарил под пол до тех пор, пока не нащупал головку зажима, а затем снял накидку, вынырнул из-под нее, оправил мундир, слегка приоткрыл мои одежды и, подталкивая сзади, повел в горницу.

Блеекенварфская горница поражает размерами. Невысокое, но необычайно просторное помещение с множеством окон, здесь можно сыграть свадьбу, пригласив по меньшей мере девятьсот гостей, или разместить семь школьных классов вместе с учителями, и это невзирая на обилие мебели и прочей утвари, вытесняющей своими надменными габаритами немалое пространство: тяжелые лари, столы и шкафы с врезанными в них чуть ли не руническими датами уже своей грозной, повелительной осанкой обещают долголетие. Даже стулья непомерно тяжелы и являют вид осанистый и грозный; они, можно сказать, обязывают к

неподвижной позе и самой сдержанной мимике. Неуклюжая темная чайная посуда, так называемый витдюнский фарфор, теснится на полке у стены. Ею давно уже не пользуются, она была бы недурной мишенью для метания в цель, но художник и его жена с редкостной терпимостью ничего или почти ничего менять не стали, откупив Блеекенварф у дочери старого Фредериксена, который настолько во всем сомневался, что, до того как повеситься на гигантском шкафу, вскрыл себе для верности вены.

Новые хозяева ничего не изменили в убранстве, разве только самую малость в кухне, где сковороды, кастрюли, бочонки и кружки как стояли, так и продолжают стоять в нерушимом порядке. Не тронуты и дряхлые посудные шкафы, где аляповатые витдюнские тарелки соседствуют с необъятными супницами и мисками, и даже кровати сохранились те же — суровые, узкие койки, предоставляющие разве только самую скудную уступку ночи.

Но раз уж отец вошел в горницу, пришлось ему закрыть за собой дверь и поздороваться с доктором Теодором Бусбеком, который, как всегда, в одиночестве сидел на диване, необычайно жестком и узком чуть ли не тридцатиметровом чудище, и словно чего-то дожидался. Доктор Бусбек, посиживая на диване, не читал и не писал, а только дожидался, годами дожидался с какой-то смиренной покорностью, неизменно тщательно одетый и преисполненный неисповедимой готовности, словно те перемены или то известие, которого он ждал, могли прийти с минуты на минуту. Ничто не отражалось на его бледном лице, вернее, то выражение, которое оставил на нем некий опыт, было из осторожности планомерно устранено, словно смыто; однако столько-то было нам известно, что он первым начал выставлять картины художника и в Блеекенварф переехал, когда из его галереи все было дочиста вывезено, а самая галерея закрыта. С улыбкой поспешил он навстречу отцу, что-то спросил насчет ветра, так же ласково улыбнулся мне и снова удалился на диван.

— Чаю или водки? — спросила жена художника. — Что до меня, то я предпочла бы водку.

Отец отрицательно мотнул головой.

— Нет уж, Дитте, нынче не стоит.

На сей раз он не присел, как обычно, на подоконник, не выпил, как обычно, с дороги, не стал рассказывать, как обычно, о приступах боли в плече, нет-нет навещавших его после падения с велосипеда, не стал распространяться и о последних событиях в округе, отчасти ему подведомых или о коих он, как ругбюльский полицейский, был наслышан — таких, как удар лошадиным копытом, имевший тяжелые последствия, или незаконный убой скота, и кончая поджогом в сельской местности. Он даже не передал привета из Ругбюля, а также забыл осведомиться о чужих детях, усыновленных художником.

— Нет уж, Дитте, — сказал он, — нынче не стоит.

Он так и не присел. Он поглаживал кончиками пальцев свой нагрудный карман. Он то и дело поглядывал в окно на мастерскую. Он молча ждал, и Дитте с доктором Бусбеком видели, что он ждет художника, ждет невесело и даже волнуясь, насколько лицо моего отца способно выразить волнение: то, что ему предстояло, было явно отцу не безразлично, взгляд его перескакивал с предмета на предмет, как всегда, когда что-то его тревожило или когда он на свой фризский лад чувствовал неуверенность; он смотрел на вас и не видел, взгляд его упирался, чтобы тут же отпрянуть, поднимался и ускользал — это делало его недоступным и спасало от вопросов. То, как он стоял в своем нескладном мундире в просторной горнице, точно сам себе не рад, неуверенно и пряча глаза, никак не выдавало таящейся в нем угрозы.

Наконец Дитте спросила, обращаясь к его спине:

— Что-нибудь к Максусу?

И когда он кивнул, деревянно кивнул в пространство, доктор Бусбек вскочил, подошел и, взяв Дитте за руку, робко спросил:

— Решение из Берлина?

Отец повернулся — удивленно, но мешкотно — и уставился на маленького человечка, который, казалось, просил прощения за свой вопрос, который, казалось, всегда и за все просил прощения, но так и не ответил, да ответа и не требовалось: жена художника и его

старейший друг своим молчанием сказали отцу, что они его поняли и даже знают, что за решение ему поручено передать.

Разумеется, Дитте могла бы подробнее расспросить о приказе, и отец, думается, охотно и с облегчением ответил бы ей, но они ни о чем больше не спросили, а только еще некоторое время стояли рядом, и Бусбек как бы про себя сказал:

— А теперь и Макс. Странно только, что это не произошло с ним много раньше, как с остальными.

И когда они, словно сговорясь, повернули к дивану, жена художника бросила на ходу:

— Макс работает, ты найдешь его за садом у рва.

Она произнесла это, уже отвернувшись, что было для отца равносильно прощанию, и ему ничего не оставалось, как удалиться, что он и сделал, пожав плечами в знак того, как сожалеет он о своей миссии и как мало сам причастен к этой истории. Сорвав с вешалки накидку, он подтолкнул меня, и мы вышли из дому.

Не спеша, с видом скорее удрученным, чем уверенным, миновал он голый фасад дома, толкнул калитку и, постояв под защитой живой изгороди, подвигал губами, заранее готовя отдельные слова и даже фразы, как делал часто, собственно, делал всегда, когда ему предстоял разговор, грозивший потребовать более чем обычных усилий, а потом мимо вскопанных и аккуратно прибранных грядок, мимо крытой соломой беседки направился ко рву, опоясывающему Блеекенварф и усугубляющему его уединенность.

И тут он увидел художника Макса Людвига Нансена»

Художник стоял на деревянном мостике без перил и в этом защищенном от ветра месте работал, а поскольку я знаю, как он работает, мне не хочется без предупреждения отрывать его от дела, позволив отцу дотронуться до его плеча, я хотел бы помедлить с этим разговором, ведь это не обычный разговор, и по меньшей мере я хочу упомянуть, что художник на восемь лет старше, ниже ростом и много подвижнее отца, не в пример импульсивнее, возможно, даже хитрее и упрямее, хоть оба они провели свои юные годы в Глюзерупе. Что ни говорите — в Глюзерупе!

На художнике была шляпа, низко нахлобученная фетровая шляпа, так что на серые глаза его падала легкая, но ощутимая тень, отбрасываемая полями, а также старый, вытертый на спине плащ с бездонными карманами, куда, как однажды он нам пригрозил, он упрячет любого малыша, мешающего ему работать, и тогда ищи-свищи! Этот иссера-синий плащ он таскал бессменно в любое время года, в дождь и ведро, пожалуй, даже спал в нем; во всяком случае, художник и его плащ были нераздельны, и в иные летние вечера, когда над отмелью собирался тяжелый конвой туч, создавалось впечатление, будто не художник, а всего лишь его плащ бродит по дамбе, обозревая горизонт.

Единственное, чего не скрывал плащ, — это часть измятых брюк, а также ботинки, старомодные, но очень дорогие ботинки, доходившие до щиколоток и отделанные узкой полоской замши.

Таким привыкли мы его видеть, и таким явился он отцу, который стоял за живой изгородью и, как мне представляется, был бы доволен, если бы его избавили от необходимости здесь стоять или хотя бы от этого поручения, от этой бумаги во внутреннем кармане и — не в последнюю очередь — от груза воспоминаний.

Отец наблюдал за художником. Он наблюдал за ним не сказать чтобы пристально, без положенного по службе пристрастия.

Художник работал. Что-то он затеял с мельницей, с полуразвалившимся ветряком, бескрыло и недвижно стоявшим среди апрельского ландшафта. Немного возвышаясь над поворотным кругом, стояла она, как неуклюжий цветок на непомерно коротком стебле, как угрюмое неудачливое растение, обреченно дожидаящееся своего конца. Макс Людвиг Нансен колдовал над ней: похитив, он перенес ее на иную почву, в иной день, иную среду и другие сумерки, царившие на его листе. И как всегда за работой, художник выражал свои мысли вслух; он говорил не сам с собой, а обращаясь к некоему Балтазару, стоящему рядом, к своему Балтазару, которого единственно он видел и слышал, с которым болтал и спорил и

которого нет-нет угощал тычком в бок, так что мы, не видевшие Балтазара, порой слышали, как этот незримый ценитель охает, а если не охает, то огрызается. И чем дольше мы стояли за спиной у художника, тем больше верили в Балтазара, вынуждены были верить, потому что он то и дело заявлял о себе хриплым дыханием и шипящими возгласами разочарования, а также потому, что художник не переставал к нему обращаться, выказывая ему доверие, о котором тут же сожалел. Вот и сейчас, пока отец следил за художником, художник спорил с Балтазаром, который, будучи пойман и посажен в картину, носил фиолетовый лисий мех, торчащий дыбом, был косоглаз и щеголял сумасшедшей бородой клокочущего оранжевого цвета — бородой, ронявшей капли раскаленного пламени.

Однако художник лишь изредка на него оглядывался. Увлеченный работой, он стоял, слегка расставив ноги, всю свою подвижность сосредоточив в бедрах, которые с одинаковой легкостью подавались вбок, вперед и назад, между тем как голова его то склонялась набок, то вырастала из шеи, то покачивалась или опускалась, словно для тарана, тогда как правая рука, наоборот, будто окоченела: движения ее казались напряженными, скованными какой-то неизъяснимой придирчивой разборчивостью, но, в то время как эта решающая рука была поражена странной онемелостью, работало все тело художника.

Всем своим телом он утверждал, удостоверял то, над чем в данную минуту работал, и, когда он при полном безветрии изображал ветер, сочетая синее с зеленым, вы слышали в воздухе движение фантастических флотилий, хлопанье парусов, и даже край его плаща начинал биться и трепетать, а дым из трубки, если он курил, срезало плашмя, словно бритвой, во всяком случае, так видится мне сейчас, когда я об этом вспоминаю.

Отец наблюдал его за работой; подавленный, растерянный, он так долго стоял на месте, пока не почувствовал устремленные на него взгляды из только что покинутой нами горницы, а тогда мы двинулись вперед вдоль живой изгороди и, все еще преследуемые взглядами его домашних, протиснулись через узкий лаз и вышли на край деревянного мостика без перил.

Отец поглядел в ров и между плывущими камышовыми листьями и зыбящейся ряской увидел себя, и там же углядел его художник, когда, отступив в сторону, бросил взгляд в стоячую, чуть рябщую воду. Оба увидели и узнали друг друга в темном зеркале рва и, как знать, быть может, у обоих мелькнуло воспоминание, которое связывало их и никогда не перестанет связывать, — воспоминание, перенесшее их на маленькую заштатную глюзерулскую пристань, где они рыбачили под защитой каменного мола, или кувыркались на приливных воротах, или загорали на выцветшей палубе краболова. Но, конечно, не столько об этом подумали оба, увидев друг друга в зеркале рва, сколько о сумрачной пристани и о памятной субботе, когда отец, в то время девяти-десятилетний мальчуган, свалился со скользких ворот, регулирующих прилив, и художник раз за разом нырял за ним и нырял, пока не ухватил за рубашку и не вытащил из воды, причем, вырываясь из цепкой хватки мальчика, сломал ему палец.

Оба подошли друг к другу — во рву и на мостике, — поздоровались за руку — в воде и перед мольбертом — и обменялись обычным приветствием, назвав друг друга по имени со слегка вопросительной интонацией: «Йенс?» — «Макс?» И тут, между тем как художник вернулся к своей работе, отец достал из нагрудного кармана бумагу, выровнял ее, зажав двумя пальцами, и помедлил, соображая за спиной у художника, с какими словами ее передать. Очевидно, первым его движением было вручить этот заверенный подписью и печатью документ, по возможности без слов, в лучшем случае с замечанием: «Вот, тебе из Берлина» — и, предоставив художнику самому ознакомиться с приказом, избавиться от лишних вопросов. Проще всего, разумеется, было бы перепоручить это однорукому почтальону Окко Бродерсену, но так как приказ гласил: «Передать через полицию», то отвечать за это приходилось отцу, ругбюльскому полицейскому, как в равной мере, и об этом ему тоже придется предупредить художника, отцу же поручалось следить за выполнением приказа.

Итак, он держал открытый конверт в руке и медлил в нерешимости. Он переводил глаза с мельницы на картину и снова с мельницы на картину. Потом невольно подошел ближе и

теперь переводил глаза с картины на мельницу и снова с картины на бескрылую мельницу и, не находя того, что искал, спросил:

— Так что же это означает, Макс?

Художник, отступив назад и показав на Закадычного друга мельницы, односложно уронил:

— Закадычный друг мельницы, — и продолжал наносить комковатые тени на зеленый холм.

Тут, должно быть, и отец увидел Закадычного друга мельницы, который не спеша выростал на горизонте, — этакий славный коричневый бородач, возможно, чудодей, добродушное существо без особых мыслей, но растущее ввысь до исполинских размеров. Его коричневые, подсвеченные огненно-красным пальцы были напряжены, словно они вот-вот щелкнут по одному из крыльев мельницы, которые бородач сам, должно быть, и насадил, а теперь собирался привести в движение, по крылу мельницы, стоящей перед ним в глубине, в умирающих сумерках, запустить их быстрее и быстрее, пока они не прорежут мрак, пока они, как мне думается, не рассеют тьму и не смелют нам светлый день. И это, без сомнения, удастся мельничным крыльям: лицо бородача выражало наивное удовлетворение, говорившее, что старик на свой сонливый лад привык к успеху. Правда, мельничный пруд своим фиолетовым цветом выражал сомнение, но этим можно было пренебречь: Закадычный друг мельницы опровергал сомнение своей очевидной благосклонностью.

— Нет уж, крышка! — сказал отец. — Им больше не вертеться! — На что художник:

— Завтра же она заработает, Йенс, вот увидишь, завтра же мы будем молотить на ней мак, так что небу станет жарко.

Он отложил кисть, зажег трубку и закурил, посматривая на холст и покачивая головой. Не глядя протянул отцу табакерку и, не удостоверившись, набил ли тот трубку, сунул табакерку в карман.

— Тут требуется еще немного злости, верно, Йенс? Темно-зеленого не хватает — злости, вот когда мельница заработает на славу!

Отец держал письмо, прижимая его к себе, словно хоронясь, но готовый предъявить его в любую минуту и только не отваживаясь сам эту минуту выбрать.

— Ей уже никакой ветер не поможет, Макс, и никакая злость! — ввернул он, а художник:

— Она еще будет тархтеть и после нас с тобой, вот увидишь, завтра же крылья завертятся, как заводные.

Быть может, отец бы еще помедлил, но это прозвучало чересчур уверенно, во всяком случае, он внезапно протянул руку с письмом.

— Вот Макс, из Берлина. Прочитать тут же, на месте.

Художник рассеянно взял конверт и сунул его в свой бездонный карман, а затем повернулся, легонько стукнул отца по плечу, но, не удовлетворившись этим, двинул его уже сильнее в бок и сказал, подмигнув:

— Пошли, Йенс, смоемся, покуда Балтазар засел на мельнице. У меня дома такой джин, от которого у тебя на каждой руке по шестому пальцу вырастет. И никакой не голландский, а прямехонько из Швейцарии, от швейцарского музейного работника. Пошли в мастерскую!

Но отец уперся. Нацелясь указательным пальцем на карман, поглотивший конверт, он сказал:

— Это письмо, — и чуть помедлив, — это письмо ты обязательно прочтешь сейчас же, оно из Берлина. — И поскольку устное приказание не возымело действия, он шагнул к художнику и загородил ему на мостике путь домой. Пожимая плечами, художник вытащил письмо и, словно в уважение полицейскому, прочитал адрес отправителя.

Эти кретины, эти... — уронил он с презрительным спокойствием.

Но, вскинув глаза, наткнулся на взгляд отца, приведший его в недоумение. Он вынул письмо из конверта и принялся его читать, не сходя с деревянного мостика, читал долго, вернее, медленно и все медленнее, а кончив, снова сунул в карман, скривил гримасу и, отведя

глаза, стал глядеть в сторону; он глядел поверх обдуваемой ветром равнины на мельницу, словно ища у нее совета; глядел на лабиринт рвов и каналов, на растрепанные изгороди, на дамбу и на внушительную усадьбу — да что там: он просто глядел в сторону, чтобы не видеть отца.

— Ведь это же не я придумал, — сказал отец, а художник:

Знаю.

— И изменить это я тоже не могу, — продолжал отец.

— Да, знаю, — отвечал художник и, выбивая трубку о каблук: — Я все там уразумел, кроме подписи: подпись неразборчива.

— Им много чего приходится подписывать, — сказал отец, а художник с озлоблением:

— Они этому не верят, дурачье, они сами этому не верят. Запретить писать картины, запретить человеку заниматься своим делом — этак они могут запретить мне есть и пить; подобную чепуху никто не станет подписывать так, чтобы подпись была разборчива.

Склонив голову, художник, словно чтобы удостовериться в своей правоте, стал рассматривать Закадычного друга мельницы, который, как истинный мастер своего дела, непременно добьется своего и не сегодня-завтра заставит вертеться трескучие мельничные крылья, пока отец не вывел его из раздумья, обратясь к нему на своем, особом языке:

— Приказ по уведомлении вступает в силу и, значит, к сведению и исполнению, разве там не так написано, Макс?

Да, — сказал художник, — там так написано, — и отец негромко, но внятно:

— То же самое говорю и я, и чтобы с этой же минуты!

Тут художник собрал весь свой рабочий снаряд, не прибегая к помощи ругбюльского полицейского, да он и не рассчитывал на его помощь.

Проскользнув друг за другом сквозь живую изгородь, оба деревянно, как на ходулях, зашагали по саду.

Они направились в мастерскую, пристроенную к дому по плану художника вровень с землей, с верхним светом, с множеством ниш и закоулков среди старых шкафов и тесно уставленных полок и с многочисленными твердыми временными ложами, на которых, как мне тогда представлялось, спали забавные и грозные творения художника — его желтые пророки, менялы и апостолы, а также гномы и зеленые продувные рыночные торговцы. Здесь спали, должно быть, и словенцы, и танцующие пляжники, ну и, конечно, согнувшиеся под ветром крестьяне в открытом поле. Я так и не сосчитал эти временные ложа в мастерской. Бесчисленные скамьи и обтянутые холстиной складные стулья наводили на мысль, что здесь временами рассиживается весь этот созданный фантазией художника фосфоресцирующий народец с томными белокурами грешницами включительно. Столами служили тут ящики, а вазами — банки из-под варенья и тяжелые ковши. Этих ваз было множество, и, чтобы; заполнить их цветами, надо было бы опустошить целый сад, но, бывая в мастерской, я всегда находил их полными, на каждом столе красовался пламенеющий букет.

В углу, рядом с раковиной, напротив двери помещался длинный стол на козлах — керамическая мастерская, а над ней на полке сохли фигурки и остроконечные головки.

Художник с отцом вошли и сложили свою ношу. Художник пошел доставать джип из деревянного ящика. Отец сел, потом встал, сбросил накидку и снова сел. Он поглядывал на узкие окна большого дома. Выпуклые снаружи стекла хранили свою тайну. В одном из ящиков зашуршала древесная вата, послышался шелест разрываемой шелковой бумаги, и что-то заскребло по полу. Художник вытащил бутылку и подержал ее на свету, обер о свой плащ, снова подержал на свету и остался доволен. Он поставил бутылку на стол, ловко выудил с полки две рюмки из толстого зеленого стекла и стал неуверенно разливать джин — во всяком случае, неувереннее, чем обычно, — и одну из них пододвинул отцу, приглашая его выпить.

— Ну, что скажешь? — спросил художник, осушив рюмку, а отец убежденно:

— Лучше не бывает, Макс, лучше не бывает!

Художник снова наполнил рюмки и отставил бутылку на высокую полку, откуда ее трудно было достать. Оба сидели молча и смотрели друг на друга — открыто, не исподтишка.

Они слышали, как ветер, завывая, пролетает над домом и, забравшись в камин, исследует его до самого дна. Он спугнул компанию воробьев на дворе и перетасовал ее в воздухе со стайей скворцов. Фигурные башенки на коньке крыши и флюгер поскрипывали на ветру. В воздухе носился запах гари — издавна знакомый запах, и для него имелось объяснение: голландцы жгут торф, говорили у нас, и на этом успокаивались.

Художник молча кивнул на рюмку, оба выпили, отец встал и, согретый джином, зашагал назад и вперед, а потом от стола направился к угловой полке; подняв глаза, он остановил их на «Пьерро, примеряющем маску», мельком взглянул на «Жеребят в вечернем освещении» и на «Продавщицу лимонов» и, наконец придумав, что сказать, снова вернулся к столу.

Неопределенным, но широким жестом обведя картины, отец спросил:

— И все это Берлин хочет запретить?

Художник пожал плечами.

— Есть и другие города, — сказал он. — Есть Копенгаген и Цюрих, есть Лондон и Нью-Йорк, и есть Париж.

— Берлин есть Берлин, — возразил отец, а затем: — Как, по-твоему, Макс? Чем ты им не угодил? Отчего тебе больше нельзя работать?

Художник помедлил с ответом.

— Может быть, я говорю лишнее.

— Говоришь? — удивился отец.

— Красками, — пояснил художник. — Краска — она о многом рассказывает, а иногда берется даже что-то утверждать. Краска, она тоже соображения требует.

— В письме не то написано, — возразил отец. — Там чего-то насчет яда.

— Знаю, — сказал художник с хмурой усмешкой. — Они не любят яда. Но немного яда полезно. Яд вносит ясность.

Он наклонил к себе цветок на высоком стебле — помнится, это был тюльпан, — и стал двумя пальцами пощелкивать по его лепесткам, как это делал Закадычный друг мельницы с ее крыльями; только раздев меткими пальцами цветок донага, он отпустил стебель, позволив ему выпрямиться. Потом взглянул на бутылку, но не стал снимать ее с полки.

Чувствуя, что художник чего-то еще ждет от него, отец сказал:

— Это не моя затея, можешь мне поверить. Я тут ни при чем, мое дело передать.

— Знаю, — сказал художник. — Эти недоумки — точно они не понимают, что нельзя запретить кому-то рисовать. Оки, пожалуй, многим могут распорядиться, у них на то и средства есть, они могут запретить то или другое, но чтобы человек перестал рисовать — не в их власти. Были уже такие, что на это замахивались задолго до них, они бы почитали об этом на досуге: против нежелательных картин защиты нет; художника можно изгнать из страны, его можно ослепить, а был случай — художнику отрубили руки, так он ухитрился писать ртом. Дурачье! Точно они не знают, что существуют невидимые картины.

Отец обошел по краю стол, за которым сидел художник, но больше не задавал вопросов, а ограничился тем, что подвел черту:

— Запрещение решено и объявлено, Макс, вот в чем дело.

— Да, — сказал художник, — так ведь то в Берлине. — И он открыто посмотрел на отца долгим испытующим взглядом, словно заставляя его сказать то, в чем сам он, художник, заранее уверен, и от него, должно быть, не укрылось, что отцу нелегко дался ответ:

— Они мне, Макс, мне поручили следить за выполнением приказа, так и знай.

— Тебе? — спросил художник, а отец на это:

— Мне, конечно, ведь я тут, рядом.

Оба поглядели друг на друга, один — сидя, другой — стоя, молча смерили друг друга глазами, должно быть вспоминая, что им известно друг о друге, чтобы представить себе, как им впредь держаться друг с другом, каждый спрашивая себя, с кем ему придется отныне

иметь дело, когда они будут встречаться тут и там. Таким образом, сверля друг друга взглядом, они, я сказал бы, повторяли одну из картин художника — «Двое у забора», на которой два старика, внезапно представ друг перед другом в оливково-зеленом свете, два издавна знакомых старика, соседи по саду, словно впервые в этот миг с удивлением видят друг друга в состоянии обоюдной обороны. И мне представляется, что у художника вертелся на языке совсем другой вопрос, когда он наконец спросил:

— Каким же образом, Йенс? Как ты собираешься следить за выполнением приказа?

Прослушав на сей раз дружескую фамильярность в интонации художника, отец заявил:

— А вот увидишь, Макс!

Тогда художник встал и, слегка склонив голову набок, смерил отца взглядом так, словно ему уже ясно, на что тот способен, а когда отец счел своевременным снять с гвоздя накидку и, расставив ноги, стал скреплять полы зажимом, художник сказал:

Оба мы из Глюзерупа, верно? — На что отец, не поднимая головы:

— Из собственной шкуры не выскочишь, будь ты сто раз из Глюзерупа!

— А тогда следи за мной в оба! — напутствовал его художник.

— Как-нибудь. Поживем — увидим! — сказал отец, протягивая руку. И тот ударил по ней, да так и не выпустил, пока они шли к порогу. Только перед выходом в сад пальцы их разомкнулись.

Отец стоял вплотную к двери, почти притиснутый к ней художником, и это мешало ему увидеть дверную ручку; нашаривая у себя под боком, он несколько раз промахнулся, но наконец нащупал, да сразу же и надавил, чтобы как можно скорее очутиться за пределами досягаемости художника.

Ветер вырвал его наружу. Отец невольно взмахнул руками, но еще до того, как норд-вест его подхватил, он выставил навстречу ему плечо и зашагал к велосипеду.

Художник, одолев сопротивление ветра, захлопнул дверь. Он подошел к окну, выходящему во двор. Возможно, ему нужно было, или важно было, увидеть, как отец трогается с места, единоборствуя с ветром. А может, ему впервые понадобилось убедиться, что отец на самом деле покинул Блеекенварф, и он потому так пристально следил за нашим нелегким отбытием.

Полагаю, что Дитте и доктор Бусбек тоже глядели нам: вслед, пока мы не добрались до маяка с красно-белым сигнальным огнем, и Дитте, должно быть, спросила:

— Значит, и тебя коснулось? — А художник, не повернув головы:

— Да, коснулось и меня, и Йенсу поручено за мной следить.

— Йенсу? — должно быть, переспросила Дитте, а художник:

— Йенсу Оле Йепсену из Глюзерупа. Ведь ему это рядом.

### Глава III Чайки

Кто-то прильнул к глазку. Достаточно мне было ощутить текучую, острую, как шпилька, боль в спине, чтобы догадаться, что чей-то неотступно следящий зрачок, я бы сказал, с холодным интересом припал к глазку и наблюдает, как я пишу и пишу. Впервые я почувствовал, что за мной наблюдают, в тот раз, когда отец выпивал с художником; ощущение неотступно следящего взгляда не покидало меня: мучительная щекотка, как будто песчаный дождь сбегает по спине; к тому же за дверью камеры я слышал нетвердые шаги, предостерегающий шепот, сдавленные возгласы ликования — все говорило о том, что не менее двухсот двадцати психологов стоят в коридоре на сквозняке, чтобы составить себе скоропалительное заключение обо мне и о моем штрафном задании.

Зрелище, представшее их взорам, очевидно, так возбудило этих господ, что некоторые из них в своем увлечении не удержались от выкриков, таких, как «симптом Бульцера» или



«порог симультанной объективности», и, возможно, очередь еще и сейчас змеей проползала бы за моей дверью, если б я не принял решительные меры: преследуемый этим буравящим ощущением в затылке, этим пульсирующим ознобом в спине, я собрал в карманное зеркальце свет электрической лампочки и отбросил его на глазок. Луч мгновенно его очистил. За дверью послышался сдавленный возглас и сдавленное предостережение, а следом — суетня, семенящий топот и твердые шаги колонны, отступающей со все большей бесцеремонностью, и сразу же отлегло, рассеялось изводящее ощущение в спине.

Я с облегчением погладил тетрадь и сделал возле стола небольшую разминку, но тут в замке заскрежетал ключ, дверь открылась, и все еще недовольный Йозвиг шагнул через порог без слов, но с требовательно протянутой ладонью. Он требовал сочинение, эту дань уроку немецкого, очевидно отряженный для ее взыскания Гимпелем или Корбюном, скорее, даже директором Гимпелем. Я изобразил удивление, испуг и даже позволил себе протестующий взгляд, но наш любимый надзиратель, показав на занимающуюся над Эльбой зарю, сказал:

— Давай сюда эту пакость, хватит сидеть взаперти.

Чтобы убедиться, что я не бездействовал в своем затворе, он схватил тетрадь и согнул ее, так что страницы журча побежали мимо его большого пальца.

— Видишь, Зигги, — сказал он, и мне послышалось какое-то отеческое удовлетворение в его голосе, — если что нужно, так оно и удается, даже сочинение. — Он одобрительно положил руку мне на плечо и кивнул улыбаясь. Пожурил меня, зачем я всю ночь просидел за столом. Директор уж наверняка меня похвалит. Он смотрел на меня чуть ли не с благодарностью, предложил отнести тетрадь в канцелярию и уже повернулся было уходить, как я его окликнул и потребовал тетрадь обратно. Наш любимый надзиратель недоверчиво и удивленно посмотрел на меня и, свернув тетрадь в трубку, высоко ее поднял.

— Но ведь ты свое наказание отбыл, — сказал он с недоумением. На что я отрицательно покачал головой.

— Ничего я не отбыл. Все только начинается. «Радости исполненного долга» еще впереди. Это всего лишь начало.

Карл Йозвиг полистал мою вступительную главу, сосчитал страницы и осведомился с сомнением:

— Ты еще не кончил, даром что писал всю ночь?

— Я описал только, как они возникли, — пояснил я, а он с новой обидой в голосе:

— И на это ушло столько времени?

Так ведь и радости были долгие, — возразил я и добавил! — Согласитесь, штрафное задание требует серьезного отношения.

— Чем успешнее наказание, тем успешнее исправление, — подтвердил Йозвиг.

— Вот именно, — отозвался я.

— Ты знаешь, — продолжал он, — как я на тебя надеюсь.

— Знаю, — сказал я.

— Работа должна быть на «отлично» по всем статьям. Вот и сидеть тебе взаперти, пока не сделаешь все как следует. Будешь питаться один. Будешь спать один. Только от тебя зависит, когда ты к нам вернешься.

Он еще напомнил мне, о чем говорил директор Гимпель, что работа моя сроком не ограничена и так далее, а в заключение, собираясь сходить за моим завтраком, вернул тетрадь и спросил с неподдельным участием:

— И что же это за напасть на твою голову, Зигги?

— Радости исполненного долга, — отвечал я.

— Жалко мне тебя, Зигги, — сказал он беззвучно, — ты не поверишь, до чего жалко. — Невольно сунув руку в карман, он извлек оттуда две мятые сигареты и плоский спичечный короток, торопливо положил под матрац и сказал официальным тоном: — В камерах курить строго воспрещается.

— Совершенно верно, — поддакнул я.

С этим он и ушел, а я с самого завтрака стою у зарешеченного окошка и гляжу в рассветающее над Эльбой утро, на покрытую льдом реку, которую бороздят мощные буксиры и ледокол «Эмми Гуспел», вычерчивая на ней свои недолговечные выкройки. Под напором плывущих льдин бакены легли набок. В небе по направлению к Куксхафену развернулся охристо-желтый транспарант, вокруг него собираются снеговые тучи. Маленькое рвущееся пламя над нефтеперегонным заводом клонится вниз под порывами ветра. Все нарастая в силе и ярости, он доносит ко мне с верфи громыхание заклепочных молотов.

В наших мастерских и в местной библиотеке, где меня теперь заменяет карманник Оле Плётц, уже приступили к работе, но меня это не огорчает, мне не хочется видеть друзей, даже Чарли Фридендера, у которого особый талант: он уморительно всем и всему подражает — голосу, жестам, движениям, например голосу Корбюна или движениям Гимпеля. Мне хотелось бы остаться совсем, совсем одному в этой камере, которая представляется мне чем-то вроде раскачивающейся доски трамплина, куда меня затолкали и откуда я должен прыгать раз за разом, прыгать и нырять, пока не выловлю все, что мне нужно, — назовем это хотя бы костяшками домино моей памяти, — чтобы потом одну за другой выложить их на стол.

А вот и еще один танкер идет вниз по Эльбе — это уже шестой после моего завтрака, он зовется «Кишу Мару» или «Куши Мару», неважно — так или иначе, он придет по назначению, как и «Клэр Б. Напассис» или «Бетти Эткер». У них неглубокая посадка, их винты бьют по воздуху, взбивая суп из ледяной воды, они пройдут мимо Глюкштадта и Куксхафена и на уровне островов — то есть на нашем уровне — последуют заданным курсом на запад.

Покамест у меня нет желания погрузиться на такое судно, чтобы вдруг высадиться в Дхаране или Каракасе, я не вправе ни по прихоти течения, ни по собственному капризу перенестись под другое небо, я должен идти своим курсом, это такой же заданный курс, а ведет он в Ругбюль, к пристани «Воспоминания», где для меня все приготовлено и уложено штабелями. Мой груз лежит в Ругбюле. Ругбюль — порт моего назначения, а также в известной мере Глюзеруп, а потому мне нельзя выпускать из рук штурвал.

Как дружно все само просится и плывет мне в руки теперь, когда концы заброшены, и как достоверно и надежно все встает передо мной: я просто-напросто расстилаю равнину, вписываю в нее негустую сеть рвов и мутных каналов, оснащаю их голландскими шлюзами, расставляю по насыпным холмам пять ветряков, которые открываются глазу с крыши нашего сарая — среди них моя милая бескрылая мельница, — и воздвигаю вокруг ветряков и побеленных или ржаво-красных усадеб защитный локоть дамбы, ставлю на западной стороне маяк в красном колпаке и позволяю Северному морю омыwać буны там, где художник из своей кабины наблюдает за его набегами, обвалами и кипящими бурунами. И мне остается лишь пройти по узенькой кирпичной дорожке, чтобы увидеть мой Ругбюль — сначала табличку «Ругбюльский полицейский пост», под которой я часто стоял, дожидаясь отца, а когда дедушку и только от случая к случаю сестру Хильке.

Как неподвижно все лежит предо мною, отдавшись в мое распоряжение, — равнина, резкий свет, кирпичная дорожка, торфяные пруды, табличка, прибитая к облезлому столбу; как спокойно все всплывает из подводных сумерек — лица, скосбоченные деревья, предвечерние часы, когда стихает ветер, — все это возникает в моей памяти, и я снова стою босиком под табличкой, наблюдая художника или только плащ художника, который, устремляясь к полуострову, треплется над дамбой. У нас стоит северная весна с соленым воздухом и холодными ветрами, и я снова жду в своем тайнике, в старой тележке без колес, с задраным сверху дышлом, жду сестру Хильке с ее женихом, они собрались на полуостров за чаячьими яйцами.

Скуля и клянча, я просился с ними, но Хильке не пожелала меня взять. Еще чего, фыркнула она, а потому я скорчился на щелястой платформе тележки, дожидаясь, чтобы по возможности незаметно за ними пойти. Отец сидел в своей тесной конторе, куда вход был мне настрого воспрещен, и своим округлым почерком писал отчеты, тогда как мать заперлась в спальне, как делала часто в ту злополучную весну, когда Хильке впервые привезла к нам

своего нареченного, своего Адди, как она называла Адальберта Сковронека. Я услышал, как они вышли из дому, и увидел в щель, как они проходят мимо сарая. Хильке — впереди, со своей привычно властной, самоуверенной манерой, он — как всегда, на прямых ногах, отставая на шаг. Тут тебе ни сплетенных пальцев, ни скрещенных за спиною рук, нащупывающих местечко на талии у подружки, ни красноречивых касаний — и так все время, пока под свистящий шелест дождевиков они приближались к кирпичной дорожке, а потом, ни разу не оглянувшись, свернули к дамбе. Они шли, будто и не догадываясь, что за ними следят, шли скованно, до смешного одинаковой походкой, стараясь показать, что единственное, к чему они стремятся, — это чаячьи яйца. Неестественно прямая спина, тяжелая поступь, точно они шагают в свинцовых сапогах, боязнь дотронуться друг до друга — все это, казалось, проистекает оттого, что в спальне слегка шевелится занавеска, то поднимаясь и набухая, то опадая, отдернутая нетерпеливой рукой.

Я знал, что она стоит у окна. Знал, что она смотрит вниз, осуждая и бесясь по-своему, с застывшим суровым красноватым лицом, надменно скривив губы. «Цыган», — только и сказала она отцу негромко и злобно, узнав, что Адди Сковронек — музыкант, что он играет на аккордеоне в том самом гамбургском отеле «Пацифик», где Хильке служит кельнершей. «Цыган», — сказала она и заперлась в спальне, Гудрун Йепсен, материнская кариатида в моих пропилеях.

Я спокойно лежал в тележке, припав виском к доскам и подтянув колено; я наблюдал за занавеской и прислушивался к голосам, удаляющимся по направлению к дамбе и к морю, до тех пор, пока за окном спальни все не угмонилось и не смолкли голоса, а тогда, отжавшись на руках, я спрыгнул с тележки, скользнув в ров рядом с дорогой и, прячась на откосе, последовал за знакомой парочкой.

Хильке несла лукошко. Она шла, слегка наклонясь, словно готовясь к разбегу, чтобы одним прыжком вырваться из домашнего плена. Ее побеленные мелом парусиновые туфли светились на красной кирпичной дорожке. Длинные волосы, которые дома свободно ниспадают на плечи, Хильке убрала за воротник плаща, но недостаточно глубоко и плотно, и они выбивались густыми прядями, отчего сзади не видно было шеи и голова казалась приплюснутым шаром. Ее тесно смыкающиеся ноги с твердыми, чуть свернутыми внутрь икрами, казалось, вот-вот споткнутся, они терлись друг о друга, задевали друг друга, но она этого не замечала и, должно быть, так и не знала за собой — в этом тоже сказывалась та безоглядная, слепая устремленность, которая наблюдалась во всех ее делах и начинаниях. «Муравей, — думал я, — как есть рыжий муравей». Она ни разу не обернулась, чтобы что-то проверить или в чем-то убедиться. Тогда как Адди-аккордеонист то и дело быстро и пытливо озирался; в его походке чувствовалась легкая мешкотность, неуверенность, и у меня проснулось опасение, как бы он меня не обнаружил или как бы ему вместо чаячьих яиц не захотелось чего-то совсем другого. Он сунул руки в карманы плаща и курил, оттого что продрог, ветер относил за его плечо порхающие облачка дыма. Время от времени он прыжком поворачивался и несколько шагов проходил спиной к ветру, скорчившись в своем дождевике, и тогда я видел его лицо, бледное лицо с воспаленной шершавой кожей, которому, казалось, было свойственно одно только выражение — приветливой снисходительности; этим выражением он встречал окружающих и не расставался с ним, даже замечая, что моя мать не предлагает ему сесть или что соседи, куда уводила его Хильке, не обращаются к нему ни с самонаимчивым вопросом. Глядя на него, трудно было понять, что его гнетет или, наоборот, радует и чего он боится, поскольку лицо его неизменно выражало эту видимость приветливого снисхождения. Таким он явился к нам и таким навсегда остался у нас в памяти.

Однако как бы мне не потерять их из виду за дамбой, мне надо глаз с них не спускать, а потому я следую за ними, как следовал в тот раз: низко согнувшись на откосе рва, выпрямившись и подобравшись под защитой шлюза, уже и вовсе беззаботно в камышовых зарослях, а тем более под гребнем дамбы, где мне было достаточно наклониться, чтобы остаться незамеченным, случись им оглянуться. Они пересекли дамбу в том месте, где отец во время своих бесчисленных блеекенаварфских поездок втаскивал наверх велосипед, но ни

на минуту не остановились повосхищаться видом, а сразу же спустились на тропинку, что бежит вдоль укрепленного берега по кривизне дамбы и доходит до полуострова и гостиницы «Горизонт».

Здесь они остановились. Оба стояли тесно рядом; Хильке, прислонясь к нему плечом, показывала на Северное море, где я не мог углядеть ничего замечательного; протянув вперед руку, она описала широкую дугу, из чего можно было заключить, что она дарит жениху все Северное море с его ракушками, волнами и минами, с обломками кораблекрушений на мутном дне. Адди положил ей руку на плечо, Он поцеловал ее, а потом взял у нее лукошко, чтобы и она могла его обнять, однако Хильке что-то ему сказала, он тоже что-то сказал, стоя перед ней в напряженной позе, указывая на песчаный мысок в конце полуострова и таким образом даря моей сестре изрядный кусок Северного моря — площадью примерно в полтора квадратных километра.

Море билось о береговые укрепления, обдавая их брызгами, и отвесные пенистые струи, взмывая из щелей менаду камнями, опадали с плеском, а вдали над морем выростал темный такелаж дождевых туч и, вздуваемый ветром, приближался над наполненными марсбрам-грот-парусами, что, видимо, и побудило Адди что-то сказать, на что моя сестра что-то ответила и засмеялась, откинувшись всем корпусом назад, так что ему ничего не оставалось, как игриво схватить ее за руку полицейским приемом и увлечь куда-то вперед по размокшей тропке.

Тут же, рядом с тропкой, тянулась линия прилива, оставленная морскими водорослями, засохшим стрелолистом и галькой, параллельно бежали такие же линии, но только постарше; каждый большой прилив оставлял за собой подобные следы, и эти памятные меты свидетельствовали о зимней силе моря и его зимней ярости. Каждый прилив приносил свои трофеи — один выбросил на берег отмытые добела корни, другой приволок куски пробки и разбитый крольчатник, тут же валялись сбившиеся в комья водоросли вместе с ракушками, изодранные сети, окрашенные йодом растения, похожие на причудливые шлейфы. Мимо всего этого проходила Хильке, направляясь к полуострову со своим аккордеонистом. Они не стали подниматься к гостинице «Горизонт», а шли вдоль моря, держась за руки, исхлестанные его брызгами, с разгоряченными лицами. Дальше, там, где полуостров плоским клином вдается в море, бурлили гребни прибоя; кудрявые, точно ягнячья шерсть, они приходили из темной дали и разливались на мелководье, подобно беглому огню, с неумолчным гулом устремляя на берег свои белые барашки.

Полуостров, словно корабельный нос, вдавался в море и только постепенно поднимался, горбатясь и переходя в складчатую дюнную гряду без единого деревца, поросшую жестким волоснецом. Здесь-то и гнездились чайки. Здесь свивали они свои гнезда между сторожкой птичьего смотрителя и кабиной художника, стоявшей у подножия дюны в неогороженном пространстве и глядевшей на море широким окном.

Я шел по дамбе под укрытием гостиницы, потеряв из виду Хильке и ее аккордеониста, который, должно быть, по просьбе сестры привез к нам свой аккордеон и, верно, частенько развлекал бы нас своей музыкой, если бы матушка с молчаливым осуждением не выходила из комнаты, стоило ему взять в руки свой инструмент, украшенный серебряными или посеребренными инициалами «А. С.»; отец охотно слушал бы в его исполнении свою любимую песенку, да и мне не терпелось насладиться игрой Адди, но, так как мать столь явно его третировала, тяжелый аккордеон так и стоял без употребления в спальне сестры. Я уже подумывал как-нибудь втихомолку испробовать заманчивый инструмент в моей старой тележке ночью.

Стоя перед гостиницей на деревянном помосте, я заглянул в одно из огромных окон в зале, где за пустым столиком сидел только один чернявый посетитель; человек этот показал мне язык и сделал вид, будто собирается запустить в меня пепельницей, где лежали обглоданные кости макрели; тогда я кинулся бежать вдоль окон фасада и, выйдя на откос дамбы, прямо перед собой увидел Хильке и ее нареченного. Они шли друг за дружкой по камням укрепленного берега, пока не спустились на песчаный пляж полуострова, а когда они,

уже снова держась за руки, побрели по пляжу на фоне Северного моря, пробираясь между плавником и водорослями к уединенным дюнам, их можно было принять за Тима и Тине из романа Асмуса Асмуссена «Свечение моря».

Впрочем, нет, ничего похожего: Тим не стал бы с такой тревогой показывать на дождь, сплошной стеной нависший над морем; он бы прежде всего не мерз, как мерз Адди, и не наклонился бы так испуганно и так низко, когда серебристая чайка ринулась на него с согнутыми под углом крыльями, подобно падающему с резким свистом белому снаряду. Адди так испугался, что не только нагнулся, но и шарахнулся в сторону, и не увидел, как чайка чуть ли не над его головой сделала крутой вираж и, подхваченная ветром, взлетела на безопасную высоту, где принялась испускать пронзительные остерегающие крики и жалобный клекот. С этого всегда и начинается: одна чайка выступает застрельщицей. Серебристая чайка, или моевка. Ни одна чайка на нашем побережье не отдаст добровольно своих яиц. Они атакуют. Красноглазые, с желтым клювом, они открывают демонстративные действия.

Такого нашему аккордеонисту еще не доводилось видеть, как два миллиона чаек внезапно с пронзительным криком взмывают ввысь, образуя над полуостровом серебристо-серое облако, которое, рокоча и трепыхаясь, разворачивается, маневрирует и перестраивается, с неистовой яростью низвергая на землю дождь белых перьев или, лучше сказать, заваливая дюнную долину снегом из пуха, таким мягким и теплым, что сестра со своим суженым могли бы при желании здесь соснуть. У меня же, если можно так выразиться, сердце рвалось из груди.

Едва лишь чайки снялись со своих убогих гнезд и натянули над нами второе, гомонящее, небо, я сбежал с дамбы, укрылся за разбитым ящиком из-под рыбы и лежал не дыша среди носящегося в воздухе неистовства, крепко зажав в руке палку, которой собирался, если придется, снести голову одной из сизых ныряльщиц. А может быть, я сломаю ей крыло, отнесу домой и научу говорить.

Чайки давно меня углядели: надо мной кружило облако, хлопали и трепыхались яростные крылья и, в то время как тяжелые бургомистры, подобно тяжелым бомбардировщикам, набирали высоту, более поворотливые моевки, кружа над пляжем, с безупречным изяществом яростно на меня пикировали, увлекая за собой струи ветра, а затем, развернувшись под острым углом и войдя в крутой вираж, улетали далеко в море, чтобы там перестроиться для новых атак.

Я вскочил и быстро-быстро завертел палкой над головой, как этот — помните, ну, как его? — вертел свой меч, чтобы остаться сухим под дождем, и, таким образом фехтуя и отбиваясь под быстролетными атаками, уходил с пляжа по следам тех двоих — единственным следам, отпечатавшимся на сыром песке.

Духом пробежав среди жалких гнезд с сине-зелеными, серыми и темно-коричневыми яйцами, я увидел их.

Адди был мертв. Он лежал навзничь. Его убила сизая чайка, а может быть, десяток клуш или девяносто поморников. Они заклевали его, просверлили, продырявили. Хильке стояла над ним на коленях. Спокойно и деловито, во всяком случае не плача и не ропща, она возилась с его одеждой — она, которая всем заправляла, все предусматривала и решала и все могла снести, кроме неуверенности и колебаний, низко склонилась лицом к его лицу, обняла, легла на него — и в самом деле совершила чудо, ноги Адди задергались, зашебаршили, зашевелились, он выбросил вверх руки, плечи его затряслись, как у припадного, тело вскинулось.

Я позабыл все на свете. Отбиваясь от налетающих плачущих чаек, я подбежал, бросился на колени и увидел, что налитое багровой синевого лица Адди подергивается, что он стиснул челюсти и скрежещет зубами. Пальцы его были скрючены, большие пальцы крепко зажаты в горсти, лицо блестело от пота. Когда он открыл рот, я заметил, что язык у него прокушен во многих местах.

— Оставь его, — сказала сестра, — не трогай. — У нее не было времени опомниться и спросить, откуда меня принесло. Она застегнула на Адди рубашку и робко поглаживала его лицо — не взволнованно, не испуганно, а именно робко, и я видел, как он успокаивается под ее ласковыми прикосновениями; глубоко вздохнув, он с застенчивой улыбкой поднялся и закивал мне, заметив, что я отгоняю от него чаек.

Размахивая во все стороны палкой, я приводил в смятение штурмующих птиц, а заодно делал вид, будто у меня нет времени выслушивать упреки, которые готовила мне сестрица: я сражался за Адди. Да. Я боролся за свободное пространство над головой. Переменным шагом, прыжками, вращая запястьем, я защищался, между тем как Хильке торопливо собирала в лукошко яйца, а ее Адди оглушенно стоял и потирал затылок, необычайно старый, как я заметил, морщинистый затылок с задубелой кожей.

Но тут чайки внезапно изменили тактику. Они, видимо, убедились, что ложными атаками нас не проймешь, и только отдельные чайки, особенно сизые, продолжали на нас пикировать, аккуратно подогнув перепончатые лапки, с широко разинутым кораллово-красным зевом и крыльями «юнкерс-87», но то были всего лишь неосведомленные, отставшие в пути одиночки, остальные переформировались в плоское облако, висящее над головой; не двигаясь с места, они трепыхали плещущими крылами и атаковали нас своими воплями, Поскольку пикирующие налеты оказались бесполезны, они решили обратить нас в бегство криком. Они визжали. Они надрывались. В воздухе стоял треск и клетот. Они мяукали. Раскаленным гвоздем этот шум вонзался в голову, в спинной мозг, все тело покрывалось гусиной кожей. Адди, улыбаясь, зажал уши. Хильке, нагнувшись, собирала в лукошко яйца, обстреливаемая косыми кляксами птичьего помета. Я швырял палку в воздух, вызывая в чайчьих рядах переполох, от которого перья у них вставали дыбом. Иногда моя палка исчезала в гуще тел и крыльев, а однажды я угодил поморнику в лопатку, но он не сверзился, не упал к моим ногам. Я был бессилен пробить это бесноватое птичье небо, бессилен его утихомирить. Чайки визжали и гомонили, но мы стойко переносили их визг и гомон. Одна из чаекхватила меня за ногу, и, так как палка пролетела мимо, я запустил в нее яйцом, яйцо разбилось на ее спине, и лопнувший желток растекся, оставив на белом оперении желтые эмблемы — теперь она могла бы выступить за Бразилию.

Адди одобрительно закивал, заметив мое прямое попадание, и потянул меня под свой дождевик; нас уже настигали первые порывы дувшего с моря шквального ветра, от которого плашмя полег волоснец. Ветер взрывал песок небольшими фонтанчиками, засыпая мои босые ноги.

Наконец Адди окликнул Хильке, прилежно собиравшую яйца. Он показал ей на море и на приближающуюся стену дождя. Окружность моря заметно сократилась и померкла за надвигающейся белесой полосой. Вода светилась и мерцала на переднем плане, и ветер срывал мерцающие шлейфы с гребней волн.

— Кончай! — крикнул Адди, но сестра не слышала, а может быть, и слышала, но хотела набрать полное лукошко; мы медленно следовали за ней. Я прокладывал дорогу среди мельтешащих чаек. Я чувствовал себя уютно под Аддиным дождевиком, в котором он оставил просвет, позволяющий мне видеть и орудовать палкой. Я чувствовал тепло его тела, слышал его учащенное дыхание, мне было приятно ощущать на плече легкое давление его руки.

Кончай! — снова крикнул Адди, но тут ветер стих и полил дождь. Хильке за резкой штриховкой дождя казалась далекой и маленькой, но продолжала, все так же согнувшись, бежать между рядами невзрачных гнезд, пока не засверкала, вернее, не ударила молния и этакий славный, я бы сказал, благодушный гром не прокатился над Северным морем; тут сестра выпрямилась, посмотрела, на море, потом на нас, показала рукой куда-то вдаль и бросилась бежать, чему немало мешали ее свернутые внутрь икры; нам ничего не оставалось, как следовать за ней.

Чайки взмыли ввысь. Приготовившись к обороне, они разинули клювы. Водопадом низринулись на нас их исступленные крики, между тем как мы, перебираясь через дюны,

бежали от дождя и грозы по пляжному песку. Снова сорвался ветер, он бросал нам в лицо пригоршни дождя, ругбюльского весеннего дождя, который доказывает рвам и каналам, что они непозволительно тесны, который заливает луга и смывает с костлявых вскосмаченных крупов скота присохший «зимний шпинат».

Когда у нас льют дожди, равнина теряет свой открытый простор, свою беззащитную глубину, над ней нависают ключья тумана и видимость портится: все кажется приземистым, укороченным или непомерно разбухает и чернеет, и тогда нет смысла искать убежища под чьей-то крышей, потому что дождю конца нет, и, разве лишь проснувшись поутру, можете вы поздравить себя с хорошей погодой. Кабы просто зарядил дождь, мы преспокойно отправились бы домой, но гроза заставила нас сломя голову бежать через дюны под полыхающими молниями, под громовыми раскатами и хлещущим ветром; какая уж тут ходьба в такую непогоду! Мы спотыкались и увязали в размокшем грузном песке, все так же следуя за Хильке, которая мчалась напрямик к кабине художника, а едва добежав, откинула дверь и, так и не закрыв, остановилась на пороге у зачерченного дождем входа и давай махать, призывая нас поторопиться, пока мы не подбежали к ней. Тут она втащила нас в кабину. И с облегченным вздохом захлопнула дверь.

— Засов, — напомнил художник, — задвинь засов. — И сестра кулачком заколотила по засову, пока не задвинула его. И вот мы стоим в кабине художника, мокрые, хоть выжми.

Я выскользнул из-под Аддина дождевика, обойдя рабочий стол, подошел к широкому окну и выглянул наружу, ожидая, как это было однажды, увидеть в прибое труп утопленника, мертвого летчика, который волны прибивали к берегу, а обратное течение возвращало морю. Художник, должно быть, понял, что я высматриваю, потому что сказал с улыбкой:

— Сегодня там только гроза, обычная гроза.

Дело в том, что, провозжая его в кабину, я часто сживал с ним за рабочим столом, когда он наблюдал, как возникают и гаснут волны, или сгущаются и рассеиваются облака, или какой над морем преобладает свет, и в тот день, когда мы обнаружили с ним мертвого летчика, он долго удерживал меня за столом, наблюдая послушно перекатывающееся расслабленное тело, настолько впитавшее ритм зыби, что оно уже и само по себе зыбилось и слабо перекатывалось, — помню, я с трудом дождался минуты, когда мы наконец сбежали вниз и вытащили на берег мертвого летчика.

— Только гроза, — сказал художник и улыбнулся в густеющих сумерках, вытащил из кармана большущий носовой платок и принялся вытирать мне лицо, а я, оглядываясь на брызжущий прибой, вертелся ужом, к его досаде, и он все время меня уговаривал: — Постоить минуточку, Вит-Вит, не егози!

Он единственный меня так называл, да почему бы и нет: «вит-вит» — озабоченно и торопливо перекликаются между собой песочники, ничего другого им, по-видимому, в голову не приходит, возможно, художнику тоже ничего другого не приходило в голову в связи со мной, во всяком случае, он так меня называл, и на кличку «Вит-Вит!» я неизменно оглядывался, подходил или останавливался. Макс Людвиг Нансен досуха вытер мне лицо и волосы, а также шею и ноги и протянул свой большой платок Хильке, которая тоже принялась растираться, а потом, проведя большими пальцами по волосам, собрала их и, свернув жгутом, выжала. С моря резкими порывами налетал ветер и поднимал столпотворение за дверью. В воздухе не было больше ни одной чайки, не видно было даже их часовых. Море пенилось и сверкало, я нагнулся и, склонив голову набок, представил себе, что море — это небо, а темное небо — море, а когда я поднял голову и обернулся, то увидел ее.

Ютта молча и неподвижно сидела по-турецки на полу возле шкафа, сложив руки на коленях и так раздвинув худые ляжки, что платью над ними туго натянулось, и я увидел, что она улыбается в ответ на растерянную, глуповатую улыбку Адди. Я удивленно переводил взгляд с одной на другого, со скуластого насмешливого лица Ютты, напоминающего борзую, на Адди, который стоял в деревянной позе, словно не зная, куда себя девать, с видом удивленной куклы-манекена, оторопев перед этой шестнадцатилетней девицей с худой шеей

и быстрыми задорными глазами — Юттой, которая никогда не говорила того, что думает, и словно околдовала Блеекенварф, с тех пор как художник после смерти ее родителей, тоже художников, взял ее к себе вместе с ее младшим братцем, разбойником и озорником Постом.

Только я собрался что-то сказать, пытаюсь разгадать эту немую игру узнавания, как меня опередила Хильке.

— Разотрись, Адди, после этой холодной ванны, да получше, — потребовала она, суя ему в руку платок и толкая его локтем, на что он только тупо на нее глянул и принялся растираться с молчаливой покорностью. А пока он надраивался огромным платком, Хильке обратилась к художнику:

— Это Адди, мой жених, он гостит у нас в доме. — На что художник, показывая в угол:

— А это Ютта, они с братом живут у нас.

После чего Хильке поздоровалась за руку с Юттой и Адди поздоровался за руку с художником, а когда я поздоровался за руку с Юттой, Адди тоже с ней поздоровался за руку, тут я спохватился, что еще не здоровался с Максом Людвигом Нансенем, и поспешил исправить свою оплошность, а тогда спохватилась Хильке и тоже наскоро поздоровалась с художником, и я уже собирался поздороваться с Хильке, как художник стал между нами, чтобы взять с полки трубку.

— Надеюсь, это ненадолго, — сказала Хильке.

— Гроза ненадолго, — отозвался художник, — но не дождь.

— Поделом тебе, — уронила в мою сторону Хильке, — будешь знать, как за нами увязываться.

— Мне-то что, — возразил я, — все равно я уже мокрый.

Тут я увидел, что мужчины смешливо переглянулись над моей головой, и Адди предложил художнику сигарету, а тот показал на свою трубку. Художник закурил и подошел к окну посмотреть на ветер и на сумрачное море, где, по-видимому, опять что-то происходило, что разглядеть могли только его терпеливые серые глаза. Я уже знал за ним эти минуты, когда он погружался в созерцание невидимых событий, движений и явлений, знал его повадку разговаривать или спорить с Балтазаром. Мне не надо было следить за его взглядом, чтобы понимать, что все его внимание посвящено причудливому народцу, который глаз его открывал повсюду: королям дождя, заклинателям облаков, странникам по волнам, воздушным рулевым, обитателям туманов, загадочным друзьям мельниц, берегов и садов; как только взгляд его проникал в их униженное безвестное существование, они вставали и показывались ему.

Попыхивая трубкой, стоял он перед окном, прищурив глаза и наклонив голову, словно для тарана, между тем как Ютта бесшумно вышла из темного угла и, обняв в улыбке крепкие резцы, снова предстала перед недоуменным взором Адди.

Но тут раздался смех моей сестрицы. Хильке размахивала в воздухе листом бумаги. Незаметно для художника она вытасила этот лист из-под папки на его рабочем столе.

— Чего ты? — спросил я.

— Поди-ка сюда, Зигги, поди сюда! — Она поглядела на лист и снова засмеялась.

— Ну, чего тебе? — спросил я, на что она, разглаживая лист рукой:

— Узнаешь?

— Чайки, — сказал я, — обыкновенные моевки. — Мне поначалу бросились в глаза только птицы: штурмующая чайка, сидящая на яйцах и третья — патрулирующая в воздухе, и, только взглядевшись, я увидел, что каждая чайка была в полицейской фуражке и с эмблемой орла на лопатке, но этим дело не ограничивалось: все три чайки походили на отца, у каждой была та же длинная сонная физиономия ругбюльского полицейского, а на их трехпалых ножках красовались крошечные башмачки с крагами, точь-в-точь как у отца.

— Положи лист в папку, — сказал художник нерешительно, но Хильке и слышать об этом не хотела.

— Подари его мне, пожалуйста, ну что тебе стоит! — заклянчила она, а художник снова:



— Говорят тебе, положи рисунок в папку!

Хильке уже свернула лист, как он выхватил его и сунул в папку.

— Об этом и речи быть не может, он мне еще самому нужен, — сказал художник, притянул папку к себе и прикрыл ее картонкой с пустыми тюбиками.

— Как называется этот лист? — спросила Хильке.

— Еще не знаю, — сказал художник, — может, «Мартышки обыкновенные на дежурстве», я еще не решил.

— Ну, нет так нет, — столь же решительно отступила Хильке. — А что бы тебе не нарисовать меня? Помнишь, ты обещал, а еще лучше, нас с Адди вместе? — И моя сестрица, схватив своего нареченного за локоть, с присущей ей энергией подтащила его к художнику. Этот жест мог означать только одно: «С ним у тебя хлопот не будет, не то что с другими мужчинами, так что давай действуй!»

— Ничего на выйдет, — сказал художник.

— Почему не выйдет? — спросила сестра, а художник:

— Я обжегся.

— Правда, обжегся? — спросила сестра, а художник:

— И надолго.

Гроза уже достигла полуострова, и мне бы следовало, как водится, описать вспышки молнии и все разновидности грома, сиротливую затерянность кабины у подножия дюны, я мог бы рассказать, как под натиском ветра стонут стропила, потрескивают половицы и на окне осыпается замазка: ведь грозы, рождающиеся в море, у нас частое явление.

Но в моей памяти сохранилась не столько гроза, сколько заявление сестрицы, что по этой кабине давно уж не гуляла метла или рука заботливой хозяйки; она установила это при вспышках молний, и в том, что никому бы не задалось, преуспела Хильке: она углядела далеко запрятанную жесткую щетку и, никого не спросив, скинула плащ, отодвинула табуретки и давай подметать. Действуя планомерно, она собрала песок в угол, согнала нас к рабочему столу и начала с порога. Табуретки она составила друг на друга, перебрала все на этажерках, надраила запущенную спиртовку. С неторопливым усердием вертелась она по комнате, чересчур тесной для ее деловитости, и все не решалась расставить табуретки по местам, ибо это значило бы поставить точку.

А Ютта? Ютта забралась с ногами на топчан и, показывая в улыбке ослепительные зубы, глаз не сводила с Адди, а тот растерянно позволял перегонять себя с места на место. Он и рад бы свое слово сказать, а всего охотнее, думается, наступил бы на мелькающую щетку, да еще притопнул бы ногой, однако предпочел молчать и покорно подчинился распоряжениям Хильке.

Я отчетливо помню, как он вздрогнул от испуга, когда снаружи постучали, когда в шум и грохотанье грозы вторглись эти гулкие удары; мы растерянно переглянулись, не решаясь открыть, и, хоть у самого порога стоял Адди, засов в конце концов отодвинул художник. А как только он выпустил ручку, ветер шваркнул дверью о стену кабины.

На сером фоне песчаных дюн, в треплющейся по ветру накидке, освещенный зигзагами молний, перебегающими по его лицу, застыл перед входом отец, показавшийся мне в тот миг осанистой нечистью, таким неуклюжим порождением дождя; мы напрасно гадали, что его сюда привело, ибо входить он не собирался и только значительно молчал, должно быть забавляясь нашим испугом и тревогой, и вдруг беззвучным голосом произнес:

— Зигги!

— Здесь! — отозвался я и бросился к нему со всех ног, а он, высунув руку из накидки, схватил меня за кисть и потащил наружу, а затем без слов повернулся и поволок на дамбу под проливным дождем.

Ни упреков. Ни угроз. Я слышал только его посапывание и чувствовал железную хватку руки, злобно сжимавшей мне кисть, когда мы, спотыкаясь, пробирались через дюны и поднимались на дамбу, где лежал его служебный велосипед. Отец за все время ни слова не произнес, а я не смел ничего сказать, так как страх, опережая события, подсказывал мне, что

предстоит; слова бы ничего не изменили, а потому я, скорчившись, сидел на раме, цепляясь за нее изо всех сил, тогда как он, протаскивая велосипед вперед, сел и умудрился, ни разу не слезая, проехать под грозой всю дамбу. Я знаю, чего это ему стоило, каких сил и какого внимания. Я слышал, как он сопит и задыхается над моим ухом, слышал, как он кряхтит, борясь с сильными порывами ветра. Хоть бы он выбрал меня! Хоть бы, вытащив из кабины, отвесил мне изрядную плюху, мне и то было бы легче и я смирился бы с терзавшим меня страхом. Но отец молчал как убитый, он казнил меня своим молчанием, которое возвещало неизбежную кару. Таково было его обыкновение — уведомлять обо всем наперед, все заранее предуказывать, он не признавал сюрпризов и, когда ему по должности полагалось «принять меры», редко делал это без предупреждения: «Внимание! Я принимаю меры!»

Итак, мы молча ехали по дамбе и по кирпичной дорожке к дому. У крыльца он дал мне соскочить и движением указательного пальца повелел отвести велосипед в сарай, а как только я вернулся, снова схватил за руку и поволок в дом. Сбросив на ходу накидку и избегая встречаться со мной взглядом, словно опасаясь, как бы его собранное в кулак огорчение или ярость не разрядились раньше времени, он последовал за мной наверх, где уже горел свет.

С тех пор как моего старшего брата Клааса забрали как самострела, я жил в нашей комнате один; мне принадлежали эти стены и подоконник, а также раздвижной стол, накрытый голубой полотняной морской картой, где разыгрывались самые рискованные сражения, у меня был даже ключ, я мог запираť свою комнату. Теперь в ней горел свет, свет выбивался из щелей, и я уже догадывался, кто там стоит подле шкафа, вытянувшись во весь рост, с тугим суровым шиньоном на затылке, грозно кривя губы; я видел мать сквозь запертую дверь в ее надменном оцепенении, и, когда отец открыл дверь, я, ничему не удивляясь, застыл на пороге.

Отец втолкнул меня в комнату. Он выжидательно поглядел на Гудрун, которая не шевелясь смотрела на меня откуда-то издалека. Он долго ждал, пока не решился произнести:

— Вот он! — а потом, всем своим видом являя крайнее усердие, прошел через комнату, вопросительно поглядел на мать, вытащил из-под кровати палку, снова вопросительно глянул на мать и, вернувшись ко мне, приказал: — Скинь штаны!

Я знал, что это последует, но не стал предупреждать события, а тут снял штаны, подал ему и смотрел, как он тщательно разглаживает рукой мокрую тряпицу до того, как положить на стол, и все еще не нагнулся, дожидаясь приказа «Нагнись!», а потом уперся ладонями в трясущиеся ляжки и мгновенно выпрямился, еще до того как на меня обрушился первый удар.

С осуждающим и даже удивленным видом опустил он палку, искательно посмотрел на мать, словно извиняясь за мое малодушие, но она и тут не шелохнулась. Палка снова взлетела в воздух, я нагнулся, подобрал голый зад и, сцепив зубы, искоса глянул на мать, но снова с молниеносной быстротой увернулся от удара. Сделав два шага для разминки, слегка потер зад и снова нагнулся под занесенной палкой. На сей раз я твердо решил вынести удар, но еще до того, как палка, жужжа, опустилась, гвозди на полу ожили, раки вцепились мне в подколенки, альбатрос рубанул меня по затылку — тут уж ничего не поделаешь: я рухнул на колени и заревел.

Этого мать, видно, от меня не ожидала, она пробудилась от оцепенения, опустила руки, смерила меня усталым, презрительным взглядом и, утратив всякий интерес к наказанию, вышла из комнаты. Отец озадаченно проводил ее взглядом, бросился было за ней и даже что-то пробормотал вслеп, но мать уже миновала коридор и заперлась в спальне — слышно было, как ключ повернулся в замке.

Что еще оставалось ему, как не пожать плечами. Он смущенно поглядел на меня; я уловил в этом какой-то шанс, жалобно улыбнулся ему, продолжая хныкать, и даже отважился подмигнуть с видом сообщника, радующегося, что миновала опасность, но без особого успеха — у меня получилось что-то вроде гримасы; отец посмотрел на часы, без всякого желания ухватил меня за рубашку и поволок к столу. Он надавил на меня и аккуратно, всем туловищем уложил на стол. Я слегка отжался. Он снова надавил. Я слегка отжался. Он

ребром ладони стукнул меня по затылку. Я взметнулся на столе и слегка отжался. Под лицом у меня лежала полотняная голубая морская карта, здесь простирались океаны, где я господствовал в мечтах, разыгрывая грандиозные морские баталии, здесь одержал я победу у Лепанто и у Трафальгара, здесь повторил Скагеррацкий бой, а также Скапа-Флоу, Оркней и Фолклендскую битву, тогда как сейчас, точно потерпевший крушение, с изодранными парусами влачился по следам своих воображаемых побед.

Я, признаться, не ожидал, что уже первый удар причинит мне такую обжигающую боль, тем более что палкой орудовали без азарта и даже с некоторой досадой, но уже от первого удара у меня вздулся на сиденье кровоподтек; я так и взвился, но левая рука отца опять придавила меня к столу, погрузив в бездонное палящее море боли и унижения, тогда как правая занесла палку и опустила, но как-то рассеянно, хоть и с достаточным эффектом. И поскольку я на каждый удар отвечал сухим, пронзительным и даже чуть преувеличенным воплем, отец нет-нет прислушивался к тому, что делается в коридоре, ожидая появления матери, — ведь он моими криками щедро компенсировал ее давешнее разочарование.

Звуки, которыми сопровождалась экзекуция, не могли не коснуться ее ушей в тишине и прохладе спальни, рассуждал отец, и, значит, она не останется к ним равнодушной, и он, не переставая, ворочал головой, прислушиваясь и поглядывая в сторону двери. Мой отец. Безотказное орудие. Добросовестный исполнитель. Мать не появлялась. И даже когда я издал отрывистый, задыхающийся вопль — как-никак нечто новое, — она и тут не показалась, чем и вовсе его обескуражила; последние удары были нанесены почти машинально, а когда я оглянулся, он палкой указал мне на кровать.

Я повалился без сил. Отец концом палки приподнял мой подбородок, и сквозь слезы, застилавшие мне глаза, я увидел, что он изнурен и несчастлив; однако, словно желая доказать противное, он спросил, повысив голос:

— Ну-с, что скажешь?

Чтобы избавить его от необходимости повторить вопрос, я поторопился ответить:

— Я обязан в грозу быть дома.

Он кивнул, явно удовлетворенный, и убрал палку.

— Вот именно, ты обязан в грозу быть дома. Этого требует твоя мать, и я требую: в грозу быть дома.

Он вытащил из-под меня одеяло, набросил на меня и, опустившись на табурет перед моим океаном и скосив глаза на дверь, сидел беспомощно и праздно, поскольку остался без поручения, а без поручения он не чувствовал себя человеком. Ему было не впервой проводить часы в тихом, вялом прозябании, особенно зимой, когда ничего не случалось, и он мог часами созерцать огонь в печи и оживал по-настоящему, только когда ему давали какое-нибудь легко обозримое и не допускающее кривотолков поручение, для выполнения которого надо было, скажем, придумывать и задавать вопросы.

Я ревел не за страх, а за совесть, следя из-под локтя за ним одним глазом; кровоподтеки жгли, одеяло невыносимой тяжестью давило на рассеченную кожу; хоть бы он ушел, я ничего так не желал, как остаться одному, а он все не уходил, мой скулеж и вся эта малоприятная обстановка нисколько ему не мешали. Он вдруг даже встал, подошел, слегка коснулся моего плеча и как бы вскользь заметил:

— Ты знай держись того, что тебе говорят, — этого вполне хватит, понятно?

Я сказал:

— Да.

— Толковый человек должен уметь повиноваться, — сказал он, и я, чтобы от него избавиться, поспешно:

— Да, отец, да! — а он опять раздумчиво и монотонно:

— Мы из тебя человека сделаем, увидишь. — И внезапно: — А он работал, художник?

Я не сразу догадался, что ему нужно, он снова спросил:

— Ну, в кабине, художник — он при вас работал?

Я с удивлением вскинул глаза и понял, что от моего ответа кое-что зависит, что

сведения, коими я располагаю, что-то значат, и притворился, будто мне трудно вспомнить или, говоря точнее, будто от боли, которую он мне причинил, у меня отшибло память.

— Чайки, — сказал я наконец, — он показал нам чаек, и каждая была вылитый ты.

Отцу, конечно, захотелось узнать побольше, но больше я ничего не мог ему сообщить, однако и то, что он узнал, его преобразило: куда девалась его нерешительность, он точно проснулся, стал как-то вертляв, слух у него обострился, лицо ожило, он даже напустил на себя выражение обиды и бросил в окно угрожающий и разочарованный взгляд, во всяком случае, так это видится мне сейчас, а затем — и уж этого мне нипочем не забыть — он подсел ко мне на кровать, посмотрел на меня настойчиво и испытующе, даже как-то просительно, и сказал с расстановкой:

— Мы будем работать вместе, Зигги. Ты мне нужен. Ты мне поможешь. Вдвоем мы с каждым сладим, будь он сто раз художник. Ты будешь на меня работать. Зато я из тебя человека сделаю. Это нужно. А теперь слушай! Да перестань реветь! Слушай меня!

## Глава IV

### День рождения

Все выше, все быстрее и круче. Все сильнее взмах. Все ближе к растрепанной кроне развесистой старой яблони, посаженной еще стариком Фредериксеном в дни молодости. Когда доска на дрожащих натянутых веревках спускалась вниз из зеленого сумрака, в ушах свистело, железные кольца скрипели и продувало резким сквозняком, а по выпрямленному до отказа, хорошо отбалансированному телу Ютты пробегали узорчатые тени ветвей. Она взлетала вверх, на какую-то секунду замирала в воздухе и падала, а я вторгался в это падение, на лету перехватывая качающуюся доску, или бедра Ютты, или ее маленький задик, и сильным толчком посылал ее вперед и вверх — к яблоне кроне; словно выброшенная катапульти, взлетала она в развевающемся платье, вытянув перед собой ноги, и свистящий ветер лепил ее тело, отбрасывал волосы назад и еще острее очерчивал скуластое насмешливое лицо. Она изо всех сил старалась перемахнуть через качели, а я изо всех сил старался раскачать ее как следует. Но ничего у нас не получалось, даже когда она встала на доску, расставив ноги, — то ли сук был кривой, то ли взмах недостаточно сильный: а было это в саду художника, в день шестидесятилетия доктора Бусбека. И когда Ютта поняла, что ничего у меня не выйдет, она опустилась на доску и уже без честолобивых притязаний, улыбаясь, покачивалась взад-вперед, поглядывая на меня своим особенным, только ей присущим взглядом, затем поймала меня в клещи своих худых загорелых ног и не отпускала, и тогда я перестал ощущать что-либо, кроме ее близости. Во всяком случае, я почувствовал ее близость, и она почувствовала, что я почувствовал, в этом я мог бы поклясться, но я приказал себе хранить спокойствие и подождать, что будет дальше, но дальше так ничего и не было: Ютта поцеловала меня небрежно, мельком, разжала клещи ног, соскользнула с доски и побежала к дому, где Дитте, выглянув в одно из четырехсот окон, протягивала нам на раскрытой ладони несколько ломтей светло-желтого пирога с крошкой, как птицам протягивают корм.

Я схватил палку и кинулся за Юттой. Чтобы сократить дорогу, я перескакивал через цветочные грядки и кустики, однако напрасно мы торопились; мы с Юттой не успели добежать до окна, как я увидел Йоста: не то огромная шаровая молния, не то тучное проворное чудовище, короткопалое и губастое, выкатилось из беседки и, ни на что не глядя, топчя крупные маки и цинии, все это соперничающее между собой богатство и разнообразие красок, конечно же, первым добежало до окна, вырвало из рук Дитте куски пирога, сунуло два куса в карман и, зажмурившись от наслаждения, заглохнуло третий. Всем своим видом Йост говорил, что ни с кем не поделится захваченной добычей, он никогда еще не выпустил того, что попало ему в лапы, а потому Дитте не стала вдаваться в бесполезные увещания, а

поманила нас к себе в необозримую блеекенварфскую горницу.

Мне хотелось догнать Ютту в темной прихожей, но она, не отвечая на мой зов, убежала вперед и распахнула дверь, когда я только нащупывал дорогу мимо шпалеры ведер, веников и ларей. Дверь она оставила открытой, но оглянуться не соизволила. Меня насторожила стоявшая вокруг тишина, и я, тихо ступая, подошел к порогу в ожидании найти горницу покинутой и пустой, но когда я не без колебания вошел и оглянулся, меня вдруг охватил испуг, как случилось бы со всяким, кто вступил сюда с моим представлением о том, что меня ждет: за узким бесконечно длинным столом празднично расселись поседелые от старости морские обитатели; погруженные в загадочное созерцание, они молчком попивали кофек и молчком заглатывали сухой бисквит, ореховые торты и светло-желтые пироги с крошкой. В надменных блеекенварфских креслах прикорнули длинноногие омары, крабы и раки. Тут и там их жесткие, одетые в броню суставы издавали сухой хруст; позвякивала чашка, отставленная на стол костяными клешнями омара; некоторые чудовища скользили по мне безучастными стебельчатыми глазами, невозмутимые, с монументальным безразличием иных божеств. Но при всем при том молчаливое сборище морских тварей до странности походило на знакомых мне людей: так, двое напоминали пожилую чету Хольмсенов из Хольмсенварфа, мне показалось, что я узнаю пастора Треплина и учителя Плённиса, я даже заметил отца, а также Хильке и Адди, а рядом с нежнейшей морской форелью, удивительно похожей на доктора Бусбека, увидел свою мать с неприязненным лицом и суровым шиньоном вместо зубчатого плавника с колочками. И только один из присутствующих носился, кричал и резвился, как электрический скат, — сам художник.

Все тот же художник распорядился:

— Мелюзгу за малый стол! — И тотчас же рядом выросла Дитте, потянула меня за руку к небольшому столу и мягко, за плечи усадила на старомодный стул со слегка скошенным сиденьем, на котором приходилось держаться прямо и не вертеться по сторонам, иначе рискуешь с него скатиться. Дитте взяла у меня мою усаженную кнопками палку и положила на подоконник. Она приказала Ютте налить мне молока и, слегка повернув круглую тарелку с пирогом, минут этак на пятнадцать, если по часам, ласково сказала: «Кушай, сколько захочешь» — и потрепала меня по затылку, прежде чем вернуться к фантастическому сборищу, где и сама преобразилась в плоский морской язык.

Я забыл о пироге, позабыл и о молоке. Неотрывно глядел я на Ютту, сидящую напротив: мне вдруг так захотелось ее внимания, что я беззвучно приказал ей на меня взглянуть, а когда это не подействовало, толкнул ее под столом — раз и еще раз, пока она не убрала ноги, но без тени недовольства или упрека, а с неподвижным, остраненно-безразличным лицом. Я не знал, о чем она думает, о чем мечтает или что решает про себя, я только глядел в ее черные отсутствующие глаза, в которых отсвечивали лучи садящегося солнца, и следил за тем, как ее крепкие зубы вонзаются в пирог и прикусывают, между тем как взгляд ее, минуя меня, скользит по горнице, где даже и сейчас отстаивалась многолетняя тишина и одиночество прошедших зим.

Красно-белое клетчатое платье Ютты, ее худые руки, ее свисающие пряди волос и бледные губы, той Ютты, которая в любую минуту готова была отказаться от своих слов, — с какой легкостью память возвращает мне ее образ, как мало нужно усилий, чтобы снова пригласить ее за свой столик, и я опять поражаюсь тому, что и качели и все мои старания у качелей так скоро позабыты. Но такова была Ютта: еще за секунду — подруга, соучастница и сообщница, она уже в следующую секунду ускользала от вас. Такой она была, но чего я совсем не ждал — это что она вдруг встанет и, закусив кусочек пирога, пройдет через всю горницу к пиршественному столу, пошепчется с Адди Скворнеком, вызвав у него, как и следовало ожидать, скорее удивление, чем досаду, а потом повернет к двери и, втянув голову в плечи, исчезнет без малейшего кивка в мою сторону.

Но тут уж я решительно отказался за ней следовать, я положил свой кусок пирога на ее тарелку, перелил свое молоко в ее стакан. Сел на ее стул и даже не поглядел в окно, где без труда обнаружил бы ее в саду перед живой изгородью, на мостике без перил. Глядя на

жующее общество, я и сам приналег и, поскольку здесь стояли еще тарелка и стакан, умял про запас весь пирог и выхлебал все молоко, впрочем, вру — это и мне было бы не по силам, — остатки молока я вылил в глубокую тарелку из-под пирога и разбудил кошку, спавшую на третьем стуле, предназначенном для Йоста; кошка спала, выгнув спинку и сложив лапки; скосив на молоко мерцающий взгляд, она сначала лизнула его свернутым в трубочку языком, а потом принялась лакать. В заключение она дочиста облизала тарелку, так что не стыдно было снова поставить на стол, сильно потянувшись, припав к полу, облизала себе ляжки, осторожными, неторопливыми шажками подошла и забралась ко мне на колени, несколько раз повернулась вокруг воображаемой оси и как-то сразу изнемогла: повалилась на бок и замурлыкала, вытянув переднюю лапку и сунув ее мне в руку.

Я смотрел на молчаливое сборище, которое все еще чавкало, глотало, давилось и многозначительно покашливало за бесконечным столом, концы которого терялись в отдаленных сумерках, быть может в сумерках отмелей и проток, и теперь узнал еще и дедушку Пера Арне Шесселя, неутомимого едока и краеведа, а также инспектора плотин Бультйоганна и рядом с ним — девяностодвухлетнего капитана Андерсена из Глюзерупа, который снялся по меньшей мере в пятидесяти пяти научно-популярных фильмах в роли капитана; его аккуратно подстриженная веночком седая борода была словно создана для этой роли, а водянисто-пустой взгляд сходил за тоску по неизведанным просторам. Если бы я захотел поименно перечислить сидящих за столом, на это ушла бы вся зима и Эльба очистилась бы ото льда, а потому упомяну еще только Хильду Изенбюттель и бывшего птичьего смотрителя Кольшмидта; их я разглядел среди чешуйчатых брылястых гостей, а также не преминул заметить, что некая фосфоресцирующая креветка с толстыми икрами непрерывно делает мне знаки, которые могли означать только одно: «Хочешь торта, малыш? Поди сюда!»

Я не хотел торта. Я с нетерпением ждал, чтобы начался день рождения, но все еще не было надежды, что общество отвалится от еды: не слышно было ни оханий, ни вздохов, ни малейшего признака капитуляции перед неустанно циркулирующими башнями пирогов и тортов, а уж больше всех старался мой дедушка: подобный мудрому, обросшему ракушками омару, удобно пристроившись за столом, он медленно, но верно уписывал миски пирогов, как бы подзадоривая научно-популярного капитана и в этом случае не ударить лицом в грязь. Если в наших краях берутся есть, то уж едят как следует хотя бы потому, что, по выражению дедушки, за едой незаметно проходит время, а это, казалось, всех устраивало, и даже оmundиренная пикша, как две капли воды похожая на моего отца, только потому уминала клинья ореховых и медовых тортов величиной с деревянную колодку, что за этим занятием незаметно проходит время.

Да и женщины не отставали от мужчин в своем желании посрамить время: пока они дремотно трудились над одним куском, глаза их подбирались к следующему, а когда кусок застревал в горле и уставали челюсти, они вливали в себя потоки дымящегося кофе.

Такое радение глюзерупцев за чашкой кофе имеет свои поучительные стороны: если отвлечься от вялой жадности, которая не отступает и перед самыми ошеломляющими выводами вроде того, что гостеприимного хозяина не мешает проучить, то нельзя не подивиться девяти предписанным в таких случаях сортам печева, которые подаются в строго предусмотренном порядке, а также сахарницам, полным рафинада, каковой макают в кофе, перед тем как его разжевать, не говоря уже о мисках со взбитыми сливками: ими густо уснащают кофе, предварительно плеснув в него неразбавленного шнапса.

Однако я не хочу углубляться в подробности, из которых можно бы составить целую книгу, не стану также вдаваться в догадки, как понимать царящее за столом молчание, — признаюсь, мне не терпится встряхнуть художника, заставить его сняться с высокого резного кресла и направиться к возглавию стола, а именно к доктору Бусбеку, которому нынче как-никак исполнилось шестьдесят лет.

Бусбек, как мне показалось, с приближением художника еще больше смутился и поник; он сжался, как сжимается от прикосновения моллюск, стал сер и незаметен и даже склонил

голову набок и огляделся, словно в надежде увидеть по соседству другого Бусбека, которому легче перенести внимание, в центре которого оказался он сам. Художник слегка нагнулся, с заслуженной фамильярностью потрепал его по спине, чтобы придать ему храбрости, и произнес: «Дорогой Тео, дорогие друзья!», но дорогой Тео весь поник от этого обращения, а дорогие друзья, ухмыляясь, воззрились на него, чем еще больше смутили маленького человечка, если только это вообще возможно.

— Я не поклонник широковещательных речей, — продолжал художник, и в этом он в порядке исключения не погрешил против истины, да и сейчас остался себе верен, ибо ограничился тем, что припомнил Бусбеку некий вечер в Кёльне тридцатилетней давности; если я правильно его понял, Дитте была в тот вечер больна. Она лежала пусть и не в холодной, как погреб, но в дрянной комнатухе дрянного пансиона, возможно даже, через комнату была протянута веревка для белья, а электрическую лампочку собственноручно вывернула хозяйка. Для полного впечатления можно бы прибавить, что за квартиру было много месяцев не плачено. Во всяком случае, Дитте лежала в постели и трудно дышала, а художник, искавший место преподавателя в художественно-ремесленной школе и потерпевший фиаско, мыл занятую у хозяйки посуду, когда доктор Бусбек, с трудом разыскавший их на неосвещенной деревянной лестнице, с неожиданной для мецената робостью спросил, нельзя ли ему поглядеть работы художника. В каковой просьбе ему не отказали. Нечаянного посетителя, как я понимаю, посадили в угол у окна, вручив ему для просмотра несколько альбомов, и так как присутствие его было почти незаметно — как говорится, не видно и не слышно, — то о нем, как я понимаю, чуть ли не забыли, и никто не ждал, что посетитель вдруг подойдет к накрытому клеенкой столу, держа в руках десять листов. Без разговоров отсчитал он на стол четыреста марок золотом и только и спросил, нельзя ли прийти еще. И так как вопрос этот прозвучал скорее как просьба, то художник, по его словам, не решился ему отказать.

Так, стало быть, тоже бывает: и художник не без удовольствия напомнил себе и Бусбеку тот мартовский вечер в Кёльне — он назвал день и число — и, щедро прибегая к причастным оборотам, поблагодарил друга за его благосклонную тридцатилетнюю дружбу.

— А теперь ты с нами в Блеекенварфе, Тео. Мы не забываем того, что ты для нас... В Кёльне, как и в Люцерне и Амстердаме... Вспоминая наши совместные битвы с великим Шальбергом... А потому мы хотели бы сегодня в день твоего шестидесятилетия... Оглядываясь в этом кругу, я вижу полнейшее единодушие. Вот так, Тео!

Кошка встрепенулась и испуганно соскочила с моих колен: все сидевшие за необозримым столом встали и выпили за здоровье доктора Бусбека, причем каждый подносивший ко рту дрожащей рукой прозрачную водку опрокидывал рюмку, словно преодолевая отвращение. С Шумом поставили гости на стол рюмки и снова уселись, обстоятельно шаркая по полу придвигаемыми стульями, тогда как доктор Бусбек, казавшийся сегодня особенно хрупким и юрким, продолжал стоять в крайнем замешательстве, как бы извиняясь за причиненное беспокойство.

Он стал позади стула и поглядел на свои сложенные на резной спинке руки. А затем высказал то, что, должно быть, давно лежало у него на сердце, попросив у художника и у Дитте, но также и у всех прочих прощения за то, что так долго обременяет их своим присутствием. Он дал понять, что нынешнюю свою жизнь считает лишь временным эпизодом и что достоинство в прошлом не может возместить ему достоинство в настоящем. Он также не умолчал о своей надежде со временем вернуться на то место, где еще может быть полезен. Произнося свою речь, он ни разу не посмотрел на гостей и только нет-нет, вытянув шею и склонив голову набок, поглядывал на Дитте, и жена художника всякий раз отвечала ему улыбкой. И снова благодарил, повторяя, что чувствует себя пригретым, не выключенным из жизни, а, главное, удостоенным — вот именно, удостоенным — дружбой человека, которого за границей, он сказал, за границей, очевидно, не отдавая себе отчета в том, что говорит, — знают как одного из величайших драматургов света и так далее. В заключение он и в самом деле склонился перед Дитте и перед всем этим

фантазмагорическим сборищем и, схватив рюмку, налитую ему художником, осушил ее одним духом. Видно было, что у него polegчало на сердце. Он радостно закивал головой то одному, то другому. С величайшим терпением снова и снова поправлял он съезжающие на запястья крахмальные манжеты. Он попросил налить ему водки и с довольным видом вытер лоб.

Доктор Бусбек и в самом деле мог быть доволен, убедясь, как он всем нам дорог, и когда Макс Людвиг Нансен сказал: «А теперь пойдете поглядим подарки», доктор Бусбек поднял бледное, невыразительное лицо и с места не двинулся, но тут двое, недолго думая подняли его со стула и заставили возглавить шествие в мастерскую, где художник или Дитте, а вернее оба они вместе поставили стол для подарков и украсили его. Как только общество поднялось, я тотчас же соскользнул со стула и первым очутился в темной прихожей, а потом и у двери в мастерскую, и только сердитый жест отца помешал мне первым поспеть к столу с подарками, но все же я оказался четвертым. Что же было представлено на столе? Чего не пожалели жители от Ругбюля до Глюзерупа для человека, которого не считали своим, но который в силу почти понятных им обстоятельств оказался заброшен в их среду? Мне еще помнится булавка для галстука. Помнится бутылка корна, фруктовый пирог, теплый колпак для кофейника и книга Пера Арне Шесселя — он же издатель, — а также коробка сальных свечей. Еще помнится мне полный кисет табака. Припоминаю я и шарф и, уж во всяком случае, бутылку кубанской водки, которую подарили мы. Но прежде всего помнится мне картина «Паруса растворяются в солнечном свете».

Картина стояла по ту сторону стола, прислоненная к стене, рядом выстроились бутылки, перед ней услужливо сложились носки, тут же топорщился колпак для кофейника, фруктовый пирог требовал внимания, шарф обхватил свечи, точно собираясь их задушить, каждый хотел постоять за себя: картина затмевала их простодушную готовность служить.

Я не сводил глаз с доктора Бусбека и видел, как он ступил в исходящий от картины свет, как нерешительно подошел к ней с простертой рукой, словно сам себе не веря; я также видел, как он осторожно, кончиками пальцев коснулся ее, отступил, зажмурился и вдруг, словно содрогнувшись, повел плечами. Там небо и море сливались воедино. Там мягкий лимонно-желтый ласкал светлую лазурь, уговаривая его отжаться. Там парящие паруса возвещали о далеких просторах, намекая на некую минувшую историю, и во имя желанного воссоединения отказывались от своей белизны. Паруса растворялись в солнечном свете, свет постепенно поглощал их, он казался мне единым хвалебным хором. Доктор Бусбек снова подошел к картине с простертой рукой, и тогда художник сказал:

— Как видишь, Тео, она еще не закончена.

— Она совсем готова, — возразил доктор Бусбек, а художник:

— Белое еще просит приглушения.

Тео Бусбек все повторял:

— Это слишком ценный подарок, Макс, я не могу его принять. — На что художник, с подмигом:

— Картину ты получишь, дай только ее закончить.

Все теснились вокруг стола с подарками, сравнивая, обсуждая, оценивая, вычисляя их стоимость в марках и пфеннигах, испытующе оглядывая их, чтобы по возможности определить, кто что принес, об этом они еще обстоятельно потолкуют на обратном пути. Они брали каждый подарок в руки, восхищались им во всеуслышание, передавали по кругу, обменивались мнениями, не оставляя ничего без должного внимания, без проверки на ошупь и на глаз. Они поднимали бутылки в воздух, прищелкивая языком, залезали кулаком в колпак, каждый смеху ради прикалывал себе булавку, а Пер Арне Шессель пустился в объяснение своих растреклятых краеведческих изысканий, суя каждому раскрытую книгу под нос. Все приходили в восторг и не скупилась на похвалу. Кто кивал головой, кто посвистывал сквозь зубы, а научно-популярный капитан Андерсен, нацелясь на картину суковатой палкой, спросил:

— Небось это Ла-Манш? Там частенько такая погода.



— Глюзеруп, на моем участке, — настаивал Бультьюганн, а художник, похлопывая обоих по плечу, без слов соглашался с каждым.

Тогда они отвалились от подарков и, сгрудившись вокруг картины, принялись ее обсуждать, а я не стал их слушать, потому что по деревянному мостику без перил, против живой изгороди, по опушке сада босиком бежала Ютта, неся в руках что-то тяжелое, я еще увидел в окно, как она со своей черной ношей прошмыгнула в садовую беседку; тогда я протиснулся сквозь круг глубокомысленно кивающих зрителей и, прихватив из горницы палку, выскочил через окно в сад, Адди за мной. Он тоже махнул в окно и напрямик через грядки бросился в беседку — то ли он тоже увидел Ютту, то ли она подала ему знак, во всяком случае, он промелькнул мимо и, обгоняя, ткнул меня пальцем в бок.

На черном рифленом земляном полу беседки лежал Аддин аккордеон. Ютта стояла, расставив ноги, в насмешливом ожидании, словно приготовилась спорить, но Адди молчал и только растерянно смотрел на Ютту, качая головой.

— Играй, — сказала она, но Адди с места не двинулся.

— Да играй же, — повторила Ютта, — сегодня ведь день рождения.

Но Адди только плечами пожал.

— А тогда играй тихонько, — настаивала Ютта.

— Конечно, играй тихонько, только для нас, — сказал я, но Адди покачал головой.

— Когда-то был у меня аккордеон, даже два, — сказала Ютта, — и я училась играть.

— А тогда ты сыграй, — сказал я, но она ткнула пальцем в Адди.

— Пусть он играет, это его штука.

— Твоя мать, — сказал Адди, Повернувшись ко мне, — она будет недовольна.

— Зато другие будут довольны, — возразил я, и мы одновременно повернулись к выходу, откуда в беседку падала тень, там стоял Пост, торжествующе улыбаясь, словно накрыл нас с поличным. Он поглядел на ящик, на нас, снова на ящик, подошел, тяжело топая, снял футляр и освободил ремни, — но стоит ли медлить и отодвигать то, что придется установить так или иначе; Адди продел обе руки в ремни и призывно нам кивнул, а мы построились за ним гуськом и — эй-эй! — двинулись из-под крытой соломой беседки, каждый цепляясь за бедра стоящего впереди.

Ютта крепко держалась за Аддины бедра, я держался за узкие, костлявые бедра Ютты, чувствуя на своих бедрах нажим теплых мясистых пальцев Йоста. Направляясь по садовой аллее к мастерской, мы шагали, раскачиваясь, приплясывая, и главное, наклонясь вперед, а ветер задувал, Адди играл, и гавайя распевала в Блеекенварфе свои лучшие мелодии.

Нам уже стучали в окна и кивали, и наш несколько кургузый музыкальный дракон проплыл, раскачиваясь, мимо мастерской и мимо всех четырехсот окошек горницы, мы двигались взад-вперед по черным садовым аллеям, призывая, подзадоривая остальных, и я еще помню, что Хильке присоединилась к нам первая, а за Хильке — пастор Треплин и Хольмсен, а там и птичий смотритель Кольшмидт, и Дитте — именно Дитте, — проходя мимо отца, ухватила его за рукав и положила его руки себе на бедра, и тут шествие наше обрело самостоятельную силу притяжения, необоримую движущую силу, влекущую и вбирающую все на своем пути, хмелящую, раскачивающую силу, которой не мог противостоять ни один человек, попавший в сферу ее притяжения, так что наша вереница все росла и росла и уже нарастила не одну петлю. Теперь и художник включился в шествие, и инспектор плотин Бультьюганн, и Хильда Изенбюттель, не хватало только матушки, но я знал, что никакие силы не заставят ее к нам присоединиться, даже суровая тень ее внушительной фигуры в глубине мастерской выражала надменную неприязнь: Гудрун Йепсен, урожденная Шессель. А ведь могла бы взять пример с того же капитана Андерсена, который в свои девяносто два года по крайней мере сделал попытку проводить раскачивающегося дракона по чудесному песочку через Люнфбургскую степь: наш фотогеничный старикан протиснулся между Юттой и Адди, похрустывая суставами, наклонился вперед, и мне показалось, что я слышу шуршание, словно из лопнувших коробочек мака сеются в его штаны маковые зерна; старик и в самом деле проковылял с нами

несколько метров, пока он, так сказать, не разбросал весь свой осенний мак и не отошел, задыхаясь, в сторону. Адди вел нас, а Ютта управляла им, крепко держа за бедра, и после того, как миновали сад и протиснулись через изгородь, затопали мы по деревянному мостику, а там лугом и вверх на дамбу и чуть ли не по дну Северного моря до самой Англии, — если бы у Адди не возникло другое решение: он круто повернул и, когда мы спустились с дамбы, наша длинная раскачивающаяся вереница почти в точности повторяла движения, которые выписывали мехи аккордеона, когда их сжимали и растягивали. Мы снова направились к Блеекенварфу мимо шпалеры ольховых деревьев, которые отражались во рву и, видимо, были недовольны своим отражением, так как ветер тревожил и морщил воду и стволы их раскачивались, словно в подводной буре. Чтобы цепь не оборвалась по крайней мере в моем звене, я обеими руками обхватил Ютту, а Ютта обхватила Адди, да и многие следовали нашему примеру.

Как сейчас помню, у распашных ворот нас ожидал однорукий почтальон Окко Бродерсен. Он прислонил свой велосипед к наружному косяку. В руке у него была бумага, и он размахивал ею в знак того, что вправе нас остановить.

— Просим присоединиться! — крикнула ему Ютта, и я повторил за ней:

— Просим присоединиться!

Мы насели на него и втащили в цепь вместе с почтой. Мимо ржаво-красного хлева, мимо пруда, мимо сарая, а когда мы огибали мастерскую и я оглянулся, то увидел, что наша вереница рассыпается на части или вот-вот рассыплется, у всех были усталые и оживленные лица, во всяком случае, и оживленные, с чем должна была бы согласиться и матушка. Но и рассыпаясь, шествие все еще следовало за Адди, который изображал на аккордеоне «берлинский дух, дух, дух» или, во всяком случае, давал его почувствовать, после чего кое-кто устремился в дом за столами и стульями, предусмотрительно поглядев на небо над морем. Сверкающие разрывы темных туч, а также голубые лужи и быстро плывущие пушистые облака придали нам смелости, и мы перенесли день рождения в сад.

А теперь не стану мешать тем, кто захочет себе представить, как перетаскивали мебель с места на место, как ее поднимали и ставили, как для пущей скорости ее косяком переправляли через окно, да и вообще всю веселую суматоху переезда на волю, под звуки «La Palome» и «Rolling home» в исполнении Адди, — мне же надо поискать мою усаженную кнопками палку, куда-то я ее сунул, когда у нас организовалось шествие. Но где ее искать? В горнице? В мастерской? Я обошел все аллеи. Обрыскал кустарник. Поискал во дворе и в сарае. Палки не было ни на одном подоконнике. Не плавала она и в пруду. «Не видели мою палку?» — обратился я к двум мужчинам, стоявшим у пруда. Отец и Макс Людвиг Нансен промолчали. Они не ответили ни слова, не покачали даже головой, а только взволнованно молчали, и я продолжал искать, пока вдруг что-то не заподозрил, а тогда я вернулся к пруду, где чета старых белых уток обучала четырех молодых плаванию строем. Прячась за грудой срубленных тополей, я приблизился к старым друзьям из Глюзерупа, протиснулся в пустое пространство между стволами и через почти прямую смотровую щель увидел перед собой отца и художника, но только срезанными по бедра, да так близко, что я различал их отвисшие карманы и даже догадывался, что в них лежит. Земля в моем тайнике была холодная и гладкая, порывистый резкий ветер задувал во все скважины. По мере того как я поднимался и приседал, мужчины то вырастали, то уменьшались, но лиц я не видел, лица оставались вне моего поля зрения.

Прежде всего бросилось мне в глаза письмо в руках художника: перечеркнутое красным крестом, оно было доставлено спешной почтой. Художник, должно быть, уже прочел его и срыву, повелительным жестом протянул отцу, и я понял, что, оказавшись перед выбором — устно изложить содержание письма либо предоставить письму говорить за себя, — отец, как всегда, предпочел то, что меньше его затрудняло. Он дал художнику самому прочитать свой приговор и теперь, спокойно взяв письмо в свои поросшие рыжим волосом руки, заботливо сложил его.

— Вы и впрямь взбеленились, Йенс! — негодовал художник. — Замахнуться на такое!

От меня не укрылось, что, обращаясь к отцу во множественном числе, художник причислял его к некоему множеству.

— Кто дал вам право? Это полнейший произвол.

— Это не я писал, — возразил отец, — и ни на что я не замахиваюсь. — Однако он не удержался от жеста какой-то беспомощности.

— Нет, — сказал художник, — ты не замахиваешься, зато ты рад стараться, когда другие себе бог весть что позволяют.

— Что же прикажешь мне делать? — холодно возразил отец, а художник:

— Все картины последних двух лет — ты понимаешь, что это значит? Вы запретили мне работать. Но вам и этого мало. А что вы еще придумаете? Кто дал вам право конфисковать картины, которых ни одна душа не видела? Которые знает одна только Дитте, ну и, конечно, Тео?

— Ты читал письмо, — сказал отец.

— Читал, — сказал художник, — ну и что ж, что читал?

— Стало быть, тебе известно: приказ гласит конфисковать картины, писанные за последние два года. Я обязан завтра же в упаковке доставить их в Хузум.

Оба замолчали, я скосил глаза и увидел в смотровую щель две узкие брючины, круглые, словно дымовые трубы, они вышли из дома, и я услышал голос:

— Мы о вас соскучились, возвращайтесь скорей!

— Сейчас, сейчас, — откликнулись отец и художник.

Это, должно быть, успокоило дымовые трубы, они повернули и гусиным шагом направились в дом.

— А может статья, они возвратят картины, — услышал я спустя немного голос отца, — в имперской палате их посмотрят и вернут.

В сущности, в устах моего отца, ругбюльского полицейского, подобное предположение звучало вполне невинно, и никто не вправе заподозрить, что он говорит не то, что думает. Художник был так озадачен, что не сразу нашелся, что ответить.

— Йенс, — сказал он тоном, выразившим и горечь и снисхождение, — когда ты наконец поймешь, что только страх заставляет их проделывать такие штуки: запретить человеку работать, конфисковать его картины! О том, чтобы их вернуть, не может быть и речи. Разве что в урне. Спички, Йенс, — вот что сейчас на вооружении у художественной критики, они это, правда, называют разбирательством искусства.

В позе отца уже не чувствовалось растерянности, он даже изобразил нечто вроде начальственного нетерпения, и я не удивился, когда он сказал:

— Предписание прямоком из Берлина, и, значит, говорить не о чем. Ты сам читал приказ. Предупреждаю: при просмотре картин мне потребуется твое присутствие.

— Так это тебе поручено взять их под арест? — спросил художник. А отец сухо и без всякого снисхождения:

— Мы установим, какие картины подлежат изъятию. Я составлю список, по которому их завтра заберут.

— Ну и ну! Я просто ушам своим не верю! — воскликнул художник.

— А ты попробуй прочисти их получше, ничего от этого не изменится.

— Вы сами не понимаете, что делаете, — сказал художник, и тут отец:

— Я выполняю свой долг, Макс.

Я поглядел на руки художника, на эти сильные, искусные руки, он слегка приподнял их и словно схватил ими воздух; я следил за тем, как он сперва растопырил пальцы, а потом сжал их в кулак, словно приняв какое-то решение. Руки отца, напротив, с безжизненной покорностью висели по швам, два смирных существа, как мне показалось, во всяком случае, они были незаметны.

— Пошли, Макс, — сказал он. Но художник с места не двинулся.

— Пусть они хотя бы увидят, что я выполнил свой долг, — сказал отец. А художник внезапно:

— Ни черта вам это не поможет! Такое еще никому не помогло! Хватайте все, что вас страшит, конфискуйте, рвите в клочья, режьте, сжигайте — то, что раз было достигнуто, все равно не уничтожить.

— Не смей говорить со мной таким тоном! — взъелся на него отец.

— С тобой, — отозвался художник, — с тобой я еще не так поговорю, кабы не я, ты бы сейчас гнил на дне моря, среди рыб.

— Пора уже скостить этот долг, — сказал отец, а художник:

— Послушай, Йенс, есть вещи, от которых человек не может отказаться. Я и тогда не отказался, когда нырял за тобой, и сейчас отказываться не стану. А потому заруби себе на носу: я буду по-прежнему писать картины, но только невидимые картины. В них будет столько света, что вы ни черта не разберете! Невидимые картины!

Отец медленно поднял руку к поясному ремню и сказал с угрозой:

— Ты знаешь, Макс, чего от меня требует мой долг.

— Как же, — сказал художник, — прекрасно знаю, но и тебе не мешает знать: меня с души воротит, когда вы рассуждаете о долге. Когда вы рассуждаете о долге, приходится и другим кое о чем задуматься.

Отец шагнул к художнику, он сунул оба больших пальца за поясной ремень, да и вообще приосанился.

— Я не спрашиваю с тебя те картины, про чаек, — сказал он. — Это мы тебе, так и быть, скостим, но с сегодняшнего дня предупреждаю: берегись, Макс! Больше мне тебе советовать нечего — берегись!

— Это я и без тебя знаю, — оборвал его художник, а отец спустя минуту:

— Так пошли, Макс?

— Что ж, пожалуй, — сказал художник, — пошли. — Но, прежде чем пойти, добавил с запинкой: — Только уж здесь ничего такого не показывай, Йенс, а в особенности ему, Тео.

Ругбюльский полицейский промолчал, и я счел это за согласие.

Мимо моей смотровой щели шли они друг за дружкой через пустой, продуваемый ветром двор, я мог бы дотронуться до них, испугать или задеть, но ничего этого не сделал и только еще ниже присел на корточки, позволяя бывшим друзьям вырастать по мере удаления, а как только они скрылись в доме, опять принялся исследовать свой новый тайник, измерил его вдоль и поперек и пришел к заключению, что места здесь достанет и для двоих, скажем для Ютты и для меня.

Проскользнув в щель, я остановился у пруда и обрушил на уток внезапный Скагеррак, так что впереди, позади и между ними разыгрались живописные фонтаны. Снаряды я выбирал разных калибров. Что тут началось! Вода взволновалась, она взбрызгивала, бурлила, кипела, уткам снова и снова приходилось перестраиваться, чтобы уклониться от снарядов, а в завершение, до того как убежать в сад, я дал им понюхать заградительного огня; одна из молодых уток потеряла связь со своей чаетью, панически хлопая крыльями, она бросилась бежать и, окончательно запутавшись, попала как раз в тот квадрат, куда падали мои снаряды: вместо того чтобы, как полагается, держаться старших, она на свою беду угодила под прямое попадание.

Оставив уток, я поторопился вернуться в сад, где Адди продолжал играть на аккордеоне: на сей раз это была песня о девушке, которая, несмотря на тяжелую волну, желала быть со своим далеким матросом — по той причине, что они будто бы принадлежали друг другу, как ветер и море и так далее. Под эту мелодию на большой лужайке танцевали, нет, не танцевали: не только Хильда Изенбюттель — та в первую очередь — но и учитель Плённис, и пожилая чета Хольмсенов шаркали, толклись и притопывали, упорно и сосредоточенно семенили друг вокруг друга, чтобы к предстоящему ужину нагулять аппетит. Но я не стал особенно присматриваться, кто здесь налегает на движение, а кто расселся на скамьях и стульях под перепархивающими тенями такой неподвижной, но сугубо внимательной морской тварью, так как при первом же беглом взгляде увидел в глубине мастерской обоих противников, стоящих наискосок друг за другом, один со вздернутыми

плечами, другой с поникшей головой. Я прильнул к стеклу. Они были одни в мастерской. Оба стояли перед столом подарков. Я уперся ладонями в окно по обе стороны лица и теперь, когда блеск стекла не слепил меня, увидел, что оба стоят перед картиной «Паруса растворяются в свете» и между ними идет упорная тяжба: отец повелительно тычет в картину указательным пальцем, тогда как художник всем телом пытается ее заслонить; один требует, другой отвергает, один насаждает, другой обороняется — и все это беззвучно, в возбужденной аквариумной немоте; я видел, как они спорят, пытаюсь убедить друг друга, но внезапно художник схватил тюбик с краской, выдавил из него короткого червяка, наклонился над холстом и что-то в нем стал менять или подправлять, растирая краску то кончиком пальца, то его ребром, а то, как он часто делал, и мякотью ладони, между тем как отец неподвижно и грозно стоял за его спиной, подобно морскому навигационному знаку, предупреждающему об опасном для плавания месте. Но тут художник выпрямился и вытер пальцы. Я узнал выражение скрытого презрения на его лице. Он подмигнул отцу, и тот как бы задумался, а потом кивнул, видимо не находя возражений, во всяком случае сейчас. Этим и воспользовался художник, оттеснив его в угол, где его не была видно» Тогда я понял, чем разрешился их спор. Повернувшись, я поискал глазами доктора Бусбека и увидел их с Дитте, они стояли рука об руку, осененные тенями сучьев старой яблони: тени как бы перечеркивали его.

Я уже подумывал забраться в одно из открытых окон горницы, чтобы оттуда незаметно проскользнуть в мастерскую, как вдруг музыка оборвалась и Адди, как и в тот раз, грохнулся оземь и засучил, задергал ногами, забился всем телом, заскрежетал зубами. Я бросился к нему, но Хильке меня опередила: как и тогда, среди дюн, она склонилась над ним и прежде всего освободила от тяжелого, развернутого дугой инструмента, охватившего, подобно спасательному жилету, его грудь.

— Уходите, — твердила Хильке, — уходите все!

Но они стекались со всех сторон, они наседали, образуя тесный круг; озадаченные, ошеломленные, а может быть, и перепуганные люди стояли молча, они даже не подталкивали друг друга, а только переглядывались над распростертым Адди, который лежал без сознания, с изменившимся лицом и стиснутыми губами. Все они стояли, выставив одно плечо: чета Хольмсенов, которая только что отплясывала, пастор Треплин, птичий смотритель Кольшмидт и инспектор плотин Бультьоганн. Тут же, храня молчание, застыл мой дедушка, а также учитель Плённис и капитан Андерсен. А вне круга, в стороне, не смешиваясь с другими и выпрямившись во весь рост, стояла матушка с выражением безразличного равнодушия на лице и следила не за Адди, а за Хильке.

И только один человек протиснулся сквозь круг, с тихими, настойчивыми увещаниями обращаясь к ошарашенным зрителям, — доктор Бусбек. Он не ждал. Он ни о чем не спрашивал. Он только просил толпу расступиться и, опустившись на колени против Хильке, вытащил носовой платок и принялся вытирать пот на взмокшем лице музыканта. Между тем Адди уже и сам открыл глаза и все еще как в тумане озирался по сторонам.

— Ему бы сейчас чего покушать, — вскинулся научно-популярный капитан, но никто не отозвался.

— Теперь все, теперь пройдет, — твердила Хильке, между тем как ее Адди с трудом приподнялся и с помощью доктора Бусбека встал на ноги, смутно оглядывая обступивший его круг. Хильке с честью вышла из положения: нельзя было придумать ничего лучше, как, взяв Адди за руку и улыбаясь, повести его к качелям, а потом по наружной извилистой аллее к беседке, так что сборищу не оставалось ничего другого, как разойтись, хотя кое-кто во главе с Пером Арне Шесселем продолжал пялиться из-под тяжелых век на то место, где только что лежал Адди. И тут я увидел, что Адди поднял в беседке мою палку. Показав ее Хильке, он, должно быть, пояснил:

— А ведь это Зиггина палка. — Я не выдержал и, подскочив на месте, изо всех сил замахал руками.

— Здесь я, здесь! — закричал я, и, заметив меня, Адди бросил палку в сад, под качели,

откуда я ее и извлек.

Я хотел ему помахать, но воздержался, увидев, что мать заступила им дорогу у отдаленного старого колодца подле сиреновой беседки и собирается их перехватить. Тогда я уселся под качелями, развернул свой голубой платок, прикрепил его кнопками к палке и с развевающимся голубым флажком в руках стал маршировать взад-вперед мимо скамей, столов и стульев, где гости сидели кучками, перешептываясь и встревоженно шипя. Мой флажок развевался по ветру, я высоко подбрасывал его в воздух, хотя в Ругбюле не было человека, способного понять смысл моих стараний.

Вот и все, покамест все, поскольку я не могу утаить, что в тот самый миг, когда я подбросил флажок высоко в воздух, кто-то постучал в дверь моей камеры, постучал осторожно, даже робко, но достаточно явственно, чтобы самым бесцеремонным образом пробудить меня от воспоминаний; я захлопнул тетрадь и досадливо повернулся к двери. Что-то шевелилось за глазком. Коричневое сменилось белым. Там начала вращаться раскаленная лампочка. Сверкая, ворвались ко мне несколько лучей. И тут пришлось подняться, ибо дверь невыносимо медленно, точно в кинодетективе, отворилась, и уже самая ее медлительность не предвещала ничего хорошего; не хватало только развевающихся гардин и книги, у которой сами собой листаются страницы, и так как я не хотел надолго расставаться с блеекенварфским днем рождения, то и откликнулся:

— Входите! Сквозит!

Он быстро вошел, отступил в сторонку и предоставил Карлу Йозвигу, которого я углядел в коридоре за его спиной, запереть дверь снаружи. Он, видимо, был смущен, уголки его рта подергивались; теперь, когда я о нем думаю, он представляется мне чем-то вроде служителя в зверинце, впервые отважившегося войти в клетку. Неуверенно, но сочувственно улыбаясь, молодой психолог приплясывал на месте. Короткий поклон, с которого он собирался начать, ему не удался, он стоял слишком близко к двери. Он был года на три, а то и на пять старше меня, хрупкого сложения и очень бледен. Мне понравилось, как он одет: на спортивный лад и вместе с тем небрежно. Левая рука судорожно сжата, я не мог понять почему: то ли он приготовил для меня, так сказать, кусок сахара, то ли оружие. Так как он явился без приглашения, я ограничился тем, что молча его разглядывал, не скрывая своего удивления и недовольства; мой взгляд требовал от посетителя краткости.

— Господин Йепсен? — обратился он ко мне любезно, на что я, слегка поколебавшись, ответил не слишком приветливо:

— Он самый.

Однако это нисколько его не обескуражило; он оттолкнулся от двери задней частью, протянул мне вялую руку и представился:

— Макенрот, Вольфганг Макенрот, счастлив с вами познакомиться. — Он ласково улыбнулся, сбросил плащ, положил его на стол, с неожиданной фамильярностью тронул меня за локоть, посмотрел на меня, будто мы век знакомы, движением руки спросил, может ли он располагать моим стулом. Я с сожалением покачал головой. Никак, мол, нет, стул занят.

— Если это вам не известно, — пояснил я, — здесь работают: я выполняю штрафное задание.

Это, мол, ему известно. Молодой психолог был в курсе того, что со мной произошло. Он рассыпался в похвалах моей задаче и даже извинился, что помешал, но сослался на особое разрешение директора Гимпеля, полученное в порядке исключения.

— У меня к вам большая просьба, господин Йепсен, — обратился он ко мне, — я рассчитываю на вашу помощь, от вас очень многое зависит.

Я пожал плечами и вежливо пробормотал:

— Отчаливай, салага, мне тоже никто еще не помог. — И чтобы показать, что у меня нет для него времени, уселся на единственный в камере стул и стал играть карманным зеркальцем. Позаимствовав свет у электрической лампочки, оно направило луч на печку, раковину и окно. На короткое время луч задержался у глазка, за которым я угадывал бдительное око Йозвига, расцвел потолок парочкой-другой мимолетных световых гирлянд,

беззвучно расщепил дверь на узкие полоски. Но так как молодой психолог по-прежнему не уходил, я наконец почистил себе сапоги световым зайчиком, словом, делал все, что делают, когда чувствуют себя в одиночестве. Я не замечал посетителя и, снова раскрыв тетрадь, попытался, читая текст, восстановить свою близость к блеекенварфскому саду. Вольфганг Макенрот не уходил. Он не уходил и вместо этого внимательно и дружелюбно меня разглядывал, как разглядывают непривычную собственность, которую еще нужно освоить, а так как я чувствовал, что этот ученый начинает невольно мне нравиться своим приятельским обращением, то и спросил, не ошибся ли он дверью.

— Вы и я, господин Йепсен, — воззвал, он ко мне, — мы с вами должны заключить союз. — И тут он посвятил меня в свои планы. Молодому психологу требовалось написать дипломную работу. Эта работа, которую он именовал своим добровольным штрафным заданием, мол, необходима ему для научной карьеры. Ловко свертывая сигаретки для нас обоих и массируя шею, он предложил мне сделаться его темой. Я должен, по его словам, войти в его дипломную работу, стать предметом тщательной обработки. Мне предстояло научное захоронение по первому разряду. «Мой случай», как он выразился, подкупающе подсмеиваясь над собой, должен быть проработан с исчерпывающей полнотой, со всеми своими взлетами и падениями. Заглавие, можно сказать, у него в кармане: «Искусство и преступление, их взаимосвязь, представленная на опыте Зигги Й.», — так будет называться это исследование. Для того чтобы работа эта не только удалась, но и встретила в ученом мире должное — он так и сказал: должное признание, — ему не обойтись без моей помощи. Он же со своей стороны предложил мне, подмигивая, некое остроумное возмещение: то крайне редко встречающееся чувство страха, которое, по его мнению, явилось истинным побудителем моих прошлых деяний, он собирается назвать «фобией Йепсена», что поможет мне в некий прекрасный день попасть в психологический лексикон.

Изложив мне свои планы с открытой душой по особому разрешению директора Гимпеля, молодой ученый, не отходя от стола, положил мне руку на плечо и наклонился ко мне, изобразив на лице усмешку, более уместную между заговорщиками, чем между психологом и юным преступником. Эта улыбка сбила меня с толку, мне не удалось молчком от нее отмахнуться, тем более что он продолжал говорить шепотом и все так же шепотом пояснил, как представляет он себе истинную цель своей дипломной: он, мол, намерен выступить в мою защиту и добиться моего освобождения; он намерен оправдать мои хищения картин, а созданную мною в старом ветряке частную коллекцию объявить положительным свершением, да и вообще собирается представить мое дело как пограничный случай и требовать для меня оправдания по еще несуществующей статье. Негромкий, убежденный фанатизм, с каким он это изложил, внушал доверие. Признаюсь, среди ста двадцати одержимых дрессировкой психологов, превративших наш остров в научный манеж, единственный, кому бы я, пусть и с оглядкой, доверился, был Вольфганг Макенрот.

Отчасти меня беспокоило, что он слишком много обо мне знает. Он досконально изучил мое дело, он был в курсе. Поначалу меня привлекла в этом предложении надежда, что, помогая Макенроту в его штрафном задании, я заручусь его поддержкой в выполнении моего, особенно при условии, что он будет снабжать меня сигаретами, но, сообразив, что он с директором Гимпелем чуть ли не на дружеской ноге, я оставил эту мысль; я пристально к нему приглядывался, к его бледному личику, тонкой шее и нежным ручкам, критически прислушивался к его голосу и, хотя чем дальше продолжался его визит, тем больше крепло мое доверие, сказал, что предложение его слишком для меня неожиданно. Мне нужно поразмыслить.

— Но, надеюсь, вы мне позволите иногда вас посещать? — спросил он. Это я ему разрешил, чтобы от него отделаться, а также согласился на его предложение время от времени представлять мне для ознакомления избранные отрывки из его дипломной, преимущественно, как я понял, критического порядка; он так и сказал: представлять для ознакомления. В заключение он поблагодарил меня. Торопливо, как бы боясь, что я вдруг передумаю, надел плащ, и уходя бросил: «Я вас не подведу, господин Йепсен», дружески

пожал мне руку, направился к двери и постучал, в ответ на что Карл Йозвиг, так и не показавшись, открыл дверь и выпустил юного психолога. Я прислушался к его шагам, он явно торопился.

С тех пор я сижу за своим щербатым столом и пытаюсь вернуться к дню рождения, охвачу доброты до него по цепочке воспоминаний, чтобы, находясь здесь, одновременно присутствовать в Блеекенварфе, в саду художника, среди праздничной морской твари, ожидающей ужина. Я мог бы описать, как подавали ужин, мог бы в честь доктора Бусбека показать великолепный солнечный закат, как желтый цвет патетически взаимодействовал с красным, а в заключение изобразить воздушный бой на высоте примерно восьми тысяч метров, который в этот памятный день занял нас на несколько минут, но ничто не в силах изменить того обстоятельства, что я первым ушел со дня рождения. И ушел отнюдь не добровольно.

Где же это было? Где она поймала меня? У качелей, в беседке, на деревянном мостике? Я по-прежнему держал в руках голубой флажок и все что-то искал, ветер утомился. Внезапно передо мной выросла матушка. Суровая, вне себя от ярости, она что-то силилась сказать, но не могла выговорить, у нее вырвался только короткий стон, и она оскалила зубы, как всегда, когда чувствовала себя оскорбленной и обманутой. Она схватила меня за руку. Она прижала ее к бедру. Рывками повернулась, вздернула голову, насколько позволял ее скрепленный сеткой и шпильками тугий шиньон, напоминающий глянцевиую опухоль, и поволокла меня из сада и со дня рождения. Своей пугающей походкой, в которой было что-то паническое, шагала эта плоскогрудая рослая женщина впереди, таща меня за собой через лужайку, мимо мастерской и через двор, по-прежнему не произнося ни слова, не удостоив вниманием капитана Андерсена, который приветствовал нас сообщением, что «сейчас будет чего пожевать», все так же таща меня на буксире, толкнула распашные ворота и кинулась по длинной, обсаженной ольхой подъездной аллее к дамбе, на которую мы поднимались, согнувшись в три погибели, и с которой спустились в сторону моря, так ни разу и не оглянувшись на Блеекенварф.

Глядя со стороны, Гудрун Йепсен должна была производить впечатление вконец отчаявшейся матери, которая, находясь в последней крайности, решила утопиться вместе с сыном в волнах Северного моря. Я уже было призадумался над тем, что мне предстоит, какая ответственная задача: хлюпая через прибой, проводить мать и послушно утопиться вместе с ней у бакана, указывающего место бывшего крушения, когда она, внезапно изменив курс, пошла низом вдоль дамбы, невидимая для всех, кто стал бы глядеть нам вслед из Блеекенварфа. Наконец она выпустила мою руку. Она приказала мне идти впереди, и тогда я спросил не поворачиваясь, почему мы ни с того ни с сего ушли с дня рождения. Никакого ответа. Я спросил, ушел ли отец или собирается уходить, а она только фыркнула и промолчала. Так она и молчала, пока мы не подошли к маяку в красной шапке. Тут она произнесла:

— Скорее, поторопись, мне надо принять мои успокоительные порошки и лечь. — Теперь уж она вырвалась вперед и больше не следила, иду ли я за ней.

Я, однако, шел за ней впритык, мы вместе поднялись на крыльцо и вместе вошли в кухню, где она тотчас же потянулась к глянцевиым, аккуратно построенным в шеренгу банкам с надписями: «Саго», «Рис», «Мука», «Перловка», наполненным чем угодно, только не тем, что обещала надпись в позолоченной рамочке. Одну из банок она нагнула и из кучи стеклянных трубочек, коробочек и ампул выудила порошок, развела содержимое в стакане воды и, сидя с закрытыми глазами, выпила. Повергнутый в трепет, я испуганно и покорно стоял перед ней и разглядывал ее с интересом и упреком — ее острый подбородок, рыжеватые ресницы, широкие ноздри, искривленные губы, — не смея до нее дотронуться. Между тем мать уперлась обеими руками в сиденье стула. Потянулась всем телом. На секунду задержала дыхание. Я спросил, помогает ли ей лекарство, и тут же — нельзя ли мне вернуться в Блеекенварф на день рождения, а когда ответа не последовало, спросил, почему надо было так быстро бежать вдоль дамбы. Только тут она поглядела на меня, сощуриив глаза,



поднялась и приказала следовать за ней.

Мы прошли наверх, мимо моей комнаты поднялись на чердак и открыли дверь в мансарду, где жил Адди. Там стоял фибровый чемодан. На подоконнике поблескивал бритвенный прибор. На кровати лежал пуловер. Под табуретом новые парусиновые туфли дожидались хорошей погоды. На комод лежала фуражка, шарф и стопка носовых платков, а на подушке книга «Мы взяли Нарвик».

— Собери все и упакуй, — приказала мать и, так как я с места не двинулся, добавила: — Уложи в чемодан.

Ей пришлось повторить свой приказ убрать Аддины вещи в его чемодан, и, когда под ее недреманным оком я все же взялся за упаковку, она тихо добавила:

— Ничего не оставляй, пусть забирает все свое добро, до последней нитки. — Она подала мне дешевый, видно не бывший еще в употреблении фотоаппарат и сказала: — Положи его с носками.

Один из галстуков она свернула собственноручно и сунула под верхние рубашки. Мы складывали, свертывали, разглаживали, убирали в стопки, пока в каморке не осталось ничего напоминающего об Адди, кроме чемодана; когда же Гудрун Йепсен подняла чемодан и вынесла из каморки, нельзя было не заметить, до чего он ей противен, у нее даже руку свело от отвращения. Как я объяснял себе происходящее? Сперва я подумал, что мать хочет перевести Адди в лучшую комнату, и даже понадеялся, что его устроят со мной, но нет, мы спустились в прихожую, и здесь, перед конторой, она бросила чемодан на пол, придвинула его к стене и старательно отряхнула руки.

— Адди уезжает? — позволил я себе опросить, а она, заметно успокоившись:

— Он здесь ничего не потерял, потому и уезжает, я его предупредила.

— Но почему он должен, уехать?

— Тебе этого не понять, — заявила она и глянула в окно через равнину в сторону Блеекенварфа. И внезапно, не двигаясь и не возвышая голоса: — Нам не нужны больные в семье.

— А как же Хильке? — поинтересовался я. — Тоже уезжает?

— А вот увидим, что перевесит, какие узы. — Она в самом деле сказала «узы».

Я глядел в ее суровое красноватое лицо и уже понимал, что день рождения кончился, что мне она так или иначе не позволит вернуться в Блеекенварф, а потому только кивнул, когда она послала меня спать, снабдив единственным бутербродом с копченой колбасой. Я затемнил окно. Разделся и выложил на стул подле кровати всю мою сбрую в той последовательности, как она меня приучила: сначала тщательно разгладил брюки, сверху положил пуловер, свернутый в четырехугольник, на него — кромка с кромкой — верхнюю рубашку и в абсолютном соответствии с ней нижнюю, чтобы утром все это надеть в обратном порядке. Я прислушался. В доме стояла тишина.

## Глава V Тайники

Но это утро требует описания. И даже если мы во веяном воспоминании каждый раз открываем другое значение, неважно, я должен воссоздать неторопливый рассвет, в котором желтый, неудержимо желтый тон спорит с серым и коричневым; я должен внести в эту картину лето с его необъятным горизонтом, с каналами и полетом чибисов, я должен провести по небу длинные шлейфы, следы пролетевших самолетов, и пусть за дамбой слышится бодрая трескотня катера; чтобы восстановить это памятное утро, я должен рассеять по ландшафту деревья и кустарники, приземистые усадьбы, над которыми еще не вьется дымок, а также щедро разбросать по пастбищам пестрый черно-белый скот. Таково было то утро, когда я проснулся, проснулся поневоле, так как что-то поклевывало и долбило

стекло в окне, все чаще и нетерпеливее; сначала я продолжал лежать и только прислушивался к дробному постукиванию в стекло, у меня даже мелькнула мысль о крапивниках. А потом словно забарабанил дождь, песчаный дождь. Звонко ударялись в стекла крохотные песчинки. Я присел в постели и стал наблюдать за окном: несмотря на всю эту стукотню, по стеклу еще не пробежало ни одной трещинки. А затем, после нескольких щелкающих попаданий, которые я только слышал, но не устерег, я различил быстро приближающееся песчаное облачко, которое звонкой дробью шарахнуло по стеклу, — тут уж я вынырнул из постели, подбежал к окну и устоялся на тихий утренний рассвет. И так как ни на среднем, ни на заднем плане ничто не двигалось, мне бросилось в глаза короткое движение на переднем плане, движение поднятой руки, которая внизу, в сарае, между козлами и щербатым чурбаком, настойчиво требовала внимания, но я не сразу признал брата Клааса, который стоял внизу во френче, с толстой белой повязкой на руке. Да и трудно было ожидать, что он появится у нас в такую рань, без предварительного извещения; после того как он дважды прострелил себе руку, мы узнали только, что его поместили в гамбургскую тюремную больницу, где ему были запрещены всякие посещения. Дома у нас имя его больше не упоминалось, а полученные от него две открытки, конечно, так и остались без ответа.

Клаас высунулся из сарая, помахал мне и отступил назад, а я бросился к кровати, потом к двери, послушал, снова кинулся к кровати, натянул штаны и рубашку и, до того как спуститься в прихожую, сделал: ему знак из окна. В прихожей ничто не шевелилось. Все спали. Спали в своих длинных шершавых ночных рубахах, под тяжелыми одеялами, на жестких серых домотканых простынях, а над спящими переглядывались Теодор Шторм и Леттов-Форбек, два висевших здесь изображения: как хузумский писатель, так и генерал с неизменной подозрительностью пялились друг на друга. Прижимаясь к стенке, сгорбившись, я спустился вниз, прошел мимо ругбюльского полицейского, висевшего на плечиках в стенном шкафу. Тишина в доме стояла невероятная. А каким холодным на ощупь показался мне ключ от входной двери! Я медленно повернул его, чувствуя сопротивление пружины в замке, повернул бесшумно, но тут дверь закрипела, и я уже ожидал, что вот-вот наверху покажется отец — со всеми вытекающими отсюда последствиями, но все было тихо.

Я выскользнул наружу. Осторожно прикрыл дверь и метнулся по двору в сарай, а там и в самом деле, примостясь на корточках, сидел Клаас, мой ясноглазый круглолицый брат. Светлые волосы его сваялись. Забинтованная рука покоилась на чурбаке, воротник френча был растегнут, лицо выдавало владевший им страх, и этот страх не только устранял необходимость вопросов — он безоговорочно выдавал все: побег из тюремной больницы, окольные обходы патрулей и застав, ночную поездку и дальнейшие странствия, опасливые оглядки и отсидки, перебежки, припадая к земле, — все это страх рассказывал без утайки.

Ни единого приветственного слова — он только схватил меня за рубашку и потянул вниз, к чурбаку, откуда мы могли наблюдать окно спальни, вернее, Клаас не сводил с него взгляда, тогда как я глядел на его усталое, оступевшее лицо, на забрызганный грязью френч, на неуклюжую гипсовую повязку, о которую кто-то, если не он сам, загасил сигарету. Очевидно, он боялся, что меня услышали в доме и, найдя кровать пустой, станут выглядывать в окно, но занавеска не шевелилась и не видно было промелькнувшей тени; успокоившись, брат заставил меня опуститься на пол и со вздохом, раскорячившись, сел рядом, прислонясь спиной к стене сарая. Губы у него дрожали. Его знобило от усталости. На подбородке поблескивала рыжеватая щетина. «А где же пилотка?» — подумал я и, не видя ее нигде, представил себе прыжок, когда он ее потерял, прыжок с движущегося товарного вагона или через широкий ров. Осторожно подвинулся я по земле вперед, привстал на колени и долго вглядывался в его лицо, пока он не открыл глаза и не сказал:

— Спрячь меня куда-нибудь, малыш!

Я помог ему подняться, он крепко в меня вцепился, покачнулся — казалось, он вот-вот надломится и упадет, — но устоял, нерешительно улыбнулся и спросил:

— У тебя, конечно, есть хорошая прятка?

— Да, — сказал я, и с этой минуты он слушался меня беспрекословно и не стал

возражать против того, чтобы я вышел из сарая и огляделся, мало того: он видел одного меня и готов был сделать или повторить все, что я ему прикажу или сделаю. Я побежал к старой тележке и приник за ней. Он подбежал к старой тележке и приник за ней. Я перескочил через кирпичную дорожку и скользнул вниз по откосу. Он перескочил через кирпичную дорожку и скользнул вниз по откосу. Вперед, к шлюзу. Вперед, к шлюзу. Я сказал:

— Надо пробежать через луг к камышам, — и он повторил:

— Ладно, к камышам.

Он не спрашивал, куда мы направляемся и далеко ли, он следовал за мной без любопытства и нетерпения, а я пропахивал для нас дорогу в камыше вытянутыми вперед и сходящимися под углом руками, держа направление на старый мельничный пруд и на бескрылый полуразрушенный ветряк, которому уже не в силах был помочь никакой ветер. Вязкая почва пружинила под ногами. Ее заплесневелая поверхность местами поддавалась, цога проваливалась, и в отверстие била коричневая торфяная вода. Мы вспугнули стайку диких уток. Мне повсюду мерещились глаза. Камыш, шурша, вставал и смыкался за нашей спиной. Дикие утки, описав над нами петлю, возвращались назад, на то же место. В зеленых сумерках создавалось впечатление, будто идешь по морскому дну, сквозь слабо колышущуюся чашу водорослей, сквозь настороженную тишину. Но вот камышовые заросли поредели и перед нами открылся мельничный пруд, а за ним на ржавом кругу — мельница.

— Здесь? — спросил брат, и я кивнул, огляделся по сторонам до того, как перелезть через деревянную ограду, и побежал к грунтовой дороге, ведущей на старую мельницу.

Как мне представить вам мою любимую мельницу? Она стояла на насыпном холме, стояла, исполненная ожидания, хоть и без крыльев, глядя на запад, ее купол луковицей был крыт шифером, восьмиугольная башня из скрепленных гвоздями планок благополучно выдержала два удара молнии. Высоко врезанные окна в белых рамах были разбиты, изрубленная на куски крестовина валялась в траве на восточной стороне, между отслуживших жерновов, колес с выломанными спицами и подков. Расщепленная дверь не закрывалась годами, пока я не выровнял под ней грунт и не переставил петли. Дождь, ветер и годы так изнашивали платформу, что она провалилась. В моей мельнице тянуло сквозняком, в ней трещало, свистело и стучало, а когда ветер менял направление с запада на восток, в куполе поднимался грохот и сверху, визжа, опускался таль, но не находил внизу груза. Тут вдребезги разбивались стеклянные осколки, по току беззвучно шастали летучие мыши, похожие на куски картона, а отставшая жестяная обшивка гремела от малейшего прикосновения. Расхристанная и полуразрушенная, кинутая на произвол судьбы, усеянная засохшими кучками нечистот, почерневшая и никому не нужная, стояла моя мельница в поле зрения между Ругбюлем и Блеекенварфомг, и если она еще на что-либо годилась, то разве лишь на то, чтобы каждый раз приводить нас в удивление, ибо весной она не страшилась никаких ураганов, и осенние бури были ей нипочем.

Но нам нельзя больше медлить снаружи, даже если мы еще не все сказали про общий вид мельницы, например про ее отражение в мельничном пруду и про выдолбленные в двери инициалы, сердца и стрелы; у нас нет времени для подобных наблюдений, нам надо, пригнувшись к земле, бежать по грунтовой дороге мимо провалившейся платформы к входу, глубоко врезанному в насыпной холм. Да и сам Клаас, как я понимаю, ничего поначалу не разобрал в моей мельнице, кроме ее высоких темных очертаний, ему и не нужно было ничего видеть, ведь он всецело доверился мне; тяжело дыша, топал он за мной следом, прижимая к себе больную руку и низко опустив голову, так что видел, пожалуй, одни мои босые ноги.

Я распахнул дверь. Я впустил Клааса, втолкнул его на лестничную клетку и закрыл дверь. Мы стояли рядом, прислушиваясь к тому, что делается наверху, но ничего не слышали, кроме заглушающей стукотни катерка, не слышали даже полета летучих мышей, хотя его обычно слышишь, едва ступив в мельницу. Острый, узкий сноп света дрожал в полумраке. Мне еще помнится, как тянуло сквозняком и как шаталась деревянная лестница, хотя насчет лестницы не скажу, может быть, это мне теперь кажется. Клаас ощупью нашел мою руку и спросил:

— Здесь?

— Наверху, моя каморка наверху, — пояснил я. И повел его по лестнице наверх, в мукомольню, где приставил стремянку, которую прятал за мучными ларями; мы взобрались наверх и протиснулись в люк, втянули за собой стремянку и снова приставили, пока не очутились в каморке под куполом; эту каморку мне и хочется назвать своей.

Клаас отстранил меня и вошел первым, он тотчас же увидел под окном постель из камыша и мешков, но не лег и даже не присел на ящик из-под апельсинов, хотя поднимался из последних сил; вместо этого он удивленно уставился на мои картины, расчесал пальцами свалывшиеся волосы, быть может, даже протер глаза, но ни на числе картинок, ни на их качестве это не отразилось. То были главным образом изображения всадников, которыми я оклеил стены моего тайника в старой мельнице. Вскоре после шестидесятилетнего юбилея доктора Бусбека принялся я вырезать из календарей, журналов и книг иллюстрации, изображающие всадников, чтобы заклеить ими сперва щели, а потом и самые стены: наполеоновские кирасиры неслись на вас во весь опор; император Карл V объезжал верхом Мюльбергское поле сражения; князь Юсупов в татарском наряде гарцевал на арабском скакуне; королева Изабелла из династии Бурбонов скакала на белой андалузской лошадке, выделявшейся в вечернем освещении; драгуны, наездники, охотники, рыцари — каждый по-своему сидел в седле и критически оглядывал других — при желании вам слышался конский топот и ржание.

— Что тут происходит? — спросил Клаас.

— Это выставка, — ответил я, — здесь работает выставка.

Клаас кивнул и улыбнулся полудовольной, полустрадальческой усмешкой. С трудом дотащился он до моего ложа и упал на него без сил, а я сел у изголовья и переводил взгляд с него на мои картины: он закрыл глаза и, казалось, прислушивался к тому, что преследовало его и здесь, не давая успокоиться. Он не мог отрешиться от своих мыслей, не мог расслабить мышцы и растянуться во всю длину, в нем чувствовалась неослабная готовность — вскочить, чтобы поискать укрытия, или разбежаться перед прыжком, он прятал неуклюжую повязку, прикрывая ее своим телом. Я положил ему руку на грудь. Он вздрогнул. Я вытер ладонью его взмокшее лицо. Он подскочил. И только когда я сунул ему в рот сигарету, успокоился и поднял обе ноги на постель из камыша и мешков, слишком для него короткую.

— Нравится тебе моя прятка? — спросил я, а он испытующе на меня поглядел.

— Если ты кому-нибудь заикнешься, мне крышка. Смотри, никто не должен знать, особенно те, дома. Это славная прятка, малыш!

— Тут еще не было ни души, — похвалился я.

— Это хорошо, — сказал он, — но никто не должен знать, что я здесь.

— А отцу, — возразил я, — отцу-то ведь можно сказать, он тебя выручит. — На что мой брат внушительно, почти с угрозой:

— Я убью тебя, малыш, если ты ему хоть слово скажешь, понял? — Он вскинул на меня свои узкие светлые глаза, очевидно чего-то ожидая, и вдруг схватил меня и шваркнул об пол рядом со своим ложем, а потом всей тяжестью своего страха навалился на меня и придавил, пока я не понял, что ему нужно, и все пообещал, а тогда, изможденный, но довольный, он опустил на постель и приказал мне вытащить из разбитого окна закрывавший его лист картона.

Когда мы выглянули на залитую солнцем равнину и обшарили и обследовали ее до самой кривизны дамбы, до маяка под красной шапкой, наши лица сблизились и почти касались друг друга; машину мы увидели одновременно. Она вывернулась с Хузумского шоссе и теперь приближалась, солнце било в ветровое стекло, темно-зеленая машина медленно катила мимо зеркальных рвов, внезапно свернула на кирпичную дорожку к Ругбюлю и поехала еще медленнее, но все не останавливалась, пока не исчезла за растрепанной хольмсенварфской изгородью, а затем снова вынырнула, когда я уже ее не ждал. И опять с ветрового стекла брызнуло слепящее солнце. Коровы в ожидании машины трусцой сбегались к самой проволоке, но в последнюю минуту прыжком с испугу

поворачивались тяжелой хребтовиной вбок, между тем как автомобиль беззвучно катил вперед и остановился перед табличкой «Ругбюльский полицейский пост». Кто-то опустил стекло, и в окно высунулась голова и часть плеча в глянцевиной коже. Если выглянувшему нужно было только прочитать надпись на табличке, то и для этого требовалось время, так трудно было разобрать выбеленную дождями и дважды подрисованную надпись.

Клаас схватил меня за локоть и все крепче сжимал его в невольном возбуждении; тут дверцы машины отлетели, четверо мужчин в кожаных пальто вышли и без дальнейших переговоров двинулись с двух сторон к нашему дому и умело, заученным приемом взяли его в обхват — четверо мужчин в одинаковых пальто и шляпах, руки засунуты в карманы. Очевидно, им было не впервой рассыпаться цепью и незаметно двигаться вперед — один из них без малейшего усилия перемахнул через забор.

Теперь-то я понимаю, отчего Клаас, не глядя на меня и не ослабляя тисков, сжимавших мне руку, сказал: «Беги, малыш, во всю прыть, беги домой». Понимаю, почему, не дав мне времени что-то спросить, он властно и бесцеремонно пихнул меня к люку. «Беги во все лопатки!» Вот и все, что он сказал, и только, когда я уже спустился со всех лестниц, вдогонку крикнул: «Жратвы! Когда вернешься, принеси чего-нибудь пожрать!»

И так как я всегда слушался брата Клааса, то мгновенно, как он и требовал, слетел по стремянке вниз, спрятал ее за мучные ящики, стрелой, как он и требовал, помчался к мельничному пруду, пробился через камыш, добежал до шлюза, а там, согнувшись, и дальше, по откосу рва. И только у старой тележки позволил себе выпрямиться и принять беззаботный вид: здесь меня уже нельзя было упрекнуть в самовольной отлучке из дому. Слоняющейся походкой побрел я к машине, все еще стоявшей под табличкой, обошел ее кругом, с интересом прочитал на спидометре ее предельную скорость и разок надавил на сигнал, вследствие чего какой-то коренастый коротыш в кожаном пальто выскочил из дома и схватил меня за шиворот. Откуда я взялся, пожелал он узнать, а также извольте ему объяснить, что я здесь делаю. Чтобы сразу ответить на все вопросы, я назвалса и показал на свое окошко.

— Вот где я живу.

Не довольствуясь моим ответом, коренастый поволок меня за ворот в дом, в родительскую контору.

Здесь все были в сборе, против окна сидели двое в кожаных пальто, а перед ними в брюках и нижней рубахе, с наброшенными на плечи помочами, небритый, невымытый и нечесанный, короче говоря: перед негнущимися фигурами в коже униженно сидел ругбюльский полицейский, которого, очевидно, только что подняли с постели и который выглядел сейчас по меньшей мере лет на девяносто пять. Когда спросили, его ли я сын и проживаю ли в этом доме, он долго меня разглядывал, словно узнавая с трудом, но на повторный вопрос кивнул, слава богу, еле-еле, но кивнул, и тут уж меня перестали дергать за шиворот. Коренастый коротыш отпустил меня, сложил на спине руки и, став прямо перед отцом, давай раскачиваться; взад-вперед раскачивался он. на своих резиновых подметках, вылупив телячьи глаза на изречение в рамке, висевшее над письменным столом: «Кто рано встает, тому бог дает». Так как никто меня не прогонял, я наскоро огляделся в родительской конторе, куда вход был мне строго-настрога воспрещен, но здесь не было ничего для меня интересного, разве только держатель с четырьмя свисающими вниз печатями, как свисает с полицейской сабли темляк, отсвечивающий серебром. Отец сидел со снулым и преданным видом, словно он здесь ни при чем, руки его плашмя лежали на ляжках — сидел, напряженно выпрямившись и прислонясь к спинке стула, втянув подбородок, с полураскрытым ртом. Он не мог скрыть, что о чем-то мучительно думает, хоть краешком глаза и поглядывал на коренастого коротыша, который с оскорбительной неторопливостью рассматривал фотокарточки, украшавшие стену над письменным столом.

Что рассказывали фотокарточки? Они рассказывали о Глюзерупе и о темной тесной лавчонке, где некий Петер Пауль Йепсен торговал свежей морской рыбой, они сообщали, что у рыботорговца Йепсена родилось пятеро детей, из коих худенький мальчонка, с сухим недоверием глядевший на фотографа, разительно походил на ругбюльского полицейского.

Фотокарточки извещали о состязании между двумя семействами в ловле крабов; они показывали глужерупский детский хор, причем, так сказать, в действии, с навечно разинутыми ртами; затем они представляли первоклассника Йенса Оле Йедсена, прижимавшего к груди огромный кулек с подарками, представляли одноименного конфирманта, а также левого защитника глужерупской футбольной команды. Овальная карточка утверждала, что в свое время имелся также юный артиллерист Йепсен, склонивший колена перед легкой гаубицей, словно перед алтарем; тот же артиллерист в Галиции, на сей раз в шинели, вместе с другими артиллеристами распевал у рождественской елки. Растянувшись на земле перед усатой спортивной командой, лежал Йенс Оле Йепсен, курсант полицейского училища, а позади угрожающе вздымались гамбургские кирпичные казармы. Затем в поле зрения появилась некая Гудрун Шессель; фотокарточки сообщали о ее пристрастии к белым платьям и белым чулкам, они показывали длину ее рыжих кос, ниспадающих ниже спины, они также восхваляли ее умение читать — каждая карточка изображала ее с книгой в руке. О том, что Йенс Оле Йепсен и Гудрун Шессель в один прекрасный день соединились, свидетельствовал снимок, на котором свадебные гости, вытянувшись по струнке или, если хотите, словно аршин проглотив, стояли вокруг брачующихся с неподвижным взглядом и поднятыми вверх бокалами, очевидно крича «ура», но только самым благонамеренным образом. Фотоснимки удостоверяли поездку молодой четы в Берлин, а также прогулку оной из Бингена в Кёльн на рейнском пароходе, и, наконец, один фотоснимок утверждал, что у четы родилось трое детей: Клааса и Хильке вполне можно было узнать, а плешивое чучело в высокой коляске, очевидно, изображало меня.

Коренастый коротыш не спеша разглядывал эти фотографии, тогда как отец покорно сидел и с места не двинулся даже, когда посетитель, взяв служебный журнал, стал просматривать последние записи, внесенные округлым почерком. Остальные присутствовали только в качестве неподвижных фигур, один, правда, курил, не вынимая изо рта сигареты. Если у них даже имелось что сказать друг другу, то это, видимо, давно уже было сказано. Я забился в угол и ждал чего-то чрезвычайного, но тут в контору бесшумно вошла моя мать, коротко кивнула мне, схватила за плечи и поволокла в кухню, где на небольшом столике уже стоял мой завтрак: подслащенная каша из овсяных хлопьев и ломоть хлеба с ревеневым повидлом.

— Ешь, — сказала она беззвучно, и я стал завтракать под ее надзором. Но заметил, что она напряженно прислушивается к тому, что происходит в конторе.

— Они что-то ищут, — сказал я, а она:

— Ешь и не вертись.

— Должно быть, из Хузума, — не унимался я.

— Тебя не спрашивают, — отвечала она, захлопнув кухонную дверь, налила себе чашку чаю и стала пить стоя.

— Может, они и отца увезут в машине? — поинтересовался я.

Мать пожалала плечами.

— Почему я знаю! — отозвалась она с запинкой, поставила чашку и вышла в прихожую.

Я скопил глаза на мельницу, где меня дожидался Клаас, и открыл разбухшую дверь в кладовку: кувшин с маринованными огурцами, полкаравая, солонина, несколько луковиц, коричневая миска с неподслащенным ревеневым повидлом, кубик маргарина, копченая колбаса, четыре сырых яйца, пакет муки и мешочек овсяных хлопьев — вот и все, что я обнаружил. Я слизнул повидло со своего ломтя, переломил его пополам и сунул в карман. В конторе теперь раздавались громкие голоса. Говорил все больше коренастый, но и другие подавали голос, и только отец молчал как убитый; вдруг мать скользнула ко мне в кухню, быстро схватила чашку и поднесла ко рту; тут мужчины вышли в прихожую, каждый на прощание подал руку ругбюльскому полицейскому, да и к нам они заглянули, пожелал нам приятного аппетита и все такое прочее, прежде чем нерешительно выйти из дома, но и тут пошли не к машине, а, разделившись, принялись наметанным глазом обозревать окрестность — рвы, луга, кустарники — до самой дамбы: нигде никакого движения, никто не стоял, не

лежал, не сидел на корточках, кто мог бы вызвать у них подозрение. Один из них безуспешно поискал в сарае, другой осмотрел шлюз. Гнилую тележку они тоже проверили насчет ее безобидности, а коренастый коротыш вынул из машины полевой бинокль и долго оглядывал торфяные пруды. К машине они воротились с недовольным видом и уехали явно разочарованные.

Отец, стоя на крыльце, следил за их отбытием; они катили не торопясь, замедляя ход у рвов. Отец так и с места не двинулся, пока машина не свернула на Хузумское шоссе, и только тогда вошел в дом и как был, раздетый, сел за кухонный стол и сложил одну на другую руки. Деревянно сидел он в своей шершавой нижней рубаше с переброшенными через плечи помочами, глаза его слезились, челюсти похрустывали, словно он что-то жевал; он не видел чашки чаю, которую сунула ему мать, не видел меня, и отнюдь не по рассеянности: напротив, по лицу его было заметно, что он прекрасно понимает не только причину, но и все последствия, вытекающие из этого раннего посещения. Он вычислял. Он взвешивал и обдумывал, перечеркивал и принимался взвешивать заново. Брови его подергивались. Он тяжело дышал. Внезапно подняв правую руку, отец бессильно уронил ее на стол и сказал матери:

— А ведь он может заявиться к нам.

— Его уже ищут? — спросила мать.

— Его держали в тюремной больнице, оттуда он и сбежал. Его везде ищут.

— Когда он сбежал? — спросила мать.

— Вчера, — отвечал отец, — вчера вечером и только себе навредил, я справлялся — если бы Клаас высидел, дело обошлось бы тюрьмой или штрафным батальоном, а теперь крышка.

— Почему же, — допытывалась мать, — почему он это сделал?

— Спроси его сама, — сказал отец. — В дверь постучат, и это окажется он, вот ты его и спросишь.

— К нам он не придет, — сказала мать, — после всего, что мы от него натерпелись, он не посмеет сюда явиться.

— Еще как придет, — возразил отец. — Здесь все началось, здесь все и кончится: он попадет им прямо в руки.

— Уж не хочешь ли ты предостеречь его или, чего доброго, спрятать, если он объявится?

— Ума не приложу, — сказал отец, — ума не приложу, что делать. — А она:

— Но ты, надеюсь, понимаешь, чего от тебя ждут?

Она накрыла для него стол, достала хлеб, достала маргарин и коричневую миску с ревеневым повидлом, пододвинула к нему поближе и, казалось, почувствовала облегчение, разделавшись с этой скучной повинностью. Сама же так и не села, налила себе чашку чаю, прислонилась спиной к кухонному шкафу и сказала:

— Я, во всяком случае, больше знать его не хочу. С Клаасом я порешила. И если он здесь объявится, на меня пусть не рассчитывает.

Отец оглядел предложенный завтрак, но так к нему и не притронулся.

— Когда-то ты другое говорила, — напомнил он, — к тому же он ранен.

— Ничего он не ранен, он сам себя изувечил.

— Да, — сказал отец, — да, да, он сам себя изувечил, но для этого тоже что-то требуется, — а мать после короткой паузы:

— Страх для этого требуется, только страх!

— Клаас был у нас самый способный, этот парень добился бы большего, чем я, — возразил отец.

— Мы только о нем и пеклись, — сказала мать, — вечно только о нем. А он? Если он самый способный, так мог бы, кажется, сообразить, к чему это приведет, то, что он над собой сделал. А теперь поздно.

Отец ничего не пил и не ел. Он все поглаживал свои редкие волосы, а то вдруг

схватится за левое плечо, должно быть, застарелая боль давала себя знать.

— Клааса покамест здесь нет, да, похоже, ему и не выбраться.

— А если он выберется? — спросила мать.

— Тогда я знаю, к чему меня обязывает мой долг, — сказал отец, но в голосе его прозвучал затаенный упрек. Он повернул к матери небритое лицо, поглядел на нее испытующе и добавил: — Чему быть, того не миновать: на этот счет можешь не беспокоиться, — встал и двинулся к ней с протянутой рукой, но мать уклонилась от его прикосновения, проворно поставила чашку, пятясь, обошла стол, отступила к двери и без единого слова поднялась наверх, где скорее всего заперлась в спальне.

Отец пожал плечами. Он сбросил помочи, подошел к раковине, взял с угловой полки кисточку и мыло и, слегка откинувшись назад и расставив ноги, принялся намыливаться над раковиной, не спуская с меня глаз.

— Ты, конечно, слышал, — обратился он ко мне, — Клаас сбежал и, возможно, здесь объявится. — Я шлепнул себе в кашу повидло и хранил молчание. — Он наверняка здесь объявится, — продолжал отец, — свалится как снег на голову, и подавай ему то и другое, провизию и местечко, где он мог бы схорониться, — так ты ничего такого не делай, не сказавшись мне. Каждый, кто возьмется ему помогать, будет отвечать по закону, и ты, ты тоже будешь отвечать по закону.

— А что с Клаасом сделают, если его поймают? — спросил я.

На что отец, стравивая с пальца мыло, как стравивают сопли, только и сказал: — То, что он заслужил. — После чего взял бритву, скривил лицо и стал скрести от ушей вниз, вытянув губы трубочкой, словно собираясь что-то насвистать, в то время как я рассеянно ковырял ложкой кашу, до тех пор ковырял серо-белые хлопья, пока отец не кончил бриться. Ему по-прежнему не хотелось пить и есть. Он вымыл бритвенный прибор, натянул помочи, все это сосредоточенно, не спеша, долго нашаривал давно отлетевшую пуговицу, высморкался, не пожалев времени заглянуть в носовой платок, и даже подошел к окну и долго созерцал Хузумское шоссе, где ровно ничего не происходило и только солнце плавало асфальт.

Когда он наконец после дальнейших оттяжек, как-то: наваксить сапоги, прочистить трубку, завести будильник — вышел из кухни и направился в контору, я выпил налитый ему чай, отнес в кладовку хлеб, маргарин и миску с волокнистым, ударяющим в зелень и легкую красноту ревеневым повидлом, поставил все на место и прислушался. И так как ниоткуда ничто не угрожало, отрезал несколько ломтей хлеба в палец толщиной и отправил за пазуху, а за ними кусок копченой колбасы и два яйца, отчего у меня запузырилась рубашка над поясом. Я понемногу перекатил свои припасы назад, пока не ощутил позвоночником холодные яйца и крошащийся хлеб. Колбасу запихнул в карман. Еще отрезал ломтик белесой солонины и спустил по позвоночнику вниз. Рубашка у меня сзади вздулась, подобно очень низко свисающему рюкзаку, но мне и этого показалось мало. Яблоки, спохватился я, вспомнив гравенштейны в моей комнате на шкафу, и решил несколько штук припрятать за пазуху. Итак, я вышел из кухни и стал подниматься по лестнице, держась поближе к стенке и чувствуя, как на каждом шагу яйца, хлеб и мясо ерзают у меня по спине и холодят ее, благополучно проскользнул наверх и мимо неприятельской спальни, открыл дверь к себе и обмер: на моей кровати с открытыми глазами лежала матушка. Выходит, она удалилась не в спальню, как я полагал, и не стояла там у окна, как я представлял себе, с надменно поджатыми губами, за занавеской, чтобы почерпнуть утешение у дамбы, у горизонта или у сверкающих вод; в моей кровати лежала она, свернувшись, укрытая по грудь, бросив белые в веснушках и гречке руки поверх одеяла. Потом это повторялось так часто, что уже не смущало меня, но в тот день зрелище это пригвоздило меня к месту. Я только таращился на нее. Я даже не задался вопросом, по какому случаю мать — и вдруг в моей постели и так далее, и прочее тому подобное. Волосы ее рассыпались по подушке. Тело, скорее плоское, казалось под одеялом тучным. Уж не задумала ли она выжить меня из моей комнаты? А ну, как она решила насовсем ко мне перебраться? Лежа она вдруг напомнила мне сестрицу Хильке.



Ее открытые глаза ничего не поясняли, да она и не думала передо мной извиниться. Сырое, прохладное прикосновение в области позвоночника заставило меня опомниться, и я стал думать, как бы половчее исчезнуть из ее поля зрения. Я решил ретироваться задом, как кошки ретируются из магического круга, потянулся к дверной ручке и уже ступил за порог, как она меня окликнула:

— Поди сюда и стань ближе. — Я послушался. — Повернись, — сказала она. Я повернулся и подобрал зад, мне и в самом деле казалось, будто я могу скрыть свисающий мешок, который образовала на спине моя рубашка, но тут она прибавила: — Выкладывай все, что набрал, — и я передвинул припасы с позвоночника на пупок, полез за пазуху, вытащил все как есть, одно за другим, и сложил на полу: хлеб, яйца и ломтик белесой говядины. Я приготовился к любому вопросу, хотел рассказать про свой тайник — не в мельнице, а на полуострове, в сторожке птичьего смотрителя, — сославшись на необходимость создать запас на случай плохих времен, но мать ничего этого не стала слушать. — Все отнесешь назад в кладовую, — сказала она. В голосе ее не слышалось ни угрозы, ни предостережения, ни даже разочарования, он звучал страдальчески, когда она приказывала мне все, что я собрал для Клааса, вернуть на место, и я долго глядел на нее с удивлением, ожидая, ожидая неминуемого наказания- напрасный страх! — мать даже улыбнулась и подбадривающе мне кивнула; тут уж я вытащил рубашку из штанов, собрал все в подол и отнес в кладовку.

Что с ней приключилось? Почему она не наказала меня? Я положил яйца к яйцам, мясо к мясу, колбасу к колбасе и только сложенный пополам ломоть сохранил в кармане и несколько раз ударил по нему, чтоб не выпирал из штанов.

Я все поглядывал из окна кухни на мельницу, ожидая оттуда сигнала, а между тем отец в конторе принялся разговаривать по телефону на свой обычный манер: ой громогласно выкрикивал короткие фразы-донесения, по несколько раз повторяя последнее слово каждой фразы. Разговаривать по телефону нормально он был просто неспособен, и я надеялся, что мать, как не раз случалось, спустится закрыть дверь конторы, что не мешало домашним слышать каждое слово, но все же было не так мучительно; однако наверху дарила мертвая тишина. Оконце, за которым лежал, дожидаясь меня, Клаас, тоже не подавало признаков жизни. «Бумаги из Хузума получены», — ревел отец. Я представлял себе, как брат спит на ложе из сухого камыша и мешков, подобравшись, словно для прыжка, сохраняя и в чутком сне настороженную готовность. «Никаких особых происшествий, — кричал отец, — про-ис-шествий!»

Я прикидывал, какой предпочесть маршрут, чтобы незаметно пробраться на мельницу, мысленно проходил мимо рвов, испытующе поглядывал на дамбу, сокрушался об отсутствии подземного хода и, придумывая окольный путь, увидел Окко Бродерсена, который от Хольмсенварфа со своей почтовой сумкой направлялся в нашу сторону. Велосипед его отчаянно восьмерил. Обшарпанная кожаная сумка, очевидно, мешала почтальону удерживать равновесие. «Сообщение последует незамедлительно», — надрывался отец.

Окко Бродерсен держал курс сюда; прогромыхав по бревенчатому мостику, он, разговаривав сам с собой, подъезжал все ближе, метя в наш столб с указательной табличкой, но в последний миг, вильнув, проскочил мимо и, описав крутую дугу, приземлился у нашего крыльца.

С проклятиями слез он с велосипеда, пустой, сколотый булавкой рукав его форменной тужурки подпрыгивал и лягался, как от электрических разрядов. Рывком передвинув сумку на живот, поднялся он на крыльцо и, не постучав, вошел в кухню, где и пожелал всем, кого это касается, доброго утра, после чего сел за кухонный стол и, вытащив из кармана часы, положил их перед собой. Казалось, он остался ими доволен, так как милостиво покивал, но, когда я захотел поближе на них взглянуть, помешал мне, положив передо мной открытку с видом Гамбурга.

— Вот, прочти, — сказал он, — если умеешь читать. Хильке собирается приехать, твоя сестра навсегда возвращается домой.

— Последует незамедлительно! — выкрикнул отец в своей конторе.

— Можешь в воскресенье ехать за ней на вокзал, — добавил почтальон и продолжал с довольным и каким-то даже любовным вниманием глядеть на часы, что он, кстати, делал всегда, стоило ему присесть; порой мне приходило в голову, что его часы по-другому исчисляют и показывают время, нежели все прочие часы, и что ему хочется понять, в чем, собственно, разница.

Старого однорукого почтальона нисколько не интересовал рев отца; погруженный в наблюдение за часами, он, посапывая, терпеливо дожидался, покуда отец повесит трубку и выйдет в кухню; дождавшись, он привстал, и мужчины обменялись рукопожатием, называя друг друга по имени с вопросительной интонацией: — Йенс? — Окко? — Почтальон взял у меня открытку, протянул отцу вместе с газетой и снова сел. Он огляделся в кухне, словно что-то искал.

— Чаю? — осведомился отец. — Не выпьешь ли чашечку чаю?

— Вот-вот, — сказал почтальон, — как раз то самое: чашечка чаю. — И тут они стали чаевничать, поочередно расхваливая крепкий и сильно подслащенный чай и поглядывая друг на друга каждый через край своей чашки. Вот и все, чем они были заняты, а на самом деле далеко не все, каждый про себя только и думал, как бы незаметнее подобраться к тому, что, собственно, должно было послужить темой их разговора; так уж у нас ведется: начинают всегда исподволь, с прохладцей, словно между прочим, не повышая голоса.

Потому-то я и не могу позволить Окко Бродерсену начать с места в карьер о том, что его беспокоит; для того чтобы он остался себе верен, я должен помедлить, хотя бы упомянув тот предварительный разговор, который оба земляка повели за кухонным столом, безбоязненно уснащая его паузами; они говорили об атаках на бреющем полете и о велосипедных шинах — я должен вновь претерпеть ту обстоятельность, в какую они вдавались, спрашивая в подробностях о самочувствии всех близких и родных; я должен также упомянуть их неторопливые, хорошо рассчитанные жесты и движения. Пустой рукав Бродерсенова мундира мел по кухонному столу. Отец сгибал газету и разглаживал ее по сгибу. Бродерсен, поглядывая на часы, рассказывал, как трудно купить велосипедные шины. Ругбюльский полицейский нет-нет да и поднимал голову, словно ему слышались в доме подозрительные шумы.

Так они постепенно шли на сближение, каждый обстоятельно и долго готовил другого, пока старый почтальон не счел себя вправе завести разговор о цели своего прихода:

— Оставь его в покое, Йенс, — сказал он, на что мой отец — он, похоже, только и ждал этого:

— Вот и ты туда же, болтаешь невесть что, точно старый Хольмсен; он вчера как раз заглянул ко мне вечером и только про то и рядил, что, мол, оставь его в покое. А что, собственно, случилось? Запрещение писать картины пришло из Берлина, его не я придумал, да и конфисковать картины — тоже распоряжение из Берлина. У меня на все имеются твердые указания, и я их не превышаю.

— Говорят, ты за ним так и гоняешься, — сказал почтальон.

— Гоняюсь? — повторил отец, — что значит гоняюсь? Кто-то должен был ему сообщить, какое против него постановление, а здесь, на моем участке, это прямая моя обязанность.

— Говорят, — продолжал почтальон, — ты только и знаешь его караулить день-деньской и даже темной ночью.

— Раз запрещение, значит, требуется следить, — отмахнулся отец, но Окко Бродерсен был готов к этому ответу.

— Люди говорят, ты хватаешь через край, делаешь больше, чем с тебя спрашивают.

— Вы не знаете, что с меня спрашивают, — отвечал отец.

— Нет, — сказал почтальон, — этого они, конечно, не знают, но говорят, ты в этом случае перегибаешь палку. У тебя, говорят, лично против него зуб.

Ругбюльский полицейский передернул плечами; спокойно глянув на этого человека, который фигурировал с ним рядом на многих фотоснимках в конторе — и даже на том,

овальном, где артиллеристы преклонили колена перед гаубицей, — он закрыл глаза, задумался и дал себе изрядно подумать, прежде чем сказать примерно следующее:

— У меня свое поручение, а он себе придумал свое. Я ему объявил, чего он не должен делать, а он мне объявил, что он и дальше будет это делать. Я не могу допустить исключений, а он, видишь, хочет быть исключением. Объясни это тем, кто так много говорит. Ступай к ним и преспокойно скажи, что каждый из нас делает свое: мы сказали друг другу все, что надо было сказать, и каждый понимает, что отсюда последует.

Почтальон кивнул, у него, по-видимому, не возникло никаких возражений, сам он так и не уточнил, к какому принадлежит лагерю.

— Есть и такие, что о тебе беспокоятся, — продолжал он, — считают, что времена могут измениться, а у него, как тебе известно, много друзей.

— Мне и не то еще известно, — отвечал отец, — мне известно, как с ним носятся за границей, он у них в большой чести, известно, что даже здесь, у нас, есть такие, что им гордятся, это и старик Хольмсен мне подтвердил, — он будто бы открыл красоту нашего ландшафта, или сам ее сотворил, или другим показал. Я даже слышал, будто на западе и на юге, когда думают про наши края, первым делом про него вспоминают... Чего только я не слышал, можешь мне поверить. Но беспокоиться?.. Кто выполняет свой долг, тому нечего беспокоиться, даже если времена когда-нибудь изменятся.

— Говорят, ты конфисковал все его картины за последние годы, — продолжал почтальон.

— Так на то был приказ из Берлина, я еще позаботился, чтобы в Хузум их доставили в отличной упаковке, а что с ними потом стало, не моя печаль.

— Их отослали в Берлин, — отвечал почтальон, — там половину сожгли, а остальные продали за границу, такие ходят слухи.

— Чего не знаю, того не знаю, — возразил отец, — про это я ничего не слышал, с меня за то и спросу нет, я отвечаю только за Ругбюль.

— Но отчего ему запретили писать картины и почему конфисковали все последние работы, уж это ты должен знать.

— В постановлении сказано, что он чужд народному духу и опасен для государства, что называется нежелательный элемент, короче сказать, как есть вырожденец, если ты понимаешь, что это значит.

— А все же некоторые за тебя беспокоятся, особенно двое, они, видишь, не забыли, что это он вытащил тебя из глүзерупского портового бассейна.

— Когда-нибудь надо же расквитаться, — сказал отец, — и мы теперь квиты. Так что возьми это в расчет, да и другим скажи, кто слишком много треплется. Оба мы из Глүзерупа, я и он, а с прошлым у нас покончено, и теперь от него зависит, что из этого произойдет.

— А все-таки оставь его лучше в покое, Йенс, — тянул свое Окко Бродерсен, и, в то время как отец на него воззрился, словно отказываясь его понять, почтальон взял часы, поднес их к уху, быстро подвел и опустил в карман. Он проглотил остатки холодного чая и с шумом встал. Он, видимо, торопился, возможно, его тревожило, что он наговорил лишнего; я помог ему передвинуть сумку на место. Простился он с отцом как-то мимоходом и вышел, не дожидаясь ответа, впрочем, ругбюльского полицейского это скоропалительное прощание, казалось, не раздосадовало и не огорчило, он не вскочил с места и не стал грозиться и даже вида такого не подал, а продолжал сидеть и о чем-то размышлять на свой суховатый, медлительный лад.

До чего же выразительно он умел размышлять! Хоть смотрел он на раковину и на медленно подтекающий потускневший медный кран, взгляд его был в известной мере устремлен внутрь, не слышно было дыхания, да и пульс, казалось, замедлился, и туловище как будто сникло, между тем как носки его башмаков неравномерно покачивались и только руки напряглись, они сжимали и тискали друг друга. Когда отец размышлял, ему не мешало, если кто-нибудь вертелся в поле его зрения, если при нем разговаривали или работали; он нисколько на это не сердился.

Я скопил глаза на мельницу, где меня ждали. Хлеб все больше оттягивал мне карман, его наличие становилось все заметнее. На подоконнике лежал мой самодельный голубой флажок, я взял его в руку и с минуту водил им перед носом отца. Движение воздуха, а может быть, и назойливость сигнала заставили его поднять голову, и я сразу же почувствовал, что он и меня включил в круг своих размышлений. Он зажег свою носогрейку. Он оцупал ячмень, задумавший сесть у него на глазу. А затем стал попыхивать трубкой, слегка причмокивая, и принял многозначительную позу. Я ненавижу это барственное посиживание, я боюсь этого знаменательного молчания, ненавижу это торжественное немногословие, этот обращенный в пространство взгляд и не поддающиеся описанию жесты, я страшусь, страшусь нашего обыкновения погружаться в себя, избегая слов.

Ругбюльский полицейский сквозь густой дым устремил на стену неподвижный взгляд — затуманенный ясновидящий взгляд, я бы не удивился, если бы на этом месте выступило пятно или вывалился кирпич.

Я хотел спросить разрешения уйти из дому, но не решался — не решался с ним заговорить, привлечь к себе его взгляд из глубины веков, а потому принялся молча выписывать флажком по комнате восьмерки и чуть было не сбросил с полки всю батарею банок саго-манка-рис-мука-перловка, как вдруг он схватил меня сзади, притянул к себе и сказал:

— Так не забудь, мы работаем на пару, как только что заметишь, сейчас же сигнализируй!

— Флажком? — спросил я, а он:

— Как угодно, только сразу же доложи. С нами вдвоем, Зигги, никто не сладит.

Это я уже от него слышал.

— Можно мне уйти? — поспешил я спросить.

— Ступай себе, — сказал он, — хотя бы и в Блескенварф, но только не зевай. — Он хотел еще что-то добавить, но в конторе зазвонил телефон, он вскочил, испуганно положил трубку на блюдце, поправил волосы, разделенные четким пробором, и уже на ходу застегнул мундир; его донесение: «Ругбюльский полицейский пост, у телефона Йепсен» — я услышал уже на крыльце.

Я сбежал с крыльца, выбрался на кирпичную дорожку, никем не замеченный добежал до шлюза — во всяком случае, никто меня не окликнул, — присел на корточки и стал следить для верности за тем, как через шлюзные ворота стекает мутная вода, а там, дав крюку, вышел к дамбе и, дав другого крюку, вышел к камышовым зарослям, а затем уже бегом назад, к мельнице. Камышовые заросли и мельничный пруд я на этот раз миновал и, зайдя к мельнице с тыла, обогнул ее под прикрытием насыпного холма и надолго задержался у провалившейся платформы, покамест не убедился, что двое мужчин на лугу против кладбища в самом деле заняты дренажными работами; потом сполз вниз, к входу, и отворил дверь на лестницу.

Я не сразу его увидел. Я стоял молча в прохладном сумеречном помещении и прислушивался. За старым мучным ларем, где я прятал стремянку, раздался треск. Меня внезапно обдало сквозняком, и ушей моих коснулся укоризненный крик, нет, не крик, скорее шум, похожий на крик, и, как всегда, что-то проплыло высоко в пустом пространстве, что-то пронеслось в этих пленных сумерках, затрепыхалось и рухнуло, однако то не были чайки. Потом, когда я вытащил стремянку и хотел ее приставить, увидел я Клааса. Он лежал как раз подле мучных ларей, держа в здоровой руке конец веревки, а над ним медленно, беззвучно и безвинно качалась цепь старого тая, с помощью которой брат хотел спуститься вниз. Он решил удлинить цепь веревкой и кое-как их скрепил, но только цепь выдержала его тяжесть. Я отставил лестницу, опустился рядом с ним на колени, взял у Клааса конец веревки и вытащил ее из-под него всю целиком. По этой веревке я и сам собирался в случае необходимости спуститься вниз. Веревка, собственно, и не порвалась, она только не поладила с цепью и выскользнула из нижнего звена: благодаря сильному натяжению защемленный конец сплющился и почернел. Но как ни точно это объяснение, оно было бессильно поставить брата на ноги; когда я забрал у него веревку, он продолжал лежать в скрюченной

позе, при взгляде сверху — в позе человека, бегущего в согнутом положении; во всяком случае, сейчас он не двигался и только постанывал, когда я осторожно встряхивал или толкал его.

Я достал из кармана хлеб и подал ему, подержал крошащийся ломоть у самого его лица и стал просить его поесть или по меньшей мере открыть глаза, но он только застонал, поднял руку в неуклюжей гипсовой повязке и бессильно ее уронил. Я отломил хлеба, поднес к его губам, слегка надавил, потом надавил сильнее, пока не наткнулся на сопротивление стиснутых зубов, мне так и не удалось засунуть ему хоть кусочек в рот. Сдвинуть его с места и подтащить к деревянной подпорке, чтобы он оперся на нее, я попросту не мог — он был слишком тяжел — и от нечего делать стал рассказывать ему, что творится дома.

Я терпеливо рассказывал, наклонившись к его круглому лицу, не в силах угадать, понимает ли он меня, а если что и понимает, то какие чувства или желания вызывают у него мои слова, но и это ничего не изменило: он все так же лежал передо мной, скрюченный и неподвижный; мне ничего не оставалось, как время от времени выходить из мельницы, становиться на сваленные в кучу изломанные доски бывшей платформы и наблюдать не только за дренажниками, занятыми своей работой, но и за одинокой неподвижной фигурой, стоявшей на крыльце гостиницы «Горизонт», и за все тем же домиком и сараем ругбюльского полицейского.

Но сколько можно продолжать наблюдение? И вот в одно из моих возвращений, когда я, ничего не подозревая, покинул свой наблюдательный пост, я увидел, что братец Клаас уже не лежит перед мучными ларями, а сидит, прислонясь к гладко обструганной подпорке. Он справился собственными силами и теперь не мог отдышаться, он смотрел на меня взглядом затравленного и медленными кивками все подтверждал: и панический страх, который охватил его, когда я его покинул, и неудержимое желание бежать из тайника, который представился ему ловушкой, и попытку удлинить старый таль, привязав к нему веревку, и попытку спуститься вниз, держась за нее одной рукой, и свое падение, все это он подтвердил, но к этому еще добавил боль в нижней части живота, прижав к нему здоровую руку, откинув голову назад и закрыв глаза. Он и теперь не стал есть. Я поднес ему хлеб на ладони, но он от него отказался.

— Вон отсюда, малыш, — выговорил он с трудом, — уведи меня отсюда, — а я ему:

— Пойдем домой, Клаас, когда они тебя увидят, они не откажут тебе помочь.

— Болит, — простонал он, — здесь вот внизу болит.

— Я отведу тебя домой, — сказал я, а он снова:

— Нет-нет, только не домой, они меня выдадут.

— Куда же еще, если не домой? — спросил я. — К кому тебя отвести?

Но Клаас, видно, все уже обдумал, у него не случайно вырвалось:

— Художник, отведи меня к художнику, — а я ему:

— Ты не знаешь, что тут произошло.

— Он один меня спрячет, — твердил Клаас, — я уверен.

— Ты не знаешь, что произошло, — повторил я.

— Он не откажет, — настаивал Клаас и приподнялся с пола, ухватился за подпорку и помахал мне, чтобы я подошел. Он махал перевязанной рукой, и его приказание походило больше на угрозу. — Художник, — сказал он, — мне бы надо сразу туда, мне бы еще утром к нему постучаться.

Клаас выпустил из руки подпорку, оперся на меня, сперва попробовал, какую часть своего веса он может мне доверить, это было не так уж много и с каждым шагом становилось все меньше, а когда мы вышли на солнце, снял руку с моего плеча, присел над лужей и принялся смазывать грязью свою гипсовую повязку. Он делал это очень тщательно, я помогал ему, мы натерли повязку мокрой коричневой торфяной землей и несколько раз обмакнули в лужу, пока она не сделалась похожей на комковатый кусок торфа более, чем обычно, удлиненной формы, а потом отправились в путь, проскользнули мимо мельничного пруда, нагнувшись, пробрались к рвам. Чем ближе к Блеекенварфу, тем настойчивее

уговаривал я его повернуть домой; Клаас слушал меня безучастно и ни слова не отвечал. Мы не доверяли окружающей тишине, не доверяли летней благодати, разлитой над черными рвами, полными тепловатой воды; у нас видно каждого выходящего из дому, и поскольку оба мы это знали, то не обманывались насчет пустынного горизонта. Так как мы знали, что всегда кто-нибудь, стоя неподвижно у забора, в воротах или у окна, оглядывает зоркими глазами равнину и рвы, то бежали к Блеекенварфу, как будто нас давно приметили или даже гонятся за нами: короткими прыжками мимо шлюзов, топая по высокой траве откосов, увязая на водопоях, оскальзываясь на истоптанных копытами полянах, куда сгоняли доить скот, — я еще сейчас ощущаю, как визжала и сотрясалась проволока изгородей, когда мы нетерпеливо ее раздвигали, чтобы проскочить, и сейчас еще вижу, как мы припадаем к земле и слушаем. Я бежал вместе с Клаасом, потому что выполнял все, чего требовал Клаас, и дело тут было не в трепавшем его страхе и не в мучительной боли, от которой он стонал, когда мы бросались на землю. Я сопутствовал ему в этом беге, хоть и был убежден, что Макс Людвиг Нансен отошлет нас обратно — наверняка на мельницу, если не домой.

Остаток пути мы пробежали выпрямившись. Здесь мы находились под защитой блеекенварфского кустарника. За деревянным мостиком Клаас свалился, он еще попытался встать с колен, но силы его иссякли. Он снова рухнул, на этот раз ничком. Я проскользнул в лаз, глянул в сад и на дом, но нигде никого не увидел и, воротившись к брату, с трудом перевернул его на бок. Голову уложил на ворох травы.

— Привести его сюда? — спросил я и, так как брат бессмысленно на меня уставился, еще раз, настойчиво: — Привести его сюда?

— Да, — шепнул он еле слышно, — да.

Прежде чем уйти, я присел и по возможности почистил на нем френч, я рвал охалками траву и оттирал присохшие нечистоты, а также вытер от грязи башмаки. Поправил на нем воротник и застегнул френч.

— Лежи спокойно, — сказал я, — никуда не отходи, — и с этим его оставил.

Протиснувшись в лаз и став в удобной позе — справа и слева по суку в каждой руке, — я наблюдал за садом, домом и мастерской, так как решил идти наверняка и по возможности избежать встречи с Юттой и Постом, ее жирным братцем, — я отнюдь не собирался посвящать их в наши дела. В цветнике среди грядок бегали куры, гамбургские золотистые крапчатки и бельгийские леггорны, они копались в земле между циниями и люпинами, склевывали насекомых с лилий и т. д. Никого не видать, в беседке ни души. Все четыреста окон отказывались дать мне малейшую справку. Кто толкнул качели под яблоней? Почему шевелится высокий мак? В мастерскую, сказал я себе, ищи его в мастерской. Вошел в сад, прошмыгнул мимо кустарника, не спуская глаз с цветника и дома, и кружной, прочищенной граблями дорожкой вышел к мастерской с заднего крыльца. До меня доносились голоса, я прислушался: нет, это был один голос, он то ставил раздраженные вопросы, то отбивался ироническими ответами. Дверь оказалась незапертой. Я тихонько открыл ее, скользнул внутрь и снова услышал голос художника откуда-то со стороны: там перепалка была в разгаре, должно быть, это был тот самый раз, когда художник сказал: «Не мели вздор, Балтазар, в каждой картине есть действие, это действие — свет». Босиком по крепким половицам я подкрался ближе — я и сейчас вижу, как крадусь на цыпочках, — влез на один из топчанов, отогнул край одеяла, заменявшего портьеру, и увидел художника в его старом синем плаще и шляпе. Он работал. Он ссорился со своим Балтазаром и работал над «Ландшафтом с неизвестными людьми».

Картина была прикреплена к правой створке шкафа, слева в открытых ящиках лежали «вспомогательные средства», как он называл краски. Достаточно было двойного толчка, чтобы захлопнуть обе створки и скрыть из виду полотно и краски. Но в данную минуту я не поручился бы, что чей-нибудь шаг, или голос, или подозрительный шум был бы им услышан и воспринят как настораживающий сигнал: художник был так увлечен спором, так одержим желанием доказать своему неизменному напарнику в фиолетовой лисьей шубе, что ландшафт, где исполинские неизвестные люди стояли хорошо вписанной группой,

предчувствующей близкое насилие и гибель, должен быть написан не в меркнувшем свете и не в расплывчатых красках, а с пугающей резкостью, скажем, в ярко-оранжевых тонах, с белыми, словно кроющей краской нанесенными крапинами. В черно-серое брошен резкий зов: желтое, коричневое и белое, скоро расточится немота, затаенность, тупое безразличие и начнется драма. А внизу — минеральная зелень, без этого у него не обходилась ни одна картина, из минеральной зелени все у него и возникало; однако Балтазар не мог или не хотел это уразуметь.

Я посмотрел на художника, на неизвестных людей и снова на художника; прислушиваясь, он, казалось, повторял выражение лиц и позы своих персонажей, явно чувствовавших себя под угрозой, — чужие, отданные на произвол, среди ландшафта, куда они, странствуя, попали не случайно, а куда их забросили или загнали насильно. Мне в то время мешали — да и сейчас мешают — их головные уборы, смесь тюрбанов с фесками, возможно напоминающие о каких-то турецких войнах. Но их отчужденность, их потерянности, их страх — независимо от любых времен — подтверждались всем настроением ландшафта.

А теперь я намерен опустить край одеяла, отгораживающего топчан от мастерской, и еще раз зайти в мастерскую, на сей раз, так сказать, официально, не боясь шума, ибо именно так я и поступил. Я на цыпочках подошел к двери, постучался, отворил ее, закрыл за собой и крикнул:

— Дядя Нансен! Ты здесь, дядя Нансен?

Он ответил не сразу, сначала запер шкаф и вытащил ключ и уже потом откликнулся:

— Что случилось? Кто там? — И не спеша показался из необозримой глубины мастерской, но не сердито и нехотя, как это бывает, когда его оторвут от работы, а добродушно шаркая ногами. Я подождал, пока он подойдет к порогу.

— Вит-Вит, — сказал он, увидев меня, но сказал спокойно, без чувства облегчения и нисколько не удивляясь. — Чего тебе, Вит-Вит? — Он прислушался к тому, что творится у него за спиной, словно Балтазар мог в его отсутствие открыть шкаф и внести в картину желательные ему изменения, потом спросил: — Что-нибудь случилось?

Я без слов показал на кустарник и только вымолвил!

— Клаас... — И так как он меня не понял и серые глаза его глядели куда-то над моей головой: — Клаас здесь, помоги ему.

— Твоего брата здесь нет, — сказал он, — Клаас ранен и лежит в больнице.

— Он лежит за мостиком, — сказал я. И добавил: — Он хочет к тебе, только к тебе.

Тут художник подобрал полы плаща, сунул зажженную трубку в карман, еще раз прислушался к тому, чем занят Балтазар, и вышел из мастерской. Я закрыл дверь и бросился за ним.

— Чего вы только себе не позволяете, — ворчал он, короткими шагами мчась по саду, а я ему в его крепкую, хоть и немного сутулую спину:

— Его ищут, они уже побывали у нас.

— От вас только и жди неприятностей, — ворчал он, — вы не можете оставить человека в покое. — Долгополый плащ скрывал возникновение его шагов, и мне казалось, что он плывет, движимый гневом или по меньшей мере подгоняемый обидой, и снова я услышал его укоризненный голос: — Чего вы только себе не позволяете!

Чтобы сократить дорогу, мы вдоль кустарника побежали к лазу и, выйдя из сада, нашли Клауса там, где я его уложил. Голова его по-прежнему покоилась на подушке из травы. Художник склонился над ним, накрыв его своим широким плащом, быть может неся ему желанную прохладу, и я вынужден констатировать, что эта группа» изображающая распростертую на земле фигуру и другую фигуру, склоненную над ней в классической позе утешителя, напомнила мне любимую картину фюрера «После битвы», с той разницей, что на картине коленапреклоненная фигура скорее женского пола. Художник, однако, не собирался утешать брата, он только хотел понять, что с ним случилось, почему он лежит под его кустарником без кровавого венчика на виске и вместе с тем не встает.

— Клаас, — сказал художник, — Клаас, мой мальчик, что с тобой? — Он поднял неподвижную руку, которую брат прострелил дважды — раз за разом, — и снова опустил. Пощупал ему плечо, грудь и низ живота, но тут Клаас вздрогнул и взмолился:

— Не надо, не трогайте там.

— Ты в состоянии идти? — спросил художник.

— Конечно, я вполне могу встать. — С помощью художника он присел и вдруг затрясся. — Мне надо спрятаться, — сказал он и наконец поднялся.

— Иисус Мария, — вздохнул художник, — от вас только и жди неприятностей и хлопот.

— Домой, — сказал Клаас, — домой мне никак нельзя. К ним уже приходили и еще придут!

— От вас всего можно ждать, — снова заворчал художник и поддержал брата, а Клаас, застонав:

— Если меня схватят, мне крышка.

— Нет чтобы оставить нас в покое, — пробормотал художник и, крепко прижав Клааса к себе, заставил его сделать первый шаг, а потом и вовсе поволок, все так же бранясь и качая головой, снова и снова повторяя свои брюзгливые жалобы, все дальше, по направлению к лазу, а там и к беседке. Здесь, в сумеречном свете, он посадил Клааса в широкое кресло из лакированного ивняка. Он приподнял его лицо, но не так, будто хочет поговорить с ним глаза в глаза, а словно ища в нем некое памятное выражение, временами появлявшееся на его лице, выражение неподдельной умиленности, говорящее о душевной простоте, бессознательной, классической душевной простоте, что и побудило художника ввести его в свою «Тайную вечерю», где Клаас в роли ширококостного нескладного малого в трепетном ожидании глядит в кубок. Клааса легко обнаружить в «Натюрморте с красной лошадьё», где он изображен в виде идолоподобного толстяка, он же стоит наискосок от Фомы неверного, будто собираясь подставить ему ножку. На картине «Пляж с танцующими и прочей курортной публикой» Клааса можно узнать в ясноглазом парне с синим лицом, который недоуменно глядит на эту пеструю сцену, тщетно силясь понять ее.

Я мог бы перечислить с десятков картин, на которых Клаас демонстрирует свою наивную умиленность, и, когда художник приподнял и повернул его лицо к свету, я подумал, что он ищет у него то же выражение, но, возможно, я и ошибаюсь, потому что он вдруг спросил:

— Да понимаешь ли ты, чего от меня требуешь? — Но Клаас только безучастно на него поглядел. — Ладно уж, пошли, — сказал художник, — делать нечего, пошли.

И он снова крепко обхватил брата; мы вышли из беседки, вдоль фасада с окнами прошли во двор, художник всю дорогу бранился, плакался и осыпал нас — и меня в том числе — упреками, мол, все, что мы вытворяем, ухудшает и без того невеселое его положение. Только в коридоре он замолчал. Он отпер дверь в восточный флигель, там вдоль окон тянется коридор, откуда открываются, скажем, сто десять дверей, тяжелых, выкрашенных в серо-зеленую краску дверей с торчащими в замках непомерно большими, очевидно самодельными, ключами. Подталкивая Клааса в спину, он повел его по коридору мимо всех этих дверей, за которыми мне мерещились не люди, а птицы: коршуны с голой шеей, тяжеловесные кондоры, беркуты с нависшими веками, сидящие на исцарапанных кроватных столбиках. В каменном полу были высечены памятные даты: год тысяча шестьсот тридцать восьмой, тысяча девятьсот двенадцатый и другие, а под ними инициалы: А. Й. Ф., Ф. В. Ф. — бороздки по краям стерты, а в каменных плитах кое-где зияют трещины.

Ту ли дверь отворил художник? Эту ли комнату предназначил он брату? Он неожиданно остановился, отпер одну из дверей, вошел, тотчас же вернулся, кивнул и осторожно ввел в нее Юйаса. То была ванная, вернее, кто-то, должно быть еще старик Фредериксен, отвел это помещение под ванную, приказал поставить здесь душ и ванну — матово-белое чудище с лапами грифа, но ни душ, ни ванна включены не были, здесь не было ни труб, ни крана, ни слива, так что напрашивалась мысль, что затея эта была оставлена по недостатку к ней интереса, а может быть, старик Фредериксен не дал себе труда хорошенько поискать эту



комнату и она затерялась среди множества других. Почему в незавершенной обширной ванной был сложен комплект подержанных матрацев, сейчас уже не догадаешься, во всяком случае, матрацы были налицо и художник набросал из них ложе, причем от каждого броска столбом поднималась пыль, пучившаяся облаком в процеженном свете косых солнечных лучей. На это ложе художник и приказал Клаасу лечь.

Мой брат опустился на четвереньки, повалился набок и вытянулся во весь рост. Его знобило.

— Мне бы одеяло, не найдется ли у вас одеяла? — спросил он.

— Ты получишь все, что тебе нужно, — сказал художник и начал прибираться под высоким окном: составил двойную стремянку и отнес ее в сторону, собрал в кучу свинцовые трубы, ножовки, вентили, изоляционный материал и все это побросал в картонный ящик, затолкал ногой в угол облупившуюся штукатурку, бумажки и окурки, снял с гвоздя халат с узором из рыбьих костей, ощупал карманы, сложил и сунул его Клаасу под голову.

Клаас трудно дышал. Он смотрел на меня с несчастным видом. Теперь, когда я вижу его на этом ложе сквозь клубы пыли, сквозь дымку воспоминаний, мне кажется, будто он подал мне незаметный знак, тайный сигнал, прося не покидать его. Пыль ложилась на его лицо и веки. Я не понял его знака. Художник, качая головой, обходил помещение, оглядывая все, что здесь нужно сделать, и, казалось, у него опускались руки. Брат повернулся набок и зарылся лицом в гиб локтя.

— Он еще ничего не ел, — сказал я и положил хлеб на изголовье матраца.

— Все в свой черед, — сказал художник, — во всем нужен порядок, раз уж вы устраиваете такие сюрпризы. Постепенно он получит все, что ему нужно. А теперь пойдем, оставим его одного. Мне надо еще сообразить, что тут на меня свалилось.

## Глава VI Второе зрение

На сей раз я начинаю с темноты и ответственность за это, поскольку, речь идет о первой части вечера, возлагаю на подержанный проектор, зарегистрированную собственность глужерупского краеведческого кружка, приобретенный по инициативе его председателя Пера Арне Шесселя, которого я по привычке зову дедушкой, хранимый и обслуживаемый им лично. Проектор стоит на столе, стол стоит в среднем проходе, по обе стороны прохода стоят тяжелые, скажем прямо, нестроганные скамьи, на которых по необъяснимой причине у большинства зрителей в кратчайший срок немеют ноги. Чтобы проектор был как следует направлен на экран, спереди под него подложены две книги, которые постоянно для этой цели держат под рукой, а именно; «Сыновья сенатора» Шторма и «Мессиада»

Клопштока — обе книги по своему объему гарантируют точное совпадение светового пятна с краями экрана.

Экран — это оборотная сторона исторической карты Шлезвиг-Гольштейна, серовато-белый, слегка испачканный в левом верхнем углу прямоугольник, который под неподкупным пучком света позволяет разглядеть контуры островов, берегов и заливов, лишней раз доказывая любому критикану, что если эта местность и не окружена морем, то, во всяком случае, море теснит ее с двух сторон. На экран устремлены взоры восьми, впрочем, что я говорю, двенадцати, а пожалуй, и шестнадцати зрителей, сидящих слева и справа от прохода; некоторых из них слепит свет, исходящий из боковой щели проектора и отраженный стеклянными витринами шкафов и ящиков, что стоят по стенам и между затемненными окнами. В световом конусе гудят насекомые и мелькает толстоватый мотылек. Он снова и снова измеряет расстояние между линзой и экраном и всякий раз, наталкиваясь на что-нибудь, выбивает слабосильную металлическую дробь. На скамьях переговариваются

приглушенными голосами; то здесь, то там раздается покашливание, никто не курит. В комнате тепло.

Из соседнего хлева нет-нет доносится отрывистый лязг цепей, должно быть корова вздернула голову; время от времени в тишину врывается топот или чье-то копыто неистово скребет землю. Порывы ветра. Собачий лай. Из полутьмы перед экраном высовывается красное, удлиненное, брызгливое лицо дедушки, даже тень, отбрасываемая его головой на экран, кажется брызгливой. Сельский хозяин Пер Арне Шессель не смеется и не улыбается, он никому не подмигнет, не помашет, от него и кивка не дождешься, он попросту стоит, долговязый и угрюмый, как цапля, и постепенно шепот умолкает, в комнате водворяется тишина, редко кто кашляет, да и то скорее для страховки, в общем, надеюсь, картина ясная.

А пока суд да дело, я хочу воспользоваться наступившей тишиной, чтобы сказать, что до этой минуты, до выступления дедушки перед экраном, все наши кюлькенварфские вечера были посвящены местности, пролегающей между Хузумом и Глюзерупом, ее развитию и становлению, ее восхитительным ископаемым, ее драгоценному илу, ее животным, растениям и рвам, но прежде всего самому ее существу. Когда я пытаюсь, сосредоточась, окунуться в прошлое, я вижу, что память сохранила мне по части общей атмосферы наших собраний следующее: теплую полутьму, световой конус проектора, оглушенных насекомых, звуки, доносящиеся из соседнего хлева, и перешептывающихся в ожидании, пребывающих в приятнейшем расположении духа членов кружка, которые прибыли в Кюлькенварф, так называемое родовое гнездо Шесселей, по письменным приглашениям самого Пера Арне Шесселя, рассылаемым им преимущественно зимой.

Вспоминается мне также, что на этих заседаниях, происходящих в сарае между жилым домом и хлевом, в этом помещении, которое мой дед поставил на службу краеведческим изысканиям, выставлялись хранящиеся здесь как под замком, так и в открытом виде памятники истории и культуры нашего края и, конечно же, образцы его пейзажного своеобразия. Взять хотя бы, к примеру, зубчатую острогу из оленьего рога. Или каменные скребки, топоры и молоты. А также — не в последнюю очередь — урны. Браслеты среднего периода бронзы, оправы ножен для мечей, равно как и богато отделанные сосуды позднего каменного века, куда я без особых колебаний ставил бы цветы с короткими стеблями. Рукояти для мечей, резные украшения и широко известная треенбургская золотая пластина должны быть здесь помянуты не в последнюю очередь, равно как и многочисленные образцы земли, песка и горных пород, остатки лады из Норшлоттского болота, комичные, но доподлинные образцы одежды первобытных охотников и болотных крестьян и, наконец, в качестве аттракциона — иссохший, сморщенный и задубевший труп девушки, удушенной петлей — петля, разумеется, из кожи северного оленя, — девушка так и носила её на шее в качестве сомнительного украшения. И не на последнем месте — книги, специализированная библиотека, собранная тем же Пером Арне Шесселем: «Путешествие по Шлезвиг-Гольштейну в свете исторической геологии», «Дела и свершения на морском побережье», «Жизнь в Шобюле», «Мой остров в зеленом одеянии», «Дыхание рассвета» и, наконец, стопка собственных дедушкиных брошюр и книжек в издании автора, таких, как «Язык могильных холмов», «Предметы жертвенного культа, найденные при раскопках Норшлоттского болота», «Грандиозные наводнения и их последствия» и так далее.

Если кто-нибудь усмотрит в этом списке упущенную археологическую находку или название ученого труда, прошу без всяких вписать его сюда, мне же больше нельзя заставлять дедушку глядеть на световой конус проектора, хотя, как многие еще, должно быть, помнят, он способен был с необыкновенным упорством смотреть в темноту и с таким же упорством и безо всякого для себя вреда пялиться на любой источник света. К тому же я считаю своей обязанностью рассеять впечатление, будто это краеведческое заседание, начавшееся в обычном порядке, протекало и дальше в обычном порядке и будто нет никаких оснований описывать его в особицу.

Как уже сказано, до той минуты, как Пер Арне Шессель вырос перед экраном, я ждал рядового вечера, без особых происшествий, и настроение мое разделяло большинство

собранных, но, когда дедушка, вдруг воздев обе руки, выжидательно покосился на дверь и потребовал полной тишины, в воздухе повеяло чем-то небывалым. Все притихли, и даже капитан Андерсен подавил кашель. За дверью ничто не шевелилось. Мой дедушка, приоткрыв рот и обнажив гнилые зубы, неотступно глядел на дверь. Все взоры были устремлены в одну точку, каждый затаив дыхание ждал — но так и не дождался — появления некоего анахронизма в виде кургузого охотника за оленями или болотного крестьянина, а то и самого короля Свена, того самого, что уже в незапамятные времена совершил путешествие в Англию.

Однако чем дольше мы глядели, тем больше убеждались, что за дверью и в самом деле что-то происходит: за узким матовым стеклом мерцал огонек сигареты, кто-то откашливался и, когда Пер Арне Шессель изготовился пусть к скуповатому, но, во всяком случае, пригласительному жесту, в комнату наконец вошел Асмус Асмуссен, автор книги «Морское свечение», почетный председатель глужерупского краеведческого кружка. Хоть он и предстал перед нами в морской форме штабс-обер-ефрейтора, все мгновенно узнали и приветствовали его радостными возгласами и аплодисментами, в ответ на что он небрежно отковырял и погасил сигарету. Это был создатель Тима и Тины, популярных у нас героев «Морского свечения», — оба они, если не ошибаюсь, познакомились при посредстве бутылочной почты, и подобный обмен письмами так пришелся им по вкусу, что они и в пору жениховства и супружества обменивались письмами в бутылках, без усталости продолжая эту игру, и даже в преклонном возрасте считали подобную переписку приятнейшим и, уж во всяком случае, экономнейшим способом общения, дав таким образом своему творцу возможность уже много лет спустя после их смерти все еще находить на отдаленных берегах закупоренную почту, которая, не скупясь на строчки, знакомила читателей с посмертными новостями о Тиме и Тине.

Итак, Асмус Асмуссен, несший службу в Северном море на одном из дозорных кораблей, прибыл из Бремерхафена в краткосрочный отпуск. Это был лихой моряк, ноги колесом, с густыми, можно сказать, пылающими волосами, с развитой, как у штангиста, шейной мускулатурой; так как взгляд его играл всеми оттенками выражений от мужества до доброты, в нем совсем нетрудно было бы признать творца Тима и Тины, если бы не чересчур выразительный круглый рот — то, что называется рот копеечкой. Рот выдавал его. Асмуссен ловко сорвал с головы бескозырку с длинными лентами и, держа ее по уставу под мышкой, кокардой и орлом вперед, выслушал приветствие, с которым обратился к нему Пер Арне Шессель, чуть ли не каждую его фразу подтверждая поощрительным кивком. То, что Пер Арне Шессель для начала охарактеризовал его как глубокого знатока родного края, а также мужественного дозорного, очевидно, не вызвало у Асмуссена никаких возражений, и с такой же готовностью согласился он с тем, что его называли правдивым изобразителем местных судеб, а в заключение — даже совестью Глужерупа. На все это Асмуссен только кивал головой и одобрительно улынулся, когда дедушка объявил тему вечера, оговорив, что перед нами выступит оратор, призванный, как никто другой, ее осветить. Тема — «Море и отечество»; призванный — Асмус Асмуссен. С этими словами дедушка уселся.

Автор «Морского свечения» положил бескозырку на стол, проследив, чтобы ленты прямо и гладко ниспадали к полу, сунул руку за пазуху, потом еще куда-то поглубже, но так и не достиг желанной цели, после чего, вздернув плечи и напрягши зад, стал шарить где-то в области левого бедра, на секунду замер, ухмыляясь, и очень бережно, очень медленно вытащил конверт со снимками и, подняв вверх, помахал ими в конусе света: итак, можно было начинать. Я уже собрался пересесть в первый ряд, но не тут-то было: отец схватил меня и силком усадил, так и пришлось мне остаться с ним рядом у окна и оттуда наблюдать, как Асмус Асмуссен по проходу между скамьями направился к проектору и вставил свой первый снимок, но еще не воспроизвел его на экране.

Что, однако, творилось с отцом? В то время как Асмус Асмуссен благодарил, передавал приветы с передовой и приступил к введению, отец пребывал в смятенных чувствах — таким я его еще не видел. Он беспокойно вертелся и ерзал на скамье. Он кончиками пальцев

нащупывал свои глазные яблоки. Он мял и тискал свой платок. Он порой так откидывался назад всем корпусом, что я боялся, как бы он не упал навзничь, на колени птичьего зрителя Кольшмидта. Пот выступил у него на верхней губе. Он нет-нет да и содрогался всем телом, словно под каким-то необъяснимым давлением изнутри. При этом на лице его читалось недоумение, будто он и сам не понимал, что с ним творится. Он часто резким, нетерпеливым движением проводил рукой по лбу.

Все это я теперь воспринимаю гораздо отчетливее, чем в те минуты, когда отец в своем небывалом трансе сидел со мной рядом, так как все мое внимание было тогда устремлено на Асмуса Асмуссена и я с нетерпением ждал его первого диапозитива.

Асмуссен, однако, не спешил и сначала подробнейшим образом остановился на смысле названия «Море и отечество». Он рассмотрел это название под разными углами зрения, переиначивая его на все лады, извлекая и вкладывая в него все новые значения, жонглируя словечками «будто» и «точно» и предлагая присутствующим взять в расчет, какие открываются неожиданные глубины, когда мы море воспринимаем как некое отечество. Он даже предложил нам без боязни сократить это название, говоря о «море-отчизне», что, по его словам, звучит еще неохватнее, еще проникновеннее. Сам он, впрочем, исходил из варианта «отечественное море»; он много рассуждал о понятии «материнское», но не забывал и о мужестве, которое воспитывает в человеке силу, упрямство и задор, и, перескочив на другое, попросил нас поразмыслить, сколько всего должно было свершиться, чтобы мы могли именовать море «отечественным морем».

— Одно можно сказать с уверенностью, — заключил он, — что защищаем мы не всякое, а отечественное море.

И тут Асмус Асмуссен предъявил нам свой первый диапозитив: на экране дозорное судно парило в небе из хлопьев пены, а под ним тянулся мрачный, низко срезанный горизонт. Под общий смех зрителей исполинские пальцы ухватили и перевернули диапозитив, и судно нормально легло на воду. Никто не сомневался, что вооруженное рыболовное судно, которое тяжело кренило набок, которое надрывалось от натуги и как будто должно было перевернуться с первой волной, было тем самым кораблем сторожевого охранения, на котором Асмус Асмуссен нес службу своей «море-отчизне». Корабль, очевидно, сфотографирован с марса: никого из команды видно не было, и только на баке у зенитки сидели две фигуры, затушеванные брызжащей пеной, и махали фотографу вверх. Глядя на это судно сторожевой охраны, не имевшее названия, а только номер и производившее потерянное и, во всяком случае, безнадежное впечатление, мы предавались игре воображения. Мы, так сказать, погрузились на него, поднесли к глазам бинокли или потянулись за макаронами с салом. Что означают два белых круга на лафете для двухствольной тридцатисемимиллиметровки, было мне известно. А судить о силе ветра у меня возможности не было.

— Это наш корабль, — сказал Асмус Асмуссен голосом, звучащим ровно и напористо, подобно приливно-отливному течению в узком проходе между береговыми отмелями. И добавил: — Наше славное судно. Заметьте, — продолжал он, — это судно — лишь одно из звеньев в бесконечной цепи глубоко эшелонированных кораблей, которые несут службу в отечественном море. Днем и ночью. В дождь. В беспросветную метель. Образуя абсолютно надежную цепь. Никому не удастся проскользнуть сквозь это ограждение, ни даже морскому зайцу, а тем более англичанину. И нет числа кораблям, подобным нашему, которым фюрер передоверил защиту нашего отечественного моря. — Он так и сказал: «передоверил».

Рука отца дернулась. Он поднял ее, протянул вперед, нацеливаясь указательным пальцем на сторожевое судно; он давился каким-то словом, но не мог его произнести и, когда Асмус Асмуссен вставил новый диапозитив, вяло уронил руку. Этот снимок показывал в море некое пустое пространство, освещенное солнцем сквозь молочную наволочь. Корабля видно не было, однако никто не подумал, что он уже затонул, потому что по воде тянулся белый пенный след, который мог быть оставлен только корабельным винтом: кипящее «кильватерное море». Второй диапозитив был посвящен единственно кильватерному морю;

отчетливо зримое, оно постепенно ширилось и терялось где-то у горизонта — светящаяся борозда, образованная недолговечными пенистыми узорами.

— Должно, закормовое море, — догадался капитан Андерсен, но вместо ответа Асмус Асмуссен ударился в лирику. Прочувствованным голосом, призывавшим к восхищению, он сказал: — Находиться на передовой, на сторожевом посту означает ведь не только нести службу, согласны? Море любит тех, кто ему противостоит, оно открывает им свои тайны, свои настроения.

— Так это, стало быть, не закормовое море? — спросил капитан Андерсен в полном недоумении, однако Асмус Асмуссен, выйдя на лирический курс, продолжал, будто не слыша:

— Стороннему наблюдателю, чужаку не откроется этот многообразный мир; тот, кто предпочел жизнь на земле, останется глух к зовам моря. Прошу внимания. Здесь, на этом снимке, перед нами фейерверк, хоть он и не совсем получился: мы называем его «морское свечение». Оно теплится, оно пылает, оно разбрасывает в море желтые и зеленые молнии; в такие минуты умолкают орудия. Кильватерное море представляет собой единый светящийся след, особенно ночью. Море словно приветствует своих питомцев, которым оно даровало право гражданства. Море шлет свой восторженный гимн идущему без огней кораблю, где никто не спит, потому что всполохи света озаряют нос и корму. — Он умолк, взгляд его был прикован к диапозитиву, а может быть, он, как и я, погрузился в наблюдение над толстоватым мотыльком, который упорно пытался броситься в кильватерное море, но только бессильно стучался об экран. Асмус Асмуссен, казалось, с трудом оторвался от созерцания своего снимка и чуть ли не пришел в смущение, когда девяностодвухлетний фотогеничный капитан Андерсен пожелал узнать:

— А разве свечение не от этакой маленькой дряни — *posticula* или как она там называется? Сколько раз мы это видели.

— Само собой, — отвечал Асмус Асмуссен, — у свечения есть свои причины: то, что при соответствующем раздражении так сверкает и блестит, не что иное, как микроскопические обитатели морской воды, так называемые жгутиковые, или биченосцы, если вам угодно знать, скромные простейшие. Но разве они не частица моря? И разве одно не сверкает через другое и в другом?

Он так и не ответил на свой вопрос, да и ни от кого не ждал ответа, а только выдержал паузу, прежде чем снова погрузиться в воспоминания, но паузой воспользовался отец, чтобы выкрикнуть, слегка оторвавшись задом от скамьи:

— ФП-22, ВП-22!

Кто-то из слушателей испуганно обернулся — тот же дедушка, Хильда Изенбюттель и Дитте, — тогда как Асмус Асмуссен удивленно подтвердил:

— Да, это номер моего корабля.

Но так как все ждали, что еще скажет отец, то он смущенно улыбнулся и с неопределенным жестом, выразившим не то раскаяние, не то полную беспомощность, медленно уселся. Он опустил руку на мою ляжку, не сразу сообразил, что это не его ляжка, и, только сообразив, убрал руку. Я даже в полутьме заметил, что с ним что-то неладное, что он взволнован, робеет, может быть, даже мучится, — одно могу сказать, в тот вечер у ругбюльского полицейского впервые обнаружили симптомы болезни, правда не столь редкой в наших краях, но оказавшей бесспорное влияние на его дальнейшую деятельность полицейского.

Но да будет здесь сказано лишь самое необходимое, я раскрываю покуда одну только карту в колоде, потому что Асмус Асмуссен как раз снимает с экрана морское свечение и обращается к нам с другим снимком. Что же он предлагает нашему вниманию? На сей раз это вечерний пейзаж, на палубе закончен рабочий день, здесь отдыхают — кстати, и море отдыхало, — несколько матросов оперлись на поручни, но смотрят они не на открывающуюся в избытке даль, а на такого же матроса, играющего на гармонии, а что до тяжело нависших вечерних облаков, за которыми, возможно, скрывается энное число

бомбардировщиков «бленгейм», то к ним они повернулись спиной.

— Тут, — сказал Асмус Асмуссен, — особенно и смотреть не на что. Вечер как вечер, команда отдыхает за незатейливой песней, тогда как вахта на штирборте, — а это как раз мы — ведет непрерывное наблюдение за горизонтом. Орудия, как видите, молчат. С рыбной ловлей на сегодня покончено: пикша, навага и треска — неплохое добавление к каждодневному меню. Море всех кормит. Слева сверху видна наша счетверенная зенитная установка. На ноке ходового мостика стоит незримый командир корабля. Однако эта картина нам мало что дает. Следующая, думаю, покажется вам интереснее. — И Асмус Асмуссен, этот великий знаток моря, вставил новый снимок.

Над морем стоит ясное утреннее солнце, солнце, при котором вас пробирает дрожь. Мертвая зыбь. ВП-22, очевидно, сильно качает. Часовой на корме как раз спугнул несколько чаек. Над печной трубой вьется легкий дымок, рождая воспоминание о разведенном рано поутру домашнем очаге. Должно быть, повар хмуро кипятит утренний кофе. Должно быть, команда ФП-22 чистит изъеденные скорбутом зубы. По радио в кубрик и на все палубы, должно быть, передают утреннюю музыку.

— Обратите внимание, — сказал Асмус Асмуссен, — справа висят бомбы. Четыре бомбы, готовые ежеминутно... Они кажутся на солнце тяжелыми, но на внимательный взгляд... Все они упадут со штирборта.

Я вскочил. Передо мной и рядом со мной выпрямились расслабленные спины сидящих. Этого никто не ожидал, это всех застигло врасплох, общее настроение не допускало никакой бомбежки, ничто так не вязалось с этим утром сторожевого судна, как нависшие со штирборта бомбы. Но все-таки мы их обнаружили. Матрос-сигнальщик хладнокровно их запечатлел, две даже поблескивали на утреннем солнце. Они падали с различной высоты, соединительная черта, проведенная между стабилизаторами, представляла бы диагональ, сейчас они одна за другой ударятся о воду, взорвутся тут же или на заданной глубине, явив глазу художника-мариниста ни с чем не сравнимое перспективное зрелище — четыре среднетяжелые, скорее, малокалиберные бомбы, сброшенные невидимым глазом самолетом. Собственная скорость, угол падения, курс корабля: математика на сей раз была в пользу ВП-22.

— Обычное рядовое утро, — сказал Асмус Асмуссен, — и вот... Надо быть всегда наготове. А море — оно на все молчит. Жаль, де удалось заснять разрывы, красочные фонтаны огня; в своем дневнике я пишу о проспекте фонтанов, по которому движется наш корабль, неуклонно следуя заданным курсом, и так далее и тому подобное.

Капитан Андерсен прервал эти излияния:

— А разве со дна ничего не всплывает?

Асмус Асмуссен, казалось, не сразу понял, а когда все же ответил, в голосе его нельзя было не расслышать раздражения.

— Море быстро смывает следы, — сказал он. — В первую очередь, разумеется, всплывают водоросли, желтые и бурые. Зеленых не видно. Поверхность усеяна морской травой и мертвой рыбой, тут и камбала, и морской язык, много наваги. Редко попадаются морские скорпионы. Еще реже — хрящевые, такие, как скаты или акулы. Совсем не видно раков и ракообразных. Море равнодушно принимает эти потери. Спустя короткое время всё это частью рассеивается, частью погружается в воду и тонет. Вскоре никому и невдогад, что здесь разорвалась бомба. Море уничтожает все следы.

— Ну а те — они тоже тонут? — спросил капитан Андерсен, на что докладчик:

— С нашей стороны потерь не было, если ты это имеешь в виду.

В то время как Асмус Асмуссен в боковом свете проектора просматривал остальные фотоснимки, тасовал и приводил их в порядок, отец завязывал узлы в своем большущем бело-голубом платке: так он вывязал зайца, ежа, а то, обойдясь одним узлом посредине платка и туго его растянув, изобразил змею, проглотившую кролика, и всем этим он занимался не от скуки и не потому, что диапозитивы были ему уже знакомы или успели прискучить. Он искал отвлечения. Он нуждался в разрядке. Ему надо было снизить давление:

в самом деле, можно было подумать, что рядом со мной находится небольшая перегруженная подпорная запруда. А что, если она перельется через край? Она и перелилась, когда Асмус Асмуссен, прищелкивая языком, вставил снимок, показывавший экипаж ФП-22 за уборкой корабля. На сей раз со штирборта не падало бомб, да и море было спокойное. Шесть моряков, включая создателя Тима и Тины, построившись цепью на равном расстоянии друг от друга, с воздетыми в воздух швабрами, в размеренном ритме драили среднюю палубу. Все они глядели в аппарат. Все смеялись. Очевидно, им доставляло удовольствие начищать палубу родного корабля, и они не обращали внимания на опрокинутое ведро, из которого лилось жидкое мыло. Сверху на них сумрачно глядело пасмурное небо, отсюда и плохая видимость. На заднем плане или где-нибудь в укрытии можно было представить себе гармониста, помогавшего матросам работать в заданном ритме.

— Опрятность — первая обязанность моряка, — говорил Асмус Асмуссен. — Море требует опрятности. Посмотрите на опрокинутое ведро: четыре таких ведра уходят у нас на уборку судна. Плавающее отечество тоже должно сверкать чистотой. Рыбья чешуя. Галька и прочее. Близость опасности не может служить оправданием грязи. Прошу обратить внимание на пену.

— Нет! — воскликнул вдруг отец. — Нет, Асмус! — Он поднялся, показал протянутой рукой на ФП-22, глотнул с усилием и снова выкрикнул: — Нет, Асмус, еще нет, пока еще нет!

Все взоры обратились на нас. Отец утер лоб платком, слегка покачнувшись и с усилием оторвался от экрана, словно вид этих работающих в ритме моряков ему невыносим. Асмус Асмуссен, однако, не убрал фотоснимка, он повернулся к отцу, посмотрел на него, прищурясь, и спросил:

— Что значит нет?

Все глядели на нас в ожидании ответа, а ругбюльский полицейский медлил. Рванув воротник мундира, он отстегнул две верхние пуговицы и принялся растирать себе руки, словно они мокрые. Он все еще колебался. Он подошел к Асмусу Асмуссену. Сноп света, вырывавшийся из боковой щели проектора, перерезал его щеки пламенеющим шрамом. Он дотронулся до согнутой в локте руки моряка и, возможно, пожал ее. В первых рядах справа и слева от прохода кое-кто привстал, чтобы услышать, что он скажет.

— Ну, чего тебе? — спросил Асмус Асмуссен и инстинктивно, словно обороняясь, прижал к себе руку с еще не просмотренными снимками.

В помещении царил полная тишина, когда ругбюльский полицейский вдруг спокойнее, чем можно было ожидать, произнес:

— Не выходите в море, Асмус, покамест не выходите, я вас видел.

— Чего он сказал? — вскинулся капитан Андерсен, и кто-то пояснил ему:

— Он что-то видел.

— Я видел вас в дыму, — сказал отец, — как вдруг сорвался ветер, он разогнал дым, а от вас и от вашего корабля уже и следа не осталось.

В комнате слышался только равномерный гул проектора да приглушенное бряцание и скребущие звуки, доносившиеся из хлева. На экране шесть моряков с воздетыми в воздух швабрами, ухмыляясь, скребли палубу, готовя родной корабль к предназначенному крушению.

— Я видел вас в дыму, — повторил отец, — а когда дым рассеялся, в море еще носило спасательные жилеты да надувные лодки, все как есть пустые. И эта самая посуда — ваш ФП-22 — стояла в дыму. — Он оглянулся, словно ища в полумраке поддержки и подтверждения, но озадаченные слушатели в испуге молчали, и, конечно, никто не мог подтвердить того, что увидел отец на экране, сотворенном и развернутом для него одного. Да и сам он стоял с таким видом, словно готов извиниться за свои слова, стоял выдохшийся, опустив глаза, но испытывая несомненное облегчение. А как же Асмус Асмуссен? Похлопал ли он отца по плечу, чтобы успокоить? Призвал ли его, исходя из собственного богатого опыта, с большим доверием судить о шансах ФП-22? Или попросил не вмешиваться в будущее своего корабля? Асмус Асмуссен протянул отцу руку. Надолго задержав ее в своей,

он поблагодарил молча, без слов. И только когда капитан Андерсен воскликнул: — Он нешто зырит будущее? — Асмус Асмуссен сказал — не столько удивленно, сколько робко глядя на отца:

— Я подумаю об этом, Йенс. ИГ скажу другим. Мы будем начеку. — Тут он успокоительно похлопал отца по плечу, повернул его и рассчитанным пинком послал на место, так что отец без особой спешки приземлился со мной рядом. Легко, несмотря на давешнее состояние, нашел он свое место, давление у него, видимо, снизилось, он казался усталым, измотанным, из него точно выкачали воздух. Но окружающие, оторопело и даже со страхом пялившиеся на него в полутьме, ничего этого не замечали, они, быть может, боялись, как бы ему не взбрело в голову вступить в конкуренцию с проектором, чтобы поставить под сомнение или перекрыть собственными наблюдениями увиденное на экране.

Пора начинать, мысленно торопил я, и тут Асмус Асмуссен показал нам новый диапозитив и сразу же завладел вниманием краеведческого кружка, объявив, что двое мужчин в надувной лодке, подгребаящих к борту корабля, не кто иные, как американские летчики. Их щелкнули с марса. На них были спасательные жилеты, тугими колбасами охватывающие шею и, казалось, грозившие их задушить. Оба они, работая гребками, одновременно отталкивались от воды, и, насколько можно было, судить по снимку, вид у них был довольный. Они гребли, чтобы сдаться в плен. Гребли к борту ФП-22, откуда уже спустили веревочную лестницу. В воздух по направлению к надувной лодке взлетел конец; предсказать дальнейшее не представляло труда.

— Это наша тридцатисемимиллиметровка, — пояснил Асмус Асмуссен, — на сей раз ей удалось их снять с первого же захода. Дымовой столб. Вынужденная посадка. Приводнившись, они выпустили сигнальную ракету. В ту минуту они были потерпевшими крушение. В общем, народ тертый. Одно слово — американцы.

— Для них и война заработок, «джаб», как они называют, — подхватил дедушка.

— Для этих людей не существует священных уз, — добавил Асмус Асмуссен. — Они напрочь лишены внутреннего призвания и повсюду чувствуют себя как дома.

— Едят паклю и запивают лимонадом, — откликнулся брюзгливый дедушка, — я это сам читал. Что уж может быть хорошего при таком питании!

— Оттого что они повсюду как дома, — рассудил Асмус Асмуссен, — у них своего дома нет, и песни их — это песни туристов. Их книги — это книги бродяг. Их пристанища-пристанища кочевников. Они и сейчас еще кочуют в своих крытых фургонах.

— Типичные штафирки, — брезгливо уронил дедушка, — они и на войне остаются штафирками.

— Вот именно, — подкрепил его слова Асмус Асмуссен и находчиво разразился афоризмом: — Большие бури не страшны только оседлым народам.

Это должно было сыграть роль заключительной реплики. Асмус уже вытащил из конверта следующий диапозитив и только-только хотел его вставить, как на арену снова выскочил мой родитель, но не в роли полицейского, который хочет тоже свое слово сказать, — губы его бешено двигались, примериваясь к словам и фразам, он на негнущихся ногах проковылял к докладчику, вперился в него глазами, видевшими грядущие несчастья, и обеспечил вечеру новую кульминацию, заявив:

— Слышь, Асмус, я тебя видел в надувной лодке. Ты не двигался. Твоя рука через борт свесилась в воду. Никого с тобой не было и ничего вокруг.

Больше отцу сказать было нечего, это все, что у него оставалось в запасе, да больше ничего и не требовалось говорить. Докладчик, словно защищаясь, выставил вперед руки, не подпуская его к себе.

— погоди, сделай милость! — сказал он.

— Но я же видел тебя в надувной лодке, и ты не двигался, — настаивал отец, понизив голос, словно прося прощения, на что Асмус:

— Я бы предложил не прерывать доклад не идущими к делу замечаниями.

Ругбюльский полицейский в отчаянии огляделся. Он что-то искал глазами. Уж не искал



ли он другой экран? Может быть, он хотел отбросить на его светлую поверхность картины, проявленные в камер-обскуре своей головы, чтобы убедить всех в важности сделанных им открытий?

— Ладно, — пробормотал он, — нет так нет!

К счастью, отец, как уже сказано, все понимал и усваивал крайне медленно, и это позволяло ему переносить многое — в первую очередь самого себя. Вздохнув, он пожал плечами и сунул в карман платок, куда увязал все свои волнения, и нисколько не удивился, увидав перед собой Хиннерка Тимсена, который — не иначе как по желанию публики — подошел и схватил его за рукав:

— Пошли, Йенс?

Отца не удивило, что все поднялись как один, когда он по среднему проходу проковылял к двери; в сопровождении Хиннерка Тимсена, хозяина местной гостиницы, он с облегчением вышел на воздух с таким видом, будто официальная, малоинтересная часть программы кончилась, и уже у самого выхода произнес:

— Что до меня, Хиннерк, то и я не прочь уйти. — Он ухитрился не заметить молчания рядов, которые ему пришлось миновать, тогда как я долго не решался за ним следовать и, только когда народ стал садиться, отважился побежать по усеянному лужами двору вдогонку за идущей рука об руку парой, впрочем, нет: это Тимсен подхватил отца под руку и в свете ясного вечера увлекал его наверх, к дамбе.

Но не стоит ли сделать отступление и поговорить о Хиннерке Тимсене? Он постоянно носил шарф такой же длины, как цепь всевозможных профессий, в каких он себя перепробовал, потерпев во всех крушение. Этот свисающий до колен шарф был как бы понурым знаменем неудачника. Тимсен побывал в моряках, скототорговцах, фабрикантах мешковины, работал и батраком, скупал старые вещи и распространял выигрышные билеты, а до того, как унаследовать от сестры гостиницу «Горизонт», встречался нам в качестве молочника с тележкой на резиновом ходу. По своему живому характеру пытался он создать из «Горизонта», что называется, первый дом в округе — тут тебе и музыка, тут и он сам в трех лицах: конферансье, комик и фокусник, но все его старания пошли прахом: он не успевал кончить, как посетители обращались в паническое бегство, платили, не допив пиво, убегали от полных тарелок; так его честолюбивые замыслы снова потерпели неудачу, и он давно устремился бы искать счастья на новом поприще, кабы не грянула война.

Хиннерк Тимсен, эта неумная натура, этот человек с запросами, вел отца вверх, на дамбу. Поглощенные друг другом, они не замечали меня. Отец тяжело переживал свою неудачу, он как будто и не помнил всего, что с ним было, но у него осталось ощущение, будто он был вынужден сказать что-то не к месту и не ко времени, чем всех против себя восстановил.

— Что, очень я опозорился? — то и дело спрашивал он у собеседника. — Скажи, Хиннерк, очень я осрамился?

И этот искушенный во многих профессиях неудачник только качал головой, а сам с озабоченным видом, а то и с робким восхищением поглядывал на ругбюльского полицейского, очевидно подозревая в нем еще большие способности, чем те, что были явлены в этот памятный вечер.

Однако беспокойство побуждало его торопиться, и среди бессвязных уговоров он все дальше и дальше увлекал и подталкивал отца вперед по гребню дамбы, мимо неторопливо набегающих волн, утративших у бун свою энергию и только лениво переливающихся, точно при замедленной киносъемке. Ни грохота, ни стремительного обратного стока, ни взлизывающих пенных язычков, ни отвесно взмывающих струй меж камней и бетонированных гряд. Высоко над нами плыли эскадрильи самолетов, держа курс на Киль. Йодистый запах моря, соленые ветры — как все это близко и как все готово вернуться, только бы уловить мгновение, только бы ухватить нужное слово; давайте же двигаться ощупью или только прислушиваться, чутко внимать голосу, что время от времени доносится к нам.

И никаких скидок, никакой веры голосу, не знающему сомнений: вот, мол, дамба, вот,

мол, море, а вот передо мной идут двое.

Мы спустились к «Горизонту». Ступили на деревянный помост над дамбой. Широкие окна, откуда открывался вид на море, были затемнены. Небольшой воздушный шарик, показывающий направление ветра, безжизненно свисал с мачты. На море легли синие тени, разделенные серыми полосами. Отец вытащил велосипед из стойки и заворотил назад, но Хиннерк Тимсен не отпускал его.

— Заходите, выпьем по стаканчику, — настаивал он.

— Сегодня это мне ни к чему, — отнекивался отец. Но Тимсен не отставал:

— Один стаканчик, идет?

И так они пререкались, пока мой сокрушенный родитель не поставил велосипед обратно в стойку. Друг за дружкой прошли мы через боковую дверь в зал, где не было ни одного посетителя и сидела одна лишь Иоганна; она вязала и, узнав нас, не отложила свое вязанье. Иоганна, бывшая жена Хиннерка, служившая у него официанткой, едва ответила нам на приветствие и укрылась за своей работой, так что к столу проводил нас Тимсен и сам занялся полицейским.

Он занялся им с необычайным рвением: тщательно вытер тряпкой стол, позаботился и о подставках, с многозначительной ухмылкой достал из своего личного шкафчика бутылку рома, припрятанную на особый случай, и дал понять, сколь щедрую порцию он на сей раз отмерил, и так далее. Так предупредительно Тимсен еще не угощал отца. Он сразу же нарушил уговор, оставив на столе заветную бутылку на личное отцово усмотрение. Лицо его выражало какую-то безрассудную, отчаянную веселость. Скорее всего именно эта его горячность, от которой можно было всего ждать, и обращала большинство посетителей в бегство. Помнится, и я не сразу решился пригубить лимонад, которым он меня угостил. Тимсен, должно быть, тщательно все обдумал, так как, прежде чем к нам присесть, выдворил Иоганну, соорудив грозную гримасу и сопроводив ее продолжительным шипящим звуком, каким шугают кур, и это возымело желанное действие: плечистая, неряшливо одетая женщина с небрежно заколотой копной волос поднялась, недовольно собрала свою работу и исчезла. Тогда Хиннерк сел между мной и отцом. Он поднял свой стакан, чокнулся с ругбюльским полицейским, а также, лукаво подмигнув, и со мной и под конец объявил нам причину внезапной выпивки:

— За твоё здоровье, Йенс, за сегодняшний знаменательный вечер.

Так сидели мы в «Горизонте», между тем как в соседнем Кюлькенварфе убедительно доказывали, что отечественное море способно ответить на все вопросы. На любой существующий вопрос. Почему у нас так боятся признать твоё невежество в той или другой, какую ни возьми, области? Величайшая ограниченность, к которой приводит поклонение родному краю, проявляется именно в том, что мы считаем себя компетентными в каком ни возьми вопросе. Надменность ограниченности...

Но мы останемся в «Горизонте»: низкий темно-зеленый потолок, отличительные огни, дверные притолоки, украшенные ракушками, отороченные шнурком флажки Глюзерупского сберегательного общества, освещенный миниатюрный штурвал, пустые цветочные ящики перед окнами с облупившейся белой эмалью, темные чугунные пепельницы с рекламными надписями, столики, обитые грязной клеенкой, возле стойки — круглый стол для завсегдатаев, шлюпка-копилка Общества спасения утопающих, этажерка для цветов с набросанными на ней старыми газетами, выцветшие, мутные фотоснимки курортной жизни за последнее тысячелетие или по меньшей мере трехсотлетие.

Мы сидели за столом завсегдатаев. Я первый разделался со своим напитком. Отец из мокрого кружка под графином воды вел пальцем узоры: он изобразил на клеенке треугольник Индийского полуострова и пристроил к нему два островка с западной стороны. Он углубился в себя, во владевшее им чувство вины, которое не мог или не хотел осмыслить, и пил безучастно. Хиннерк Тимсен ограничился первым глотком и только пристально и жадно вглядывался в отца — так смотрят на игровой автомат, когда диски мелькают и рябят перед глазами, — и во взгляде его было что-то алчное: этот расчетливый взгляд над дымящимся и

постепенно остывающим грогом говорил, что Тимсен ждет от моего родителя чего-то определенного.

Однако сцена в «Горизонте» уже достаточно подготовлена, та памятная сцена, которая началась следующим образом:

Полицейский (не поднимая глаз): Нам пора.

Тимсен (вскакивает): В такую-то рань? Есть еще кое-что, Йенс, о чем мне хотелось с тобой потолковать. Да ты наливай, не стесняйся!

Полицейский (устало): Нет, на сегодня хватит. Допьем — и айда!

Тимсен (вытянувшись во весь рост, становится у отца за стулом): Если тебя не затруднит, Йенс! Всего-навсего совет, и ничего больше. Ты тут ничем не рискуешь. (Неожиданно, нахрапом, подливает отцу грог.) И труда это тебе не составит.

Полицейский (как-то сразу поникнув): По мне — болтай что хочешь. Я сегодня ничего не могу взять в толк. Не знаю, что это с моей головой. С таким же успехом можешь обратиться к окну.

Тимсен (отступив вбок, разглядывает отца в профиль): Ничего не значит. Думать я могу и сам. (Отдаленная детонация. В окнах дребезжат стекла.) Должно, мина. Или еще какая пакость на море. А возможно, от самовозгорания. Так вот, слушай!

Полицейский (отмахиваясь): Сказано — у меня мозги не работают. Да еще мальчишка тут. Ему спать пора, и у меня что-то глаза побаливают. (Козырьком подносит руку к глазам.)

Тимсен (с торопливой угодливостью): Может, выключить свет? (Бросается к выключателю и гасит свет.) Это дело можно обсудить и в темноте. Раз у тебя болят глаза.

Полицейский (растерянно): Включи свет. Этак я и уснуть могу.

Тимсен (в темноте, одержимо): Можешь Отвечать не сразу. Дело терпит.

Полицейский: Сейчас же включи свет!

Тимсен (одержимо, протянув руку к выключателю): Что бы ты сделал на моем месте? У меня яйца из первых рук. И спирт из первых рук. Все досконально рассчитано. Мне хотелось бы построить фабричку: яичный ликер! Питательно. И согревает. Могу и в армию поставлять.

Полицейский (устало): Меня ты определенно выживешь своим яичным ликером. Кто его только выдумал!

Тимсен (не смущаясь): Вопрос — насколько это перспективно? Вот что мне надо знать! Разрешение не проблема. В мирное время можно и расширяться.

Полицейский (смеется): Если за мной дело, ты прогоришь, Хиннерк!

Тимсен (включает свет, с нетерпением): Вот я и спрашиваю себя, есть ли тут шансы? К примеру: чистенький дистилляционный зал, высокая труба кирпичной кладки. Здание дирекции. За окном мужчины и женщины в белых халатах, с пробирками. В широких воротах гудят грузовики. Одни прибывают, другие отбывают. На бутылках фирменная этикетка: «Яичный ликер Тимсена».

Полицейский (улыбается, пьет): Одно могу тебе посоветовать: ешь яйца. И пей водку, если охота припадет. А об остальном и думать брось.

Тимсен (недоверчиво): И больше ты мне ничего не посоветуешь?

Полицейский (честно): Какие тут могут быть советы! Ты погляди на такую бутылку! Когда наливаешь, он так и вываливается комками, желтый и студенистый. Поглядишь — и навек закаешься!

Тимсен (возвращаясь к столу): А потом экспорт. Есть места, где яичный ликер в большом спросе. В конце концов, его можно разводить и пожиже.

Полицейский (он устал, и все же его разбирает смех): Что до меня, Хиннерк, мне подавай сырье.

Тимсен (пьет, не скрывая разочарования); А ты понатужься, может, тебе и что другое в голову придет, если понатужишься.

Полицейский (в недоумении): Что значит понатужься? Я эту дрянь только раз и пробовал, в день конфирмации, и на всю жизнь запомнил. (Пьет до дна и поднимается, но тут

же садится, узнав посетителя, вынырнувшего из темноты. Макс Людвиг Нансен нерешительно останавливается на пороге, в руке у него этюдник.)

Художник: Добрый вечер! Привет честной компании! Не найдется ли у тебя стаканчик чаю? С чем-нибудь для заправки? (Садится в одиночестве за столик у окна.)

Тимсен: Можно хлопотать и грогу. Вода еще совсем горячая.

Художник (прочищая трубку): Тем лучше, Хиннерк. Выходит, мне повезло.

Полицейский откидывается на стуле и наблюдает за художником.

Тимсен (возится с грогом): Из каких это краев? Ты много потерял, что не был сегодня в Кюлькенварфе. Угадай, кто туда заявился? Асмус Асмуссен!

Художник: А я думал, он где-то в море, гоняет на своей посудине. На своем сторожевом корабле.

Тимсен: Картинки показывал. Про жизнь на борту и все такое. И объяснял.

Художник (разминает окурки сигары): Представляю, какие накручивал фразы. И что же, кончился вечер?

Тимсен (протягивая художнику стакан): Может, пересядешь к нам, тогда и подавать тебе не придется.

Художник: Вы тут празднуете, зачем же мешать? (Встает, берет стакан и возвращается на место. Кланяется с довольной улыбкой.) За здоровье присутствующих!

Тимсен: Мы ушли первые. Йенс был не в настроении.

Полицейский (огрызаясь): Какое там еще настроение?

Тимсен: Это случилось во время доклада. Его точно прорвало. Иначе не скажешь.

Художник (набив трубку, зажигает ее): Вас трудно понять!

Тимсен: А ты вспомни Хету Бантельман. Или Дитриха Гриппа. Все, что они говорили, сбылось точь-в-точь!

Художник (ушам своим не верит): Йенс видит будущее? До сей поры мы этого за ним не замечали.

Тимсен: Спроси Асмуса Асмуссена. Ему теперь известно, что его ждет. Он, можно сказать, в курсе. Йенс ему все выложил нынче вечером как по-писаному. Жаль, тебя не было в Кюлькенварфе, ты бы себя не помнил от удивления.

Полицейский: Ладно! Кончайте с этим. Что было, то сплыло.

Тимсен: Нет уж, если было хоть раз, значит, все! Это повторяется, все равно что малярия. Мой брат так от нее и не избавился. Кто хоть раз увидел будущее, тому не миновать опять его увидеть. Хета Бантельман предсказывала, какому дому гореть следующим.

Художник (его и не узнать в тени, за табачной завесой): Йенсу это умение, пожалуй, кстати при его профессии. Оно его не раз выручит.

Тимсен: Он видел Асмуса Асмуссена в надувной лодке, ее несло по волнам. Одна его рука свисала в море.

Художник: Вот уж не из тучи гром! Ему бы тогда лучше оставаться на берегу.

Полицейский (в раздражении стучит по столу пустой табакеркой): Я бы на твоём месте помалкивал. С такими замечаниями как бы не нарваться.

Художник (он едва различим): Это сэкономит тебе прорву работы. Раз тебе открыто будущее. Я только это имел в виду и нечего больше.

Тимсен (переводя разговор на другое): Я от Дитриха Гриппа слышал: такое бывает не по заказу. Тут надо выждать. Но уж если в тебя вступило, будущее тебе открыто как на ладони. Потом его всегда одолевали боли, он страшно уставал. И в висках колело.

Полицейский (допивая вино): Во всяком случае, у меня не колет в висках, прими к сведению. Да и вообще пора кончать эту музыку. Что было, то прошло.

Тимсен: А как же глаза? Ты говорил, что у тебя глаза болят.

Художник: Это бывает, когда слишком пристально во что-нибудь всматриваешься.

Полицейский (встает, застегивает португепю и, просунув в нее два больших пальца, подходит к столику художника): Осмелюсь спросить, что у тебя в папке?

Художник (безмятежно): Я был на полуострове.

В кабине. Наблюдал закат. Драматическое действие. Красный и зеленый и почти никакого преломления. Вот бы вам поглядеть!

Полицейский (показывая на этюдник): Я спрашиваю, что у тебя здесь?

Художник (серьезно): Я работал над закатом. Он у меня давно на очереди.

Полицейский (повелительно): Раскрой папку!

Художник сидит неподвижно, сзади подходит Хиннерк Тимсен, его разбирает любопытство.

Полицейский (властно): Я вправе требовать, чтобы ты открыл папку. И я требую.

Художник (невозмутимо): Моделировка еще не совсем удалась. Вместо оранжевого — фиолетовый. (Медленно, почти торжественно открывает этюдник, достает несколько листов и заботливо кладет на стол.) Все еще чересчур декоративно. Декоративное подобие.

Тимсен (ошеломленно): Я вообще ни черта не вижу. Убейте меня, если я хоть что-нибудь вижу.

Художник (обращаясь ко мне): А ты, Вит-Вит? Ведь для тебя закат — старый знакомый. Узнаешь?

Я (пожимая плечами): Не знаю. Пока еще нет.

Полицейский (берет листы и просматривает каждый против света, потом швыряет всю папку на стол): Нечего из меня дурака строить.

Художник: А чего же ты, собственно, ждал? Я говорил тебе, что не перестану. Никто из нас в себе не волен. И так как вы восстаете против очевидного, я теперь держусь невидимого. Приглядишься к нему хорошенько, к моему солнечному закату с прибором.

Полицейский (небрежно поднимает чистый лист и смотрит на него против света): Придумай что-нибудь получше, Макс!

Художник (пренебрежительно): А ты взгляни получше своим глазом знатока. Своим глазом ясновидца.

Полицейский (вспыхнув): Я требую, чтобы ты оставил со мной этот тон! Будь ты хоть сто раз Нансен. Ты слишком о себе воображаешь.

Тимсен: Успокойтесь, вы оба! Вы ведь друг другу не чужие.

Полицейский (все еще рассматривая чистый лист): Эта бумага, все эти листы конфискуются.

Художник (злобно): Сделай милость!

Полицейский: Можешь, если настаиваешь, взять с меня расписку.

Художник: Да, я, настаиваю.

Полицейский: Только выписать ее здесь я не могу. Квитанционная книжка у тебя в конторе.

Художник: Что ж, придется подождать.

Тимсен (в полной растерянности): Для меня это китайская грамота, Йенс. Ведь это же как есть бумага! На что тебе сдалась чистая бумага?

Полицейский: А это уж моя забота. (Аккуратно складывает листы, закрывает этюдник и забирает его себе.)

Тимсен (художнику): Скажи ему сам. На этих листах ты себя не увековечил. Они невинны, как свежесвыпавший снег.

Художник: Среди них есть невидимые картины. Разве ты не слыхал? Выходит, такие тоже запрещены.

Полицейский (предостерегая): Тебе известно, Макс, какая тут идет игра. Известно, чего требует от меня мой долг. Эти листы будут отданы на исследование.

Художник (яростно): Да, да! Отдайте их на исследование. Жгите! Вы их не уничтожите!

Полицейский (невозмутимо): Ставлю тебе на вид, что ты разговариваешь со мной неупотребительным тоном. Ты еще и за это ответишь! Лично!

Тимсен: Поговорили бы по-хорошему.

Художник: По крайней мере б голове вам не сделать обыск. То, что у меня в голове, вам недоступно. Руки коротки!

Полицейский (обращаясь ко мне): Пошли. (Мы направляемся к двери.)

Художник: Так уж не откажи мне сообщить, если что найдешь. Если под твоим взглядом заговорит бумага.

Полицейский поворачивается, чтобы что-то сказать, но вовремя отдумывает. Мы уходим.

Хотя я и рад бы не покидать гостиницу, выпить второй стакан лимонада и послушать пререкания насчет чистой, но, очевидно, не совсем невинной бумаги, я покорно пошел за отцом, взял у него, пока он выводил велосипед, этюдник с чистыми листами, а потом, сидя на багажнике, крепко прижал его к груди. Молча, при безопасном боковом ветре ехали мы по гребню дамбы в сгущающейся темноте. Отец ни разу на меня не оглянулся, и у меня была полная возможность вынуть из папки хотя бы часть листов — если не все — и бросить их под откос. Я представил себе равнину, усеянную белыми листами, словно большими носовыми платками, разложенными для просушки: что подумал бы старик Хольмсен, наткнувшись на эти листы? Но я так и не открыл этюдник.

Неосвященные, с нахлобученными крышами стояли в потемках дома в обрамлении скособоченных ветром живых изгородей. Дворовые собаки с отдаленных концов поселка делились друг с другом своими впечатлениями. С моря донесся грохот, словно большое судно отдало якорь.

— Что это за пароход? — спросил я отца, в самом деле вообразив, что он тотчас назовет корабль или по крайней мере его номер, как назвал давеча номер Асмуссенова корабля, но, к великому моему разочарованию, он только ответил: «Ничего сейчас не спрашивай, слышишь? Вообще ничего!» И все же я не сомневался, что он каким-то образом увидел пароход и все о нем знает. Как сейчас помню, именно во время этой поездки домой напал на меня страх, что он способен узнать и увидеть куда больше, чем уже показал, и этот страх, призывавший к сугубой осторожности, не оставлял меня гораздо дольше, чем я решился бы сейчас признать.

Но что повелевал этот безотчетный страх, в том я могу и должен здесь признаться, потому что разве не он запретил мне оглянуться на мою бескрылую мельницу? И почему я избегал всякой мысли о моем тайнике? Почему не позволял себе смотреть на Блеекенварф, когда мы находились на одном с ним уровне? Ни взгляда, ни мысли! Почему я всячески гнал от себя воспоминание о недоделанной, запущенной ванной комнате, которое, как на грех, неотступно преследовало меня? Почему страшился даже про себя назвать одно неотвязчивое имя?

Если с надлежащей сухостью подытожить то, что случилось в этот вечер, придется — хочу я или нет — признать следующее: ругбюльский полицейский, самый северныйгерманский полицейский постовой, которому во время войны было поручено сообщить Максу Людвигу Нансену о запрещении писать картины, а также велено было следить за выполнением этого приказа, обладает, как обнаружилось на заседании глюзерупского краеведческого кружка во время показа диапозитивов, обладает особенностью, которая нередко, но и не слишком часто встречается в наших местах, а именно даром ясновидения. До этого случая за ним ничего такого не замечалось. Семейное предрасположение исключено. Невзирая на это, указанная способность в нем проявилась и с первого же мгновения не осталась без последствий.

## Глава VII Перерыв

Мне вспоминаются шаги Йозвига и видения, которые они рожают, когда он выходит из своей голой каморки: витая железная лестница, ключи, приплясывающие в связке, рифленые плитки пола и ветвистая сеть сумеречных коридоров, дни, подобные яблочным долькам,

нанизанным на бечевку, внезапная тишина, его высматривающий зрачок в дверном глазке и снова тот же расслабленный, шаркающий шаг, приближающийся из невесть каких далей, главный коридор с черной доской, тишина и чтение стоя, угол, который мы отполировали плечами и бедрами, перерыв на завтрак, никогда не открывающееся окно, свисток на плетеном шнурке, шаркающие шаги на высоте чулана, и даже отсюда ему еще нужно с полдня или около того, чтобы, изнемогая и все чаще останавливаясь, дойти до душевой, а уж там — короткий финишный рывок, короткие, отчаянные шаги, вытянутая вперед рука, возбужденная возня с ключом, звук падения — нет, не падения, — первое робкое скрежетание ключа, а затем уже его властное, убеждающее вторжение в замок — сколько раз это бывало!

Хотя я не фиксировал время, потребное Йозвигу, чтобы из своей каморки добраться до моей камеры, это примерно то время, какое нужно мне, чтобы простирнуть три пары чулок, свернуть штук двадцать сигарет или позавтракать в свое удовольствие, не чувствуя, что на меня кто-то сзади смотрит. С такой же изводящей медлительностью, с какой судно возникает и поднимается на горизонте, приближался он из своей отдаленной, украшенной единственно календарем каморки, убивая уйму времени на рифленых плитках. Когда он поднимался ко мне, пробуждая знакомые картины и воспоминания, я готов был верить Куртхену Никелю, который утверждал, будто за время, пока Карл Йозвиг добирался к нему из своей каморки, он успел аккуратнейшим образом сшить простыню, изрезанную на несколько полос.

А Йозвиг все шел и шел. Я причесывался перед карманным зеркальцем, наблюдая буксирный караван, с черепашьей скоростью переползавший из квадрата в квадрат, на которые решетка за моим окном расчертила Эльбу. Я следил за чайками, летевшими на Большой совет к устью Эльбы. Горластая пароходная сирена призывала буксир. Йозвиг все приближался. Принесет ли он мне свежий запас тетрадей? Согласился ли директор снабдить меня чернилами и перьями для продолжения моей штрафной работы? Я охладил руки под сильной струей из крана. Растер несколько окурков и спустил их с водой. Чтобы не искушать доброту Йозвига, аккуратно застелил на койке одеяло. С удивлением обнаружил на Эльбе двух спортсменов, которые остервенело гребли против течения. Эльба уже освободилась ото льда. Горит ли еще факел над нефтеперегонным заводом? Да, горит. Маячит ли еще да горизонте Гамбург обычными своими тонами: серо-белым и кирпично-красным? Йозвиг неудержимо приближался. Как была принята моя работа? Оправдывает ли она в глазах Гимпеля дополнительный расход бумаги? По мгновенному наитию я надел выходную куртку, сменил тапки на башмаки и достал из металлического шкафчика чистый носовой платок. Стенное зеркало было ко мне снисходительно: пепельные волосы, завивающиеся на лбу вихром, глубоко сидящие, светлые, как у Клааса, глаза, обыкновенный, с легкой горбинкой нос и резко очерченный рот — скажем прямо: рот шелкунчика, Пелле Кастнер правильно его определил, энергичный подбородок, испорченные, словно источенные, зубы, должно быть, фамильное наследие Шесселей, длинная, хоть и не худая, шея, удовлетворительные щеки — я. Работа днями и ночами мне как будто не повредила. Однако у карманного зеркальца имелись поправки: в противоположность стенному оно сочинило мне круги под глазами и внесло в общую картину корректив, придав мне помятый вид, познакомив с усталым, нервным лицом. С каким же отражением согласится Йозвиг, меня увидев? Давай заходи, Йозвиг, нечего наведываться в душевую — там только что из кранов каплет, — вступай в свой финишный рывок, отопри дверь, дай мне наконец уверенность или то, что мы так называем по привычке.

Я, как всегда, поспешил ему навстречу, насколько возможно, то есть подошел к двери и отсюда глядел на засов и на замочную скважину, сквозь которую просунулся, вернее, протиснулся тупой черенок ключа и проделал тот поворот, которым бородка ключа изнутри отодвигает задвижку — примитивнейшую задвижку. Поневоле вспомнишь мою коллекцию замков, мою коллекцию ключей: гибридный замок с поднимающейся и запирающейся щеколдой, замок с буквенным шифром, английские замки Брама и «чэбб», замок с секретом, готический ключ, французский ключ — увижу ли я вас еще когда-нибудь? Так или иначе,

дверь открылась.

Карл Йозвиг, наш любимый надзиратель, не вошел в камеру и даже не показался мне, я только услышал его голос: — Выходи, Зигги, выходи! — Я исполнил это требование и еще удивился, зачем он запирает мою пустую камеру. Сделал ли он это по тридцатипятилетней привычке? Или же не хотел, чтобы в мое отсутствие кто-нибудь вошел в обитель моих покаянных трудов?

— Тебя директор требует, — сказал он и предложил мне идти впереди — мера, которую он применял только первые недели. Я не сразу обиделся, но все же, недоумевая, повернулся к нему, взгляделся и как будто увидел на его лице следы скрытого недоверия и какой-то безоговорочной решимости, но не успел спросить о причинах столь странной односложности, как он описал своим коричневым приплюснутым пальцем полукруг и непреклонно указал на коридор; мне оставалось только повиноваться.

До черной доски в главном коридоре я шел впереди, его шаги звучали искаженным эхом моих шагов, его старческие вздохи — пародией на мои вздохи. Здесь, у черной доски, я спросил:

— Так разрешение получено? — На что он недовольно;

— Имей терпение или так уж тебе не терпится?

Я шел впереди, чувствуя на затылке его взгляд, чувствуя, как моя походка становится все более деревянной, а также ощущая в позвоночнике колющую боль. Что я мог поделать? Все мы здесь знаем, что нет ничего легче, как заручиться сочувствием Йозвига, надо только умеючи его разжалобить: чем плачевнее покажутся ему ваши обстоятельства, тем охотнее он возьмет вас под свою защиту или даже заключит вас в свое сердце. Но в чем мог я в эту минуту перед ним повиниться? Или что наклепать на себя единственно с тем, чтобы втянуть его в разговор? Я шагал впереди и пытался понять, почему он пришел ко мне без тетрадей и чернил и без единой крошки табаку и вместо обычного сочувствия предъявил мне требование явиться к директору. Значит ли это, что дела мои совсем плохи? Что работа моя не снискала одобрения высокого начальства? Уж не решено ли преждевременно прервать урок немецкого, к которому они сами же меня приговорили?

В голой каморке зазвонил телефон. Я не стал прибавлять шагу, а телефон звонил не переставая шесть, восемь, десять раз подряд. Я по-прежнему не ускорял шаг и только краешком глаза косил вправо в ожидании, что Йозвиг вот-вот меня обгонит, чтобы взять трубку, но напрасно: я уже видел рядом его стоящую торчком форменную фуражку и приплясывающую со звоном связку ключей, но нет, Йозвиг невозмутимо следовал за мной. И только когда мы поравнялись с его каморкой, скомандовал: — Стой! Смирно! — Я, как приказано, остановился, подарив свое внимание восьмой ступеньке железной лестницы. Когда же он сказал: — Подождешь здесь! — кивнул, а когда он добавил: — Я сейчас вернусь, — снова кивнул. Я видел краешком глаза, как он снял трубку, сдвинул картуз на затылок, как слушал, пересчитывая или проверяя ключи либо высвобождая из тисков запутавшийся в связке ключик. Лицо его не менялось в разговоре. Как мой отец, он ограничивался скупыми репликами или такими же скупыми встречными вопросами. Разговор не обрадовал его, но и не огорчил. Повесив трубку, он сделал мне знак войти. Едва переступив порог, я задержал дыхание — так ударил мне в нос застоявшийся удушливый запах, к которому еще примешивалась вонь от исподволь гниющих копченых селедок.

— Поступило двое новеньких, — сказал Карл Йозвиг, — меня зовут, дорогу в дирекцию, ты, надеюсь, и сам найдешь.

Я кивнул, но с места не двинулся, хотя он жестом приказал Мне уходить, точно я мешал ему.

— Или ты забыл дорогу? — спросил он.

Я еще помешкал, посмотрел на него испытующе и спросил, чем я заслужил подобную немилость, на что он, распахнув передо мной дверь, воскликнул:

— Ты и твои друзья, все вы друг друга стоите. За вас душу кладешь, жертвуешь собой, а вы что творите! Убирайся! Тебя директор требует! — С этими словами он вытолкнул меня



вон и запер дверь.

Поскольку он ограничился этим намеком и не пожелал объяснить мне столь резкую перемену в своих чувствах, я отправился к зданию дирекции один, без провожатых. С чувством онемелости во всех суставах спустился по железной лестнице вниз. В просторном вестибюле, где гуляли сквозняки, я похлопал по мраморной лысине сенатора Рибензама, который хоть и не сотворил наш остров, но присвоил ему нынешнее назначение, и мимоходом пощекотал его ледяной подбородок. Когда я последний раз оказал ему эту любезность? Однажды увидев, как девяностовосьмилетняя вдова ласкает мраморный бюст, я ни разу с тех пор не прошел мимо, чтобы не изъявить ему свою почтительную преданность. Никого не повстречав на пути, я открыл ворота и вышел наружу — впервые с начала моего испытания.

Внезапно меня окликнул пароходный гудок — да полно, меня ли? Я испуганно обернулся и поглядел на причальный понтон, к которому пришвартовался отливающий медью баркас из Гамбурга, сплошь набитый ретивыми психологами — все как один в пыльниках коричневого или песочного цвета. На понтоне дожидался доктор Альфред Тиде, заместитель Гимпеля, он приветствовал гостей всеобъемлющим и широковещательным жестом, несомненно позаимствованным у самого директора. Я невольно огляделся и в поисках убежища задержался на огороде, но никакого бегства не понадобилось, так как доктор Тиде собрал на понтоне психологов, чтобы обратиться к ним с одной из своих речей, рассчитанных на то, чтобы не вовсе их обескуражить. С берега, где покосившиеся под напором льда таблички были уже приведены в порядок, дул прохладный ветерок, прочесывая заросли лозняка. Над Эльбой ни следа тумана, воздух был свеж и прозрачен, и в прозрачном воздухе, казалось, ближе придвинулись далекие берега, и даже вода в Эльбе, обычно неопишимо мутная, бутылочной зеленью и темной синевою указывала омуты и мелководье. Празднично разукрашенный вымпелами пароход, очевидно, направлялся к верфи для приемки. Из мастерских выезжали тележки со штабелями оконных рам, и я узнал среди рабочих Эдди Зиллуса.

Я ни с кем не искал встреч и только рвался узнать судьбу моей штрафной работы, а потому зашел в тыл нашим мастерским и, охраняемый ими от ветра и сторонних глаз, последовал дальше, пока не вышел на вихляющую дорогу, ведущую к голубому зданию дирекции. В два прыжка одолел я каменные ступени и откинул дубовую, крытую лаком дверь. Отдышавшись, направился я наверх, к кабинету директора. У меня были припасены ответы на все вопросы, а особенно на вопросы с возможным подвохом. Я решил отстаивать продолжение своей штрафной работы и не принимать отказа. Решил бороться. С такими мыслями подошел я к двери. С такими мыслями приготовился постучать. Но едва мой палец коснулся двери, как за ней разразился музыкальный ад — могучим аккордом, подобным суровому слову творца, всячески налегая на форте, Гимпель объявил войну зиме: он взрывал торосы, и они телились глетчерами; несокрушимыми начальными каденциями он освобождал ручьи от ледяной ноши да и вообще задал зиме изрядную трепку и отправил ее куда подальше, а все для того, чтобы сделать внятными рокот, журчание и, если угодно, даже шепот весны. Последний тупица и тот догадался бы, что Гимпель поначалу изобразил бурное небо, под которым ярились противоборствующие силы, и при этом не пожалел весны: нагромоздил всевозможные препятствия в виде темных интриг, сокрушительного шума и слепого упорства, которые ей пришлось одолевать, а одолев, выбросить в заключение свой голубой флаг, если это вам что-то говорит. Тем убедительнее представил он торжество весны, уснастив его криками чаек и воплями сирен, вполне терпимым шумом волн, веселым бульканьем освобожденных вод и неумолчным их бормотанием; по-видимому, нашему островному хору предстояло выступить с этой новой песней, быть может, даже — поскольку приглашение было налицо — с гастрольным концертом в портовой программе Северогерманского радиовещания.

Мой стук был бессилён заглушить отел глетчеров, пришлось дожидаться окончательной победы весны; тут я постучал вторично. И был услышан. Мне разрешили войти. Директор

Гимпель в спортивной куртке и брюках гольф поднялся из-за рояля с вращающегося табурета, склонился над засаленными листами нотной бумаги, воскликнул: тра-ля-ля, кивнул с довольным видом и направился ко мне с протянутой рукой. Рука была влажная и теплая.

— Тут еще требуется кое-что отшлифовать, — пояснил он, указывая на рояль. При беглом взгляде на письменный стол я убедился, что он уже знаком с моими густо исписанными тетрадями, но хоть они и лежали там аккуратной стопкой, дело мое, как видно, успело вылететь у него из головы, и у него теперь не было никакого желания разговаривать со мной на эту тему; директора звало его незаконченное шествие весны. И, только нагнувшись над своим памятным календарем, уразумел он, что я и есть тот самый случай, который там обведен красным кружком — обстоятельство, указывающее, что мне придается известное значение; и тогда он вторично приветствовал меня из-за своего письменного стола, подняв обе ладони и сложив их вместе на уровне глаз. И предложил мне сесть. Сам, однако, не сел, а стал листать мои тетради и, стоя в напряженной позе, перечитывать отдельные места; его улыбка свидетельствовала, что он узнавал прочитанное, он то и дело недоверчиво покачивал головой, порой кивал в знак согласия или изображал на лице сомнение, производя губами нечто звучащее как «тэк-с, тэк-с», а как-то даже ударил себя по ляжке, но попал только в излишки своих брюк гольф. После того как он, листая и перечитывая взятые на выборку места, восстановил в памяти мою работу, он бросился к двери в секретариат, распахнул ее, крикнул: «Сообщите в комнату четырнадцать!», снова захлопнул дверь, а на обратном пути к письменному столу уже всячески избегал на меня смотреть, из чего я заключил, что ни о каком разговоре с глазу на глаз и думать нечего.

Сухой, невыразительный сенатор Рибензам, выглядывая из эпигонской полутьмы на портрете маслом, висевшем над письменным столом, куда больше интересовался судами на Эльбе, возвращающимися из какого-нибудь Камеруна, нежели тем, что творится в кабинете директора Гимпеля. Обращаться к нему за содействием было бесполезно. Поэтому я прислушался к шагам секретарши, которая, постукивая высокими каблуками на железных подковках, вышла из своей комнаты, пересекла коридор и, остановившись на пороге комнаты четырнадцать, шепнула заветное словцо, и тотчас же, но уже не одна, а затравив множество других шагов, вернулась к себе в секретариат и впустила в кабинет несколько психологов. Их было, как я установил с облегчением, всего лишь пятеро, все участники международного конгресса в Гамбурге, ибо каждый носил на лацкане пиджака жетон со своим именем. И только у одного психолога жетона не было: это был Вольфганг Макенрот, он приятельски мне подмигнул. Его присутствие не рассеяло моей тревоги и все же чем-то меня обрадовало. Я ответил на его приветствие, не скрывая своего душевного состояния. Директор между тем пожимал психологам руки, с довольной улыбкой выслушивал приветствия, которые ему передавали из Цюриха, из Кливленда, штат Огайо, из Стокгольма, а потом голосом более громким и взволнованным, чем требовали обстоятельства, стал передавать контрприветы и притом так ловко расставил посетителей, что я оказался как бы в центре полукруга. Что он задумал? О чем говорили его глаза? Что за выступление готовил этот педагогический вольтижер? То ли этюд с дрессированными животными? То ли трюк на канате? То ли психологический номер на вису? Не задумал ли он послать меня на трапецию своего честолюбия, чтобы после моего двухполовинного сальто показать себя надежным партнером?

Ничего этого доктор Гимпель не сделал. Он по-приятельски положил руку мне на плечо. Попросил у меня разрешения в кратких словах обрисовать мой случай и, не сомневаясь в ответе, тут же приступил.

— Началось все, — пояснил он, — с урока немецкого. Тема сочинения гласила: «Радости исполненного долга». К концу урока, — продолжал он, — господин Йепсен вернул учителю чистую тетрадь, и не оттого, что сказать ему было нечего, напротив, его подавило чрезмерное изобилие воспоминаний и наблюдений, просившихся на бумагу. Начальное торможение. Корсаковский синдром. В результате ему был задан штрафной урок — он должен был написать сочинение задним числом. Для этого господину Йепсену было

предоставлено рабочее место в изолированном помещении. — Директор перечислил и прочие условия — никаких посетителей, освобождение от общих работ и т. д. — и нарисовал не слишком заинтересованным слушателям то состояние, в каком я принялся за дело: заключительная покорность. Эйфория. Психологи все же навестили уши, когда директор сообщил, что работа моя длится уже сто пять дней. — Вот уже три с половиной месяца, как наш господин Йепсен, стоящий здесь перед вами, трудится над заданной темой. Упорства у него хватает, — и он поднял стопку моих тетрадей, — как видите, сочинение принимает угрожающие размеры. Мания имен. Мания местности. Психотический мнемизм. — В заключение директор попросил его поправить, если он, на мой взгляд, в чем-то ошибся. На что я только пожал плечами.

Посетитель из Кливленда, штат Огайо, мистер Борис Цветков, пропустив жужжащие страницы мимо большого пальца, сделал свое заключение; такую же небывалую способность — шутка сказать, с одного взгляда овладеть и проникнуться незнакомым материалом — проявил посланец Цюриха некий Карл Фушар-младший и посланец Стокгольма некий Ларе Питер Ларсен; эти, правда, заглянули в тетради там и сям, но больше взвешивали их на ладони, и каждый вынес свое заключение. И только Вольфганг Макенрот не сделал ни того ни другого. Последним он бережно взял тетради, заботливо их погладил и положил на стол. Я вздохнул с облегчением, считая, что спектакль окончен, и позволил себе переступить с ноги на ногу, но тут вперед выступил доктор Гимпель. Взглядом призывая психологов напрячь все свое внимание и по достоинству оценить то, что они сейчас услышат, он заверил меня, что работа моя не только заслуживает удовлетворительной оценки, но даже превосходит предъявленные требования. На штрафной работе, таким образом, можно поставить крест. Я убедил его и доктора Корбюна. И он предложил мне вернуться в наше островное сообщество и занять свое место в библиотеке.

— Ты, — сказал он этими самыми словами, — уразумел, что сочинения надо писать в обязательном порядке, а это, в сущности, все, что от тебя требовалось. Нашей целью было вразумить, а не наказывать тебя. — И, словно желая облагодетельствовать меня еще и в частном порядке, добавил: — Кстати, уже весна на дворе.

Последнее замечание директор мог вполне оставить при себе, уж ему-то полагалось бы знать, что весну у нас крадут. Я с удивлением взглянул на него. Во всяком случае, к такому решению я готов не был.

— Ну что же? — спросил он. — Ну что же? Разве тебе не улыбается возможность уже завтра покончить со штрафной работой? Увидеться и попраздновать с друзьями?

— Но работа еще не кончена, — возразил я.

— Неважно, — отвечал он. — Мы удовлетворены тем, что сделано, остального мы с тебя не спросим.

— Без остального работа моя теряет всякий смысл, — настаивал я, да я и в самом деле так думал. Гимпель оторопел. Он попросил меня объяснить ему и присутствующим, почему я отказываюсь от островного сообщества, от весеннего солнышка и от работы в библиотеке — ради окончания никому уже не интересного штрафного задания? Я взглянул в угловое окно на Эльбу, но ничего достойного внимания там не заметил, поглядел на наш берег и увидел выплывающую из лозняка серебристо-белую байдарку с двумя спортсменами. Никем не управляемая, она неслась по течению, так как задний гребец обнимал переднего и, запрокинув ему лицо, в этом неудобном положении впилился в него губами и прочее тому подобное, меж тем как весла катались по борту, окунались в воду, но каким-то чудом туда не соскальзывали.

— Но почему же, почему? — допытывался директор Гимпель. И тогда я сказал:

— Я хочу показать радости исполненного долга во всем объеме, без каких бы то ни было сокращений.

— А если их не избыть? — спросил директор, чем обеспечил себе внимание психологов. — Что, если этим радостям конца не предвидится?

— Тем более, — сказал я. — Тем более!

Я чувствовал: чего-то они от меня добиваются, что-то хотят вытащить на божий свет, но не знал, что им нужно. Спортсмены по-прежнему плыли в обнимку — один лежа навзничь, другой ничком, присосавшись друг к другу, — все ниже и ниже по течению, где, к сожалению, не предвиделось ни единого бушприта, который мог бы их разлучить. И хоть бы одно весло потеряли!

Но тут подал голос Карл Фушар-младший.

— Кому ты, собственно, все это рассказываешь? — спросил он.

— Себе самому, — отвечал я, а он:

— И тебя это успокаивает?

— Да, это меня успокаивает, — отвечал я. Швед молчал. Он только нет-нет враждебно поглядывал в мою сторону, словно собираясь меня убить. Американец Борис Цветков спросил, не испытываю ли я временами за штрафной работой такого чувства, словно я стою в воде, шлепаю по воде или плаваю в чистой воде, и вполне удовлетворился, когда я на всю эту триаду ответил однозначным «нет». Быкообразный ученый, чье имя осталось мне неизвестно, так как он пристегнул свой жетон задом наперед, и я лишь по акценту узнал в нем голландца, удивил меня, сперва осведомившись, сколько мне лет, потом какой номер обуви я ношу, а когда я удовлетворил его любознательность, осведомился, не бывает ли у меня при работе обильного потения и приступов беспричинного страха; дабы не слишком его обескуражить, я согласился на приступы страха. То, что Макенрот воздержался от вопросов и время от времени поощрительно мне улыбался, еще больше подкупило меня в его пользу. Возможно, раскусив, что я не из тех, кто легко сдается в спорном случае или в школьной драке, международная коллегия оставила меня в покое, отказавшись от дальнейших вопросов.

Директора это, должно быть, поставило в тупик; он, возможно, рассчитывал на более дотошные вопросы, на более углубленное исследование и, если не на жаркие, то, во всяком случае, более оживленные дебаты, но, так как его надежды пропали втуне, пришлось ему самому заняться мной. Я мельком глянул на обоих спортсменов, они все же перевернулись и пошли ко дну, а Эльба по-прежнему катила вдаль пустынные, невинные свои воды.

— Что же, Зигги, придется нам вместе найти решение, — подступил ко мне Гимпель, — больше это продолжаться не может. Штрафной урок — это никакое не исключение, а всюду применяемое средство воздействия, и у нас на острове оно наилучшим образом оправдало себя как педагогическая мера. Но всему, как говорится, есть предел, предел есть и штрафной работе. Сто пять дней — куда же еще? Итак, сегодня наказанию твоему истекает срок. — И он протянул мне свою искушенную в рукопожатиях руку, чтобы скрепить наш уговор, но я отказался дать ему свою. Я протестовал. Я просил о продлении срока. Обещал никогда больше ничем не вызывать недовольства, лишь бы мне разрешили вернуться к моей штрафной работе. Я чуть ли не зывал к его великодушию. Но все мои протесты, просьбы и обещания были напрасны. Как же все-таки удалось мне уломать директора? Очень просто: я напомнил ему его обещание, сославшись на его слова о том, что только я вправе определить срок моего штрафного урока.

— Разве это не собственные ваши слова, — настаивал я, — что никто меня сроком не ограничивает, сколько времени потребуется, столько мне и дадут? — С помощью этой цитаты мне удалось если не убедить его, то хотя бы выиграть некоторое время для моих трудов.

— Ладно, ладно, — сказал он со снисходительной уступчивостью, — пока что можешь продолжать.

Он подошел к столу и вручил мне исписанные тетради. Испытующе оглядев психологов, он ни на одном лице не прочитал признаков сомнения и, успокоившись, отпустил меня со словами:

— Дорогу обратно ты и сам найдешь. Новую тетрадь получишь, а также и чернила.

С облегченным сердцем, хотя тревога моя не совсем улеглась, прошел я через полукруг психологов и постарался не миновать Макенрота. Он подмигнул мне, и я прочел одобрение в его взгляде. Но если на виду у всех он только прищурил глаза, то на уровне моего

пиджачного кармана позволил себе нечто менее невинное. Его хрупкие худые пальцы, проворно скользнув в мой карман, что-то туда просунули и даже кое-как пригладил сверху, до того как ретироваться. Я и сам почти ничего не почувствовал, но таков непреложный факт. Могу только сказать, ничуть не преувеличивая, что из всех наших один лишь Оле Плётц, как специалист по дамским сумкам, мог бы совершить подобное.

На пороге я обернулся, чтобы на ходу проститься с ученым синклитом и пристально поглядеть на Макенрота, однако лицо его ничего не сказало мне, оно замкнулось под маской равнодушия. Он стоял с видом, исключавшим всякое подозрение, ему и оправдываться не надо было.

Только в коридоре сунул я руку в карман, чтобы посмотреть, что юный психолог мне подбросил. Я нащупал несколько сложенных вместе и сколотых скрепкой листов бумаги, а кроме того, с удовольствием обнаружил пачку в дюжину сигарет. И тотчас же направился в уборную. Сигареты я сунул в правый чулок, а исписанными листами обернул левую голень, натянул сверху чулок и закрепил его подвязкой, после чего опустил штанину. Я вымыл руки, выпил воды и смочил лоб. Все окна стояли настежь, и вливавшийся в них, очевидно, с легкой руки Гимпеля весенний воздух смягчал едкий запах аммиака. Внизу, во дворе, кто-то насвистывал песенку «Врежем жару под гитару» в умышленно затянутом темпе. Чтобы не слышать, как он фальшивит, я привел в действие спуск во всех трех отделениях и утопил гитару в шумящей, захлебывающейся воде. Потом вышел в коридор, постоял перед дверью Гимпеля, но не услышал ничего, кроме глубокого благодушного вздоха, точно там кого-то массировали, а потом спустился по лестнице в склад канцелярских принадлежностей.

Склад расположен в первом этаже здания дирекции, рядом с библиотекой, и оба помещения обслуживаются одним лицом, которое выдает как книги, так и письменные принадлежности. Я заранее знал, кто появится на мой стук, кто с коварной улыбкой ответит на мое приветствие и, что-то жуя, спросит: «Как дела? Все так же в ажуре?» Он у нас самый старший. Каждый здесь хочешь не хочешь старается заручиться его дружбой и скрепляет ее регулярными подношениями. Он уже пять с половиной лет обретается на острове и, следственно, притязает на особые права — у нас нет смельчака, который не пододвинул ему свое третье блюдо, если Оле обратится к нему со словами: «Твой пудинг, Зигги, просится ко мне, помоги ему». Когда он идет на вас со своей щетинистой шевелюрой и мясистыми губами, а особенно когда на уроках немецкого готовится к пресловутым корчам, сразу видно, что это парень не промах, и одному только веришь с трудом: будто один вид сумки в руке у зазевавшейся тетки вдохновляет его и будит в нем такие способности, что он уже по внешним данным определяет ее содержимое. Я считаю преувеличенными рассказы, будто сумку любого устройства он открывает единственно посредством поглаживающего массажа, но есть у нас двое, коим он наглядно это доказал.

Так или иначе, Оле Плётц — мой преемник в библиотеке, как и я в свое время, он обслуживает и склад. Он появился на мой стук. Увидев меня, открыл верхнюю половину дверцы, ухмыльнулся, достал доску и с ее помощью превратил нижнюю половину в прилавок, развалился на нем, подперев голову руками, и спросил:

— Как дела? Все так же в ажуре?

Я подтвердил, что дела в ажуре, огляделся, полез рукой в карман, все так же оглядываясь, вытащил пачку сигарет, достал три штуки, положил в его, как всегда, протянутую ладонь и уже хотел вернуть пачку на место, но упустил из виду свойственное Оле неподкупное чувство справедливости: элегантно движением он потянул пачку к себе, молча сосчитал сигареты и, убедившись, что я оставил его на три штуки, взял три себе, а остальные вернул и в знак благодарности приставил ко лбу палец.

— Чем могу служить? — спросил он, и тут выяснилось, что он жует: это была пуговица, настоящая роговая пуговица, насколько я понимаю, с чьей-то шубы.

Я попросил тетрадь без линеек и пузырек чернил и тут же, поправившись, спросил две тетради, на что Оле:

— Да ты сперва сообрази, сколько тебе нужно. Сегодня мы не торгуемся, по мне, бери

хоть пять, по мне, забирай хоть все дерьмо — порядочные люди тебе уже удивляться перестали.

— Мне задали штрафную работу, — сказал я в свое оправдание, — вам это должно быть известно.

— Да, — ответил он, — нам это известно, но мы еще не видели здесь человека, который бы так носился со своей штрафной работой, как ты со своей.

— Я ни на кого из вас не накапал, — отбивался я.

— Тебя в этих стенах не слишком жалуют, но сегодня, так и быть, мы тебя прощаем. Сегодня мы каждого готовы простить.

— Что-нибудь предвидится? — поинтересовался я.

— Ничего особенного, — отвечал он с ухмылкой, — только кое-кто собирается в отъезд. Перемена воздуха. Перемена впечатлений. К тому же человек — существо разумное, как я прочитал в какой-то книжице, а когда разумное существо по своей доброй воле меняет местожительство, это говорит не в пользу местожительства.

— Так вы решили драпануть? — поинтересовался я.

— И надеемся, что и ты с нами, — сказал он тихо, послушал, не идет ли кто, сгреб меня за грудки и потащил к себе через прилавок. — Нынче в одиннадцать вечера, — шепнул он, — нас шестеро, обо всем договорено.

Я спросил, где они достали лодку, на что он пренебрежительно ответил, что лодка нужна только не умеющим плавать. Я спросил, знакомо ли им течение в Эльбе, а он в ответ указал на преимущества, какие дает пловцу половодье. Карла Йозвига он препятствием не считал, тем более что управиться с нашим любимым надзирателем взял на себя целиком Эдди Зиллус, а ведь Эдди в свое время завоевал пояс мастера северозападных дзюдоистов.

Я пожелал узнать, какие меры приняты на случай, если благоприятное течение отнесет нас на противоположный берег в районе Бланкенезе, в ответ на что он смерил меня коварным взглядом, но, не назвав ни размазней, ни губошлепом, спокойно закурил. После нескольких затяжек он пальцами погасил сигарету. Подойдя к полке, взял из стопки три тетради и швырнул на прилавок. Затем порывлся в картонной коробке, вытащил пузырек чернил и тоже швырнул его мне, а следом квитанционную книжку и своим чувствительным указательным пальцем ткнул в то место, где мне надлежало расписаться: отсюда следовало, что Оле Плэц раз навсегда со мной покончил.

Однако такого враждебного прощания — молчком — я не мог себе позволить даже и сейчас, ведь любой из них мог вернуться, а потому я сказал:

— У вас приготовлено что-нибудь на том берегу?

Он облизал мясистые губы, поднял доску и открыл нижнюю часть дверцы.

— Моя сестра, — сказал он, — мы укроемся у моей сестры, муж ее в плавании.

— А тогда лучше б вам переждать первую заваруху, — посоветовал я. А он, расслышав за моими словами другой смысл.

— Так ты, значит, с нами? Друзей не оставляют в беде! — Он поглядел в проход, ведущий вниз. — Итак, — спросил он, — замечано? В половине одиннадцатого! Тебе даже не придется открывать дверь, мы за тобой зайдем.

Что мог он подумать обо мне, который стоял перед ним в нерешительности, желая одного и вынуждаемый к другому, не зная, на что решиться? С одной стороны, я представил себе наш общий побег: связанного по рукам и ногам Йозвига с кляпом во рту и нас — как, согнувшись, мы крадемся по коридорам, как напряженно прислушиваемся, стоя в укрытии мастерских, как короткими прыжками несемся друг за дружкой к прибрежным ветлам; представил себе такой же собачий лай, какой внезапно услышал Филипп Неф, лай, который он в буквальном смысле слова задушил, и наши спотыкающиеся, хлюпающие шаги, пока не доберемся до фарватера и тихонько не погрузимся в воду; как для шести пар глаз одновременно восходит луна и шесть голов плывут в растекающемся серебре — небольшие, неизвестные на Эльбе морские сферические буи, которые держатся на воде наискось против течения и; искусно используя его, направляются к Бланкенезе; и покалывание холода, и

вскрик, и вздетые вверх руки, но нет, никакого крика, а только огни, близкие приветные огни Бланкенезе, и мерцающий берег, который видел, но так и не достиг Филипп Неф, а затем шесть хлюпающих по мелководью журавлиным шагом, постепенно вырастающих фигур — впечатление, будто они прошли по дну Эльбы.

С одной стороны, я представлял себе открывающуюся передо мной заманчивую перспективу, а с другой — виделись мне мои исписанные тетради, я взвешивал их на ладони, как взвешивали психологи, и под коварным взглядом Оле думал о заданной мне Корбюном теме, не только заданной, но, можно сказать, скроенной по мне. Мне представились мои начавшиеся радости, и мой начавшийся долг, и начатые открытия и признания; что ж, бросить все это незаконченным? Самый северный германский полицейский постовой, художник, мой брат Клаас, Асмус Асмуссен, Ютта — отнять у них единственный шанс рассказать о себе и оправдаться? Задернуть занавес, и пусть над моей равниной сгустится принудительная тьма? Остановиться на предыстории? Вправе ли я отречься от того, что отнюдь не добровольно мне навязалось. Разве, всколыхнув со всех сторон столько воспоминаний, я не обязан дожидаться ответного эха?

— Нет, Оле, — сказал я, — ничего не выйдет. Нет! Мне очень жаль, но ничего не выйдет, я не могу попросту смотаться. Не могу бросить мою штрафную работу, пока еще нет.

Он снова захлопнул нижнюю половину дверцы и сказал:

— Слопали они тебя, твои радости исполненного долга. Ну и подавись ими!

— Пойми меня, — сказал я.

— Забирай тетради и проваливай! — зарычал он.

— Ты обязан меня понять, — не унимался я. А он, ухмыляясь и с отвращением:

— Понять? Какого черта понимать, если кто-то добровольно берется месить дерьмо?

Забирай свои тетради, сопляк, и чтоб я тебя больше не видел!

— Подождите меня, — взмолился я. — Потом, позднее, и я к вам пристану.

— Срок остается сроком: нынче вечером, — отрубил Оле.

— Для меня это рано, — сказал я и добавил: — А вы поберегитесь Йозвига, что-то он, похоже, пронюхал. Сегодня он никому и ничему не верит.

— А это уж не твое собачье дело, — сказал он и взглядом приказал мне убраться подобру-поздорову, не мешать ему закрыть и верхнюю половину дверцы. Всячески умасливая его и виляя, я осведомился, как дела в библиотеке, но Оле Плётц запер дверцу изнутри, и с последними словами я обратился уже к табличке «Выдача канцелярских принадлежностей». Итак, битва кончилась, но в чью пользу?

— Желаю удачи, — сказал я табличке. — Ни пуха ни пера вам нынче вечером! — Я пошел обратно, мне надо было уходить с тетрадями под мышкой и с пыльным, но доверху полным пузырьком чернил, которые гарантировали мне продолжение штрафной работы. Уж если возможность бегства не отвлекла меня от моей задачи, то это не удастся никому и ничему. Мне надо было скорее вернуться к себе, я надавил плечом дверь и пошел прочь сквозь убийственный весенний шум, который директор Гимпель производил у себя в кабинете. Сейчас он, должно быть, изображал возвращение с резвыми ветрами перелетных птиц: скворцов, ласточек и аистов, правда, пока еще единичных аистов; его стараниями все это птичье воинство, шумя и трепыхая крылами, носилось по зданию дирекции, но и директор не мог помешать тому, чтобы его версия наступающей весны не столкнулась с уже пришедшей весенней песней, исполняемой множеством голосов.

Там, на воле, в прозрачном воздухе, на песчаной равнине, под неярким солнцем уже заявила о себе гамбургская весна. Капустная рассада требовала поливки. Развесистые ветлы, тревожимые неумным течением, отнюдь не давали убежища множеству скворцов. Небо приоделось водянистой синевой. Кочанный и листовой салат пышно взошли. Кишащие повсюду психологи распахнули свои пыльники. В мастерских и на огородах мои дружки вынуждены были открыть для себя преимущество труда; покуривая и изнывая от праздного наблюдения, рядом стояли надзиратели.

Нет, эта пожаловавшая к нам весна несколько не напоминала весну Гимпеля, не будила

во мне теплых чувств; проходя по площади и направляясь к себе, я не испытывал ни малейшего желания наблюдать эту весну за ее напористой или кропотливой работой. Я бежал, зажав тетради под мышкой, зажав пузырек в кулаке. Некоторые надзиратели, конечно, подозрительно на меня поглядывали, но так как я устремился не к берегу, а исчез в укрепленной части жилого квартала, то они меня не тронули.

Последовав за мной, они только зря потеряли бы время я силы, им пришлось бы увидеть, как некто в форме трудновоспитуемого большими прыжками взлетел по лестнице и остановился в растерянности у пустой надзирательской, заглянул во все коридоры и в нетерпении принялся звать, звать надзирателя, чтобы тот поскорее посадил его под замок, а затем они стали бы свидетелями того, как парень, подлежащий исправлению, вошел в холодную каморку и стал в простоте душевной напрасно искать ключ, а не найдя его, сел на грязный вертящийся стул и принялся ждать.

Я ждал Карла Йозвига. Чтобы чем-нибудь заняться, я исследовал содержимое письменного стола, но не нашел ничего, кроме пятнадцати биллионов инфляционными деньгами, которые наш любимый надзиратель собирал вместе с другими обесцененными купюрами. Я также нашел сморщенный бутерброд с сыром, за долгие годы забвения превратившийся в окаменелость. Развлечения ради я изучил таблицу с главнейшими телефонными номерами: западный флигель, восточный флигель, директор Гимпель, вещевой склад, контору, сигнал тревоги. Зазвонит ли этой ночью сигнал тревоги? «Мастерские I—IV, — читал я дальше, — садоводство, финансово-хозяйственная часть, больница и кухня».

Карл Йозвиг все не появлялся. Я повесил таблицу на место, снял со стены календарь, чтобы скоротать время за чтением памятных сентенций, и принялся его листать в обратном порядке — через осень и лето добрался до весны и, уже наскучив этим занятием, неожиданно наткнулся на первый рисунок: огромный, чрезмерно мускулистый человек, стоя по щиколотки в воде, орошал остров. Я перевернул листок, но следующий был украшен еще более сомнительным рисунком, оскорблявшим также и эстетическое чувство: из натужно выпяченного зада поднимались в воздух болезненные, можно сказать рахитичные, ноты, а подпись гласила: «Авторский концерт Гимпеля № 1». В полной растерянности обратился я к следующему дню, субботе: здесь дымовая труба, ухмыляясь, склонилась перед ведущей в хлев замшелой дверью. Я стал листать день за днем: каждый день был ознаменован рисунком, надругательской надписью и циничным приветствием, весь месяц был испакощен, испохаблен всевозможным графическим непотребством, оскорбляющим чувство приличия. И во всем этом угадывалась рука Оле Плэца. Мне не пришлось долго гадать, чтобы установить автора всего этого свинства, и я понял, что он оставил свои шедевры надзирателям в качестве памятных подарков. Карл Йозвиг тоже обойден не был.

Признаюсь, я испугался, перелистав этот испакощенный, пусть и талантливо испакощенный, календарь. Убедившись, что никто меня не видел, я повесил его на стенку со всеми его мерзостями. Удастся ли Оле его побег? Удастся ли и остальным поладить с Эльбой? Все запомнившиеся мне рассказы, запомнившиеся неумышленно, случайно, начинались скверно и скверно кончались. Все решительно.

Карл Йозвиг не приходил. Я вытащил сигареты, но тут же снова спрятал, так как в стеклянной каморке не было отдушины. А затем достал из другой штанины сложенные вместе листы Макенрота, разгладил и первым делом посмотрел на обращение: как он меня титулует? «Глубокоуважаемый господин Йепсен», «Милый Зигги» или же, сохраняя оттенок интимности, но не исключая и дистанцию, «Милый Зигги Йепсен»? Но обращения не было. То, что Макенрот мне подбросил, представляло не что иное, как часть его будущей дипломной — набросок, как он сам его аттестовал. Заглавие, однако, не оставляло сомнений: «Искусство и преступление на опыте Зигги Й.» Все подчеркнуто. Читать? Или не читать? Но я уже заинтересовался. «А. Положительные влияния. 1. Художник Людвиг Нансен, краткий очерк». Стоит ли читать дальше? «Поскольку как активное, так и пассивное влияние, которое Макс Лвдвиг Нансен оказал на исследуемого, несомненно, перевешивает влияние семьи и школы, нам для понимания их взаимоотношений кажется важным предпослать дальнейшему



некоторые данные как из личной, так и из творческой биографии художника. Эти данные мы заимствуем главным образом из его автобиографии «Жадность глаза» (Цюрих, 1952) и «Книги друзей» (Гамбург, 1955), а также монографии «Говорящие краски» Тео Бусбека (Гамбург, 1951). Если не прямо и непосредственно, то хотя бы косвенно они вводят нас в понимание представленных ниже взаимоотношений между исследуемым и художником».

Я поднял голову, послушал и сунул в зубы сигарету. Я ощущал какую-то слабую тревогу, горячую тяжесть в висках и подергивание в правой ноге. Исследуемый— ну, да ладно! Был ли он волной, а я лодкой? «Говорящие краски» вышли только в 1952 году — не мешало бы ему это знать.

Вольфганг Макенрот писал: «Макс Людвиг Нансен родился в Глюзерупе, в семье фризского крестьянина, среди ландшафта, который ему в дальнейшем довелось творчески открыть и явить миру. Уже в деревенской школе начал он рисовать, лепить и писать красками. Ремеслу учился на мебельной фабрике в Итцехо, где и получил квалификацию резчика по дереву, и в этом же городе изучал рисунок в профессиональной школе. По завершении профессиональной выучки работал на различных мебельных фабриках на юге и западе Германии, одновременно продолжая учебу в вечерних классах. Усердный посетитель музеев, он пополнял в них свое художественное образование. Во время одиноких странствий рисовал и писал акварелью горные пейзажи. Зимой писал этюды с обнаженного тела и с головы. С чувством собственного достоинства и сознанием своей правоты принимал он отказы устроителей выставок, отвергавших его первые работы, равно как и отказ, который встретила его попытка поступить в академию. По свидетельству Бусбека, бесконечные возвраты картин вызвали у Нансена решение оставить работу преподавателя в ремесленном училище и стать вольным художником. Поездки во Флоренцию, Вену, Париж и Копенгаген неизменно кончались исполненным разочарования возвращением в родительский двор. Одиночество Напоена и особая его тяга к природе привели к тому, что он чувствовал «свою неприкаянность в оживленных центрах искусства». По собственному признанию, Нансен нуждался в единении с природой, которая была для него неисчерпаемым источником творческих подобий. С озлоблением и упрямством, а также не без преувеличенного представления о собственной непогрешимости принимал он постоянные возвраты своих картин, которые Бусбек определяет как «эпические повествования о ландшафте в красках», уже и в ранние годы его творчества содержавшие тот фантастический и легендарный реквизит, какой он находил в природе. Во время одного из своих странствий по взморью встретил он певицу Дитте Гозебрух, свою будущую спутницу, которая помогла ему перенести годы нужды и непризнания.

Какое-то время молодая чета проживала в Дрездене, в Берлине и Кёльне; крайняя бедность — отчасти следствие его художественной самобытности и желания идти своим путем в искусстве — вынуждала Макса Людвиг Нансена то и дело возвращаться в Глюзеруп.

В 1914 году журнал «Мы» напечатал репродукции некоторых его гравюр по дереву — гротески и фольклорные мотивы северной отчизны. Серия «Мое море» была выставлена в галерее Бусбека. Когда началась война, Нансен явился добровольно и, узнав, что по состоянию здоровья освобожден от военной службы, заперся от огорчения в своей глюзерупской мастерской. За этот период написан им цикл «Фома неверный посещает Хузум».

После первой общей экспозиции работ Нансена в Ганновере Людвиг фон Гольц написал статью о его рисунках, а вслед за статьей издал альбом цветных литографий под общим заглавием «Знакомство с прибором». В Берлине картин его по-прежнему не признавали. Союз живописцев в Йене под названием «Утро» предложил Нансену стать его членом. Нансен выразил было согласие, но тут же взял его обратно, так как за короткое пребывание в Йене узнал, что президент общества — один из ведущих пацифистов и приверженец французских импрессионистов. Серия «На севере богатый урожай» была показана на зимней выставке в Мюнхене, а серия «Осень на болотах» была принята на выставку в Карлсруэ. Несколько лет

подряд Нансен проводил жаркие летние месяцы в одиночестве на Халлигенских островах; здесь им был создан ряд акварелей из мира сказок и духов, посвященных стихийным силам природы и фантастическим существам. Вместе с женой вступил в националистское движение, но покинул его, узнав, что так называемая «верхушка» практикует в своей среде гомосексуализм.

На выставке в Базеле Нансен без объяснения причин изрезал свою картину «Торфяные челны». В 1928 году Геттингенский университет присвоил ему звание доктора honoris causa, и в этом же году нью-йоркский Музей современного искусства приобрел его картину «Восстание подсолнухов».

Макс Людвиг Нансен стал в Берлине притчей во языцех благодаря нескольким объявлениям, в которых разыскивал юного грабителя, пырнувшего его ненароком ножом и повредившего ему легкое. Художник просил грабителя о личной встрече, с тем чтобы его усыновить. После приобретения Блеекенварфа Нансены уже почти не покидали свое сельское убежище. Гольц называет Нансена «ненавистником городов», художник, по его словам, видит в них «сочетание желтого разложения с бесплодным интеллектуализмом». В Блеекенварфе создан его цикл «Рассказы старого ветряка на морском побережье». Хоть владелец крупнейшего магазина произведений искусства влиятельный Мальтезиус предлагал ему за эту серию такую сумму, какой Нансен еще не получал, покупка не состоялась. Как Мальтезиус в свое время заставил молодого художника безуспешно ждать ответа в течение четырех часов, так и Нансен заставил Мальтезиуса ждать те же четыре часа, не удостоивая его ответом. Если поначалу художник приветствовал события 1933 года, то уже год спустя он отклонил предложение возглавить Имперский институт пластических искусств, послав телеграмму, которую многократно цитировали в художественных кругах: «Благодарю за почетное назначение тчк страдаю аллергией цвета тчк коричневый заведомо провоцирует болезнь тчк с сожалением и преданностью Нансен художник». Вскорб после этого он был лишен звания члена Прусской академии художеств, а также изгнан из Имперской палаты изобразительных искусств. Под впечатлением от конфискации свыше восьмисот его картин, приобретенных германскими музеями, Макс Людвиг Нансен вышел из национал-социалистской партии, куда вступил всего на два года позже, чем Гитлер. Вместе с Тео Бусбеком он опубликовал трактат «Цвет и оппозиция» (Цюрих, 1938). Когда его потребовали в Берлин для объяснений, он отказался ехать, сославшись на свою незаменимость, ему, мол, необходимо написать заново по крайней мере часть конфискованных картин. Ругбюльскому полицейскому было приказано по возможности регистрировать иностранных посетителей, появляющихся в Блеекенварфе. По словам Гольца, незадолго до войны Нансен написал несколько картин, которыми художник раз и навсегда доказал, что большое искусство зачастую является своего рода мстью миру: то, что, на его взгляд, заслуживает презрения, оно обрекает на бессмертие».

Вот до какого места дочитал я очерк Вольфганга Макенрота, дочитал, можно сказать, без особых возражений, и тут я заметил, что меня беспокоит, я бы даже сказал — сверлит: чей-то взгляд, взгляд из коридора. Я не сразу поднял глаза; сначала я сложил макенротовский очерк и сунул его в тетрадь, потом взял другую тетрадь и раскрыл, словно ища в ней продолжения, и только тогда поднял голову и увидел Йозвига. На всякий случай я улыбнулся ему. Он не подошел ко мне. Он стоял, понурился плечи и свесив руки, ну как есть обряженный в форму шимпанзе, который все свои жалобы выражает взглядом и наклоном головы. Тогда я собрал тетради, вышел к нему и, не дожидаясь вопроса, сказал:

— Разрешили! Я их убедил. Мне дозволено продолжать штрафную работу. К сожалению, я не мог запереться сам.

— Искарriot, — сказал он тихо, — маленький Искарriot!

Я протянул ему чистые тетради и пузырек с чернилами и пояснил:

— На ближайшие недели — порядок!

Он молчал и только глядел на меня. Потом показал на мою штанину и потребовал:

— Сигареты, давай их сюда! — и когда я их подал: — А теперь ступай вперед! Никто

тебя больше беспокоить не будет!

## Глава VIII Портрет

А теперь речь пойдет о тебе, человек в алой мантии. Наконец пришел твой черед изображать стойку на руках на этом пустынном побережье — или даже плясать на голове — перед моим братишкой Клаасом, который случайно, а пожалуй, и совсем не случайно оказался рядом. И ты можешь, в который уже раз, задать свой вопрос, почему в картине нет воодушевления и веселости, почему в ней разлит зелено-белый пламенеющий страх? У нас на очереди ты, с твоим старым-престарым лицом, с твоим застарелым коварством, ты должен внести свою долю в наше повествование; ведь это из-за тебя, как я догадываюсь, мастерская не была как следует затемнена. Макс Людвиг Нансен был тобой недоволен и только и делал, что исправлял тебя сердитыми мазками; работая утрами и вечерами, он порой опрометчиво сообщал тебе слишком явное сходство с тобой, отчего и забыл обойти для верности дом и снаружи поглядеть, хорошо ли затемнены окна. Он был слишком занят тобой, он поправлял и прихорашивал тебя и не заметил за делом, что одна из штор затемнения за что-то зацепилась, повисла, как защемленный парус, и пропускает свет.

И вот над темной равниной между Ругбюлем и Глюзерупом засверкал трепетный луч. Он повис над Блеекенварфом, но не потухал в рассчитанные сроки, не кружил и не колебался, он только тянулся вдаль, пронизывая штормовой осенний вечер, отчего невысокая насыпь казалась судном, бросившим на равнине якорь. Под клочковатыми тучами. Под защитой дамбы. Насколько мне известно, то был за много лет первый луч, загоревшийся над равниной, прощупывавший рвы и каналы, и кто его видел, должен был в испуге задаться вопросом: чье внимание он первым делом привлечет? Кто под углом в сто семьдесят градусов первым заметит этот огонек и сделает свои выводы? То ли идущие без света корабли в Северном море? То ли тайные агенты? Или бомбардировщики «бленхейм»?

Но задолго до пароходов, агентов и «бленхеймов» первым углядел крамольный луч ругбюльский полицейский, и он, кому и по должности вменялось следить, чтобы с наступлением темноты темноту блюли непреложно, уже находился в пути. В треплющейся по ветру накидке — знакомая картина! — ехал он, наклонясь в сторону ветра, рассчитанным скоростным спуском свернул в ольховую аллею, слез с велосипеда и вошел в сад, чтобы вблизи определить источник света. Свет исходил из мастерской. Все окна в доме были затемнены, как положено, и только из мастерской бил яркий луч, проникая в сад. Ругбюльский полицейский направился к освещенному прямоугольнику, не разбирая дороги, протопал по грядке астр, обогнул беседку, протиснулся через мокрые кусты и наконец подошел так близко, что мог окунуть руку в струящийся свет. Он сразу же определил, что одна из штор зацепилась за раму, увидел спутанные шнуры и болтающееся фарфоровое колечко. Напряг слух: в воздухе не слышалось гудения моторов, зато в нескольких шагах от него звучали сердитые голоса. Он мог бы позвать, мог постучать, но, сколько мне известно, ничего этого не сделал, а, так как свет падал сверху, подтащил к окну садовый столик, влез на него и приник к стеклу: с этой позиции ему еще не случалось заглядывать в блеекенварфские дела.

Ветер играл лапами его накидки. Он с легким плеском бросал их об окно. Отец осторожно отжался и сунул их под поясной ремень. Я мог бы, пожалуй, еще заставить его снять фуражку и приложить ладонь козырьком: ему бы, пожалуй, не мешало лишний раз оглядеться, не прячется ли кто в саду и не наблюдает ли в свою очередь за ним?

А больше ничего и не нужно, чтобы набросать силуэт моего вооруженного чувством долга, решительностью и завидным терпением отца, который, если понадобится, может перестоять на садовом столике любого полицейского. Итак, собрав все воедино, я могу

возобновить свой рассказ: он поглядел в окно.

Перед ним был человек в алой мантии, и перед ним был Клаас или кто-то очень на Клааса похожий, а лицом к обоим и отчасти их закрывая, стоял он, художник, в своей бессменной шляпе. Художник работал. Что-то все приговаривая и кому-то возражая, короткими, резкими ударами кисти работал он над человеком в алой мантии. Он укорачивал его бесовские ножки, выглядывающие из-под мантии. Он насыщал синий фон, чтобы выявить алый цвет мантии. Она сверкала над пустынным побережьем черного зимнего моря, она сверкала и назло всем законам земного притяжения не сваливалась вниз раскрытым зонтом, хотя ее носитель ходил и даже чуть ли не танцевал на руках. Мантия не сползала вниз и не закрывала старое-престарое лицо человека, на котором даже сейчас, когда он стоял на руках, не умолкало застарелое коварство. До чего же тощие у него суставы, как хрупко отогнутое назад балансирующее тело! Он как будто смеялся и хихикал, стараясь заразить своей веселостью Клааса, он изо всех сил хотел понравиться Клаасу, привлечь к себе, рассмешить и для этого ходил и плясал на голове, что, правда, большого труда для него не составляло.

Но как ловко ни балансировал человек в алой мантии, ему не удавалось приручить Клааса, не удавалось даже удержать подле себя; страх, который он невольно возбуждал в бедном малом, этот зелено-белый пламенеющий страх побуждал Клааса к бегству. Он растопырил пальцы. Он запрокинул голову. Тень, положенная художником под его открытым ртом, позволяла догадываться о сдерживаемом крике. Казалось, еще два нерешительных шага, и Клаас сломя голову побежит, страх погонит его по пустынному побережью к равнодушному горизонту, лишь бы прочь от паясничавшего человека в алой мантии. Картина называлась «Вдруг на побережье» — по крайней мере так назвал ее художник, но он же в одном из дневников именуется «Страх»; итак, у страха было лицо моего брата. Во всяком случае, так это представляется мне отсюда, и только так могу я это описать.

Взял ли все это в соображение ругбюльский полицейский? Или он с высоты садового столика следил за одним лишь художником, который, ворча и огрызаясь, работал со страстью? Отчего он тотчас же не принял меры, ведь здесь самым непозволительным образом нарушались два запрета, отчего вопреки здравому смыслу продолжал стоять за окном в этот ненастный осенний вечер, затеняя лицо, побуждаемый острым любопытством, словно здесь невесть что еще могло произойти, чего он ни в коем случае не хотел упустить? Разве мало было того, что он увидел?

Хоть свет из мастерской падал на всю округу и давал кораблям, агентам и «бленхеймам» нежелательную ориентировку, отец продолжал стоять на столике, наблюдая художника за работой.

Он прислушивался к пререканиям Нансена с его невидимым приятелем, воображалой Балтазаром. Он заметил, какое сопротивление приходилось одолевать правой руке художника. Он следил за тем, как художник всем корпусом повторяет и утверждает то, что происходит между Клаасом и человеком в алой мантии: подзадоривание к веселости, внезапный страх и так далее.

А может быть, отца приковало к месту изумление — тот невероятный факт, что этот человек, его земляк с теми же исходными начатками и правилами, ничего не признает, не считается с запрещениями и указаниями свыше. Сколько раз его предупреждали! Или презрение пересиливает в нем законную тревогу? Хватает же у него фантазии, чтобы себе представить, к чему приведет такая беззаботность. Или он так уверен в своей правоте, что мысль о последствиях и в голову ему не приходит? Неужто другой полицейский, скажем его хузумский коллега, большего бы добился?

Никакого особого торжества у художника не замечалось, не чувствовалось в нем и тайного удовлетворения, оттого что он нарушает приказ. Единственное, что занимало его за работой, был все тот же Балтазар и единоборство с краской. А вдруг это и впрямь то, о чем Макс предупреждал его с самого начала: художник не может не работать. Или же работа эта все же направлена против него, ругбюльского полицейского, лично?

Невольное удовлетворение — вот что, должно быть, чувствовал отец, стоя на своем наблюдательном посту, вот почему он задержался на этом посту куда дольше, чем следует, невзирая на то, что луч света был виден далеко на темной равнине, пожалуй что до самого Гатвика. Злостные нарушения существующих приказов, свидетелем которых стал отец, казалось, доставляли ему болезненное удовольствие, и он бы, пожалуй, еще не скоро вышел из своего транса, если б ему не померещился голос Дитте; тут он слез со столика, поставил его на место, вытащил из-за пояса полы накидки, бросил, как мне представляется, последний взгляд на светящееся окно и постучал в дверь мастерской.

Он опять постучал. Должно быть, он придумывал, что сказать Дитте, когда она откроет, Дитте с ее страдальчески-надменной миной и короткой — под мальчика — стрижкой седых волос; но тут дверь рванули, и перед ним вырос художник. Он ничуть не испугался и только спросил:

— Ну? Что нужно?

Полицейский вместо ответа поманил его за дверь, повел в сад, так же молча показал на светящееся окно, молча вместе с ним вернулся к входу и только тут предупредил:

— Придется заявить на тебя, Макс!

— Делай все, без чего обойтись не можешь, — сказал художник и добавил: — Я сейчас приведу это в порядок, наведу вам вашу обожаемую темноту.

— Все равно заявить на тебя придется, — повторил отец и пошел за художником, сам запер дверь и последил за тем, как художник взобрался на стул и сперва линейкой, а потом метловищем приподнял зацепившуюся штору и расправил ее так, что она опустилась, вплотную закрыв окно. Довольный, он спрыгнул со стула, кинул метлу в угол и вытащил трубку из кармана плаща, но, до того как ее зажечь, опрокинул рюмку какой-то белой маслянистой жидкости.

— Сколько же с меня придется? — спросил художник, но ответа не последовало. Он оглянулся и увидел, что отец стоит перед картиной, которая на этот раз не была прикреплена к створке шкафа, как «Ландшафт с неизвестными людьми», а стояла открыто на мольберте. Отец разглядывал картину под разными углами зрения, какие ему представлялись важными; он не менял точки опоры и расстояния, не поворачивал головы, а только заложил руки за спину, очевидно, импонировать должна была самая поза. Человек в алой мантии демонстрировал свою стойку или исполнял какой-то танец на руках, мой братишка Клаас видел эти маневры, они внушали ему страх, и он хотел убежать — последнее обстоятельство, казалось, ускользнуло от моего отца.

— Как видишь, — сказал художник, — я достал из-под спуда эту старую, забытую работу, вам она ни с какой стороны не интересна. — Отец молчал и только повернулся к художнику, а тот продолжал свое: — Ведь не на старые же мои работы вы наложили лапу? Или все-таки? Но на кой они вам сдались?

— Ты работал, Макс, — отчеканил полицейский, — нам незачем друг друга морочить, я долго за тобой следил. Ты занимался своим делом, Макс, несмотря на запрещение. Да как ты смеешь?

— Никудышное старье, — настаивал на своем художник, а полицейский:

— Нет, Макс, никакое это не старье, Клаас, что стоит в такой позе и боится, — это не вчерашний Клаас, он только сегодня может так стоять и бояться. Каждый тебе скажет: это не вчерашний малый.

— Да это же «Человек в алой мантии», знаешь, когда я его писал? Еще в сентябре тридцать девятого.

— Неважно, — сказал отец, — на этот раз я заявлю.

— А ты хоть сознаешь, что собираешься сделать? — спросил художник.

— Выполнить свой долг, — сказал отец, и этого было достаточно, чтобы художник, который до сих пор сравнил тельно спокойно и беспечно толковал со своим поздним посетителем и, может быть, даже собирался предложить ему стаканчик джина, сразу преобразился. Он вынул трубку изо рта. Он закрыл глаза. Выпрямившись во весь рост, он

прислонился к шкафу, не скрывая злобы и брезгливости, постепенно проступавших на его лице.

— Ладно, — сказал он негромко. — Раз ты считаешь, что каждый должен выполнять свой долг, то я тебе скажу на это нечто противоположное, а именно, что каждый обязан делать что-то несовместимое с его долгом.

— Что это значит? — вскинулся на него отец.

Художник открыл глаза и оттолкнулся от шкафа. Он положил трубку на подоконник. Прислушался к тому, как ветер за окном раскачивает ветки орехового дерева, ударяя ими о кровельный желоб, а потом внешне спокойно подошел к мольберту, снял картину, на мгновение отстранил — и тут же с молниеносной быстротой прижал ее к себе: его сильные бывалые руки сомкнулись у самого ее края, помедлили — решаясь и не решаясь, — и вдруг эти сильные руки взметнулись, разомкнулись и этим движением разорвали картину пополам, отделив Клааса от человека в алой мантии и лишив его страх всякого основания. Затем Макс Людвиг Нансен сложил обе половины, нет, не так: сначала он разорвал в клочки человека в алой мантии и бросил сверкающие лоскутья на пол, а потом взялся за изображение Клааса и изодрал это воплощение страха на неправильные куски величиной примерно с пачку сигарет, потом подобрал клочья, подошел к отцу и вручил ему со словами:

— Вот, захватишь с собой, это сэкономит вам по крайней мере одну процедуру.

Как я потом слышал, отец все это спокойно наблюдал, он не мешал художнику и даже ни разу не пригрозил ему. Он внимательно, и только внимательно, присматривал за уничтожением картины, а когда художник вручил ему обрывки, открыл висевший на португее планшет и с деловитым видом уложил их туда, тщательно подобрал все с полу и, что не уместилось в планшете, спрятал в поместительный карман мундира.

— Доволен? — спросил художник. — Теперь-то ты доволен? — И тут же, словно раскаиваясь в своем поступке: — Зря я это взял на себя. Уничтожение надо было предоставить вам, ведь это ваше призвание.

— Напрасно старался, это сделали б и без тебя, — сказал отец, а художник:

— Такая уж у меня повадка. Ни в чем себя не щажу. Мне нужно изведать боль с ее начальной точки. Таковы уж мы, из Глюзерупа.

— Это только ты такой, — возразил отец. — Ты исключение. Есть и другие — большинство, — они подчиняются общему порядку, а тебе подавай твой личный порядок!

— И этот порядок нерушим, он будет Жить, когда и следа вашего не останется!

— Это ты так говоришь, — сказал отец. — Но не ты первый, не ты последний, некоторым, и даже большинству, растолковали что к чему, и ты, дай срок, другое запоешь!

Они уставились друг на друга. Но тут открылась входная дверь, за стеной послышались шаги подбитых гвоздями сапог и голос Ютты:

— Дядя Макс, а дядя Макс! Ты здесь? — Художник не отозвался. А когда Ютта вошла, шаркая тяжелыми солдатскими сапогами, и остановилась перед ним в легком платьишке, озябшая, с покрасневшим, обветренным лицом, но смеющаяся, он пытливо взглянул на нее и укоризненно покачал головой. Тонкие ноги. Худые, покрытые рыжеватым пушком руки. Скуластое насмешливое лицо. Крепкие зубы. Ютта собрала платье и зажала его меж колен, чтобы показать, сколько еще места в неуклюжих сапогах.

— Я за тобой, — сказала она. — Мы тебя ждем.

Художник сунул обе руки в карманы, словно опасаясь, как бы одна из них не выскользнула. Он старался не глядеть на Ютту, которая повисла на его локте и потащила за собой, прижимая его руку к своей маленькой острой груди. Он вырвал у нее руку. Он сказал:

— Я приду попозже. Скажи там, что ко мне пришли.

— Я тебя не задерживаю, — спохватился отец. — Мне уже все ясно.

— Нам надо еще кое о чем потолковать, — возразил художник и знаком приказал Ютте исчезнуть. Он повелительно ей кивнул, но, не довольствуясь этим, сделал к ней несколько торопливых шагов, словно собираясь выпроводить, а когда она наконец сдвинулась с места и зашагала, широко расставляя ноги и выгребая длинными руками, проводил ее до порога и

запер за ней дверь. Медленно, понуро вернулся он в мастерскую, сел на ящик и какое-то время сидел повесив голову. Отец стоял перед опустевшим мольбертом под рабочей лампой, бросавшей резкие тени на его лицо; он собирался уходить.

— Послушай, Йенс, — сказал художник, — послушай меня в последний раз. Неужто нам уже и поговорить нельзя? Ведь мы не первый день знакомы. Я понимаю: ты не можешь рассуждать объективно, да и я тоже. У каждого из нас своя задача. Но надо же немного и глядеть вперед, человек должен же предвидеть, к чему идет дело. Пусть оба мы сильно изменились, но не настолько, чтобы не понимать, чем все кончится. Постараемся же забыть то, что было. Подумаем, что будет через каких-нибудь два-три года, а то и раньше. Если есть у нас долг, он в том, чтобы смотреть вперед. Я знаю, тот, кто чему-то предался, особенно остро все воспринимает, а каждый из нас чему-то предался. Но можно ведь отрешиться от этого, хотя бы ненадолго. Кто заставляет нас выносить окончательные суждения? Садись. Я хочу кое-что тебе предложить.

Макс Людвиг Нансен поднял голову, встал с ящика и тут же снова сел, он в эту же секунду понял, что у полицейского нет ни малейшего желания внять его предложению, в чем бы оно ни заключалось. Всем своим видом отец говорил, что заранее ни на что не согласен, единственное, что ему нужно, — это уйти, у него больше нет вопросов. Своим пустым, издали идущим, словно все пронизывающим взглядом он посмотрел на художника и пожал плечами — тем взглядом из глубины времен, который, казалось, все знал или знал лучше, чем кто другой. Художник, словно осознав свое бессилие, всплеснул руками и только головой покачал. Его серые глаза казались маленькими и холодными.

Он откашлялся и сказал:

— Отныне между нами полная ясность. Отныне больше ничего в открытую, Йенс. Мне следовало знать наперед, чего от вас ждать.

— Тем лучше, — сказал отец. — Есть вещи, которых не забывают.

— Тут ты, пожалуй, прав, — сказал художник. — Мы здесь не забываем причиненного нам зла. Мы забываем лишь то, что снести невозможно.

— Тебя там ждут, — напомнил отец. А художник:

— Кстати, и ты собирался уходить.

Они молча пошли к двери мимо шкафов и ниш, мимо тяжелых осенних букетов, стоявших на полу в вазах и ковшах. «Нейтральной краски нет», — сказал когда-то Нансен. Они прошли мимо стола с керамикой, мимо ободранного вертящегося станка, на котором выступала из глины обнаженная пара — две хрупкие, глядящие ввысь фигуры. Они не подали друг другу руки на прощание. Художник открыл дверь, отец, не простояв, вышел из мастерской и только на короткий миг, до того как дверь захлопнулась, оглянулся, чтобы сказать:

— Ты обо мне еще услышишь. — А художник:

— Не сомневаюсь.

И вот отец остался один со своей добычей снаружи в этот штормовой осенний вечер, в предписанной темноте, о которой надлежало печься и ему не в последнюю очередь, и журавлиным шагом, в развевающейся по ветру накидке зашагал по блеекенварфскому двору, миновал пруд, необитаемый хлев и сарай, а между тем в фотокамере его головы, как мне представляется, проявлялось другое изображение Блеекенварфа.

Возможно ли, чтобы ему предстало нечто сокровенное? Что до меня, то я вполне допускаю, что внутренним взором он видел картину, содержащую нечто большее, нежели ольховая аллея, яблони, кусты боярышника и вытянувшиеся в длину, погруженные в себя и что-то замышляющие строения. При взгляде на замкнувшийся Блеекенварф пред его внутренним взором возникал другой, с разверстыми потолками, разъятыми стенами и переборками; он сотворил беспрепятственно открытую взору модель Блеекенварфа и, шагая по двору, видел себя, как мне теперь представляется, шагающим по двору, но не только это: быть может, заглядывая в раскрытые комнаты, он примечал, как Дитте и Тео Бусбек, подняв голову, прислушиваются к тому, что показалось им его голосом; быть может, он видел Ютту в

растоптанных солдатских сапогах, накрывающую на стол; быть может, даже углядел Йоста, охотящегося на чердаке за совой, поселившейся в венце сруба; и в то же время видел себя, шагающего журавлиным шагом мимо фасада с бесчисленными окнами. Что же здесь было настоящей картиной, а что ее отражением? Чем объяснить, что он вдруг остановился, вытащил карманный фонарик, включил и выключил на пробу, а затем пошел, но не к распашным деревянным воротам, а в сторону восточного флигеля? Которая же картина диктовала ему этот путь? И найдет ли он в зримом Блеекенварфе то, что померещилось ему в незримом?

Ветер волчком кружил опавшие листья, он морщил зеркальную гладь пруда, исследовал, завывая, щели между сваленными в кучу срубленными стволами. Отец дошел до водокачки, свернул и оказался у крайнего окна. Он вытащил карманный фонарик с круглым глазком, заклеенным черной изоляционной лентой, пропускавшей только тоненький лучик. Свет упал на спущенную штору затемнения: стало быть, пошли к следующему окну. Он направил на него свой шпионский фонарик и от противоположной двери стал шарить по смежной стене, миновал трехногий старомодный умывальник, миновал почти ослепшее зеркало, сваленные в кучу картонные коробки, мягкое кресло с распоротой обивкой, чудовищно огромный коричневый комод и календарь, утверждавший, что сейчас 1 августа 1904 года.

Соседняя комната пустовала. А также следующая за ней. Потрескавшаяся штукатурка, в некоторых местах обнажилась камышевая прокладка. Потом свет вспыхнул в пропыленной спальне, нащупал койку, скользнул по выцветшей одежде и пожухшим, волглым ночным рубашам, висящим на проволочных плечиках на стене. У изголовья на табурете, как и полагается, топорщился ночной колпак. Стоптаные домашние туфли, неуклюжий ночной горшок, испещренный металлическими пятнами, похожими на попадания из рогатки. И — дальше по фасаду с бесчисленными окнами: но что же это?

Посреди одной из комнат стоял стол, а на нем чучело гагары, оно, по-видимому, беседовало с платяной щеткой. Кто заказал набить чучело этой птицы? Кто собирался почистить его щеткой и внезапно отлучился, чтобы никогда больше не возвратиться? Я представляю, как отец, этот худой человек с узким лицом и длинным прямым носом, сам порой напоминавший водяную птицу, направил свет карманного фонаря на гагару, отчего ее искусственные глаза засверкали; как, преследуемый и подгоняемый своими открытиями, он шел все дальше и дальше, осматривал комнату за комнатой, освещая стены, мебель и ниши, пока не добрался до заброшенной ванной. На полу засаленные матрацы. Стремянка. Куча битой штукатурки, гвоздей и свинцовых стружек. Грязный халат с узором из рыбьих костей. Голая электрическая лампочка. Надеялся ли он увидеть нечто большее? А может быть, он и вовсе гнал больше, чем мы подозревали?

Отец узким лучом фонаря обследовал заброшенную ванную. Его бы не смутило, или не слишком бы смутило, случись Дитте или художнику накрыть его за этим занятием, — время, когда приходилось краснеть и извиняться, наконец для него миновало. С педантичным рвением накинута он на ванную, должно быть почувствовав: цель близка. Он видел, что электрическая лампочка качается туда-сюда, видел тарелку с остатками еды и, как я потом узнал, углядел у изголовья постели белый подворотничок солдатского френча. Световая полоска заиграла на подворотничке, скользнула по тарелке, покачалась, преследуя электрическую лампочку. Ругбюльский полицейский погасил фонарик, прислушался, приник боком к стене и услышал больше, чем хотел бы услышать.

Тот, кто у нас осенним вечером стоит и на ветру прислушивается, всегда услышит больше, чем ждал или чем ему нужно: в кустах кто-то неудержимо болтает, в сумерках открывается простор для всяких фантастических видений, а у того, кто захочет услышать голоса или хлопанье дверей, отбоя не будет от впечатлений.

Приникнув к окну, отец слышал множество шагов и множество голосов; снова и снова светил он фонариком в ванную, словно нападая из-за угла, и неизменно обманывался в своих надеждах, пока наконец, пристегнув фонарик к груди, не повернул к своему велосипеду.



Одно можно сказать с уверенностью, что к велосипеду он воротился если не с чувством торжества, то во всяком случае, с чувством облегчения и, должно быть, уезжая, избегал глядеть в сторону Блеекенварфа. В кармане у него было вдоволь красного на белом и зеленого на белом, он позаботился о затемнении и удостоверился в том, что и до этого знал или угадывал, а потому мог себе позволить этаким молодчиной съехать с дамбы под соленым брызжущим дождиком, радуясь победе, которую одержал его профессиональный нюх. Возможно, он уже по дороге обдумывал предстоящее донесение, хотя скорее мысли его были всецело заняты любимым блюдом, которое Хильке сейчас готовила на кухне: жареными селедками с картофельным салатом. Во всяком случае, когда он вступил в дом, повесил в шкаф фуражку и накидку и, потирая руки, вошел в дымную кухню, здесь уже собралась вся семья.

— Ну как? Пора садиться?

— Пора.

Я первым сел за стол, пока мать накрывала к ужину, меж тем как у плиты со слезящимися глазами стояла Хильке и растапливала на сковородке потрескивающий, журчащий жир. Он жарко взбрызгивал, он стрелял и пенился бесчисленными пузырями, а Хильке укладывала в клокочущую жидкость обезглавленную, обвалянную в муке рыбу. Отец, войдя, поздоровался и не взял в обиду, что никто ему не ответил. «Добрый вечер всем», — сказал он и потрепал меня по плечу, подошел к плите и одобрительно закивал, глядя, как сестра вылавливает из жира до коричневости зарумяненных рыбок и горкой складывает на тарелку, как, протерев глаза тыльной стороной ладони, она бросает на сковородку новую партию мучнисто-белых селедок и жир снова взбрызгивает и шипит.

Отец подмигнул мне и в ожидании лакомого блюда с преувеличенным восхищением потер живот, потом, расстегнув португепю, сложил ее вместе с пистолетом и планшетом на кухонный шкаф и уселся со мной рядом. Желтые и коричневые, поблескивая жиром, лежали на тарелке жареные селедки с ломкими, съезжившимися хвостовыми плавниками, — когда я это вспоминаю в моей хорошо проветриваемой камере, мне и сейчас ударяет в нос едкий запах и к горлу подступает неизбежный кашель.

Берясь за жаренье, Хильке накинула на расшитую в крестьянском духе кофточку с монетами вместо пуговиц закрытый доверху халатик, густые длинные волосы перевязала на затылке лентой, на ногах у нее были шерстяные гольфы, достигающие до колен, на руке позвякивала посеребренная цепочка, которую Адди сверх всякого ожидания прислал ей из Роттердама, куда его погнали с войсковыми частями. Каждый раз, вылавливая из кипящего жира несколько селедок, Хильке, выпятив нижнюю губу, сдувала с лица выбившуюся прядь и, повернувшись, улыбалась нам с капризной гримаской сквозь едкий чад.

Наконец мать поставила на стол блюдо с рыбой и миску со стекловидным картофельным салатом, перемешанным с яблоками; взявшись за руки и беззвучно скандируя, мы пожелали друг другу «при-ят-но-го ап-пе-ти-та» — обряд, которого у нас придерживались, когда Хильке бывала дома, а затем каждый выкопал себе в глиняной миске изрядный ком картофельного салата и набрал с большого блюда селедок. Достаточно было надавить вилкой, чтобы отделить спинное филе, а поддев зубцом вилки позвоночник, вы могли вытащить его целиком. Я без труда обогнал Хильке на две рыбки, а потом удерживал и наращивал это преимущество, но тягаться с отцом было мне не по силам. У ругбюльского полицейского был свой метод расправляться с позвоночником, после чего, подхватив на вилку добрую половину рыбки, он мгновенно, не шипя и не дую, отправлял ее в рот, и я с волнением наблюдал, как на краях его тарелки множатся рыбьи скелеты. Когда у нас подавалась жареная сельдь, отец напоминал мне Пера Арне Шесселя, самого прозорливого едока, какого мне случалось видеть, хотя, к чести отца будь сказано, он несравненно выразительнее, чем мой брюзгливый дедушка, давал почувствовать то животворное тепло, то душевное равновесие и умирительную полноту чувств, которые вызывает добрая еда. Я не мог угнаться за числом рыбьих скелетов, украшавших тарелку отца, но, что касается Хильке и матери, без труда оставлял их за флагом.

Итак, мы жевали, смаковали, перемалывали и глотали — только держись! Селедочная башня уменьшалась на глазах, в картофельном салате зияли воронки и пещеры и высились утесы, на меня уже наплывали теплая усталость и приятное изнеможение, как вдруг Хильке углядела клочок алой бумаги, торчавший из кармана отцовского мундира. Она вытащила его наружу, вопросительно подержала на ладони над столом и, так как никто не откликнулся, положила рядом со своей тарелкой.

— Чего ты только не таскаешь в карманах, — сказала она отцу с укором.

Отец, не говоря ни слова, потянулся через стол, подвинул к себе алый клочок и сунул его в карман.

— Никак это секрет? — протянула Хильке, а отец, уткнувшись в тарелку:

— В такое трудное время хоть бы не переводилась селедка, и то большое было б дело.

— Как Макс, здоров? — внезапно заинтересовалась мать.

— Должно, здоров, — промямлил отец и, распарывая селедку зубцом вилки, добавил: — Уж до того занесся, что я этого больше терпеть не намерен. Сам набивается!

— А все доктор Бусбек, — откликнулась мать. — Разве бы Макс такой был, если б этот Бусбек не сбивал его с толку? Ничего-то мы про него не знаем, кто он, что и откуда. Перекаги-поле, немногим лучше, чем цыган. Работа — это не по его части.

— Нет, — возразил отец, — против Бусбена показаний нет. Макс от себя колобродит. Вообразил, будто ни с кем считаться не обязан. Законы и постановления не про него писаны. Это, видишь ли, для других. До того дошло, что я не могу больше потакать ему. Дружба — это не отпущение грехов.

Мать отставила тарелку. Облокотилась о стол. Уткнувшись взглядом в аккуратный отцовский пробор, она внезапно разразилась целой речью:

— А мне иной раз сдается, что Макс радоваться должен запрещению. Достаточно поглядеть, каких уродов он малюет. Все какие-то зеленые рожи, раскосые глаза, да и тела уродские, до того все чужое и странное, что и сказать невозможно. Это не он, это болезнь за него пишет, она и водит его рукой. Немецкого лица у него не увидишь. Бывало — да! Про бывало не скажу. А нынче что-то на него нашло, подумаешь, что в горячке написано.

— Но за граница его признает, у него там, говорят, имя.

— Это оттого, что они там все припадочные, — отозвалась мать. — Потому и вешают у себя больные картины. Ты только погляди, какие у этих образин рты кривые да черные, то ли они кричат, то ли плетут невесть что, из такого рта разумного слова не услышишь, а тем более немецкого. Я другой раз себя спрашиваю: на каком языке они говорят?

— Во всяком случае, не по-немецки, — подхватил отец.

— Это все Бусбек, — не унималась мать. — Это он его подговаривает, чтобы за границе угодить, вот Макс и представляет все больное да чужое, зеленые рожи с перекошенными ртами и чужие тела. Макс радоваться должен запрещению, оно его вернет к себе, к нашему, привычному.

Отец оставил тарелку и вытер вспотевший лоб. Хильке встала, собрала тарелки, отнесла их к плите и вернулась с блюдцами яблочного мусса для всех нас.

— На этот раз ему такое пропишут, что не обрадуется, — сказал он, а мать:

— Как вспомнишь, до чего Дитте над деньгами трясется, — ей лишь бы не денежный штраф.

— Я это дело в Хузум передам, а не в Берлин. В Хузуме они что-нибудь такое обмозгуют — специально для Макса. — Отец ел чайной ложечкой мусс и похваливал, да и мне немножко оставил. — Тут как раз сошлось: нарушение правил о затемнении, да еще он не посчитался с запрещением писать картины — вместе это, что ни говори, что-то составляет.

Он пододвинул мне блюдце. Откинулся на стуле, тщательно провел языком по зубам, с силой пососал их зазубрины, почмокал и откашлялся. От матери тоже приспело мне блюдце с коричневым муссом.

— На этот раз ему не удалось извернуться, шалишь — теперь я его штучки раскусил, — продолжал отец и вынул из кармана несколько зелено-белых обрывков. Он разложил их на столе, как раскладывают карты, и стал прилаживать друг к другу и так и этак, но они не сходились, ничего толком не получалось.

— Ты? — ужаснулась мать. — Это не твоя ли работа?

Но полицейский только головой покачал с видом превосходства. В голосе его даже прозвучала нотка признательности, когда он сказал:

— Он самолично. Я его здорово к стенке прижал. Ему некуда было деваться. Он и порвал картину. Но помочь ему это все равно не поможет.

— Как, собственную картину? — ахнула мать.

— А что на ней, было? — поинтересовалась Хильке.

— Можно, я возьму эти клочки себе? — закинул я.

Отец одним движением отшел все три вопроса, встал, потянулся, снял с кухонного шкафа свой планшет, открыл и попросту вытряхнул содержимое: дождем посыпались красные, зеленые, белые и синие клочки, над столом закружилась пестрая метель, хлопья садились на мой мусс, падали, трепыхаясь, на пол, отлетали к двери. Тут отец вытащил из кармана остальные клочки, но не рассыпал дождем, а пачка за пачкой стал ударять ими о край стола, приговаривая:

— Вот что я приложу к заявлению, вот вещественное доказательство.

— Дай мне, я их рассортирую, — предложил я. — Рассортирую и сложу как надо.

— Ни к чему это, — возразил отец. — Лишняя работа. Достаточно и ошметков.

— Но мне хочется их рассортировать, — занул я.

Стук. Мы прислушались. Кто-то ломился в дверь.

Отец знаком приказал мне убрать со стола клочки картины — куда угодно, лишь бы очистить стол; очевидно, у него возникло определенное подозрение насчет того, кто стоит за дверью и стучится к нам, слишком даже определенное: по лицу его было заметно, как велико его разочарование, когда он на пороге поздоровался с Хиннерком Тимсеном и пригласил его войти. Они о чем-то толковали в прихожей, тогда как мы сидели не двигаясь и прислушивались. Кухонный порог изламывал свет, падавший на отца, оставляя в тени Тимсена.

— ...в воздухе подозрительное гудение мотора... с веранды «Горизонта»... увидели, как из-за туч вынырнул бомбардировщик... четырехмоторный... шел на снижение... Из одного мотора вырывалось пламя... тогда как самолет... А потом над морем загорелся и второй. Взрыв был такой, что мертвого разбудит... на отмель, безусловно, спускался парашют... Видеть не видели, а только определенно, что парашют... — Из темноты доносился голос незримого Хиннерка Тимсена, докладывавшего о чрезвычайном происшествии.

— Американцы, скорее всего американцы! — добавил он в заключение.

Все услышанное, как в зеркале, отражалось на суховатом лице отца, но не только это: явственно читалось на нем мгновенное решение расследовать этот случай до основания, самолично во всем убедиться и все досконально засвидетельствовать; он кивнул, достал из шкафа фуражку и накидку, повернувшись к нам, крикнул: «Португею!», взял из рук Хильке португею и пистолет, застегнул пояс, поправил пистолет, в два шага достиг порога, в два шага вернулся, бросил нам обычное: «Так пока... мм?» — и последовал за Тимсеном, стоявшим уже за порогом и указывавшим направление.

Я не стал за ними увязываться, хотя во всякое другое время непременно б увязался. На коленях у меня лежали клочки разорванной картины, я осторожно сунул их под пуловер. Зажав их между рубашкой и пуловером, я спустился под стол и, благо никто не обращал на меня внимания, тщательно собрал у ног Хильке, перед подоконником, под стулом матери, а также перед кухонным шкафом валявшиеся на полу обрывки, пока вся картина, вернее, ее останки не оказались у меня под пуловером, который уже не прилегал вплотную, а местами оттопыривался и провисал. Сложив руки на животе, я застыл перед кухонным шкафом.

Хильке с матерью по-прежнему сидели друг против друга, должно быть прислушиваясь к звукам за окном. В воздухе носился отдаленный певучий гул мотора, но тут его заглушил неугомонный треск будильника, стоявшего рядом с хлебным ящиком. Подняв тревогу, он заплясал на своих коротеньких стальных ножках, поворачиваясь вокруг себя на сто восемьдесят градусов и возвещая мягким, дочиста обглоданным рыбьим костям на плите наступление нового часа.

А как же изжога? Я ждал изжоги, ждал, что матушка, спасаясь от изжоги, подойдет к раковине, откроет кран и, между тем как застоявшаяся вода стекает, достанет стакан и крошечный пакетик соды, наберет полный стакан воды, надорвет пакетик и, высыпав содержимое в воду и воротясь назад, сядет за стол и станет пить маленькими глотками. Никогда я с таким нетерпением не призывал изжогу, чтобы, воспользовавшись минутой, когда мать будет занята, исчезнуть, избежав расспросов, предостережений и угроз. Но изжога, должно быть, запаздывала, а может быть, ей и вовсе были противопоказаны жареные селедки. Тогда я отважился на новую уловку — действовать решительно. Я просто подошел к ним и сказал: «У меня дела», на что Хильке рассмеялась, а мать повернулась ко мне с улыбкой, но, прежде чем она успела что-нибудь сказать, я был уже за порогом и поднимался к себе.

Уж не зовут ли меня? Нет, кажется, не зовут. Я подошел к столу, сплошь застланному голубыми морскими картами, по которым плавали мои модели судов; здесь должен был разыгаться новый Скагеррак, в котором Хиппер с присущим ему тактическим чутьем и т. д. и т. п. оторвался от превосходящих сил Джеллико, но мне уже было не до них: я рукавом смахнул предстоящий бой, снял его, так сказать, с повестки дня и приподнял над мирными водами свой пуловер. Оттуда посыпались клочки картины и понеслись по морям. Алое утверждало синее. Белое побуждало зеленое к бунту, коричневое отстаивало себя на фоне серого. Скрюченный коричневый палец ноги. Застывший треугольный глаз. Растопыренные пальцы руки. Крапчатый гребень волны. Уж не продолжался ли здесь Скагеррак? Клочки были хорошо перемешаны, в чем я не замедлил убедиться. Я все еще прислушивался: в кухне бежала вода из крана, там громыхали посудой, Хильке со свойственной ей энергией убирала следы ужина. Я был предоставлен себе и сразу же приступил к делу.

Тобою, человек в алой мантии, начал я восстанавливать потерпевшую картину, разыскивая тебя в разрозненных клочках и обрывках; я и посейчас помню, каким азартом и какой радостью сопровождалась эти поиски. Я начал свою работу не с центра и не с края, а следуя за краской, откладывая алое к алому, зеленое к зеленому; я пока еще не примерял друг к другу отдельные лоскутья, а только сортировал их по цвету, деля картину на отдельные секторы, или, если хотите, главы, которые оставалось лишь привести в порядок.

И надо сказать, решения мне предстояли нелегкие, как, например: отнести ли различные тона коричневого к собственно коричневому сектору, а иной зеленый цвет приходилось трижды допрашивать, до того как зачислить его по зеленому; львиная часть времени ушла у меня на то, чтобы определить цвета.

Как прихотливо разрывается бумага, и какие только сравнения не приходили мне в голову для обозначения причудливых очертаний! Остров Крит, копье, стропильная ферма, ламповый абажур, капустный кочан, итальянский сапог, макрель, ваза — чего только не напоминали мне эти пестрые клочки с волокнистыми краями на местах обрыва, когда я начал прикладывать их друг к другу, передвигая, убирая, перебрасывая туда и сюда.

Я непрерывно маневрировал, прижимая их к столу указательным пальцем и подключая друг к другу по предполагаемым соединительным линиям. Так, я ввел черную яхту в гавань, соединив ее с треугольником Индостана. Собирая воедино подходящие лоскутья, я из пирамидального алого дерева сотворил вздыбленную лошадь, затем летящего дракона и, наконец, вклинивая все новые лоскутья и обрывки, составил алый колокол, то есть, собственно, колоколообразную мантию. Сколько возможностей крылось в одной картине! Сколько разных этапов пришлось мне пройти!

Что же делает человек в алой мантии? Для чего выжимает он руками побережье, как

тяжелоатлет выжимает штангу, меж тем как его бесовские ножки свободно витатют в воздухе? Да и можно ли хихикать под такой тяжелой ношей? Продолжая манипулировать частями ног и растопыренными пальцами, а также тяжелым зелено-белым телом, я искал лицо для непомерно большого рта, увеличенного падающей тенью, и, примериваясь, подбирая, пробуя, набрел на отдаленное сходство с Клаасом, а добавив кое-какие треугольнички и ромбويدы, добился еще большего сходства с братом, пока он не предстал предо мной готовым к бегству: то был Клаас, но не в портретном подобии, а как воплощение страха.

Так я восстановил из хаоса моего брата и человека в алой мантии; я угадал их в этой неразберихе и составил из клочков. Оба они были налицо, но ничто покамест не связывало их друг с другом. Тот самый песчано-серый берег, по которому Клаас стремился бежать, покоился на руках человека в алой мантии — уж не было ли здесь двух побережий? И стало быть, тут не хватает мостика? Или я неверно сложил картину? Обходя кругом стол, прикладывая наудачу то туда, то сюда тот или другой обрывок, я старался угадать, в каком отношении находятся друг к другу обе фигуры, и, так как передний план ничего не подсказывал, обратился к заднему плану — черному, зимнему Северному морю. Из черноты набегала на берег отливающая зеленой синевой волна — этакая широкая, неторопливая, — она была видна как в пространстве между двумя фигурами, так и за ними; назначив ей роль связующего звена, я восстановил ее целостность, и это заставило меня перевернуть вверх ногами человека в алой мантии. А тогда оказалось, что берег, по которому брат собирался бежать, составляет одно целое с берегом, который злобный старикашка выжимает руками. Оказалось, что низкий горизонт — их общий горизонт и что страх брата, понуждающий его к бегству, имеет свою причину: причина заключается в тощем, с изломанной спиной, нарушающем законы притяжения человеке в алой мантии.

У меня теперь не оставалось ни малейшего свободного клочка.

Чем кликнуть Хильке или мать и удивить их тем, что скрывалось в прихваченных отцом клочках, я подошел к двери и заперся изнутри. Потом принялся искать подходящую основу, но не нашел ничего, кроме рваной шторы затемнения, валявшейся под кроватью. Я растянул ее на полу и прижал с обоих концов стульями, чтобы она не свернулась, да и на стулья положил дополнительный груз, главным образом отслужившие детские книжки. Из строительного ящика «Юный столяр» я достал тубик «Универсального клея», опустившись на колени рядом со шторой, выжал из тубика червяка медового цвета и горлышком тубика стал размазывать тягучий клей. Я наносил на штору клей в виде спиралей и гирлянд, и он быстро высыхал. Подготовив таким образом некогда черную, а теперь белесую штору затемнения, я принялся систематически переносить на нее со стола клочки картины и приклеивать их друг за другом в установленном порядке, причем волокнистые места обрывов неизбежно становились темнее; они протянули над восстановленной картиной сетку прожилок, своего рода паутину, показывающую неизгладимые следы разрушений. Начав с верхнего угла справа, я в первую очередь восстановил небо, море и Клааса и лишь под конец тебя, человек в алой мантии, тебя с твоим застарелым коварством и твоей неподвижной улыбкой. Я поднял один из стульев: штора мгновенно свернулась в противоположную сторону, вобрав в себя картину. Я осторожно сунул ее под кровать.

А теперь ящик с красками, подумал я, а теперь альбом для рисования, подумал я, подоконник достаточно широк, а иначе не миновать мне головомойки, время не терпит, мне, собственно, следовало с этого начать. Я и сейчас вижу себя у подоконника: вооружившись самой толстой кистью, я заполняю листы энергичными мазками алой краски, а потом пылающими языками развожу их по бумаге. Я и сейчас слышу звуки отрываемых листов и вижу себя наносящим мазки мрачной коричневой краской, и снова я, как тогда, смешиваю зеленое с коричневым. Все цвета на картине перенес я на бумагу и, закрасив три-четыре страницы, стал размахивать ими в воздухе. Я дул на них. Я карманным фонариком чертил над ними тесные круги, следя за тем, как краска просыхает, впитываясь в бумагу, после чего, убрав ящик с красками и альбом, отнес листы на стол и разорвал их в клочья.

Тщательно рвал я листы — сперва на почти правильные четырехугольники, а уже потом кромсал каждый в отдельности: я отрывал от них клинья, полукруглые арки, красивые макеты с зубчатыми краями и, сложив эти разнообразные клочки, дождем пролил их над морями, основательно перемешав. Шаги... Один прямоугольник за другим превращался в красочные хлопья. Предусмотрительно, чтобы создать впечатление неполной картины, я несколько хлопьев сунул в карман. Потом скрюченными пальцами собрал отдельные кучки, еще раз перемешал, изобразив небольшую снежную метель, для чего подбрасывал их вверх, но не слишком высоко. Шаги... Крики: «Зигги!..» Я метнулся к двери, отворил, снова вернулся к столу и, как ни в чем не бывало, стал рыться в хлопьях, соединяя обрывки, не желавшие знать друг друга, сопровождая это занятие правдоподобными вздохами, меж тем как вошедшая Хильке спросила:

— Ну, что-нибудь видно? — Она стала за моим стулом, поглядела на клочки, и ее, конечно, сразу осенила счастливая мысль. В ней тотчас же проснулась ее безоглядная энергия, и она недолго думая скинула меня со счетов. — Ты в этом ни черта не смыслишь, — заявила она, — дай я попробую.

— Я вижу здесь только красное и зеленое, — пожаловался я, — огонь и воду, — на что она:

— Ничего, Хильке разберется.

Для нее я так навсегда и остался младшим братишкой. Уверенно собрала она клочки на книгу и со словами: «На кухонном столе куда удобнее», прижимая книгу к животу, спустилась вниз, где первым делом включила радиоприемник, по которому, невзирая на атмосферные разряды, певец сообщал, какие достоинства находит он у женщин. Я сидел не шевелясь и представлял себе, как она сортирует клочки — алое к алому, коричневое к коричневому. «С удовольствием целовал их...» Но куда девать белое? И что может означать серое? Я представлял себе, как она искусно подбирает отдельные обрывки и, обманувшись в своих ожиданиях, начинает сызнова — с тем же, впрочем, успехом. «Никогда не спрашивал, что положено, что нет...» Но точно так же, как Хильке, будет сидеть некто в Хузуме, стараясь проникнуть в тайный, смысл картины, а может быть, и в Берлине возьмутся расследовать доставленные отцом вещественные доказательства и, разложив на столе, примутся с нарастающим азартом разгадывать этот ребус, пытаясь из мозаики составить нечто целое, пока кто-нибудь, сославшись на недостающие части и утешаясь этим оправданием, не приобщи́т мое творение к делу.

А пока что занялась этим Хильке. Она сортировала бумажки, насвистывая про себя мелодию и нет-нет подхватывая знакомые слова песни. Я вытащил из-под кровати сплошь заклеенную штору, вышел с ней в коридор и, как всегда, не спросясь, держась стены, спустился с лестницы как раз в ту минуту, когда певец женских прелестей вынужден был сократиться, уступив место у микрофона фанфарам, возвещающим экстренное сообщение. Фанфары и помогли мне незаметно открыть дверь и закрыть ее за собой. Неся перед грудью, словно фаустпатрон, слабо свернутую, потерявшую упругость штору, кинулся я к старой тележке и огляделся, затем пересек кирпичную дорожку, скатился вниз по откосу, пригнувшись, добежал до шлюза и снова огляделся, а между тем забравшийся в штору ветер прижимал ее к моим бедрам. За камышами на фоне слабо мерцающего горизонта темнела моя бескрылая мельница. Я прислонил штору к плечу, но нести стало еще неудобнее, и я снова зажал ее в обеих руках, а пробираясь камышами, нес в отвесном положении, прислонив к груди, так что всякий увидевший нас должен был принять ее за перископ и решить, что это маневрирует подводная лодка, занимая огневую позицию, чтобы торпедировать мельницу.

Что-то неладное творилось в мельничном куполе, что-то дребезжало или верещало, но мне было не до этого. Задавшись целью отнести склеенную картину в сохранное место, я обошел мельничный пруд и поднялся по грунтовой дороге. Я решил спрятать картину в мучной ларь, но только на одну эту ночь, а там переправить ее наверх, в мой тайник, и повесить рядом с галереей всадников; картиной «Вдруг на берегу» я вознамерился открыть

выставку, посвятив ее — осмелюсь сказать — моему отечеству.

Далеко-далеко в непроницаемой темноте остались дамба и «Горизонт», а с ними и отец, искавший на отмели сброшенный парашют. Рывком открыл я дверь мельницы и заглянул в мрак лестничной клетки; здесь что-то сновало, что-то потрескивало и насвистывало. Отовсюду на меня смотрели, остерегая, чьи-то глаза, а высоко над головой что-то зловеще шипело, что-то раскачивалось надо мной и круто взбиралось вверх и, как всегда, слышался звон стеклянных осколков, а порою можно было разобрать и шум невидимого таля. Я ощупью добрался до лестницы, ведущей в мукомольню, взял влево, нащупал гладко обструганную подпорку, еще левее — здесь что-то потрескивало и разбегалось с мышинным проворством, — взял штору в одну руку и вытянул другую по направлению к мучным ларям — здесь тоже что-то потрескивало и верещало, — и я уже дотронулся в темноте до прохладной крышки ларя, — но не стоит торопить события.

Как сказано, я дотронулся до мучного ларя, как вдруг чья-то рука сзади обхватила мне шею — не со злобной безоглядностью, но с такой силой, что я выронил штору и обеими руками ухватился за руку, державшую меня в тисках. Возможно, я закричал. Возможно, пытался укусить руку. Помню ощущение шершавой материи на щеке. Я пробовал лягаться, всем телом извивался, вырывался. Что есть мочи, но не мог высвободиться. Давление на шею не нарастало. И вдруг оно совсем прекратилось, рука отпустила меня, и я услышал голос Клааса:

— Что тебе здесь нужно?

— Клаас? — крикнул я в темноту, и снова: — Клаас?

— Убирайся вон, марш домой, и чтоб я тебя больше здесь не видел!

Я прислушался к его дыханию.

— Кто тебе сказал, что я здесь?

— Никто, — ответил я, — никто ничего не говорил мне, правда, Клаас, я только отнес сюда картину.

— Это он тебя послал? — допытывался Клаас, а я:

— Нет-нет, никоим образом. Его и дома нет, за ним пришли из «Горизонта».

— Он ищет меня, — сказал Клаас, — он так и рыскает, ему известно, что я здесь.

— Ведь я же тебе слово дал, — защищался я, — от меня ни одна душа не узнает.

— Нынче, — сказал Клаас, — он, как факт, чуть меня не застукал, кто-то навел его на след. Пришлось уйти из Блеекенварфа. Он стоял под самым моим окошком.

— Он тебя видел? — спросил я.

— Не знаю, когда он светил в мою комнату, я лежал под подоконником. Понятия не имею, что он высмотрел, но кто-то навел его на след, он знает, что я здесь.

Тут брат зашевелился в темноте и подошел ко мне, бесшумно ступая в подаренных ему художником парусиновых туфлях. Я слышал, как он наступил на штору, остановился и медленно поднял ногу, и штора, потрескивая, приподнялась за ней. Он наклонился, нащупал бумагу, слегка потянул и дал ей снова свернуться.

— Поди сюда! — позвал он. Я повиновался. По его приказу я взялся за край, а он растянул ее во всю длину и закрепил свой конец рейкой. Он зажег спичку. Колеблющийся огонек осветил его снизу и привел в движение тени на его лице. Он опустил горящую спичку и стал описывать медленные круги, а когда спичка погасла, зажег другую.

— Что это? — спросил он.

— Не узнаешь? — ответил я вопросом на вопрос.

— Кого? — спросил он.

— Вот этого, справа, — разве ты его не узнаешь?

## Глава IX

### Возвращение домой

Он, Йост, ненавидел меня. Я, Зигги, ненавидел его, но перевес был на стороне Йоста. Не успел учитель Плённис вернуть мне рисунок рыболовного судна, не успел я спрятать в ранец лист, который должен был показать этой банде тупиц, как выглядит рыболовное судно, и не успел молчаливый учитель Плённис, дважды контуженный в войну, распусть нас после уроков, как на меня посыпались проворные пинки в подколенные ямки, хорошо нацеленные бумажные пули, быстрые, обычно недоказуемые тычки в спину и другие помыкательства.

Мне и оборачиваться не нужно было, чтобы убедиться: ближайший мой сосед — он, Йост; тучный, но юркий, уши лопухами, заплывшая салом шея и запястья, толстые губы и карие глаза с пустым, самодовольным взглядом. Вельветовые брюки до колен и ручные часы без механизма, неизменно показывающие без двадцати пять. Стоило начаться перемене или кончиться уроку, как Йост принимался за меня, мне иногда представлялось, что он и в школу ходит, только чтобы издеваться надо мной. Когда он сидел, то весь, от шеи до жирных подколенок, состоял из складок, а когда с трудом высвобождал из парты широченную шаровидную задницу, грозившую разорвать штаны по шву, и, раскачиваясь, вставал, то напоминал надутую до отказа резиновую куклу — проткни ее иглой, и она превратится в жеваную тряпку. Если он, вооруженный линейкой или резинкой с набором тетрадных скрепок, преследовал меня, я только и слышал за спиной пыхтение и визгливый, задышающийся смех, что, впрочем, не говорило о недостаточной выносливости.

Как только учитель Плённис нас отпустил, Йост сразу же за мной увязался, он пинками под коленки погнал меня к двери и через коридор, он спихнул меня с обеих каменных ступеней и на голом, усыпанном щебнем дворе дал мне отведать своей линейки, а стоило мне обернуться, как Йост мгновенно отворачивался с растерянным видом, притворяясь, будто ищет глазами моего убежавшего обидчика. Вслед за мной он пересек Хузумское шоссе, а выйдя на кирпичную дорожку, подговорил Хайни Бунье, и они вдвоем принялись сталкивать меня в заболоченный, маслянисто поблескивающий ров.

Не пуская в ход рук, а только наваливаясь всем телом, они теснили меня к краю откоса, а когда я, наклонясь вбок, продолжал балансировать по самому краешку, оба спустились ко мне, чтобы спихнуть меня в ров. Избегая их толчков, я всячески вертелся и наклонялся, так что били они впустую. Но тут изобретательный Йост принялся собирать камешки, вернее, не камешки, а кирпичные осколки и стал швырять их в ров перед самым моим носом, так что коричневая вода, взбрызгивая, пачкала мне ноги, ранец, штаны и рубашку. Хайни Бунье по его примеру тоже принялся швырять камешки в тинистую воду, поднимая в ней фонтаны брызг. Я слышал жужжание пролетающих осколков, видел их всплески в темном зеркале воды и почти одновременно чувствовал на коже уколы брызг. Сбор камешков требовал времени, и мне удалось оторваться от них метров на десять-пятнадцать, что, однако, как я тут же обнаружил, едва ли дошло мне на пользу, так как с увеличением расстояния броски утрачивали свою точность: снаряды свистели над самой моей головой, чуть ли не задевали бедра, и, когда один из них угодил в мой ранец, мне надоело изображать мишень. Я снова взобрался на кирпичную дорожку и, балансируя на голове ранцем и держась хоть и скованно, но отменно прямо, пошел вперед по направлению к Ругбюлю; тогда они снова погнались за мной. Их тени, отбрасываемые на кирпичную дорожку, жестикулировали. Они беззвучно совещались.

Я был настороже, готовый к любому сюрпризу, но на этот раз моя готовность мне не помогла. По команде Йоста оба взяли меня в клещи и, потребовав пропустить их, отеснили меня к противоположному краю дорожки, но не спихнули, а шаг за шагом протащили по склону, так что мне ничего не оставалось, как спрыгнуть в ров. Прыжок свой я рассчитал и



нырнул солдатиком, но не окунулся с головой. Стоя посреди рва, я все глубже увязал в прохладной тине, между тем как сотни радужных пузырей поднимались вверх и лопались вокруг; коричневая вода доходила мне почти до пояса, от нее несло гнилью и тлением, я видел лягушку, которая, напрягшись изо всех сил, плыла брассом к заросшему лопухами берегу. Однако радости моих преследователей хватило ненадолго, им уже мало было того, что я, стоя перед ними с ранцем на голове, все глубже увязал в вязкой тине; между тем как Хайни Бунье собирал кирпичную осыпь, Йост двумя пальцами — большим и указательным — натянул резиновую петлю, вставил в нее скрепку и давай целиться мне в руки: мимо замелькали крохотные снаряды — и тогда в воздухе затрещали сверчки, зареяли комары, загудели шершни, осы, шмели и дикие пчелы завели свои крохотные швейные машинки. Когда Йост принялся обстреливать меня скрепками, я, прикрыв голову ранцем и вихляясь, с трудом захлюпал к берегу, вскарабкался и тут же съехал вниз, снова вскарабкался под жужжание и трескотню скрепок, слыша, как те двое смеются над моими шоколадными ногами, с которых стекала коричневая грязь. Я лежал на склоне, когда в меня угодила первая скрепка, вонзившаяся в шею: удар, жжение, мгновенный укус — я вскрикнул и, уже не думая об укрытии, вскарабкался на противоположной склон, пробрался, схватив попутно новое ранение, через проволочную изгородь с застрявшими в ней клочьями овечьей шерсти и, описывая зигзаги, побежал к торфяным прудам.

Оставили они меня наконец в покое? Нет, они не оставили меня в покое. Угадав мои намерения, они бросились по направлению к Ругбюлю, то и дело наклоняясь, чтобы подобрать подходящий обломок кирпича, добежали до первого шлюза и забрались на деревянные шлюзные ворота, временно довольствуясь тем, что отрезали меня от дома.

А я все бежал и бежал. Помню непрекращающееся жжение на шее и жжение на правой ляжке. И помню обуявший меня страх, который, не затихая, побуждал меня к все новым прыжкам по овечьему выгону. Я говорил себе, что только бег на дальнюю дистанцию с нарастающим моим преимуществом заставит их отказаться от погони. Между тем они в ус не дули.

То, как они сидели на шлюзных воротах, болтая ногами, вертя в руках и разглядывая собранные осколки, говорило, что они уверены в своем торжестве. Я понимал это. Я это знал. Потому-то я и бежал по направлению к северо-западу, вернее, к северу и, наткнувшись на ограду, сперва перебрасывал через нее ранец, а уж там хочешь не хочешь следовал за ним. Пусть они меня ждут!

Светило ли солнце? День был тихий, безветренный, солнце согревало равнину и пробудило бы все своим теплом, если бы теперь стояла весна, пора всеобщего пробуждения, а не осень. Плавают ли еще на торфяных прудах дикие утки?.. Когда я по пружинящим травяным кустикам дошел до большого торфяного пруда и опустился на колени, чтобы смыть с ног присохшую тем временем грязь, отсвечивающую синевой, я не услышал ни суматошного бега перепончатых лап, ни хлопанья крыльев, с каким поднимаются с воды дикие утки. Здесь ли еще торфяной челн? Там, где устье рва выходит в пруд, я его увидел: затонувшая корма, черные смоленые борта, забрызганные чаячьим пометом, выбеленная солнцем банка. Я забрался в него и стал палкой бить дремлющих водяных пауков, в то же время следя за спинными плавниками карпов, которые, неторопливо проплывая мимо камышей, рябили воду.

Я сидел в старом торфяном челне, откуда ни сидя, ни стоя шлюзных ворот не было видно; дома уже давно отобедали, и Хильке, конечно, поставила мой обед на плиту» чтобы не простыл; ничто меня здесь не торопило, не подгоняло, не подстегивало, шея и нога уже не так жгли; я столкнул челнок в ров, он всплыл, и я принялся вычерпывать воду старой консервной жестяной, лежавшей под скамьей. Что сделал я, заслышав голоса? Внезапно где-то рядом послышались голоса: мужчина что-то кричал, женщина смеялась. Голоса доносились с торфяных разработок, из карьера, где сушился сложенный аккуратными штабелями свеженарезанный торф. Видеть я никого не видел, хотя мужчина опять крикнул, а женщина снова рассмеялась. Я повернул челнок и, поставив его поперек рва так, что он

соединял оба берега, перешел на другую сторону. Прислушался, но теперь голосов не было слышно. Во рву течения не было, и челн стоял неподвижно: никуда он отсюда не денется и, если нужно будет, в любую минуту примет меня на борт.

По отлого поднимающемуся грунту двинулся я наверх, к торфяным разработкам и, не доходя до края карьера, увидел мокрый резак в полуциркульном вращении: он появлялся невысоко над грунтом и, описав дугу, исчезал, подобно часовой стрелке, показывающей только от без четверти до четверти. Я подошел к карьере и поглядел вниз: тачка, деревянные мостки, черные изломы теней, темные торфяные террасы. Хильда Изенбюттель со своим бельгийцем резали торф. Обнаженный до пояса Леон-бельгиец, стоя на нижней террасе, втыкал железный резак, как лопату, во влажно поблескивающий грунт, выбирал выкроенный ком величиной с кирпич и ловко перебрасывал его своей хозяйке, пользуясь броском для того, чтобы освободить резак — тогда он показывался над краем карьера, — и снова втыкал его в сочный грунт. Хильда Изенбюттель, слегка приседая, ловила кирпич и укладывала в тачку, почерневшую от сырости и липкой крошки. Оба — мужчина и женщина — были в штанах: он в черных брюках гольф, она в обычных серых суконных с широкими обшлагами; должно быть, и те и другие были позаимствованы из гардероба Альбрехта Изенбюттеля, который уже несколько лет как осаждал Ленинград. Оба были в деревянных башмаках, но, надо полагать, только военнопленный Леон носил башмаки Альбрехта Изенбюттеля. Я уже упомянул, что бельгиец работал полуголый. На женщине была застиранная блузка, небрежно засунутая в брюки, а на голове косынка с рисунком в виде циркуля, глобуса и счетной линейки. Уж не упустил ли я чего? Не мешает еще упомянуть прикрытую газетой плетеную корзинку, а также рубашку и потертый бельгийский военный френч, лежащий рядом с корзинкой.

Хильда Изенбюттель, с какого боку ни погляди и где ее ни повстречай, казалась смеющейся или готовой засмеяться, и это объяснялось не только мелкими редкими зубами, не только вздернутыми плечами, не нуждавшимися в ватной подбивке, и даже не только несообразно расставленными глазами: то, что один глаз утверждал, другой неизменно оспаривал. Все в ней способствовало этому впечатлению: ядреные, чуть кривоватые ноги, мягкий торчащий живот, перехваченный ремнем, тяжелая, но уютная грудь и веснушки даже за ушами — все в Хильде Изенбюттель способствовало впечатлению, будто она вот-вот засмеется. С какой уверенностью подхватывала она летящие на нее комья торфа! Как искусно укладывала их в тачку — ни один кирпич не развалился. Бельгиец резал торф, пока тачка не наполнилась, а тогда, воткнув резак в землю, он спрыгнул с террасы, поднял Хильду в воздух, усадил на тачку и покатил ее по широкой подсакивающей доске мимо карьеров с застоявшейся водой, легко одолев небольшой подъем, выбрался на другую доску и покатил тачку мимо шпалер сложенного в конусообразные башни торфа высотой в полчеловеческого роста, поставленные в шесть рядов: в сумерки или в туман их можно было принять за солдат.

Хильда Изенбюттель слезла с края тачки, вдвоем они выложили круглое основание, на котором воздвигли сквозную, с многочисленными пазами, хорошо продуваемую башню; по своему положению и расстоянию относительно других штабелей — при соответствующем настроении наблюдателя — такая башня вполне могла сойти за солдата. Работали они согнувшись, в полном молчании. Общими руками снимали с тачки кирпич и прищлепывали его. В последний, положенный на самый верх кирпич Леон воткнул перо, насколько я мог судить — утиное, он нашел его рядом со своим деревянным башмаком. Закончив башню, он по военному отдал ей честь, но вдруг с гримасой схватился за спину и стал усиленно ее растирать. Должно быть, его укусило какое-то насекомое. Затем он сел в пустую тачку и, скрестив руки на груди, ждал, пока Хильда не приподняла и не покатила тачку назад, в карьер. На обратном пути Леон изображал туристскую поездку: он всю дорогу вел немой диалог с воображаемым спутником, показывая ему окружающий пейзаж, раскланиваясь направо и налево и отвечая на приветствия.

Выглянув за край карьера, он увидел меня и помахал. Хильда Изенбюттель сперва меня не заметила, она, должно быть, сочла его приветствие за обращение к незримому прохожему

и спохватилась, только спустившись на дно карьера. Леон сделал ей знак, и она меня, конечно, узнала.

— Поди сюда, Зигги, — позвала она. — Ты нам поможешь. — Я поспешил к ним, прыгая с террасы на террасу, отчего рыхлая торфяная стена пришла в сотрясение. Они заметили мои сырые штаны с присохшими к ним волокнами тины, но ни тот, ни другая не стали ни о чем спрашивать, не поинтересовались даже, почему со мной ранец. Мы поздоровались. Бельгиец поднял корзинку, и Хильда, достав бутерброд с ветчиной и песочное пирожное, предложила мне на выбор, но так как я в таких случаях затрудняюсь, что предпочесть, то взял и то и другое, а что они иронически перемигнулись, нисколько меня не смутило.

Покормив, они задали мне работу — расчистить торфяной участок, который Леон собирался резать. Мне предстояло в качестве подсобного рабочего снять верхний травянистый покров, а также следующий за ним слой побуревших, сухих, но еще недостаточно разложившихся остатков растений — такой торф в резку не идет. Целые растительные поколения должны были в силу собственной тяжести и давления слежаться и под действием выделяемых ими газов и углекислоты подвергнуться разложению, чтобы торф спекся, затвердел и не слишком быстро прогорал в печи. Я вырывал из грунта ольховые и ивовые ветки и выковыривал осклизлые обломки древесины, похоже, что ими играли дети Сопливого короля из сказки. Отливающие воском корни. Какие-то волокнистые, не поддающиеся определению ошметки. Кусочки досок, вероятно, от лодок. Я вытаскивал и выгребал всевозможный мусор, но то, что я втайне мечтал найти и отнести к себе на мельницу, а именно портативный, высохший в пергамент труп, так мне и не попало. Даже птичьего скелета не нашлось, не говоря уже о доисторическом оружии. Зато вдоволь пахло серой, аммиаком и газом.

Мужчина резал торф, а женщина складывала комья в тачку. Время от времени, перейдя на поле сушки, они даже обменивались несколькими словами, однако Леона я не понимал. Он говорил на местном диалекте, но с французским произношением, и единственно, кто его понимал, была Хильда Изенбюттель. Бельгиец служил в артиллерии, и одна из крылатых гранат на его погонах, пристегнутая к кусочку картона, давно уже перекочевала ко мне на мельницу.

Добровольно воротившись за решетку прошлого, я снова вижу перед собой Леона в торфяном карьере и вижу смеющуюся или поминутно готовую рассмеяться женщину в пестрой косынке, слышу ее прерывистое дыхание, когда она ловит влажные комья. Я поглядывал поверх прудов в сторону Ругбюля, но оттуда никто не приближался, и только коровы и овцы бродили по пастбищу. Коровы и овцы — написать это ничего не стоит, но мне хочется и в самом деле показать их вам в качестве общего фона: косматые, в черно-белых пятнах или серые, они сливались, переходя друг в друга, так что нельзя было отличить, где кончается одна овца и начинается соседняя, но мне все же не хочется, чтобы кто-нибудь спутал эту равнину с другой. Я рассказываю ведь не о любой, безразличной, а именно о моей местности и не о любой, безразличной, а о постигшей меня беде, да и вообще рассказываю не безразличную историю — такая история ни к чему не обязывает.

Потому-то я и настаиваю на этом сереньком дне с низким облачным небом и неярким солнцем и рисую наш труд под рокот умеренного прибоя: камыш шумит, стая птиц готовится к отлету, на торфяных болотах варится пузырящийся суп. Болота, ил, извечный ил. Разве дедушка Пер Арне Шессель не писал и не проповедовал, что пусть не всякая, но все же самая ценная, самая цепкая и необоримая жизнь вышла из первобытного ила? Разве не утверждал он, что начало всех начал в головастике, кнотовидным хвостиком выбившемся на свет из первобытного ила? Пер Арне Шессель, наш брызгливый краевед.

Я сидел и отдыхал, прислушиваясь к пению моторов, приближавшихся к нам со стороны Северного моря. Вполне возможно, что мужчина да и женщина на дне карьера не слышали этих звуков. А может быть, и слышали, но не придали им значения, ведь самолеты сплошь и рядом летали через нас, направляясь в Киль, Любек и Свинемюнде. Шум нарастал

с такой быстротой, что я повернулся к дамбе и, зажмурив один глаз, с помощью четырех протянувшихся друг над другом телефонных проводов разделил видимый горизонт, скажем, так: на четыре сектора, с тем чтобы, едва лишь самолеты покажутся над зелено-коричневым валом, сразу же поймать их в свой визир. Я также повернул свое орудие — у меня была своя личная зенитка с лафетом для двустольной установки — по направлению к дамбе — теперь можете нападать. Самолеты, видимо, летели очень низко, чуть ли не над самой водой, подкрадываясь к дамбе, под ее защиту, и вдруг, сверкая слившимися в диск винтами, перескочили через зелено-коричневый вал, через телефонные провода и сделали разворот на нас — два самолета из этих приземистых «мустангов».

Выходя на цель, они все больше снижались; на носу первой машины я различил изображение буйвола — косматая опущенная голова слепо атаковала, надеясь единственно на свою грозную силу, и я различил также лицо пилота, пилота под стеклянным колпаком: он спокойно управлял головой буйвола и еще больше ее наклонил, наводя на цель, и тут вслед за первым «мустангом», наискосок от него развернулся второй самолет, в точности повторяя маневры первого, как если бы они были связаны друг с дружкой и им хватило одного приказа на двоих.

Я вскинул руки и спустил ударник. В ответ оба самолета одновременно открыли стрельбу. И сразу же извержение огня, клокочущее, бушующее пламя. Горящие нити б молниеносной быстротой вонзились в землю; когда в болото врезались снаряды, что-то там всплескивало и тарахтело. Коричневые торфяные башни, так прилежно возведенные Леоном и его хозяйкой, в мгновение ока разметало, разнесло, они взрывались, оседали набок или разваливались на части. Торфяные кирпичи лопались и рассыпались прахом. По сухой болотной траве пробежала огненная змейка. А тут еще обрушился на нас торфяной дождь, но в это время я уже лежал — не помню, как я оказался на сыром дне карьера, — и чувствовал только тяжесть Леона, укрывшего меня своим телом, его дыхание на моей шее, железные тиски его рук, не причинявшие мне, впрочем, ни малейшей боли. Леон закрывал меня, но перед моими глазами все еще вертелись огненные колеса, метались светящиеся снопы, а тут еще несколько снарядов ударило в противоположащую торфяную стену, и, надо сказать, без большого эффекта, они только пробили не слишком большие ямки в светло-коричневой стене, которая книзу становилась совсем черной. Мне уже казалось, что Леон лежит на мне целую вечность, но самолеты, промелькнув над головой, стали снова разворачиваться. Забравшись высоко и построившись почти в одной плоскости под углом атаки, они пикировали и по выходе из пике ринулись на нас, а если не на нас, то на поредевшие, но все еще сохранявшие дисциплину и боевой порядок торфяные башни. Торфяные башни не давали им покоя. Пилотов, должно быть, раздражала их безупречная выдержка: они не разбегались, не искали укрытия, оставляли без присмотра своих раненых и так далее. Торфяные башни численностью до одного батальона упрямо, невзирая ни на что сохранявшие строй, положительно действовали им на нервы.

Едва самолеты свернули в сторону Хузумского шоссе, где их ждали целые дивизии и целые армии других торфяных башен, застывших в пагубном оцепенении солдатской муштры, мы поднялись наверх. А как же бельгиец? Как воспринял все это бельгиец? Леон потряс кулаком вслед улетающим самолетам и рассмеялся.

— Губошлепы! — воскликнул он, что звучало у него как «бушлэ». Показав на опустошенное поле сушки, он за кончик косынки притянул к себе Хильду Изенбюттель, смеясь, чмокнул ее в щеку и с пренебрежительным жестом по адресу разной степени пострадавших башен сказал: — Это все мы поправим, времени у нас хватит! — И, стукнув меня по плечу, добавил: — Верно, малыш, наспал? — После чего принялся приводить в порядок пострадавшую шпалеру, собирая уцелевшие кирпичи и возводя из них новую башню. Мы помогали ему. Мы с Хильдой Изенбюттель подбирали нетронутые комья и сносили в одно место, предоставляя пленному бельгийцу, который, видимо, не очень-то скучал ни по своей трехногой табуретке сапожника, ни по своей невесте, ставить их на пазы.

Он насвистывал за работой. Насвистывал и поторапливал нас и, быть может, поэтому не

слышал повизгивания, вдруг донесшегося из-за торфяных башен; собственно, я тоже ничего не заметил, первой услышала женщина, и она было насторожилась, но снова занялась работой, пока наконец не сделала нам знак, призывая к тишине. Тут и мы услышали доносившиеся из-за поваленных торфяных башен повизгивание и равномерные глухие стоны. Леон крикнул, но никто не отозвался. Он снова крикнул, но с тем же успехом, и тут уж мы двинулись вниз, медленно пробираясь среди причиненных обстрелом опустошений, неизвестно чего ожидая или к чему готовясь, и там, где кончились шпалеры, наткнулись на Клааса. Он лежал на спине. Он не двигался. Он даже не поглядел на нас. Лицо его осунулось. Ладони были раскрыты. Голова покоилась на высохшем торфяном кирпиче. Его ранило в живот. На нем была португеза, но нет, не то я говорю: снаряд угодил туда, где должна была находиться пряжка от ремня, пятно крови было больше цветка цинии.

Вот что я прежде всего должен установить, вспоминая все это, а уже в следующую очередь поражает меня спокойствие, с каким мы поначалу стояли вокруг: ни крика, ни трагического «Нет!» или «Нет-нет!», никто в ужасе не бросился на колени, никто не окликнул раненого, не стал ощупывать или лихорадочно осматривать его рану, мы только стояли не двигаясь, точно было уже поздно.

Леон нагнулся первым и начал сметать с Клааса покрывавшие его торфяную пыль и мусор. Он тщательно его почистил и словно бы этим удовлетворился. Я делал то же самое и принялся окликать Клааса, но он меня не слышал. Тогда Хильда Йзенбюттель подняла меня, прижала к себе, а затем стала что-то шептать бельгийцу, видно его во все посвящая и советуясь с ним, в результате чего он опустил в карьер, оделся и вернулся с тачкой. Он остановил тачку рядом с Клаасом. Почистив ее, он расстелил в ней свой френч. Осторожно поднял он Клааса и так уложил, что голова его утыкалась в наклонную спинку тачки. Я сказал:

— К художнику. Отвезите его к дяде Нансену, он так хочет.

Но женщина покачала головой.

— Как же это получилось? — растерянно повторяла она. — Ему надо домой, малыш, ничего не поделаешь. Не волнуйся, ему надо домой.

— Но Клаас, — возразил я, — Клаас хочет, чтобы мы отвезли его к художнику.

— Ему надо в лазарет, — сказала Хильда, — сперва домой, а потом в лазарет. Как же это получилось, боже мой!

Она показала в сторону Ругбюля, бельгиец кивнул и ухватился за ручки, мне была поручена корзинка. Тачку подбрасывало. Большое деревянное колесо с железным ободом то и дело заедало, оно подскакивало на травянистых кочках, вязло в мягком грунте, у Клааса душу вытряхивало, он дрожал всем телом, голова скатывалась вбок или свисала, покачиваясь, со скошенной спинки тачки, так же свисали руки и, болтаясь, волочились по земле. Из уголков его рта сочилась кровь, и кровь застыла крестообразно на одном виске.

Бельгиец надрылся: он приподнимал тачку, упирался и надавливал, он тоже дрожал всем телом, его шейные мускулы вздулись, спина напряглась, он глаз не спускал с Клааса, и каждый толчок, казалось, отзывался во всем его теле.

Мы направились к дамбе и обошли ее понизу. Время от времени бельгиец останавливал тачку, и тогда Хильда Йзенбюттель оправляла Клааса или разглаживала лежащую под ним куртку. Стоило нам остановиться, как они начинали перешептываться. Не хочу ли я побежать вперед? Нет. Не хочу ли я предупредить дома о том, что произошло? Нет. Не попрошу ли я отца выйти навстречу, так как мы чересчур медленно двигаемся? Нет. Я предпочел тянуть за ляжку, которая праздно лежала на тачке, и тогда они с благодарностью надели ее мне через плечо; я согнулся в три погибели, а сам не переставая думал о шлюзных воротах, о Йосте и Хайни Бунье, от которых удрал. Отсюда не было видно, ждут они меня или нет.

Клаас сохранял спокойствие. Удивительно, до чего непринужденно он лежал. Увечная рука, которую он теперь носил в простой повязке, все время соскальзывала и тащила по земле, и женщина брала ее и клала ему на грудь; я как сейчас это вижу и вижу темные глаза бельгийца, его искаженное от напряжения лицо.

Как описать наше возвращение домой, держась чистой правды, когда меня все время тянет что-то прибавить или о чем-то умолчать? Я слышу, как визжит колесо тачки. Чувствую, как лямка впивается мне в плечо. Вижу, как приближается Ругбюль, красный кирпичный домик, сарай, старая тележка с задраным вверх дышлом. Мой Ругбюль. Но нет спасения, мы подходим все ближе, а ведь мне надо еще многое упомянуть, в частности рассказать о причинах нашей медлительности — это растущая усталость бельгийца и мой страх, который чего только мне не нашептывает, — но мы уже катим по деревянному мостику, отсюда видны шлюзные ворота, на шлюзных воротах никого нет, никто меня не ждет, целясь из рогатки. Мы проехали мимо шлюза, мимо таблички и тележки — вот-вот, думалось мне, Клаас встанет, вот он поймет, где он и куда мы его везем, и я только и ждал, что он скатится с тачки, а там вскочит и помчится в торфяное болото, свое дневное убежище, с тех пор как он исчез из Блеекенварфа; но брат по-прежнему лежал на тачке, он не поднимался и даже краешком глаза не глянул, когда мы остановились перед крыльцом.

Хильда Изенбюттель вошла в дом. Бельгиец уселся на каменную ступеньку и стал негнушиться указательным пальцем обшаривать карманы в поисках припрятанного окурка, но ничего не нашел и вдруг указал на свой френч, лежавший под Клаасом. Ну конечно, окурочек там. И он махнул рукой, дескать, ему не к спеху. Он с опасением указал на Клааса и только руками развел. Он ни слова не произнес и объяснялся со мной жестами: все, что от него зависит, он сделал бы для моего брата, но здесь, а тем более от него трудно чего-либо ждать, перевозку он еще мог взять на себя, но в остальном совершенно беспомощен — в его-то положении. Он напряженно прислушивался к тому, что происходит в доме, по всему было видно, что он рад бы уйти. Он охотно поднял бы свесившуюся руку Клааса, но не решался дотронуться до нее, а тем более перед этими окнами. Я следил за Клаасом. Я все еще надеялся и ждал, что он убежит, уловив удобную минуту. Не пошевелился ли он? Не напряг ли ногу, готовясь к прыжку? Клааса бил озноб. По телу его пробегала дрожь.

Но тут на каменном крыльце показался отец, он вышел из дому в расстегнутом мундире и, не замечая приветствия военнопленного, остановился, изобразив на своем длинноватом лице нечто, для чего я не нахожу нужного слова, какую-то смесь упрека и отчаяния, во всяком случае, он не бросился к тачке, а продолжал стоять на верхней ступеньке, отчего казался выше ростом, и глядел на Клааса сверху вниз, как если бы давно предвидел это возвращение под отчий кров и даже пережил его наперед. Он колебался. Казалось, он проводит какое-то сравнение. А затем медленно, слишком медленно спустился со ступенек, обошел вокруг тачки до того, как остановиться у задней стенки, неизвестно зачем тронул Клааса за плечо, но так и не заговорил, не окликнул его в своем беспомощном молчании. Свесившуюся руку Клааса он все же поднял, согнул в локте и прижал к его груди. Между тем Хильда Изенбюттель, вышедшая вслед за отцом, развязала косынку, трянула волосами и все продолжала себя спрашивать, как это могло произойти. Бельгиец стоял, готовый к услугам. Отец приказал ему взять Клааса за ноги, а сам ухватил брата за плечи. Вместе они отнесли его в дом и кое-как дотащили до гостиной. И здесь уложили на серую кушетку.

Отец и не заметил, как Хильда Изенбюттель и Леон обменялись взглядом и ушли, не простясь; он стоял перед Клаасом и прислушивался, ожидая хотя бы внятного вздоха в ответ на свое вопросительное стояние. Он чувствовал себя наедине с Клаасом и хотел ему что-то сказать. По-видимому, нечто важное. Но брат не открывал глаз. Отец осторожно придвинул себе стул и поставил его у изголовья кушетки. Он сел и склонился над Клаасом, а спустя немного взял его руку, эту изувеченную, перевязанную руку, и стал внимательно ее разглядывать. Он не выпускал ее из своих рук. Губы его шевелились. Все еще тяготясь молчанием, он вдруг произнес вслух:

— Твое страдание — удел человека, но песня еще не спета.

Он пробормотал это негромко, второпях, не заботясь о том, чтобы быть понятым, словно во исполнение просроченного долга, который тяготел над ним со дня возвращения сына, и не успел кончить, как дверь отворилась, и отец оборвал на полуслове, но не повернулся и не выпустил руки.

Он прислушался к шагам матери, с трудом тащившейся от двери. Он сгорбился и затаил дыхание, пока она шла через нежилую комнату, стиснув зубы, с лицом, не выражавшим ничего — пока еще ничего не выражавшим, — кроме горестного самообладания. Тут отец встал и попытался ее усадить. Она молча отказалась сесть. Она подошла так близко, что коленями уперлась в кушетку, а потом все же села, подняла обе руки, словно собираясь возложить их на лицо Клааса, но, одумавшись, положила их ему на плечи — я описываю все в точности, как было, в иные минуты я так начеку, что слух мой обостряется и ничто не ускользает от моего внимания: это когда мне нужно что-нибудь передать по секрету или спрятать — тут дорога каждая минута. Матушка не умела кричать. Она не бросилась к Клаасу, не стала его гладить, называя по имени, не поцеловала, а только крепко схватила за плечи, правая ее рука скользнула было вниз, но в испуге остановилась, словно преступив какую-то грань, и виновато, чуть ли не виновато снова легла на его плечо. Она не поинтересовалась раной. Какое-то время она сидела неподвижно, потом затряслась всем телом, раз-два громко всхлипнула и разразилась беззвучным, сухим плачем — отец положил ей руку на плечо, но она, казалось, этого не заметила. Отец сильнее надавил рукой, и тогда она встала и все так же, с сухим рыданием, подошла к окну, где стояли цветы, и, не поворачиваясь, спросила, что же теперь делать? Прежде всего, сказал отец, он вызовет доктора Гриппа; об остальном говорить преждевременно.

Опершись на подоконник, мать спросила, как это случилось, и полицейский сообщил ей, что сам при этом не был, так как все произошло на болотах, внезапно, во время атаки на бредущем полете, рядом с торфяником, где работали Хильда со своим военнопленным, ну, ты знаешь, Леон. Отец рассказал, что Хильда с военнопленным и доставили Клааса в Ругбюль на тачке, но на это мать ничего не сказала, это она знала, это видела своими глазами. Позвонит ли он в Хузум? Да, конечно. Позвонит ли в гамбургскую больницу? Нет, это сделают хузумские власти. Позовет ли он ее, когда придет доктор Грипп? Да, он позовет ее и все с ней обсудит, что потребует обсудить. Она повернулась и оглядела Клааса, который лежал все в той же позе, в какой его уложили, по-видимому, что-то увидела, что навело ее на мысль — я еще задался вопросом, что бы это значило, когда она от подоконника двинулась к кушетке с усилием, словно преодолевая невидимое сопротивление, и глазам своим не поверил, когда она после тяжелой внутренней борьбы всего-навсего взяла сложенное одеяло, развернула и, вытянув вперед руки, с высоты своего роста набросила его на Клааса, а потом, еле касаясь пальцами, расправила на нем. После чего удалилась к себе.

Что же сейчас на очереди? Разговор по телефону — отец должен вызвать врача и говорить с ним, не затворяя двери. Я слышу, как он просит доктора к телефону и, надрывая глотку, принимается объяснять — раз и другой, — что случилось и зачем ему срочно понадобился врач; вижу, как он возвращается сутулясь, с календарем для заметок, который, уходя, прихватил с письменного стола, и взволнованно что-то бормочет. Он зашагал вокруг обеденного стола, за которым у нас никогда не обедают, и вогнал в дрожь наш добродушный коричневый буфет. Он кружил, чуть не задевая лампы и трехъярусную цветочную стойку — лишь бы ни к чему не прислушиваться, лишь бы ни о чем не думать, — и даже не нагнулся завязать шнурок, который волочился вслед за правым его ботинком, а я, видя отца в таком состоянии, ни о чем не решался спросить. Говоря по телефону, он застегнулся на все пуговицы, а теперь опять распахнул мундир, отчего стали видны помочи, как всегда вывернутые наизнанку. Внезапно он остановился перед буфетом, взял в руки открытую коробку, где обычно лежал календарь, поглядел на нее на расстоянии вытянутой руки и в сердцах швырнул об пол. Оттуда вылетели листки с памятливыми записями, а из открывшегося бокового кармана посыпались чистые календарные странички, некоторые из них повисли на фуксии. И снова принялся мерить шагами столовую, но на сей раз удовольствовался двумя заходами, после чего бочком направился к двери, а оттуда в прихожую и контору. Отрывистый звоночек сообщил мне, что он снял с рычага трубку, а следующий — что он ее повесил, так и не позвонив.

Клаас шевельнулся под одеялом, я бросился к нему, шепотом его окликнул, попросил

открыть наконец глаза, выслушать меня и понять, что сейчас самое время. Он сбросил с груди одеяло.

— Окно, — шептал я, — входная дверь, погреб — всюду путь свободен.

Клааса знобило, он открыл рот и судорожно схватил одеяло, собрав его в складчатые горы.

— Здесь нет никого, — продолжал я его уговаривать. — » Если можешь, пользуйся минутой.

Но он попросту меня не слышал и даже не глянул в мою сторону, когда я подбежал к окну, открыл его и высунул для наглядности руку. Он так и не повернулся ко мне лицом. Я снова подошел, сунул руки под одеяло и стал нашаривать его увечную кисть, единственно чтобы привлечь его внимание, дать ему почувствовать, что я тут, рядом и готов все для него сделать. Он не отнял руки, но этим и ограничился.

Тогда я оставил всякие попытки, затворил окно, собрал разлетевшиеся листки календаря в коробку и поставил ее на стол. Я отыскал листок с датой 22 сентября 1944 года и слегка вытащил его наружу. Клаас застонал, возможно, он что-то просил, но я не понимал его, да и отец тоже, он как раз воротился и растерянно прислушивался, наклонясь над Клаасом, не зная, как ему помочь. Наконец он выпрямился, пожимая плечами, сел за стол со мной рядом и уставился на календарь: он, видно, взял себя в руки и больше не бормотал с ожесточением, а сидел спокойный, опустошенный. Руки он сложил друг на дружку, понурил плечи, свесил голову и приготовился ждать, хотя нет, сначала, к моему удивлению, он выдвинул ящик комода, вынул фотокарточку Клаас а в рамке и поставил на буфет. Этот снимок, на котором Клаас в военной форме изображен стоящим перед постовой будкой, был вскоре после его самокалечения изгнан в ящик комода. Теперь отец вернул его на место между отливающей перламутром раковиной и копилкой из раскрашенного фарфора и больше уже на него не оглядывался.

Мы ждали, каждый погружаясь в себя. Мы ждали — это надо понимать в том смысле, что делать больше было нечего и тот и другой с этим смирились. И то, как мы ждали, говорило, что мы смирились, а к этому добавлялась еще неизвестность. Мы разве что надеялись на случай. То, от чего все зависело, было, очевидно, упущено безвозвратно, и мы ждали развязки, ждали неизбежного. Когда я вспоминаю отца, как он сидел со мной рядом, то должен сказать, что в его пугающем спокойствии и отрешенности уже заключалось признание, что все, в сущности, решено. Мой отец, ругбюльский полицейский, очевидно, знал что от него требуется. Чего же он ждет от доктора Гриппа? На что надеется?

Когда доктор Грипп прибыл, я по знаку отца побежал ему отворить. Наш врач был грузный старик с разбитыми ногами, рыжеволосый пыхтящий великан; опыт научил его втягивать голову в плечи: он слишком часто расшибал себе лоб о низко поставленные балки. Как человек, умудренный жизнью, он, ставя больному диагноз, никогда не ограничивался одной болезнью, а предлагал ему на выбор по меньшей мере две или три и не успокаивался, пока не находил их симптомы. Я взял у него чемоданчик и пошел впереди, у меня было ощущение, что я должен заманить его в гостиную. На коротком пути от входной двери до гостиной он дважды останавливался передохнуть, прислонясь к стене и еще ниже обычного сгибая массивную и без того поникшую шею и прищелкивая пальцами, чтобы успокоить дыхание. Хоть я обратил его внимание на порог, он чуть не упал — хорошо, отец вовремя подхватил его под мышки и помог удержаться на ногах; отец и довел его до стула у кушетки, посадил и поздоровался с ним. Мне он знаком приказал исчезнуть, но тут же вернул, приказав поставить к ногам доктора чемоданчик, а потом рассеянным жестом отослал в комнату Хильде, выходящую в гостиную.

— Подожди там, — сказал он и сам закрыл за мной дверь.

Здесь я прежде всего поздоровался с киноактером, который не только улыбался мне со стены, но и тянулся ко мне с бокалом шампанского. Он, видимо, чувствовал себя как рыба в воде в беспорядочном обрамлении девушек и женщин в белой гимнастической форме, агитировавших за «Веру и Красоту»: кто держал булаву, кто прыгал через обруч, кто крутил



хула-хуп. Все это были иллюстрации, вырезанные из газет, — на одной из них сама Хильке, которую выдавали тесно смыкающиеся икры, жонглировала двумя булавами, напрягши грудь. Обе булавы стояли в углу подле шкафа, я взвесил их в руках, слегка помахал ими, сшиб их друг с другом и без всякого интереса отставил в угол. Спинку единственного в комнате стула согревала вышитая кофта, на сиденье валялись черная юбка и черный лаковый пояс. В зеркале торчала открытка полевой почты, внизу на стеклянной полочке я обнаружил ножнички для ногтей, заколки для волос, четыре гребенки, баночку с кремом от зуда, вату, резиновые подвязки, тюбик с таблетками и еще вату. На кровати с обиженным видом сидел цыпленок из желтой материи, под кроватью стояли Хилькины туфли. А как же игратоловоломка? Она лежала на ночном столике, все три мышки уткнулись в свои норки.

Я подкрался к двери и приник к замочной скважине. Доктор Грипп присел на кушетку, рядом стоял отец. Одеядло валялось на полу. Я поглядел на отца, лицо его было перекошено гримасой жадного внимания и боли, губы распухли. Клааса скрывала широкая докторова спина. Отец что-то спрашивал, доктор качал головой. Вопрос отца я расслышал, он говорил достаточно громко. — А почему нельзя? — На что исполинский доктор, глядя вниз, на брата: — Это возможно только в больничной обстановке. Его надо немедленно госпитализировать, — прибавил он, для пущей убедительности указывая ладонью на Клааса. И снова отец что-то спросил, на что доктор только поднял ладонь вровень с плечом, предоставив ей говорить за него. Чемоданчик так и стоял на полу, он не удосужился его открыть. Тут отец подступил к нему, я видел только их спины, должно быть, врач что-то растолковывал отцу, с чем тому трудно было согласиться. Но и сейчас доктор Грипп не пожелал открыть свой чемоданчик, потертый кожаный чемоданчик со старомодными запорами. Доктор Грипп что-то доказывал шепотом, не глядя на отца, должно быть отнимая у него одну за другой последние надежды. Это было видно по тому, как отец отвернулся, стал глядеть в окно и постепенно прекратил задавать вопросы.

Хлопнула входная дверь. Я подскочил к окну поглядеть, кто пришел, но опоздал и вернулся на свой пост у замочной скважины. Отец не пошевелился; врач застегивал на Клаасе френч. И тут у входа в гостиную появился он. Поначалу совсем маленький, он, как мне показалось, выросал рывками, с трубкой в одной руке и со шляпой в другой, в потертом синем плаще и высоко поднимая плечи, чтобы перевести дыхание. Он остановился на пороге не столько в нерешительности или боясь появлением своим помешать доктору Гриппу, сколько чтобы отдышаться. Отец? Он так и не повернулся и не пожелал узнать, кто этот новый посетитель, у него больше не было вопросов, ему оставалось лишь заняться тем, что он считал необходимым.

Художник вошел, направился к кушетке и, обращаясь не только к врачу, а к обоим мужчинам, спросил:

— Мертв? Говорят, его нашли мертвым. — В два шага очутился он у кушетки, взгляд его перебежал с Клааса на врача и обратно; я слышал, как врач сказал:

— Госпитализировать. Его надо срочно госпитализировать. Можно мне позвонить, Йенс?

— Там, — сказал отец, — в конторе.

Художник помог врачу встать.

— Есть шансы? Выживет? — спросил он.

— Будем надеяться, — ответил доктор Грипп. — Могло обернуться и хуже. — Вытянув руки вперед, он зашаркал по гостиной и на сей раз благополучно одолел порог. Художник наклонился над Клаасом и пристально, с пытливым сосредоточением взгляделся в брата, он словно искал что-то или старался что-то запечатлеть в памяти. Губы его задвигались, он сглотнул, и у него заходили челюсти. Гнев — да, и гнев читался на его лице, когда он покачал головой, будто глазам своим не веря. Внезапно он повернулся к отцу, словно о чем-то спросить, но осекся, раздумал и только произнес, объясняя свое вторжение:

— Мне сказали, что он мертв, потому я и пришел.

Полицейский равнодушно кивнул, но не из утливости, а в знак, что объяснение принято

к сведению.

— Как это произошло?

Отец пожал плечами.

— Произошло — и все тут. Этого уж не изменишь.

— В болотах?

— Да, в болотах.

— Такой способный малый!

— Что ж, что способный?

— Мы, конечно, надеемся, что он поправится. Но ведь это еще не все.

— Похоже, что не все.

— Какое безумие, Йенс! Какое дьявольское безумие!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Они его вылечат, чтобы он услышал их приговор. Вылечат для казни. Ты не можешь этого не знать!

— Я? Ничего я не знаю!

— Разве они уже не едут его забрать?

— Никто еще не едет.

— В таком случае все зависит от тебя.

— Да, все зависит от меня, а потому предоставь все мне.

— Я пришел единственно ради Клааса.

— Что ж, милости просим.

— Ты знаешь, как я к нему привязан, он мне как родной.

— Знаю.

— Можно мне повидать Гудрун?

— Не думаю, она у себя наверху.

— Не могу ли я чем-нибудь помочь?

— Вряд ли, мы уж как-нибудь сами.

— Всего хорошего. — И художник повернулся к кушетке. Он бегло дотронулся до руки Клааса. Еще раз дотронулся — до плеча и пошел прочь, как вслепую, и, пока я еще ждал, чтобы хлопнула дверь, он уже спустился с крыльца и направился к табличке, к своему велосипеду; я видел в окно, как он пристегнул шляпу к багажнику и, поплевав на руки, повел велосипед не садясь.

Я проводил его взглядом, пока он не исчез за растрепанными живыми изгородями Хольмсенварфа, потом оторвался от окна, но не стал больше задерживаться у замочной скважины, а как ни в чем не бывало шагнул в гостиную, сперва немного оробел и замер на пороге, не выпуская дверную ручку, но так как никто меня не одернул и не прогнал, закрыл за собой дверь. Доктор Грипп и, отец беседовали в прихожей, Клаас неподвижно лежал под одеялом. Доктор Грипп взял на себя какую-то обязанность или поручение, он несколько раз повторил:

— Ладно, сделаю, это я беру на себя, это уж моя забота. — Он подбадривающе хлопнул отца по плечу, повернул его кругом, подтолкнул ко мне в гостиную, а сам заковылял к лестнице и затопал — иначе и не скажешь, — затопал по ступенькам, так что оба мы, отец и я, как по команде подняли голову и застыли, прислушиваясь к поднимавшимся наверх тяжеловесным шагам.

— Слава богу, — пробормотал отец, выходя из оцепенения. Тут он обнаружил меня. Он схватил меня, притянул к себе и повлек по направлению к кушетке, но не слишком близко. — Вот до чего, — сказал он, — вот до чего дошло — и это после всех наших надежд, после всего, что я для него сделал, чему учил, для чего растил, вот до чего... Клаас знал, чем он нам обязан, и ни на что не поглядел. Вот до чего... — Он умолк, и я спросил:

— Скоро он поправится? — А отец:

— Он знал, как мне придется поступить, к чему меня призывает мой долг. А теперь уже поздно. Ничего уже не воротишь. Мы рассмотрели все вопросы, все необходимые вопросы и

на них ответили — по силе возможности. И не только сегодня. Еще когда он только что здесь объявился. На все вопросы. Пошли!

Он потянул меня с собой, лицо его стало свинцово-серым. Мы вместе через прихожую вошли в контору. Он снял трубку, подождал соединения и от имени ругбюльского полицейского попросил связать себя с Хузумом — хоть и не так громко, как обычно, но с обычной уверенностью в голосе.

## Глава X Срок

А почему бы не присоединить сюда некоторые смежные впечатления, пусть их даже смоеет первым дождем — и вот перед вами выкрашенный в ржаво-красный цвет давно пустующий блеекенварфский хлев, мглистое утро, разбросанные там и сям островки тумана, я открою дверь, чтобы и вы увидели раненую корову, и вновь соберу здесь при неярком дневном свете всех, кто в то время присутствовал, одни — чтобы срочно корову прирезать, другие — чтобы на это поглазеть. Итак, перед вами насквозь продуваемый и, как уже сказано, пустующий блеекенварфский хлев со стойлами для свиней, с ржавыми кольцами для скотины и съехавшим набок насестом для кур, испакощенным их пометом. На шаткой куче досок сидят старик Хольмсен, его жена, Ютта, художник и я; опираясь на передние ноги и тяжело дыша, привалилась к стене раненая корова, на ее морде пузырится пена, изрешеченная осколками шея и хребет кровоточат. Если сказать, что летчик вынужден был сбросить обе бомбы на Ругбюль, то меня, пожалуй, спросят, откуда мне сие известно. Но не говоря уже о том, что трудно представить, будто летчик, да еще над облаками, счел Ругбюль достойным хотя бы одной бомбы, я и без этого считаю вопрос — откуда мне сие известно? — по меньшей мере не стоящим внимания. Во всяком случае, самолет сбросил бомбы, одна из них упала в море, а другая глубоко зарылась в вязкую почву блеекенварфского выгона и образовала в нем воронку, осколки ранили корову в шею и хребет. Корова принадлежала Хольмсену.

Мы сидели на куче досок и наблюдали за горемычной коровой, которая была уже не в силах встать на ноги, но и недостаточно пострадала для того, чтобы свести последние счета с жизнью. Тут же на разостланном картофельном мешке лежали топор, нож и пила, но не пила для костей, а обильно смазанная жиром ножовка, рядом стояли миски, лохань, помятое ведро, исполнявшее обязанности подойника, на полу валялся наготове обшарпанный кожаный фартук, словом, здесь было все необходимое для убоя. Мы наблюдали злополучную скотинку. Корова, видимо, присела на задние ноги, ее загаженное вымя с воспаленными, набухшими сосками растеклось по крепко утрамбованной земле, что-то в нем пульсировало, что-то билось и содрогалось. Хвост с вскосмаченной кисточкой короткими взмахами мел до земли и то и дело хлестал стену. Корова, словно на водопое, вытягивала шею, она сопела и облизывала морду до самых ноздрей, фыркала и брызгала пузырьчатой пеной. Время от времени она передними копытами била землю, стараясь отодвинуться от стены, но это ей не удавалось, и она со скребущим шорохом валилась назад. Кровь непрерывно сочилась из ее ран, сверкающими ручейками сбегала по пятнистой черно-белой шее и капала наземь. Осколком ей раздробило заднюю ногу, обнажив кость.

Хольмсен уже дважды срывался с места, подгоняемый женой, старой кривоногой чудачкой в серой сетке для волос — старуха, должно быть, временами вызывала у него ощущение, будто он женат на таксе, — он уже дважды подступал к корове с топором, напутствуемый и подгоняемый неугомонной старухой, и даже наметил точку на кудрявом лбу животного и нашел устойчивое положение для удара, но невзирая на то что понукания становились все раздраженнее и нетерпеливее, так и не решился замахнуться топором, — пожимая плечами, он каждый раз возвращался и присаживался рядом с нами на кучу досок.

Старуха ворчала и ехидничала, она грозила немедля отправиться в Глюзеруп и позвать Свена Пфрюма, который давно уже занимался по усадьбам убоем скота, а ведь Свену придется заплатить, раз с коровой не управился сам хозяин. Между тем как художник внимательно следил за животным, она поедом ела старика, приговаривая: «Кончай же ее, кончай, не то подохнет и мы останемся ни с чем», и, чтобы заставить мужа взяться за дело, схватила помятое ведро, подошла к корове, всем своим видом показывая, что сама готова собирать кровь да и вообще помогать ему.

Но ничто не действовало на старого Хольмсена, ничто не могло придать ему силы и уверенности, он предпочел разжиться у художника щепоткой табаку и закурил, отгоняя дым в сторону. Напрасно напоминала жена, что ему ведь не впервой резать уток, голубей и кур. Она схватила топор и принялась совать ему топорнице, снова и снова ссылаясь на необходимость сбересть плату, которую потребует Свен Пфрюм. Это-то старик и сам понимал. Со вздохом вставал он с досок, но продолжительный взгляд на раненое животное убеждал его, что человеческим возможностям есть предел, и он ронял топор наземь. Была бы другая корова, оправдывался он, а не его Теа, тогда еще куда ни шло.

— Она у меня лучше всех доилась и понимать понимала все с первого слова.

— Но ведь сейчас, — настаивала старуха — она уже тебя не понимает с первого слова, она уже наполовину дохлая. Самая пора забить скотину, чтобы не мучилась.

Тут Ютта поинтересовалась, нельзя ли все же спасти корову, перевязав ей раны, на что фрау Хольмсен запальчиво, не скрывая своего презрения, буркнула:

— Это тебя надо перевязать, а не корову! — Вот как иногда воспринимаются вопросы!

Когда корова принялась скрести копытами и, потянувшись вперед, легла шеей наземь, старуха снова подняла топор, но уже не с тем, чтобы вручить мужу, а в напоминание о том, что надлежит сделать. С топором в руке подошла она к корове, которая, казалось, не видела ее и только мотала головой, пытаясь дотянуться до раны на спине, а когда это не удавалось, фыркала с такой силой, что в воздух взлетала соломенная труха и сухие листья. Но вот корова оттолкнулась от стены, с минуту собиралась с силами и снова повалилась назад. Она часто и тяжело дышала. Она больше не пыталась слизнуть пену. Напряжение, которое чувствовалось в ее теле, спало. Хвост уже не мел по полу. Старуха ладонью указывала на корову. Этот жест, в котором чувствовалось обвинение, был обращен уже к каждому из нас, а не только к Хольмсену — худой, с седыми, отливающими железом волосами, он сидел на досках и курил, отгоняя дым, и, по-видимому, напрасно пытался собраться с мыслями. Он сидел сутулясь, избегая смотреть на раненое животное.

И тут художник спокойно поднялся, сдвинул шляпу на затылок, основательно выколотил трубку о дверную притолоку и без колебаний, без единого слова подошел к старухе. Мельком сделав нам с Юттой знак уйти, он не стал ждать, покуда мы выполним его приказ, а, выхватив или высвободив топор из пальцев женщины, оттеснил ее к куче досок, а сам вернулся к корове, которая не замечала его, а только, вытянув шею, возила ею по полу, натужно пытаясь поднять голову. Художник взвесил топор в руке. Художник переступил с ноги на ногу, пошаркал подошвами и, слегка покачавшись, проверил твердость своей стойки. С неподвижным лицом глядел он на корову, которая приподняла ему навстречу тяжелый твердый череп с темными безучастными глазами. Слипшиеся волоски черно-белыми завитками стояли надо лбом. Из рта свисала нитью слизь, волосатые уши были обращены к человеку. Художник, по всему видать, измерял то место между глаз, куда должно было ударить. Он огляделся, занес топор и замахнулся, между тем как мы сидели не дыша. В моей памяти он сейчас стоит в хлеву: подняв топор, со слегка откинутой головой, глядит он на корову, которая даже в эту минуту не проявляет ни малейшего интереса к человеку, а тот в своем стремлении точнее нанести и завершить удар вытянулся во весь рост, так что его ниспадающий длинный плащ задрался до колен.

Одновременно с ударом художник охнул. Завершая движение, он оттянул топор на себя, потом занес его повыше плеча, отступил на шаг и еще раз ударил, но, вложив в удар весь свой вес, сам еле-еле сохранил равновесие. У него свалилась шляпа. После второго удара он

быстро вытер рот, пробормотал что-то невнятное, глянул туда, где мы сидели с Юттой, но явно нас не заметил, во всяком случае, не удивился, что мы все еще здесь. Держа топориче в отвесном положении, он дал ему скользнуть между колен. Третий удар, который он спустя немного счел нужным нанести, был сделан куда быстрее и уже с меньшей силой и не столь решительно, после чего он отвернулся, отдал топор старику Хольмсену, а сам сел на доски и принялся массировать себе пальцы.

Но это еще не все, что сохранила мне память о том утре в хлеву: я слышу, как обухом бьют по черепу, вижу, как под тяжестью ударов голова придавливается к земле, чувствую, как пальцы Ютты судорожно сжимают мне руку. Когда топор хватил корову между глаз, звук был словно от удара по полному пню. Топор размозжил ей лоб. Все тело коровы на какую-то минуту словно расплющилось, но затем она засучила передними ногами, будто ища опоры или вздумав сопротивляться, шея ее задергалась, хребет напрягся, задние ноги слегка взбрыкнули; под этим ударом грузное тело словно вспомнило о сопротивлении или бегстве, удар еще раз всполошил чувства раненого животного, но корове уже не хватило сил, их только достало на то, чтобы слабыми потугами показать, что она намеревалась сделать. Голова ее поднималась с земли в тяжеловесном ритме и тут же с глухим стуком падала. Бока вздулись, после второго удара они резко и коротко вздрогнули, совершенно так же, как они коротко и резко вздрагивали, отгоняя мух и слепней.

А теперь, как мне кажется, можно уже не мешать корове протянуть ноги, — если не считать чуть заметных рефлексов, пусть она, расслабившись, растянется перед побеленной стеной; мертвой она почудилась мне более мощной, казалось, она непрерывно разбухает и вспучивается, грозя принять и вовсе исполинские размеры. Помню, я возненавидел женщину, которой так не терпелось приступить к делу, что, не дожидаясь последней судороги, она схватила облезлый фартук и протянула его мужу, затем подала ему кож и недовольно показала на разбухшую тушу у стены; на руке ее уже покачивалось ведро.

Я возненавидел ее — не старика Хольмсена, не художника, а именно старуху, — ненависть обострила мою наблюдательность в отношении нее, я с пристрастием следил, как она присела против шеи бездыханного животного и, уперев ведро в землю и наклонив его отверстием к глотке, уже не призывала мужа начинать, а только неотрывно глядела в ведро, как будто кровопускание уже началось. Это увидел и старик Хольмсен. Он ощупал нож, проведя большим пальцем по лезвию, ощупал и шею коровы, а потом, зажав ее голову между ног, наклонился к ней уже без особого над собой насилия. Приставив нож к шее, он толчками вогнал его внутрь, до того как вытащить, поглядел на жену и, казалось, направил струю прямо в ведро.

Но тут кто-то сзади схватил меня за шиворот. Я хотел вырваться, но пальцы-тиски сомкнулись еще теснее, и я почувствовал, что меня подталкивают к двери и что рядом на пару со мной удивленно повторяет все мои движения Ютта и что, следовательно, ее тоже подталкивают к двери. Обоих нас художник выпихнул во двор и захлопнул за нами дверь, но вдруг снова отворил: он, должно быть, заметил Дитте, которая, выйдя из большого дома, спешила к нам навстречу и уже с того берега пруда стала делать нам знаки, обращая их, впрочем, не столько к нам, сколько к мужу.

— Марш, — приказал художник, — убирайтесь, нечего вам тут делать. — И он потащил нас подальше от хлева, где продолжался убой, к черным, сваленным в кучу стволам. — Да, Дитте? — нетерпеливо обратился он к жене и, словно чтобы оправдать свое нетерпение: — У нас здесь все еще в разгаре. — Она что-то шепнула ему. Он поглядел на свои руки, а потом в сторону Ругбюля и снова на свои руки и на плащ, на котором явственно проступали пятна крови. — Обо всем-то им докладывают, — сказал он, — никуда от них не скроешься, а по мне, пусть пожалуют сюда. Не мог же Хольмсен дать скотине сдохнуть, ее нужно было прирезать. Если бы он пошел за разрешением, она бы сто раз успела околеть.

Дитте снова что-то зашептала, а художник ей:

— И не подумаю. Пусть себе орудуют в сарае, ничего им не сделают, раз они могут доказать, что корову изрешетило осколками. Когда машина подъедет, скажи им, что мы в

хлеву. А ты, Дитте, приготовь нам чаю. Нам он всем необходим. — Он повернулся кругом и, уже взявшись за ручку, поглядел в сторону Ругбюля; это заставило и нас поглядеть, и мы одновременно увидели машину, приближающуюся к островкам тумана, исчезая из виду на иной серой банке и в положенном месте выныривая вновь, с неизменной скоростью приближаясь к ольховой аллее. Здесь она остановилась, но никто не вышел, силуэты людей не двигались, и шум мотора не затихал.

Тут художник опустил протянутую к двери руку и короткими шагами направился к остановившейся машине, хотя нет, не так — он направился к воротам, да и то лишь потому, что, хоть машина и остановилась, никто оттуда не вышел, и, подойдя к деревянным воротам, не спеша их распахнул, с достаточно скупым, но все же приветственным жестом, и тогда машина тронулась и покатила на нас. Когда она проехала, художник отпустил створку, предоставив воротам закрыться самим. Машина проследовала дальше во двор, но не по направлению к нам, а к дому и остановилась перед входной дверью.

Сперва из нее вышли два кожаных пальто, они с противоположных сторон обогнули машину, не поспешно или суетливо, а скорее шествуя с веской твердостью, точно в замедленной киносъемке, обогнули, стало быть, темно-» зеленую машину и встретились перед радиатором, где, не сговариваясь, одновременно остановились и уставились на нас. Кожаные пальто были длинные, негнущиеся и с накладными карманами, придававшими им дополнительное значение и вес; к их внушительным резким движениям как нельзя лучше подходили тяжелые горные башмаки и затемняющие лицо мягкие широкополые шляпы. Пока они, широко расставив ноги, стояли перед радиатором, из машины вылез ругбюльский полицейский, как всегда щеголяя натужной выправкой, но кляня на чем свет стоит свою запутавшуюся накидку: всякие крючки и защелки взяли ее в плен и не выпускали. Кое-как распутавшись, отец присоединился к кожаным пальто, стоявшим перед радиатором. Они так и не потрудились к нам подойти.

Они ждали. Стояли втроем и с места не сдвинулись, даже когда художник стал им махать, показывая на хлев.

Тогда он зашагал к ним навстречу и, остановившись на полдороге, большим пальцем ткнул назад через плечо.

— Это там, там, дальше, пройдите туда! — сказал он. Но кожаные пальто будто ничего не слышали и по-прежнему не двигались с места, чем и заставили его подойти ближе. Я слышал, как он снова повторил: — Это вон там, — на что отец покачал головой и сделал отклоняющий жест — его явно не интересовало, что творится в сарае, во всяком случае, это казалось ему неважным по сравнению с тем, что привело его сюда. Пренебрежительный жест его говорил: с этим успеется, нам сейчас не до того.

Ругбюльский полицейский отступил на полшага и за спиной у обоих кожаных пальто воззрился на художника и больше не спускал с него глаз. Воспользовавшись удобным случаем, Ютта шмыгнула в хлев и заперла за собой дверь. Я стоял на одном уровне с Максом Людвигом Нансенем, который немного растерялся и, пожимая плечами, казалось, спрашивал себя: это что еще за игра? А затем, подойдя к неподвижной группе, уже вполне явственно спросил:

— Что означает это посещение, Йенс?

— Собирайтесь, — вдруг сказала кожаное пальто.

Что такое? Почему? — изумился художник.

— Даем вам полчаса, — заявило другое кожаное пальто. Художник поглядел на них и пожал плечами.

Вы приехали за мной? — спросил он, на что никто не счел нужным ему ответить.

— В твоём распоряжении полчаса, — сказал мой отец, и меня ничуть не удивило, что он тут же вытащил карманные часы, засек время и повторил: — Полчаса. — Растопырив пальцы, он сделал короткий поясняющий жест, после чего опустил часы в карман.

Подумать только, как мало люди знали в то время и как быстро они догадывались, чего от них ждут: не припомню, чтобы Макс Людвиг Нансен пытался узнать больше, услышав,

что ему дается полчаса на то, чтобы собрать вещи и проститься, не стал он также задавать вопросы, стараясь выиграть время и между делом смекнуть, с чего это за ним приехали. Он только спросил:

— Надолго? — И когда кожаное пальто пожало плечами, а отец отвел глаза, художник не спеша прошел мимо них в дом и, поднявшись на крыльцо, сказал: — Что ж, я буду готов, полчаса меня вполне устраивает.

Ни один из них так и не заглянул в хлев. Одна нога на бампере, одна нога на подножке, покуривая и слегка наклонясь вперед, в небрежной, расслабленной позе, они молча ждали, должно быть ни о чем не думая и тем более не задаваясь вопросом, что происходит в хлеву, ждали спокойно, должно быть уразумев, что такой человек, как Макс Людвиг Нансен, пользуется предоставленным ему временем, но не использует его. На хлев им было решительно наплевать, они и не смотрели в ту сторону. А между тем художник вошел в дом и, судя по всему, попросту разбазаривал отпущенный ему срок, так как, войдя в прихожую, он вытянулся во весь рост, прислонился к двери и застыл, прислушиваясь: это нетрудно себе представить.

Если взять во внимание необходимое и отрешиться от несущественного, то, когда я оглядываюсь на прошлое, дело представляется мне следующим образом: в то время как мой отец, ругбюльский полицейский, и оба кожаных пальто беспечно дожидались, художник вошел в дом. Он остановился за дверью, прислонился к ней спиной и помедлил в темной прихожей — во всяком случае, до тех пор, пока Дитте, выглянув из горницы, его не увидела; тут он оттолкнулся от двери и пошел ей навстречу. В прихожей он не стал ей ничего говорить, а только, взяв за руку, привлек ее к себе и повел обратно в горницу. Уже самое его прикосновение, должно быть, сказало ей: что-то случилось или должно случиться. Он повел ее мимо внушительной шпалеры шестидесяти двух стоячих и висячих часов, которые все без исключения показывали «с четвертью». Навстречу с кушетки поднялся доктор Бусбек.

— Меня, — начал художник и после небольшой заминки: — Меня забирают. Они приехали за мной.

— Значит, дело не в убое скота? — спросил Бусбек, а художник, понизив голос:

— Мне дано полчаса на сборы.

— Это Йенс, — отозвалась Дитте, — это его рук дело, он обо всем доносит в Хузум.

— Они тебя будут допрашивать, — сказал Бусбек, — через все это я прошел.

— Я еще не вернулся, — возразил художник.

— Сколько они тебя продержат? — допытывалась Дитте.

— Обычно это длится сутки, — пояснил Бусбек.

— Я еще не вернулся, — повторил художник и принялся тщательно набивать трубку. Не глядя на Дитте, он сказал: — Я захвачу коричневый чемоданчик, две трубки, бритвенные принадлежности и писчую бумагу, ну, да ты знаешь.

— Увидишь, — сказал доктор Бусбек, — тебя допросят и предупредят. Так уж у них положено, раз они получили донос из Ругбюля. У них рука не поднимется на что-нибудь большее.

— Мы, — возразил художник, — мы со своим утлым воображением считаем, что у них на что-то не поднимется рука, но оглядись вокруг, и ты увидишь, что то, что многие считают невозможным, они это преспокойно делают — и делают не задумываясь. В беспардонности этой публики их сила. — Кивнув на часы, он извинился перед Тео Бусбеком: — Полчаса. Надо поторапливаться. — И, пройдя в спальню, присел на одну из узких коек и снял башмаки. Он сбросил также плащ, куртку и рубашку, выдвинул ящик комода и, погрузив руку по локоть, нашарил носки, шнурки для ботинок, носовые платки, побросал все на койку и в последнюю очередь выложил фланелевую рубашку. Подняв из таза кувшин с рыльцем, он налил в таз воды, нагнулся всем корпусом и, отнюдь не торопясь, вымыл лицо и шею и влажной салфеткой растер грудь. Руки очистил пемзой и дважды причесал жидкие волосы.

Вылив грязную воду в ведро, он преувеличенно размашистыми движениями насухо вытер таз и вернул кувшин на место. Умывальник почистил, выписывая спирали мокрой

тряпкой, а потом повесил ее сушиться на край таза. Тут он, как можно себе представить, спохватился, что помочи у него не первой свежести и сильно растянуты, пора их сменить, нашел в комодке новые, вынул их из пакетика, пристегнул, подвигал плечами для пробы и остался доволен.

Что же дальше? В подобную минуту фильму не дают оборваться — можно еще показать, как, поставив башмаки себе на колени, он аккуратно вдевает новые шнурки. Сделав несколько шагов и энергично подвигав ступней, он и тут остался доволен. Потом взял с койки рубашку, просунул в нее голову и высоко вскинул руки: казалось, он в ней тонет. Натянул куртку и синий плащ, нахлобучил шляпу и принялся расхаживать по комнате, подбирая все, что с себя сбросил. Он даже разгладил покрывало на постели. К окну не подошел. Наружу не выглянул. До того как уйти из спальни, вывалил из голубой фафоровой коробочки карманные часы, завел их и сунул в карман куртки — поставит он их позднее.

Воротаясь в горницу, Нансен увидел, что Дитте с доктором Бусбеком его ждут. Дитте еще издали показала ему коричневый чемоданчик и поспешила навстречу.

— Потом, — отмахнулся он, — мне еще нужно кое-что подписать. — И, подойдя к угловому столику, подписал две бумаги, вынув их из запечатанного конверта, а подписав, сунул в новый конверт и положил в ящик. Мне представляется, что такое нарочитое спокойствие и педантичное использование времени помешали доктору Бусбеку снова пуститься в утешительные воспоминания. Художник сверил свои часы с маятниковыми стоячими часами в рост человека, сделал отстраняющий жест — сейчас, мол, сейчас, еще наговоримся, — и, подойдя к стоячим часам мышинового цвета, достал из шкафчика ящик с сигарами, взял оттуда горсть, разрезал их отслужившей, по-видимому, бритвой на равные части, примерно на закурку. Собрав их в жестяную коробку с сорванной наклейкой, он поставил ящик на место, а жестяную коробочку сунул в карман плаща.

Да, фляжка! Дитте потом вспомнила, что плоскую, обтянутую тканью фляжку он наполнил водкой и сунул в задний карман, затем подошел к столику у окна, возле которого ждали Дитте и доктор Бусбек. Положил руку на чемодан, но не стал его открывать.

— Здесь все? — спросил он, а Дитте:

— Это обычный донос Йенса, ничего серьезного они тебе вменить не могут.

— Вот так-то, — сказал художник и замолчал с покорной улыбкой, ибо тут заговорили часы: своенравно, вразнобой они возвестили, что уже половина. Они звонили, ударили в гонг, гудели; их счетные механизмы щелкали, медные цепочки двигались рывками; треща и пьяно покачиваясь, спускались гири — блеекенварфское оглашение времени можно было переждать только молча. Когда часы угомонились, художник сказал:

— Подождите здесь, я сейчас вернусь. — И, оставив чемоданчик на подоконнике, направился в мастерскую.

Я видел, как он из сада вошел в мастерскую, то есть, собственно, увидел только его тень, и по изменившемуся Освещению понял, что он опустил штору. Кожаные пальто по-прежнему стояли у машины и курили. Отец расхаживал рядом, он все что-то искал, не то потерянную пуговицу, не то кокарду с фуражки, и я тоже и с таким же успехом разыскивал ее тут и там. Никто не заметил, как я прошмыгнул в мастерскую, а если заметил, то лишь в последнюю минуту, когда я закрывал дверь изнутри. Я пригнулся за горкой ковшей, горшков и консервных банок, которые летом служили вазами, а теперь были составлены в угол и распространяли запах протухшей воды. Глянув на картины, я испугался: пророки, гномы, менялы, лукавые рыночные торговцы и-согнувшиеся под ветром крестьяне в поле явились мне в зеленом освещении; они мерцали, раздувались, набухали, казалось, кто-то развел зеленый огонь, осветивший картины, как сейчас помню: в первую минуту я хотел крикнуть, поднять тревогу, но стоило мне подойти поближе, как мерцание погасло и зеленый свет исчез.

Художник расхаживал взад-вперед, он протащил по полу какой-то сундук, открыл его и снова захлопнул. Пустил воду из крана. Швырнул на стол с керамикой консервную жестянку. Крадучись по углам и нишам, прячась за топчанами и временными ложами, я подобрался к



нему так близко, что нас разделял только проход. Я слегка отодвинул свободно висевшее покрывало; сейчас он стоял передо мной, и я увидел, что он осторожно отпирает свой вместительный шкаф, прислушивается, приоткрывает обе створки, и тут внутри шкафа — мне никогда не забыть, что там творилось, — внутри шкафа разлился неудержимо коричневый цвет, завладевший горизонтом, — коричневый с черными полосами и с серой каймой, он накачивал, наползал, накрывая мреющую в сумерках страну. Картина называлась «Наводчик туч». Художник рассматривал ее, склонив голову набок, он отступил назад и стоял так близко, что я мог дотронуться до него рукой. Он был несогласен с тем, что вновь увидел, был явно разочарован. Раздумчиво покачивая головой, подошел он к картине, поднял руку и прижал мягкую часть ладони к тому месту, откуда изливался коричневый цвет.

— Здесь, — произнес он, — начинается действие. — Он опустил руку, вздернул плечи, казалось, его знобит. — Не рычи, Балтазар, — огрызнулся он, — я и сам вижу, тут нет предчувствия — предчувствия надвигающейся бури, — краска должна больше говорить о бегстве, здесь требуется настороженное внимание, готовность, кто-то трепещет в страхе.

Дверь мастерской приоткрылась, но художник ничего не слышал. Я чувствовал, что потянуло сквозняком, и, как сейчас помню, ждал звука закрывающейся двери, но так и не дождался, а потом поднял свободно висящее покрывало, вылез из своей прятки и, приложив палец к губам, подошел к художнику и слегка до него дотронулся. Он вздрогнул, испугался, рот его приоткрылся. Он что-то хотел сказать, но вовремя сообразил, что означает моя протянутая, указывающая на дверь рука, в мгновение сорвал картину со створки, свернул ее и сунул под шкаф, но тут же и вытащил. Он огляделся: он видел вокруг сотни похоронок, но ни одной, которой доверил бы «Наводчика туч»; здесь были к его услугам потайные уголки, закоулки и щели и угодливо разинутые глотки ковшей, но в ту минуту ничто его не удовлетворяло — он обнаружил меня. Прижав меня к боковой стенке шкафа, он наклонился и впился в меня испытующим взглядом — так близко и так пронзительно он на меня еще не глядел; я вдыхал исходящий от него запах табака и мыла, ощущал холод его серых глаз.

— Вит-Вит, — прошептал он внезапно и, прислушавшись к двери: — Могу я на тебя положиться? Ведь мы друзья, верно? Хочешь оказать мне услугу?

— Да, — сказал я, кивая, — да-да-да!

Но я уже понял, что ему нужно: я поднял до подмышек свой зеленый штопаный пуловер, подобрался, художник обернул вокруг меня картину, опустил пуловер и затолкал в штаны. Теперь пуловер слишком плотно прилегал к телу — я обдернул его со всех сторон и сделал несколько пробных движений.

— Вынеси ее отсюда, — шепнул художник, — потом отдашь тете Дитте, она мне нужна. — И он протянул мне руку. Я испугался, оттого что он так серьезно протягивает мне руку, без обычного ласкового подмига. Он даже не удосужился провести по моим волосам, не ущипнул меня, не схватил за шею.

— Я сделаю все, как ты велишь, — пообещал я, и он кивнул и, прислушиваясь к двери, прошептал: — Ладно, Вит-Вит, я этого никогда не забуду.

Заперев шкаф, он сделал мне знак исчезнуть, иначе говоря, приподнял покрывало и подождал, пока я не скроюсь, а сам крикнул:

— Это ты, Тео? — Никакого ответа, только медленное шарканье шагов, они приближались, я сразу их узнал. — Иду, Тео! — крикнул художник и жестом показал, чтоб я сел на корточки за топчаном. — Я готов. — Затем подкрепился глотком из фляжки, вытащив ее из заднего кармана. Жесткая бумага на моем теле потрескивала, когда я поспешно присел перед тенью, которая вынырнула у изножья топчана и успела исчезнуть, прежде чем я поднял голову. Шаги смолкли, невидимый башмак выстукивал кувшины и консервные жестянки, на одном из столов с места сдвинулся альбом. Хотя теперь-то художник наверняка убедился, что в мастерскую вошел не доктор Бусбек, он воскликнул: — Да входи же, Тео! — И я догадался, что он лишь для вида открыл и запер шкаф, чем и достиг того, что снова послышались шаги. Они приближались.

Я давно узнал шаги отца, и художник, должно быть, узнал их, так как ничуть не

удивился и только отступил в сторону, всем своим видом показывая, что готов идти. Прикидывая, сколько остается времени, отец поднял к верхнему свету сухое, заостренное, туго обтянутое кожей лицо. Какое-то чувство превосходства, пожалуй, даже удовлетворения читалось на этом лице. Он спрятал в карман часы. Он как бы давал понять художнику, что время не истекло, что в его распоряжении еще несколько минут, что данный ему срок должно использовать до конца и так далее. Уже самая поза художника, то, как он стоял, расставив ноги и заложив руки за спину, показывала, что он не склонен связываться со своим гонителем. Он не ответил ни елова, когда отец попросил разрешения снять с одного из мольбертов пачку пожелтевших эскизов. Молча наблюдал он, как полицейский, став на подножную скамеечку, заглядывает поверх шкафов, и точно так же не пошевелился и промолчал, когда отец открыл большой шкаф и чуть ли не с головой в него окунулся, а потом подобрал с пола шкафа чистые листы малого формата, подержал их на свету, поворачивая так и этак, и бережно положил на стол.

Что-то он затеял с этими листами; разложил их в два ряда, опять нырнул в шкаф и как одержимый копался в нем, разглядывая и высматривая, пока наконец не вернулся к столу. Тут он с довольной усмешкой собрал чистые листы, сложил их аккуратной стопкой, все поглядывая на художника, точно силясь вызвать усмешку на его лице, скорее всего потому, что у него был заготовлен на нее удачный ответ, но художник не усмехнулся. Отец попросил разрешения захватить с собой эти листы. Художник промолчал. Тогда ругбюльский полицейский разразился целой тирадой:

— При всем при том скажу тебе, ты еще счастливчик, Макс, а что дошло до этого, так пеняй на себя. И я бы на твоём месте не слишком полагался на свое счастье — не все тебе удастся ускользнуть из сетей, когда-нибудь тебя зацепит, и тебе уж не поможет, какие ты малюешь картины, видимые или невидимые, а что я их найду — это будь уверен. Мы уже немало такого раскопали, что тоже невидимкой прикидывалось.

Он похлопал по чистым листам и подошел к художнику, который по-прежнему стоял, выпрямившись во весь рост, и пренебрежительно поглядывал на полицейского — не враждебно, не опасно, а именно пренебрежительно. Я понимаю, почему отец так старался тогда нарушить молчание и вызвать художника на разговор, но Макс Людвиг Нансен не поддавался ни на какие подвохи, не выказывал ни удивления, ни гнева, ни страха, так что отцу ничего не оставалось, как взвалить все доселе происходившее, а также все имеющее произойти на самого художника:

— Ты сам этого добивался и, значит, пеняй на себя. Но ведь ваш брат считает себя выше всех, вам наплевать на то, что для других закон. — И он опешил, когда художник ни с того ни с сего — и скорее для себя, чем для отца, — объявил:

— Время истекло, пора идти. — И, не дожидаясь полицейского, который, по-видимому, считал важным самому дать сигнал к отправлению, первым пошел к двери, а оттуда во двор. Отец в раздражении шел следом.

Кожаные пальто по-прежнему покуривали у машины. А перед дверью стояли Дитте с доктором Бусбеком, и между ними коричневый чемоданчик. Обе пары ждали, каждая ждала по-своему, и все словно воды в рот набрали. Я бы охотно догнал художника и пошел вместе с ним к ожидающей его группе, но из страха, как бы отец не обнаружил под моим пуловером картину, предпочел направиться к хлеву и оттуда следить, как оба они подходят к машине.

Признаться, меня удивило, что художник не предпринял ни малейшей попытки к бегству, по крайней мере вначале, когда у него было преимущество и он вполне мог добежать до торфяных прудов, а при удаче и до полуострова. Он вполне мог улизнуть в окно или через сад, но, очевидно, не хотел, не желал бежать — у него даже мысли такой не было. Словно намереваясь явиться точно в срок, он, не задерживаясь, взял у Дитте коричневый чемодан. Ок пожал руку Дитте, пожал руку доктору Бусбеку. Он подошел к машине и отдался в распоряжение кожаных пальто, причем сделал это с какой-то нарочитой грубоватостью, дескать, вот он я, пора ехать, чего же мы, собственно, ждем? Одно кожаное пальто открыло дверцу машины и хотело взять у художника его чемодан — впрочем, нет, оно уже держало

чемодан в руке и собиралось подпихнуть художника в глубь машины; тот, согнувшись, втянув голову в плечи, плюхнулся посреди сиденья, как вдруг доктор Бусбек, молчаливо все это наблюдавший, вскинул руку:

— Одну минуточку, постойте! — в два прыжка очутился возле машины, опустил худую руку и в волнении попросил: — Минуточку, подождите минуточку!

Кожаное пальто недовольно выпрямилось — маленький человек действовал ему на нервы — и, так как ему неохота было с ним объясняться, сделало знак ругбюльскому полицейскому, и тогда вовремя подоспевший отец немедленно принял меры.

— Что случилось? — спросил он, оттаскивая доктора Бусбека от машины. — Что вам нужно?

— Выслушайте меня! — взмолился доктор Бусбек, обращаясь не к отцу, а к равнодушно ожидающим кожаным пальто. — Это я виноват, я несу ответственность за то, что мастерская не была затемнена. Господин Нансен тут решительно ни при чем.

Отец крепко ухватил маленького человека за рукав и укоризненно на него вытаращился, но говорить ничего не стал, ибо все, что здесь полагалось сказать, он предоставлял кожаным пальто.

— Возьмите меня с собой, — просил доктор Бусбек, — меня возьмите, а его оставьте, он не виноват. — Он рванулся к машине, но сделал только шаг, как отец остановил его. Кожаные пальто переглянулись, одно из них село за руль и запустило мотор, тогда как другое, показав на доктора Бусбека, спросило у полицейского:

Кто таков? И какое имеет отношение?

На что отец, покрутив головой, доложил:

— Это доктор Бусбек, он здесь проживает. Друг его.

— Пожалуйста, — восклицал доктор Бусбек, — поймите, господин Нансен не знал, что окно...

— Молчать! — зарычало на него кожаное пальто. — Не задерживайте нас и ступайте! Советую вам не вступать в это дело и убраться подобру-поздорову. — Оно уселось на заднее сиденье и захлопнуло дверцу. Отец отпустил доктора Бусбека, мельком поглядел на стоящую у порога Дитте, поглядел на меня, обошел машину и сел вперед. Машина тронулась. Я бросился к доктору Бусбеку и, в то время как машина не спеша подъезжала к распахнутым воротам, поискал и сразу нее обнаружил силуэт художника на заднем сиденье, а тогда толкнул локтем доктора Бусбека и вместе с ним стал ждать, чтобы Макс Людвиг Нансен на нас оглянулся, но силуэт остался недвижим.

Я проводил глазами уезжающий автомобиль, еще разок взглянул на хлев, где продолжалась разделка туши, и потому не услышал, как в замке повернулся ключ, ни шагов Йозвига, ни даже его первых приветственных слов.

И только когда наш любимый надзиратель робко положил мне руку на плечо и озабоченно шепнул: «Не пугайся, Зигги, не пугайся, это я!» — только тут я в самом деле испугался, вскочил и попятился к окну. Йозвиг с видом побитой собаки продолжал стоять у стола. Он взял мое зеркальце и как будто поискал в нем себя, но не нашел ничего, кроме преломленного света голой электрической лампочки, и, отложив зеркальце на то же место подле моей тетради, без слов уселся на щербатый табурет.

Уж не пришел ли он опять уговаривать, чтобы я соблюдал ночной покой? Уж не собирается ли предъявить мне счет за перерасход электроэнергии? Или же, введенный в соблазн летней бессонницей, он притащился в надежде послушать какую-нибудь «добропорядочную», по его выражению, главу из моей штрафной работы? Он наклонился над рукописью и принялся читать; покачивая головой и не отрываясь от чтения, вытаскивал длинными пальцами из верхнего кармана куртки две измятые сигареты — американские сигареты, возможно, дар психолога-американца, будто бы вместо закладки вложил их в тетрадь, да там и позабыл.

Я не был на него за это в обиде.

Никто из нас подолгу не сердился на Йозвига, на этого робкого душевного человека,

который первым переживает наши неполадки, страдает, когда мы страдаем, и чувствует себя наказанным, когда наказывают нас. Он читал, а я глядел на Эльбу, где в этот час не происходило ничего особенного и только одинокий коптящий буксирный катер очень медленно и устало бороздил речную гладь. Образованное им чадное облако скрывало луну, оно круглилось и меняло очертания, выпускай на волю целое стадо шотландских пони, которые беззвучно столпились вокруг луны, как вокруг водопоя. Ни единой чайки. Ни малейшего скопления туч в сторону Куксхафена. Вдали темнел берег, и тянулись цепочкой автомобильные огни.

Должен заметить, что как читатель Йозвиг не отличается от других читателей: едва пробежав последнюю страницу, едва узнав, что Макса Людвига Нансена увезли в полицейском автомобиле, он тут же спросил, вернется ли он домой, а если вернется, то когда и в каком состоянии? И Йозвиг туда же! Я пожал плечами и сделал вид, будто еще не решил, как мне с ним быть. Йозвиг озадаченно на меня поглядел, но на дальнейшие вопросы уже не отважился; он стал рядом и принялся глядеть в решетчатое окошко на вечеряющую Эльбу, которая за фарватерным бум местами оделась в чистейшее серебро. Дуговые лампы на мастерских горели всюду, не оставляя на площади ни малейшей тени. Ивы свесили в воду свои гибкие сучья, проверяя направление и силу течения. Пес директора обнюхивал берег, выслеживая притаившихся спортсменов-водников. В воздухе носился вой: где-то повыше, в порту, военное судно вызывало рейдовый буксир.

Йозвиг дал мне время заметить и это и многое другое, он стоял рядом и мялся, но не грозил выключить свет и не требовал от меня, чтобы я лег спать, — это-то было мне уже ясно. Страдал ли он? Да, страдал, но не сказать чтобы слишком. Искал ли чего? Да, искал — как бы политичное мне довериться. Йозвиг чего-то хотел от меня, но не решался попросить, отваживался и отступал, брал разбег и тут же тормозил, искал у меня опоры и не находил в себе должного доверия. В этом состоянии очевидной нерешительности, которая снискала ему симпатию у многих, он и устался на деловито, но бесшумно текущую Эльбу. Он ждал от меня облегчения, ждал поддержки.

Я отвернулся от окна, подошел к столу и внезапно сообразил, как ему помочь: взял одну из сигарет, которые он вместо закладки сунул в мою тетрадь, и закурил. Вспыхнувшая спичка заставила его оглянуться; увидев, что я курю, стоя у окна, он мгновенно в знак протеста вскинул руку и подошел ко мне, укоризненно помахивая ладонью, не столько возмущаясь, сколько удивляясь, и я снова услышал сакраментальную фразу:

— Курить в помещении — господи боже ты мой! Ты прекрасно знаешь, что курить в помещении строжайше запрещено! — Я потушил сигарету до того, как он это потребовал. — И ты, — сказал Йозвиг, — именно ты, Зигги, позволяешь себе такое теперь, когда ты мне так нужен! — Он вздохнул, и я предложил ему сесть на койку. Покачивая головой, он присел и стал глядеть, как я очищаю опаленный кончик сигареты, и ни словом не возразил, когда я опять сунул ее в рукопись вместо закладки. Сейчас, подумал я, сейчас он тебя попросит если не о помощи, то о сотрудничестве, и я не ошибся: Йозвиг пришел за советом.

Начал он на обычный лад, посвящая меня в свои трудности, то есть начал издалека, так сказать, с черного хода.

— Как старейший колонист, — сказал он, — как один из старейших, ты знаешь, что на этом острове дозволено, а что нет. — После чего, отклонившись в сторону, коснулся наших правил внутреннего распорядка, какое-то время задержался на параграфе «Курить в открытых и закрытых помещениях» и, спустившись вниз на два параграфа, напомнил мне, к чему приводит нарушение правил, чтобы затем по невидимому, но неизменно присутствующему распорядку подняться вверх и остановиться на параграфе втором: «Особа надзирателя неприкосновенна, его указания подлежат безоговорочному исполнению». Я еще не понимал, куда он клонит. С наигранным равнодушием помянул он Оле Плэца, вернулся к его достопамятной попытке побега и что-то слишком уж часто повторял: — А помнишь? А помнишь тот дождливый вечер? Они тогда все обмозговали и подготовили; большая-то вода уже, можно сказать, сошла. В последнюю минуту решили все

же изготовить ключи в мастерской. А помнишь, какой туманище напоз с моря, такой густой, что суда в реке становились на якорь, мы только и слышали что грохот и звон. Те было забили отбой, но Оле ни в какую и сумел-таки поставить на своем. Ты-то тем временем мог бы себя поздравить, что не пришлось тебе в потемках папу-маму звать. Куда уж тут переплывать Эльбу в такой туман, когда за шаг ничего не видно! А помнишь, как они стояли и дрожали на рассвете мокрые до нитки и мы сбежались поглядеть на них?

Чтобы не выслушивать до конца эту заигранную пластинку, я заверил его, что все помню — и ту ночь, к тот туман, и чего эта попытка к бегству стоила надзирателям, особенно одному надзирателю; пусть это и старая история, но не так уж она стара. Йозвиг кивал, скрипел зубами, в горестном раздумье он даже руками развел:

— Для чего же, Зигги, сам посуди, для чего существуют уроки прошлого? И почему уроки прошлого не ставятся ни во что? На кой же они тогда, эти уроки прошлого?

Тут уж до меня дошло, и я с недоумением посмотрел на него.

— Понимаешь, Зигги? И это после всего, что было! Им и невдомек, что мне известны их планы, они обсуждали их в уборной, всякий мог услышать. Что же мне теперь делать? Оле, твой дружок Оле Плэц, в ту пятницу соскребет с хлеба повидло и завернет в бумагу. Решено, что вечером, при последнем обходе, он меня заманит, а потом и пойдет у них дело — снова здорово!

— Мне ничего не известно, правда! — сказал я, а Йозвиг с печалью в голосе:

— Оле, видишь ли, будет лежать на полу — все лицо и шея в повидле. Это чтоб я подумал, будто его избили или будто он откуда-то свалился. Я, конечно, испугаюсь, открою дверь, кинусь к нему, нагнусь, чтобы его поднять, и тут он меня и кокнет по плану, а тогда уж за ключами дело не станет; вся эта шарашка повторится снова, и, когда ты про то услышишь, Зигги, ты задашь себе вопрос: много ли в них толку, в уроках прошлого?

— Кто еще с ним? — спросил я, но на это он не пожелал ответить, должно быть, те же, что и в прошлый раз. — Так на пятницу назначено?

— То-то что на пятницу, вот я все и думаю, что бы такое сообразить получше, раз уж это мне известно? Тут может быть несколько путей. — И он стал их перечислять: что, если он, к примеру, попросту не зайдет к Оле? Или, скажем, зайдет, но, вместо того чтобы к нему наклониться, сам его кокнет — это, мол, можно рассматривать как вынужденную оборону. Можно, конечно, и огласить эту историю, достаточно шепнуть директору, и тот устроит целое представление.

Сказав это, Йозвиг потупился и умолк, как бы приглашая меня со своей стороны предложить четвертый, более устраивающий его путь. Я еще и рта не раскрыл, как он поднял голову и выжидательно на меня уставился.

— Я, конечно, могу поговорить с Оле, — отозвался я, — предупредить, что планы его известны, что он накроется, как прошлый раз. Я мог бы сказать ему это, если бы он стал меня слушать, если бы он вообще соизволил меня выслушать.

— Он, безусловно, тебя выслушает, — возразил Йозвиг.

— Нет, никуда это не годится, я не могу такое взять на себя. Они сразу же заподозрят, что я в сговоре с надзирателями, а такого никто у нас не может себе позволить.

— Что же ты мне прикажешь делать? — Йозвиг окончательно пал духом. — Что мне-то делать, Зигги? Ведь пятница на носу. Если и ты не хочешь с ним поговорить, так у меня просто опускаются руки.

— Повидло, — нашелся я. — Поставьте ему на стол баночку повидла с запиской: «В неограниченное пользование, чтобы раны горели ярче».

Йозвиг недоверчиво на меня покосился с явным намерением отвергнуть мою идею, но, подумав, все же ее одобрил и даже нашел забавной, а затем она и вовсе приглянулась ему по душе: он объявил ее единственно возможным решением и с этим встал с моей койки.

— Так я и знал, — заметил он, протягивая руку, — так я и знал, Зигги, от тебя не уйдешь без разумного совета.

## Глава XI

### Невидимые картины

Выходит, здесь, где мы с Хильке ловим камбалу, и возникло все: жизнь и прочее, подумать только! Здесь, на отмели, в этой испещренной лужами, изрезанной протоками глинистой или серой от ила пустыне — если верить писателю-краеведу Перу Арне Шесселю, — совершился исход: кто мог дышать и прочее, поднялся с Морского дна, прошествовал через земноводную полосу на берег, смыл с себя ил, развел костер и стал варить кофе. Мой дед, этот рак-отшельник, так написал.

Как бы то ни было, мы отправились на отмель за камбалой и шлепали по скользкому морскому дну на порядочном расстоянии от полуострова: Хильке все время впереди, а я следом за ней. Вместе с нами охотились морские птицы. Хильке подобрала подол, стянув его на животе узлом, ноги у нее были по колена выпачканы илом, низ трико намок и почернел. Морские птицы охотились, окуная разинутый клюв в воду, щелкали, чавкали. Протоки далеко вдаются в сушу, а к морю сильно разветвлены, здесь хорошо ловится. Чаще всего мы, взявшись за руки, входили в серую лужу или мелкую протоку, просто погружались в ил по щиколотку, а то и глубже и шарили, щупая ступнями и пальцами, потом, поддерживая друг друга, вытаскивали ноги, методически продвигаясь вперед сквозь ил и тину, все время настороже, готовые к тому, что вот-вот под ступней что-то трепыхнется; нашаришь плоскую рыбину — камбалу, очень редко морской язык, — а она ерзает, плещет, бьется, и Хильке всякий раз взвизгивала и пищала, когда натыкалась на рыбу и придерживала ее ступней; я не знаю никого, кто бы так неутомимо ловил рыбу, как моя сестрица Хильке. Хоть сестра очень боялась щекотки и всякий раз в страхе подсакивала и визжала, она не упустила почти ни одной рыбины, прижимала ее пяткой до тех пор, пока я, ухватив, не вытаскивал камбалу из воды.

Иногда Хильке погружалась по самые ляжки, но лишь задирала платье выше на грудь. Иногда катилась по скользкому пласту глины, будто по льду. Ей нравилось, что в прохладной грязи булькало и чмокало, что там лопались пузырьки, что ноги мягко и неуклонно уходят в вязкий грунт. И ни на миг не забывала она следить за течением в протоках. Если рифленое дно делалось тверже, она прыгала на одной ножке, всякий раз попадая на шнуровидный кренделек, оставляемый пескожилами. Она вылавливала всяких рачков, морских червей, разглядывала их на раскрытой ладони и пускала обратно в море. Собирала пустые домики улиток и совала себе в трико; резинка над коленями из давала им выпасть. Без всего этого не получится полной картины.

Потом тусклое море, нависшие на западе тучи, порывистый ветер, покрывавший рябью протоки и ерошивший лужи и перья морских птиц, далекое гудение одинокого самолета, песчаное пятно полуострова, высокая дамба, кажущаяся со стороны моря еще надежней, еще неприступней, и далеко позади, на дюне, — кабина художника.

Я нес корзину с рыбой. Шагая за Хильке по отмели, я швырялся песком в ловивших рыбу морских птиц, пробовал, как Хильке, прыгать на одной ножке. Я вытапывал нанесенные ветром грядки морской пены. Рыба в корзине трепыхалась и, дыша, шевелила жабрами. По ногам Хильке тянулись грязные разводы, и она то и дело просила меня обмыть ей ноги чистой водой из проток, при этом она опиралась о мою спину. Раковины у нее в трико сталкивались, позвякивая, как погремушки. Я ставил ногу на какой-нибудь бугорок и выдавливал между пальцами ил. На бедре Хильке оставалась от резинки похожая на сыпь лилово-красная бороздка, словно след от блошинных укусов. Ветер трепал ее длинные волосы, временами совсем закрывая ей лицо.

Помнится, мы уже повернули обратно к полуострову, как вдруг скакавшая впереди Хильке вскрикнула, села на мокрый песок, обхватила обеими руками левую ступню и так вывернула и согнула ногу, чтобы видна была подошва. Я тотчас очутился подле нее на

коленях. В ступне торчал зазубренный, белый как мел осколок мидиевой ракушки.

— Только не ломать, — сказала она и сама двумя-пальцами схватила осколок и выдернула. Носового платка у Хильке не оказалось, и она взялась было за подол, но затем предпочла обтереть ранку краем моей рубахи, вытащив ее у меня из штанов. Ранка имела форму серпа и уже едва кровоточила.

— Кровь почти не идет, — сказал я.

Хильке всполошилась:

— Нужно, чтобы шла, кровь очистит рану, — и помолчал: — Ты это сделаешь, Зигги? Не побоишься высосать рану?

— А как? — спросил я, на что Хильке, нетерпеливо потрянув головой:

— Как, как? Ртом, конечно, надо высасывать и сплевывать. — Она оперлась на локти, расставила ноги и подняла ко мне ступню: — Давай!

Я сжал ее щиколотку и закрыл глаза. От ступни слабо пахло тиной и йодом, я подтянул ее ногу поближе и, прежде чем прижаться губами к ранке, еще раз оглядел порез. Сперва я ощутил лишь вкус ила и тины, сплюнул и стал дальше сосать, слегка надавливая языком, еще сплюнул, мало-помалу всякий вкус пропал, и, открыв глаза, я увидел перед собой лежащую Хильке, она благодарно мне кивала.

Потом сестра подобрала ногу, осмотрела ранку и протянула мне обе руки, я помог ей подняться. Она оперлась о мое плечо, я обхватил ее бедра, и мы двинулись к берегу, в сторону полуострова, где оставили чулки и башмаки. Хильке втихомолку ругалась, видно, ей сегодня предстояло что-то такое, для чего нужна была здоровая нога, она без конца сердито бормотала:

— Надо же, именно сегодня. Чертово невезение, нет бы завтра! — Рука ее уже не лежала покойно на моем плече, Хильке, как это водится, все чаще поглядывала на часы. Она хромала, — не сгибая колена, делала короткий шажок, ставя левую ногу только на пятку. — Надо же, именно сегодня!

— А что такое сегодня? — спросил я, на что моя сестрица дословно ответила:

— Если ты намерен продолжать в том же духе, то вывихнешь мне еще и бедро.

Мы избегали глубоких протоков, обходили сомнительные лужи, но все же время от времени попадали в какую-нибудь илистую ямину и увязали по колени. Низко над нами проносились дикие гуси, устремляясь к торфяным прудам, вместе с песочниками и устрицедами трудились на отмели чайки. А все ни капли дождя. Добравшись до полуострова, я сразу бросился на тонкий прибрежный песок, ухватил щиколотку Хильке, намереваясь еще раз очистить и высосать ранку, но теперь не захотела Хильке, она просунула пальцы под резинку трико — ракушки дождем посыпались на песок, — потом села на корточки и, пока я бегал за ее чулками и туфлями, пересчитала их.

— Мало, — вдруг заявила Хильке, — мне нужно еще штук десять-пятнадцать. Наберешь мне, Зигги?

— А ты меня подождешь?

— Да нет, — сказала она, — я уж пойду вперед. — Такими штучками она всегда от меня отделялась. Она собрала улиток в корзину, накидав их прямо поверх рыбы. Обтерла ранку на ступне чулком и лишь вытрясла чулок, до того как его натянуть, похлопала по платью, встав на ветру, связала на затылке волосы и, небрежно со мной простившись, прихрамывая, направилась по пляжу в сторону дома.

Я остался лежать на песке и, подперев голову руками, глядел ей вслед, следил, как она удалялась, голубая на фоне зеленого, потом голубая на песчано-желтом, чем ближе к дамбе, становилась все меньше, все неприметнее, первой попавшейся человеческой фигуркой — не разберешь даже, мужчина или женщина, — словно бы дамба тяжеловесной своей массой уменьшала и придавливала человека, по крайней мере пока он двигался к ее основанию. Взобравшись на гребень дамбы, Хильке оглянулась, поискала меня, нашла и повелительным жестом указала на взморье: ступай, мол, ищи улиток!

Я лежал и дожидался, пока она не скроется, но и тогда не вернулся на отмель, так как,

едва Хильке скатилась с противоположного откоса дамбы, из зарослей волоснеца перед дюной поднялся человек; щупленький человечек этот был Бусбек. Он укрылся там, чтобы не встретиться с моей сестрой. Он что-то нес, доктор Бусбек нес какой-то сверток, крепко прижав его к себе, иногда он оглядывался, словно опасаясь, как бы не вернулась Хильке. Всем корпусом наклонившись вперед и судорожно размахивая правой рукой, лез он на дюну — тут уж нетрудно было догадаться, зачем ему понадобилось пересечь полуостров. Бусбек, вероятно, держал в руке носовой платок, потому что время от времени словно бы обтирал лоб и затылок; очевидно, он очень спешил, даже оборачиваясь назад или окидывая взглядом пляж, он ни разу не остановился. Он лез со злобой, с каким-то ожесточением отвоевывая каждый дюйм у осыпавшегося под ногами песка, сухого песка дюны, не дававшего никакой опоры.

Надо признаться, Бусбек избрал хоть и кратчайший, но самый неудобный путь к кабине художника; низко пригнувшись, он упрямо держал курс на нее, изредка поспешно протирая глаза, когда вдруг попадал в тучу песчинок, которую ветер взметал к вершине дюны, закручивал там бешеной воронкой и отбрасывал на берег. Спускаться было куда легче, тут доктору Бусбеку пришла охота потанцевать, он прыгал, приплясывал, скользил по склону вниз, затем пустился бегом к кабине художника, ребром ладони отбросил засов, сперва быстро оглянувшись, потом долго и придирчиво обыскал взглядом полуостров, пляж и узкую полоску земли у дамбы и лишь затем юркнул в кабину и притворил дверь. Я и думать забыл об улитках, ну а Бусбек сам виноват: когда так странно, так подозрительно себя ведешь, нечего удивляться, если тобой заинтересуются и, вообразив невесть что, начнут за тобой следить.

Едва он затворил за собой дверь, как я вскочил на ноги и, пригнувшись, каждый миг готовый упасть плашмя, побежал в обход, чтобы подойти к кабине с того боку, где не было окон.

Но падать мне не пришлось.

Медленно, все медленнее, на цыпочках, под прикрытием кабины прижимаюсь щекой к мореному дереву, прислушиваюсь, быстро на четвереньках ползу к фасаду с окнами, жду, внутри стучат, какой-то треск, скрежет ржавого гвоздя под стамеской, осторожно выпрямляюсь спиной к стене, ну-ка, еще ближе к широкому окну, только бы ничего не задеть, что это он там делает, почему возится с половицами, не упала бы тень, он как будто стамеской поднимает половицы, пригибаюсь к окну и так далее...

Мы увидели друг друга одновременно. Он, должно быть, считался с возможностью моего появления здесь, во всяком случае, когда я наклонился к углу окна и затенил глаза ладонью, Бусбек уже глядел на меня, глядел скорее с досадой, чем с удивлением, стоя на коленях на деревянном полу и держа перед собой стамеску, которой оторвал и приподнял на четверть несколько половиц. Конечно, я опешил, оттого что Бусбек тут же меня обнаружил, но еще больше поразило меня, что он своими слабыми руками способен был орудовать стамеской и даже оторвал две-три доски. И так мы уставились друг на друга: он — застыв на коленях, я — заглядывая в окно, все в той же неудобной позе, словно мое появление осталось незамеченным. Мы никак не могли отвести взгляд друг от друга, и чем дольше это длилось, тем меньше я думал о бегстве, а Бусбек о том, чтобы снова приняться за дело. Он все держал в руках стамеску, а я все держал козырьком ладонь.

Но вот он мне кивнул, наконец-то рассеянно кивнул, с лица его исчезла досада, он кивнул мне, приглашая войти, и, когда я открыл дверь кабины, Бусбек меня поджидал, стоя у рабочего стола, стамеска лежала на полу, а рядом — перевязанная бечевкой папка. Вероятно, вид у меня был виноватый, потому что он тотчас приступил ко мне с обвинениями:

— Ты тайком, зачем и с какими намерениями выслеживал меня, кто тебя послал, с какой целью?

По-моему, он был бы очень рад, скажи я ему, что отец послал меня за ним следом. Доктор Бусбек никак не мог поверить, что я пошел за ним по своей охоте.

— Чего же ты ожидал? — допытывался он. — Что хотел узнать? — Я покосился на



перевязанную бечевкой папку и пожал плечами. Перехватив мой взгляд, он какое-то время молчал. — Так зачем же? — спросил он наконец, на что я:

— Не знаю, честное слово, не знаю.

Тут он утратил всю свою уверенность и показался мне таким же растерянным и смущенным, как обычно! доктор Бусбек всегда производил впечатление, будто сам нуждается в помощи. Он сложил руки, попытался их засунуть в крахмальные манжеты, метнул в широкое окно испуганный взгляд на пляж и через дверь оглядел дюну.

— Это надо спрятать? — спросил я и поднял папку с пола.

Он вырвал у меня папку со всей грубостью, на какую только способен человек его склада, и тут же примиряющим жестом попросил извинения за свою вспышку. — Наводчик туч? — сказал я, но Бусбек покачал головой: он знал, что художник доверил мне картину и что я передал ее Дитте вскоре после того, как машина скрылась из виду, он знал о нас все и многое даже раньше нас. Он искал, куда бы спрятать папку, Макс Людвиг Нансен сам его послал, сразу же как вернулся из Хузума, нет, не совсем так: когда художник вернулся в то утро — разбитый, расстроенный, не желая ни с кем говорить, — он только молча поцеловал Дитте и заперся у себя в спальне, провел там много часов, да и выйдя оттуда, тоже ни словом не обмолвился о том, что было в Хузуме, на все их вопросы он только качал головой, видимо, ему запретили о чем-либо рассказывать. Потом достал папку — до тех пор он прятал ее в Блеекенварфе, — вручил ее Тео Бусбеку и попросил спрятать в надежном месте, во всяком случае, более надежном. Здесь, в кабине. Все это я узнал от Бусбека и еще узнал: в папке лежит самое ценное или то, что художник считал самым ценным из всего им написанного. Нансен будто бы сам примерно так выразился. Но где спрятать папку в кабине и как?

Доктор Бусбек принялся искать промасленную бумагу, она должна была лежать не то в шкафу, не то под шкафом, не то за шкафом, мы оба искали бумагу, и, пока искали, я заметил, что он неотступно за мной наблюдает и с какой-то минуты лишь потому продолжал поиски, что не знал, как со мной быть. Бумагу мы так и не нашли. Может, кто ее прихватил, может, ее носило теперь по волнам, может, художник даже сам ее на что-то употребил, во всяком случае, бумаги, которая должна была уберечь папку и ее содержимое от сырости, на месте не оказалось, что Бусбек наконец установил скорее с облегчением, чем с недовольством.

— Исчезла, — сказал он, — ничего не поделаешь, без промасленной бумаги папку хранить под полом нельзя. Да и вообще подходящее ли это место?

Он сам ответил на свой вопрос, пнув ногой поднятые доски, каблуком нажал и пристукнул, чтобы они стали на место, потом мы оба прыгнули на половицы и топали и колотили, а напоследок доктор Бусбек еще стамеской намертво прибил расшатавшиеся гвозди: темное отверстие, на дне которого поблескивал влажный песок, предполагаемый тайник, было снова заделано.

— Ты заберешь папку с собой? — спросил я, на что он:

— Да, заберу, нет промасленной бумаги, да и вообще место неудачное.

Я попросил его показать мне картины из папки, но он наотрез отказался и даже, когда я потянулся развязать бечевку, рукой загородил от меня папку.

— Новые картины? — спросил я.

— Невидимые картины, — сказал он.

Тут я стал упрашивать, вызвался отнести папку в Блеекенварф, лишь бы он хоть разочек, хоть одну картинку, хоть на секундочку... но он не хотел или не мог, он сказал:

— А что это тебе даст, картины ведь невидимые.

— Но их можно взять в руки?

— Да, в руки взять можно.

— И нести?

— И нести тоже.

— И повесить на стену?

— И повесить.

— Почему же они тогда называются невидимыми?

Доктор Бусбек испытующе оглядел комнату, удостоверился, что все в порядке, и сунул папку под мышку.

— Что?

— Раз они невидимые, эти картины, — сказал я, — тебе незачем их прятать в промасленной бумаге здесь под полом, раз они невидимые, их и без того никто не найдет, что невидимо, то в безопасности.

— Если так посмотреть, — он в самом деле сказал: «Если так посмотреть!» — ты, конечно, прав. — Он произнес это вполборота ко мне, мимоходом, уже направляясь к двери, но вдруг замедлил шаг, повернулся и продолжал: — Ты понимаешь, не все на этих картинах невидимо; какие-то указания, знаки, намеки, — знаешь, такие направляющие стрелки — там все же можно увидеть, но главное, то, что на самом деле важно, невидимо. Оно там, но невидимо, если ты меня понимаешь. Когда-нибудь, не знаю точно когда, в другие времена, все станет видимым. А сейчас хватит спрашивать, хватит болтать, ступай домой.

— А ты?

— Я тоже пойду домой.

На прощание он все же мне улыбнулся, прижал к себе папку и вышел из кабины. Я мельком посмотрел ему вслед и видел, как он шел к крутому склону дюны, сначала нерешительно, затем торопливо, сильно наклонившись вперед.

Рокот там на отмели — это был прилив. Море, пенясь, перекатывало через замыкающие протоки песчаные валы, пузырястыми языками набегало на пологую отмель и заполняло лужи и промоины, оно несло с собой водоросли и ракушки, выворачивало плавник, стирало следы морских птиц, стерло и наши следы и все настойчивее с севера атаковало берег, а потом и сушу, в быстром охвате отрезав серо-бурый участок, подбираясь все ближе к полуострову.

С улитками покончено, поздно собирать улитки для Хильке. Когда я вышел из кабины, доктора Бусбека уже нигде не было видно. Я пересек полуостров и пошел по пляжу, все время описывая дуги: навстречу набегавшим волнам и спасаясь от них, едва они, пенясь по плотному песчаному грунту, грозили до меня добраться. Берег. Море. Но сперва все вперед к красному маяку, вверх по откосу, через дамбу и снова вниз, на кирпичную дорожку, мимо шлюза и мимо облезлого столба с табличкой «Ругбюльский полицейский пост». Старая бесколесная тележка, где я прятался в раннем детстве, казалось, еще глубже ушла в землю, поднятое кверху дышло подгнило, в нем появились длинные трещины, а на самой середине щелястой платформы проломилась доска. Итак, мимо тележки и мимо сарая тоже, но, дойдя до каменных ступенек крыльца, я остановился, вынужден был остановиться, потому что надо мной в проеме двери, увеличенный перспективой по меньшей мере до семисполовинометрового роста, стоял отец — совсем как в тот день, когда мы привезли на тачке Клааса, — стоял и ждал, полностью, так сказать, все заслоняя, и тут уже мимо не пройдешь. И пока он, неподвижно застыв, сверху глядел на меня, не отстраняясь, не протягивая руки, без проблеска выражения на деревянном лице, он словно бы выросал все выше и становился все грознее, так что я не решился поднять на него взгляд, а, опустив глаза, уставился на тупые, белесые от сырости носки его башмаков и выпачканные глиной краги — как он только носил эти краги, да ему еще нравилось их носить! — и тут я обнаружил, что петли и концы его аккуратно завязанных бантом шнурков точь-в-точь одной длины. Ему доставляло удовольствие аккуратно завязывать шнурки, как доставляло удовольствие наблюдать, какое беспокойство и тягостную неуверенность он вызывает у другого человека единственно таким вот упорным выжиданием, от которого всякому становилось не по себе.

Что он знает? В чем мне признаваться? Я уставился на его башмаки, съезжаясь в комочек и становясь мягким как воск от его молчания, и, когда он довел меня до размеров пятака, башмаки в рамке двери шевельнулись, сдвинулись, повернулись на сорок пять градусов, выставив свой смехотворно-кургузый профиль, да и лицо отца предстало теперь в профиль, он стоял, прислонясь спиной к косяку, то есть не только открывал мне путь, но всей позой своей приказывал мне войти. Я прошел мимо него в дом. В прихожей я остановился и

слышал, как он повернулся.

— В контору, — скомандовал он. И я пошел вперед, в тесную контору, значит, предстоит разговор.

Вначале он ограничился тем, что, сверля меня своим взглядом провидца, читал в моем лице, но, как видно, прочитанного оказалось недостаточно. Тогда он сел спиной к окну и наудачу велел:

Рассказывай! — Но как отвечать на такое приказание? — Рассказывай, — повторил он. — Давай рассказывай, *что* ж ты молчишь? — Я уже понимал, что он чего-то от меня добивается, но чего? — Рассказывай! Не прикидывайся, рассказывай! — Итак, признаваться, рассказывать значило для него признаваться. — Ты больше знаешь, — сказал отец, — больше, чем мне рассказываешь. Я считал, мы с тобой уговорились работать вместе? Так что ж ты?

Он встал, заложив руки за спину, не спеша приблизился ко мне, тут уж можно было предвидеть дальнейшее, однако он так долго медлил с оплеухой — призванной скорее поощрить, нежели наказать, — что в конце концов все же застал меня врасплох. Отец в самом деле поверил, что оплеуха подействовала на мою память поощряюще, оживила ее, и, успокоенный, вернулся на свое место.

— Ты же все время там торчишь, — сказал он, — весь день околачиваешься в Блеекенварфе и все видишь, рассказывай!

Раз он так на этом настаивает, что ж, пожалуйста!

— Вчера в Блеекенварфе пекли пирог с крошкой, доктор Бусбек сидел на солнце и читал, мы с Юттой забрались в пролетку, знаешь, старую, в сарае, а Пост сел на козлы и так бесился, что даже кнут сломал...

Всякую ерунду, какую только мог откопать в памяти, выложил я ему: что однорукого почтальона Бродерсена угощали чаем, что Дитте после обеда спала, что мы погнали уток с пруда в ров. Как терпеливо выслушивал отец даже такие пустяки! Но затем вдруг:

— А ты ничего не забыл?

Про дождь? — заикнулся я.

— Про хлюпика, — отрезал он, — про этого Бусбека, од что-то вынес, похоже, что папку. Он вынес ее из дому и пошел к полуострову, ты же там был. Если у тебя есть глаза, ты не мог его не видеть.

— Ах, ты о нем, — протянул я, — ну как же. Он пошел через дюну, — сказал я, — чего-то спешил, в кабину торопился, он заходил туда, может, хотел что спрятать.

— Ты думаешь? — спросил отец.

— Он довольно долго там пробыл, — сказал я, — может, что и спрятал под половицами.

— Под половицами?

— А больше там негде спрятать.

Отец какое-то время молчал, затем проговорил!

— Запрет — это ему нипочем, он все время работает, втихую. Но я его накрою), на этот раз он от меня не уйдет.

Накрою его или его мазню, и тогда уж ничто ему не поможет. Я покажу, что запреты существуют для всех без исключения и для него тоже: это мой долг. В кабине, говоришь, под половицами?

— Очень может быть, — сказал я. — Больше там ведь негде спрятать.

Отец встал, прошел мимо меня к окну, стал что-то делать за моей спиной, я без труда догадался что: судя по звуку, он ножом соскабливал присохшую грязь со своих краг. Но я не смел обернуться, стоял и прислушивался к звукам за моей спиной, пока их не заглушили более громкие звуки, ворвавшиеся к нам из кухни: мать включила радио.

Сперва будто полчища кузнечиков запрыгали по гофрированному железу, потом что-то завывало и засвистело, потом кто-то запустил электродрель, и наконец раздался голос, но слов нельзя было разобрать, пока мать не покрутила ручку настройки, тут голос стал ясным;

уверенный, чуть ли не радостный, он разносился по всему дому. В общем, сообщали, что Италия объявила нам войну, это сочли нужным марионеточный король по имени Виктор Эммануил и высокопоставленный болван по имени Бадольо. Но мы не должны тревожиться, полагал голос, не должны огорчаться, что бывший товарищ по оружию и т. д., ибо только сейчас, предоставленные самим себе, можем мы показать миру, на что мы способны, только сейчас, избавленные от необходимости оглядываться на ненадежного союзника, можем мы в полную меру проявить присущую нам доблесть. Так полагал голос. В нем звучало облегчение. В нем звучала убежденность. А уверенности в нем и так было больше чем надо.

— Значит, Италия, — проговорил отец. Я обернулся, он стоял у окна, устремив взгляд на торфяные пруды. — И в первую мировую войну, — сказал он, — и сейчас опять, вот вам итальянцы — тарантелла да брильянтин на уме, больше ничего. Можно бы знать наперед.

Он выпрямился, подобрался, сжал кулаки, напряг зад и вдруг, повернувшись кругом, с невидящим взглядом прошел мимо меня в переднюю, где, дополнив амуницию, нацепив португепю и служебный пистолет, сразу обратился в обмундированного по всей форме полицейского, крикнул в кухонную дверь:

— Так пока... мм? — Сказал еще, видимо отвечая на вопрос матери, когда он будет ужинать: — Потом, потом, — распахнул дверь, достал из сарая велосипед, повел его к кирпичной дорожке, вскочил в седло и покатил в сторону дамбы. По радио передавали Баденвейлерский марш. Езжай, езжай, злорадствовал я.

Я тоже не проголодался и думал, как отец, поужинать потом; мне предстояло еще одно дело на старой мельнице, но только я вышел в переднюю, как раздался окрик:

— Иди ужинать, Зигги, марш!

Не бойтесь, что у нас снова будет на ужин рыба — было рагу, тушеная фасоль и груши, и к ним картофель, а вместо мяса — шкварки, и мы молча сидели друг против друга, моя мать и я, Хильке все еще не вернулась. Мать, задумавшись, смотрела куда-то вверх меня, подносила ко рту грушу или картошку и, ни разу даже не подув, погружала в нее зубы, ни одно кушанье не было для нее слишком горячим. Ела она безо всякой охоты, выпучив глаза, медленно жуя и глотая. Подцепит зеленую фасолину и упрется в нее, так что уж начинаешь думать про эту фасолину самое дурное, по меньшей мере ждешь, что после такого подозрительного осмотра мать отложит ее на край тарелки или бросит в раковину, но она брезгливо стянет фасолину с вилки, не сжует, а скорее разомнет языком о небо и с бесстрастным видом проглотит зеленую кашицу. Начнешь ей что-нибудь за столом рассказывать, она лишь повелительно укажет на тарелку: «Вот твое дело, не разговаривай, ешь!» Станешь есть торопливо — она делает замечания, нет аппетита — она грозит; словом, садиться за стол один на один с Гудрун Йепсен не доставляло мне никакого удовольствия.

Я управлялся намного раньше нее, и все же она меня не отпустила, настояла на моем присутствии, велела убрать со стола: грязную посуду — в раковину, наполовину полные кастрюли — в духовку, я должен был даже вытереть стол, а сама она безучастно при этом сидела и лишь время от времени скрипела зубами. Но я не намерен расписывать свое бешенство и даже начинать не хочу изображать ее со спины — тугой шиньон, длинную в родинках шею, прямую поясницу, самовластные бедра — лучше сразу же впусу инспектора плотин Бультьюганна, этого старого морского петуха, который, как я сам убедился, носил не один, а целых три национал-социалистских значка: на рубашке, на пиджаке и на пальто. В дверь он стучал, лишь стоя уже в комнате. Он всегда путал собственных детей — их у него было девять, — не удивительно, что он и меня всякий раз называл по-новому, то Хинриком, то Бертольдом, то Германом, иногда даже Асмусом-младшим, мне это было все равно, лишь бы он велел кланяться моей копилке. Он не здоровался, а вручал мне монету в десять пфеннигов и говорил: «Кланяйся твоей копилке».

На сей раз инспектор назвал меня Йозефом, покрутил в воздухе монеткой и похвалил за то, что помогаю матери по хозяйству. Он не сел, а расплылся по стулу, сиденье было слишком для него мало, на нем едва умещалась половина его зада. Мать он похлопал по руке. Дышал он тяжело, будто избавлялся от набившегося в легкие ветра. Подмигнул мне, этим

подмигиванием предлагая не прерывать свои хлопоты, носившие меня от раковины к столу и от стола к кладовке.

Сейчас мне пришло в голову, что мать никогда никого не спрашивала, зачем он пожаловал: явился и явился. Что Бультьоганн пожаловал не к ней, я заключил по тому, как он прислушивался к шумам в доме; наконец он спросил:

— А Йенса разве нет?

Мать покачала головой, а инспектор наклонился всей своей тушей «ад столом:

— Он должен принять меры, Йенс должен тут принять меры... — шептал Бультьоганн, то есть, по его мнению, это был шепот, но каждое слово явственно доносилось даже в кладовку.

Он кое-что заметил, о чем считает своим долгом сообщить, потому и зашел. Сообщить о том, что в «Горизонте» сам около полудня...

— В зале ни души, Гудрун, я уселся у окна и жду, понимаешь? Ничего такого не думаю, жду Хиннерка, а его нет и нет... Посидел, посидел, потом встал, прошелся по комнате, позвал раз-другой, самому-то вроде неудобно себе наливать, понимаешь? Думаю, неужто они... то есть, как же обратить на себя внимание? Всегда чувствуешь себя как-то неловко, когда так вот... Думаю, они еще подумают: чего он все это время и всякое такое. А потом сообразил: радио! Приемник в «Горизонте», ты помнишь, Гудрун, стоит возле стойки. Включаю радио, нужно какое-то время, чтоб нагрелось, и вдруг слышу — Лондон: они попросту так я оставили последнюю станцию, которую слушали, понимаешь? Лондон.

Инспектор Бультьоганн воззрился на мать, должно быть надеясь прочесть на ее лице одобрение или хотя бы признание того, что он правильно поступил, явившись сюда и сообщив о своем открытии, но, чего бы там он ни ожидал, это не произошло. Мать не проронила ни слова. Даже не повернулась к нему. Устремив остановившийся взгляд в окно, будто погружившись в лицезрение разодетой во все краски осени, она все в той же позе сидела за кухонным столом, меж тем как Бультьоганн, очевидно, обдумывал, чем бы ее расшевелить. Надо было видеть, как этот морской петух, все еще тяжело дыша, опять принялся похлопывать мать по руке, растирать ее правое предплечье и настойчиво ей втолковывать в сокращенном изложении все сначала:

— В «Горизонте», представляешь, Гудрун, это заинтересует Йенса: они там слушают вражеские передачи. Хиннерк. У меня доказательства.

Мать не пошевелилась. Она дала ему договорить до конца и тут только вышла из забытья, дотронулась до шиньона, ощупала его и внезапно, повернувшись ко мне, скомандовала:

— Марш в свою комнату, Зигги. Пора спать! — Я нехотя вышел из кладовки, оттягивая время, надувшись, направился к раковине, чтобы сполоснуть и выжать тряпку для посуды, но на мать моя старательность не произвела впечатления, она нетерпеливо повторила: — Марш, у тебя все убрано. — На что я, внутренне негодуя, в укор ей повесил жирную, клейкую от остатков пищи, капающую тряпицу на водопроводный кран и молча попрощался. Подал руку инспектору Бультьоганну. Подал руку матери. Желая показать им, что по мне пусть сидят вдвоем сколько угодно, я плотно притворил за собой дверь, схватил с вешалки отцовский бинокль, который он то ли забыл, то ли просто решил не брать, и, не пропуская ни одной ступеньки, поднялся к себе наверх. На раздвижном столе, на моих собственных океанских просторах ничего особенного не происходило, если не считать гибели «Графа Шпее», которого я свел перед устьем Ла-Платы с тремя английскими крейсерами, — у «Шпее» в самом деле не было никаких шансов, ему оставалось лишь пойти ко дну, воспроизведенная мною морская битва это бесспорно доказывала. Я подошел к окну и сел на подоконник; только-только начало смеркаться.

Какая затяжная осень у нас — мимолетная весна и затяжная осень. Я вынул бинокль из помятого футляра и за несколько минут до сумерек залучил в круглые ясные стекла осень. Пусть болтают на кухне внизу! Жидкая рощица справа от Глюзерупа, искалеченная, исхлестанная ветрами, уже побурела. Луга и бегущие к Хузуму живые изгороди еще

прикидывались зелеными, но и в них проступала буроватая желтизна. Свинцом отливали затененные рвы. То тут, то там в глаза лезло кирпично-красное. Ни холма у нас, ни реки, ни оврага, лишь эта низменная равнина, зеленая, желтая, пересеченная коричневыми полосами. Шпалеры ольхи с черными плодами, которые ветер сбрасывает в канавы. И все — земля, деревья, крохотные садики — пожолклое, в ржавых пятнах и словно бы даже сопревшее, как лежалые вещи. По вечерам — неподвижно стоящие коровы, их ровное дыхание, на некоторых уже накинута попоны от ночного холода. Я повернул бинокль, повел его по горизонту. В своем яблонево саду Старик Хольмсен обирал яблоки, сейчас, под вечер, стоял на стремянке, нетвердо, довольно-таки нетвердо, видный только до пояса, голова и плечи, казалось, растворились в еще густой кроне дерева. На флагштоке перед рестораном «Горизонт» колыхался вымпел, личный вымпел Хиннерка Тимсена: на белом поле два скрещенных синих ключа. «Ключи-то у него есть, — не раз говорил дедушка, — да только нет дверей, чтобы отпереть их теми ключами». На торфяных прудах качались на воде, как пробки, лысухи, разъевшись за сытное лето, они не могли взлететь. А вот и мельница. Бинокль приблизил ко мне мой тайник, крытую шифером луковку, восьмигранную башню, все еще белые оконные рамы, из которых ветер вышиб и унес последние осколки стекла. Я даже узнал окно, заложённое листом картона: за этим окном мы лежали с Клаасом, наблюдая приезд людей в кожаных пальто. Спорят они там, что ли, внизу, на кухне? Радио, мать включила радио. Я снова приставил к глазам бинокль, который на миг опустил, и сразу перенесся к мельнице, и тут я увидел, как они оттуда вышли.

Признаться, я сначала подумал, что художник открыл мое убежище, постель, картинки с всадниками, коллекцию замков и ключей и, конечно же, «Человека в алой мантии»; он случайно, думал я, обнаружил все это в куполе и поднялся туда с моей сестрой, чтобы посмотреть находку, все пересчитать и, если на то пошло, пусть нехотя, но прийти в восторг. Помню также охвативший меня страх, а что, если он просто снял с гвоздя штору затемнения с «Человеком в алой мантии» и взял с собой. Но нет, у него ничего не было под мышкой, ничего в руках. Он свободно держал сестру чуть выше локтя и слегка подталкивал ее перед собой. Чего их понесло на мельницу? Когда они молча спускались по дороге к торфяному пруду, Хильке все еще чуточку прихрамывала; у перекрестка они расстались. А расстались так: они все замедляли шаг, одновременно все больше сближаясь, и, когда остановились, плечи их на какую-то долю секунды соприкоснулись, может быть даже художник нечаянно задел Хильке, когда, опередив ее, резко повернулся, словно хотел заступить ей дорогу, однако он не раскинул руки, а взял обе ее кисти в свои, поднял их на высоту пупка и затем то поднимал, то опускал руки сестры в ритм словам, которые говорил ей, — ободряющим словам, как мне представлялось, настойчивым, во всяком случае, кратким, как, например: «посуди сама» или «так что давай», все в таком духе. Хильке, потупив взгляд, молчала, выражая свое отношение разве что покорностью, с какой позволяла тянуть свои руки кверху и пригибать книзу.

Неожиданно, во всяком случае неожиданно для меня, художник выпустил ее руки, нет, он как бы их от себя отбросил, повернулся и засеменял, нет, поплыл по воздуху в сторону Блеекенварфа, пригнувшись, в своем раздувающимся плаще. А Хильке? Она подскочила — подумать только, с порезанной ступней так скакать, — прыжком повернулась и замахала рукой часто и, надо добавить, совершенно напрасно, потому что художник ни разу не обернулся и ни разу не помахал в ответ. Внезапно Хильке замерла, задумалась — так же недвусмысленно и приметно, как задумывался ругбюльский полицейский, — повернулась и, хромая — теперь она захромала, — пошла обратно к мельнице, почти тут же появилась оттуда с корзиной и сразу же, ни с того ни с сего, радостно подпрыгивая, устремилась в Ругбюль, не забывая при этом махать рукой. Возле шлюза она помахала в последний раз, машинально, просто так, никому, потом спрыгнула на кирпичную дорожку, но здесь она сразу вспомнила, что у нее порезана ступня и ей полагается хромать.

Она увидела меня в окне и погрозила. Я подал ей знак, сигнализируя: гости, на кухне гости, но ей это было все равно, она, улыбаясь, поднялась на крыльцо и, прежде чем войти в

дом, откинула назад волосы. А я уже подслушивал у двери. Хильке засмеялась, значит, Бультьюганну опять удалось по здешнему обычаю вместо приветствия шлепнуть ее по задку. Хильке не достала тарелку из буфета, значит, она есть не хочет. Хильке прошла в кладовку, значит, выпотрошить и засолить рыбу она предоставляет отцу. Спешит поскорее убраться с кухни, но все же не простилась на ночь.

Услыхав ее шаги на лестнице, я отскочил к столу и нагнулся над идущим ко дну броненосцем «Графом Шпее» — так я поджидал ее.

— Победа? — спросила она входя, на что я!

— Посудине крышка!

Несмотря на рану, она подошла бесшумно, положила мне руку на плечо и, наклонившись над морским боем в устье Ла-Платы, кончиком указательного пальца пощекотала мне шею. Что он знает и чего не знает, вероятно, думала она. И может, думала еще: осторожности ради надо его задобрить, на всякий случай это не помешает. Об улитках она не спросила. Занялась моей шеей, гладила затылок, уткнулась подбородком мне в плечо, что должно было выражать нежность, но не выражало, поскольку зеркало предательски показывало мне ее косой, пронизывающий взгляд, уж очень одно не вязалось с другим.

— А вот не отгадаешь, чего мне сейчас хочется... — протянула она.

— Чего?

— Курить!

— Курить?

— Разочек попробовать, — сказала она. — Потом сразу проветрим, мама не узнает.

И сестра, не помню уже откуда, извлекла такую узенькую пачечку в четыре сигареты и выложила ее на морскую карту чуть севернее Азорских островов. Я покачал головой и отодвинул сигареты к ней, но Хильке протестующе подняла руки, принудила меня оставить сигареты, и я притянул к себе пачку и сунул одну в рот. Она тоже взяла сигарету, но сперва подошла к двери и прислушалась.

Мы сели на кровать и закурили. Сначала мы курили торопливо, больше обращая внимание на тлеющие кончики сигарет, чем на голубоватые облака дыма, пока не стали пускать дым друг дружке в лицо, вот тут-то самое захватывающее нам и открылось: морские коровы, например, и кудлатые овцы, и кроны деревьев; клубы и струйки медленно тающего дыма, который мы выпускали изо рта, смешивались, плыли, переплетались, и между мной и Хильке вырастали голубоватые олени, качающиеся буи и снова и снова овцы. А раз возникло лицо, ускользающее, непонятное лицо из дыма, в котором я тогда напрасно искал сходства с кем-то.

Мы создавали деревья, баржи, мне даже удалось, сшибив два столба дыма, мой и Хилькин, произвести на свет несущийся по волнам трехмачтовый парусник, нет, в самом деле было здорово так вот сидеть на кровати и курить.

Мы ни разу не закашлялись, только когда я распахнул окно и стал наподобие вентилятора крутить чулком над головой, разгоняя дым, Хильке затошнило и она убежала в уборную. Она скоро вернулась, села, тыльной стороной руки утерла рот, сосредоточенно следя за потянувшейся ниткой слюны, пока нитка не порвалась. Я выбросил окурки во двор, закрыл окно и очень удивился тому, что сестра ухмыляется.

— Чего ты ухмыляешься? — спросил я.

— Да вот, Зигги, гадаю, — ответила она, — гадаю, что они с нами сделают, если узнают.

— Измолотят? — спросил я.

— Котлету сделают, — сказала она и добавила: — Ничего ты сегодня такого не видел, слышишь, сегодня тебе нечего будет рассказать. — Потом растянулась на моей кровати, повернулась на живот, расслабив и без того размякшее тело. Я дал ей несколько раз спокойно продышаться, позволил прнежиться в моей ямке, но, когда она начала было засыпать, спросил:

— А на мельнице? Что вы делали на мельнице? — Казалось, она не поняла вопроса, я

уже собирался покрепче за нее взяться, как у сестры в позвоночнике словно бы сделалось короткое замыкание: что-то там треснуло, вспыхнуло, рассыпалось искрами, она взвилась в воздух, выгнулась и вплотную приблизила ко мне лицо, на котором отражались страх и бешенство.

— Держи это про себя, — взвизгнула она. — Шпионить за мной в бинокль! Ничего, — это она тоже произнесла слишком громко, — ничего не было на мельнице, понял? Случайно встретились там, и все.

— Наверху? — спросил я и, когда Хильке с недоумением на меня посмотрела, вполне удовлетворенный успокоил ее: — А мне что, я ничего не видел.

Сестра с облегчением повалилась на кровать, уткнулась лицом в подушки и предприняла нелепую попытку обнять целиком весь матрац. Я представил себе ее мертвой и стал пристально, по частям ее рассматривать: тяжелое ожерелье из полированных, натурального цвета деревянных кубиков, странные впадинки-солонки у ключиц; загрубелую морщинистую кожу на локтях. Насчет рук ничего не скажешь, вполне нормальные, зато край ушной раковины какой-то изжеванный, да и позвоночник очень уж длинный. Я лишь раз дотронулся до места, где бюстгальтер врезался в мякоть спины, а больше ничего не предпринял, хотя меня так и подмывало пересчитать у нее по одному все позвонки и перестукать каждый, чтобы проверить высоту тона; при этом мне вспомнился кроткий аккордеонист Адди.

Понемножку я стал отпихивать сестру в сторону, она, ворча, послушно вывалила теплое тело из уютной ямки, освобождая мне место, но, на мой взгляд, все делалось слишком медленно, сонливо, в конце концов, это моя кровать.

— Не хочешь подвинуться, так убирайся, — сказал я, растянувшись рядом с ней и неожиданно почувствовал все усиливающуюся дурноту. Вокруг меня в воздухе закружились морские коровы, и буи, и овцы, и все повторяли одну и ту же считалку. Вцепившись в Хильке, я отбивался от кудлатых овец, как вдруг услышал свое имя. Едва различимо, будто очень издалека, кто-то меня звал, вот опять:

— Зигги! Спустись вниз, Зигги!

Хильке приподнялась, она, казалось, оцепенела и, сидя на пятках, с повисшей головой и повисшими волосами, закрывавшими ей лицо, удивительно напоминала швабру.

— Отец, — шепнула она, — он тебя зовет, вернулся.

И тотчас я услышал снизу голос отца:

— Ты скоро, Зигги? — Раздражать и без того раздраженного в эти дни человека, заставляя его ждать, явно не стоило, я встал, кое-как с помощью Хильке удержался на ногах, позволил ей довести меня до двери и даже до лестницы. А отец уже опять кричал: — Может, мне подняться, Зигги? — В голосе его, как я установил, слышалось нетерпение, но не было злости, я крикнул в ответ:

— Иду, иду! — и затопал вниз по лестнице, прямо на него. Он стоял внизу и ждал меня, недовольно поджав губы и заранее вытянув вперед руку; с последней ступеньки он меня стащил и по своему милому обыкновению тотчас поволок через прихожую в узкую, как коридор, контору: значит, опять что-то служебное. Дурнота почти прошла, ничто не вращалось, не летало вокруг меня, я спокойно мог бы пройти даже по щелке между двумя половицами, если бы потребовалось. Но этого ли он от меня хотел?

Отец рванул меня за собой к письменному столу, долго и одобрительно, к моему удивлению, глядел на меня, вдобавок счел нужным похлопать по плечу, тут я всполошился. А когда он еще сказал: — Молодец, Зигги, хорошо все заметил, — я начал ерзать, пытаюсь стряхнуть крабов, которые поползли у меня по спине от вдруг вспыхнувшей догадки. Стоять перед ним смиренно я не мог, я вертелся и так и эдак, наклонялся вперед, стараясь увидеть письменный стол в треугольнике его согнутой в локте и упирающейся в бок руки. — Очень даже хорошо заметил! — повторил отец, на что я быстро и не без дрожи в голосе переспросил — Что? Что хорошо? — Он шагнул к окну, так что мне стал виден стол, и даже, чего вовсе не требовалось, указал на него рукой. — Видишь? — Конечно, я увидел. Ему



незачем было объяснять, что завернуто в зеленовато-коричневую с жирным гляncем промасленную бумагу. Мне лично никаких слов больше не требовалось. — В кабине, — пояснил он, — на полуострове, как ты и думал, под половицами.

Я подошел к письменному столу, погладил промасленную бумагу, она была прохладная и гладкая, взял папку в обе руки и в шутку взвесил.

— Я приподнял половицы стамеской, там валялась, — сказал отец.

— И никого, — спросил я, — никого поблизости не было?

— Не видал никого.

— А доктора Бусбека?

— И Бусбека не видел.

— Тайник, по-твоему, недавний?

— Что значит недавний, — сказал он, — нашли, что искали, это основное. — Он взял у меня из рук папку, положил на письменный стол и, тыча в нее указательным пальцем, велел мне ее развернуть. Я колебался: и хотел и не хотел. — Давай, — сказал отец, — ты мне хорошо помог, за это будешь присутствовать и откроешь сверток. — Он уже протягивал мне раскрытый перочинный нож с черной роговой ручкой, опуская его все ниже на вошенный шпагат. Я даже не попытался развязать бечевку, сберечь ее для себя, приложил лезвие — раз, шпагат с треском лопнул. — А теперь бумагу, — сказал он, — отличную промасленную бумагу.

Я обстоятельно развернул бумагу, высвободил папку и прочел написанное от руки: «Невидимые картины».

— Открывай уж, — сказал отец, — поглядим, что он себе тут позволил. — Он раскурил трубку, поставил ногу на стул, уперся локтем в коленку, то есть принял ту типичную позу краткого отдыха, какую принимают полицейские перед фотокорреспондентами. Я думал о докторе Бусбеке, о нашей встрече в кабине и о его, как мне казалось, недостаточно вразумительном объяснении невидимых картин: «Главное, — сказал он, — невидимо». Но что же главное? — Ну! — приказал отец. — Ну, начинай же!

Как мне описать невидимые картины, если, по словам самого Макса Людвига Нансена, в них все, что ему надо было рассказать о нашем времени, и там честно говорится обо всем, с чем он столкнулся на протяжении своей жизни? Чем под конец обернулось для художника это время и как, оставаясь в рамках дозволенного, он с болью и проникновением его изобразил? Как передать и как смотреть его невидимые картины? Когда даже для видимых недостаточно одной доброй воли. Глаза его проникли в то, во что надо было проникнуть, рука опустила то, что надо было опустить, и всем этим, думается мне, он ведь что-то хотел выразить.

Отец покачивал ногой.

— Давай! — Он ободряюще ткнул меня в бок, прицелкнул языком: — Давай. — И я стал поднимать, следуя заданному им ритму, лист за листом и по его знаку лист за листом переключать — не знаю, чем он руководствовался, но паузы у него получались неодинаковые. Ведь на бумаге очень скупо было изображено лишь самое необходимое, положим, какая-нибудь седьмая доля, все прочее, то есть, надо признать, преобладающая часть, оставалось невидимым. Обнаружил ли что-нибудь отец? Достаточно ли ему было примет, намеков — указующих стрелок, как выразился доктор Бусбек, — чтобы опознать сокровище и его арестовать? Быть может, дар ясновидения помогал ему заполнить пробелы? Неужели даже тому, что опущено, не уберечься от него? Я видел лишь то, что видел, не желал и не желаю видеть ничего другого.

Я видел лопастное колесо, видел, что оно баламутит воду и бурно вращается, воду черного потока без конца и края и без неба в вышине: пусть кто-нибудь попробует догадаться, что же здесь *не* изображено. На другом листе были глаза старика, и только — ни тихой благожелательности во взгляде, ни готовности отвечать. Глаза заставляли предположить ненавистного собеседника, с которым нельзя соглашаться ни в чем. От этого невидимого собеседника можно ждать всего, и всему надо дать отпор. Или одна только

верхняя половинка подсолнуха, бессильно поникший землисто-серый диск с семенами, безлистый, скрюченный стебель и желтый, почти облетевший, но все еще светящийся венчик лепестков; это легко можно бы назвать «Осень» или «Сумерки», если б художник не оставил чистым пять шестых листа. Или дерево, нет, не дерево, а лишь крупно часть ствола, где после окулировки кора вздулась, зловещий отсвет падал на этот участок, припоминая различные оттенки коричневого, тут можно бы рассказать целую историю о том, что подавлено.

Отец не выражал нетерпения, не подгонял меня. Он молчал, ни жестом, ни выражением лица не позволяя догадаться о тех чувствах, которые вызывали в нем невидимые картины. Итак, следующий лист: резная спинка северонемецкого кресла, больше крестов, чем звезд, топорные розы и разорванные полукольца и снова венки, все увенчано, в том числе и подразумеваемая в кресле северогерманская задница. А мундир — очевидно поношенный военный мундир, висевший на гвозде: вы видели дыры, пятна, треугольные прорехи, а может, наоборот, эти дыры и прорехи глядели на зрителя, и мундир неожиданно оборачивался свидетелем, он был чьей-то памятью: эта дыра — от пули, когда бежали, этот вырванный треугольником клочок — от обыкновенной колючей проволоки. Может, как раз опущенное художником и было всего важнее? Или летучая рыба, прозрачная, красиво изогнутая, как конец плетки; или тригонометрический пункт — треугольная деревянная вышка, с которой не мирится равнина; или зацепившийся за небо старинный якорь со штоком, его ржавые цепи, свисая до земли, раскачивались на ветру; или пикирующие ласточки, две огненные стрелы, которые ищут и уже нашли свою цель; или взрывающаяся копна сена, ураган взметает ее и несет на крестьянские дворы, которые угадываются поблизости; или следы на снегу, черные непонятно откуда взявшиеся, тут всякий задумается; или треснувшие кувшины для воды, нанизанные на один шнур; или запрокинутое лицо женщины, ее рот, раскрытый для крика, которого никто не услышит; или изогнутые тени от вант разбитого катера, его, очевидно, выбросило на берег; или свисающие с солнечного диска веревки, из которых легко связать что угодно. Не могу также забыть синий штакетник, пять, а может, всего только три планки с поперечинами, ничего позади и ничего спереди, ни живой души, лишь кое-где чуть оливковый фон, и на этом фоне красноватый отблеск.

Я держал именно этот лист с синим штакетником, о котором, все равно что и об остальных листах, можно сказать очень немного, как вдруг отец вцепился мне в запястье, привлек к себе и спросил:

— Почему ты дрожишь? В твоём возрасте нечего дрожать.

— А разве я дрожу? — ответил я. — Не заметил.

— Уж не от этих ли картин? — Он убрал ногу со стула, повернулся к окну. — И это называется картины, — сказал он, — такое вот вешать на стену и этим весь день любоваться. Невидимые картины, потеха!

Скептически, укоризненно, не с торжеством, а со все возрастающим разочарованием впери́л он взгляд в лежащую на столе папку, и вдруг на лице его отразилась настороженность, будто он почуял какой-то подвох; отец несколько раз прошёлся взад-вперед по конторе, и, лишь вдоволь наглядевшись на развешанные по стенам фотографии и, очевидно, получив от них совет и подтверждение, он скривил рот в усмешке, поманил меня, выставил передо мной свой всезнающий указательный палец и сказал:

— Нет, нас на этом не поймает, Зигги, нас — нет! — Скрыть своего удивления я не мог, но по-прежнему не спускал глаз с его пальца. — Он хотел меня провести, — сказал отец, — провести этой дребеденью, я же знаю, как он обычно пишет. А это, сразу видать, только приманка, чтобы сбить меня со следа. Нарочно подсунули, вот и все.

Решительными движениями он завернул папку в промасленную бумагу, открыл ящик письменного стола и кинул туда сверток.

— Если он думает, что я на этом успокоюсь, то он ошибается, — сказал отец, — особенно теперь, после того как он попытался сыграть со мной такую штуку. Кто-кто, а уж он бы должен, кажется, знать, что можно, а чего нельзя позволить себе с нами, глюзерупцами. Такую чепуху даже в Хузум отсылать стыдно, они там только головой покачают.

— Может, отнести папку обратно? — предложил я.

— Ничего, она и тут есть не просит, — сказал он, — пусть себе лежит в столе. Но почему ты дрожишь? Тебя так и пробирает. Что с тобой?

## Глава XII Под лупой

За сорок сигарет — в моем положении, один на один с воспоминаниями, которым надлежит расцвести в штрафной работе, — как, тут откажешься! Кроме того, Вольфганг Макенрот выглядел нездоровым, во всяком случае, когда он на цыпочках вошел в мою камеру, он показался мне утомленным, возможно даже, его лихорадило, и он покачнулся, когда я стал отряхивать ему пиджак: вероятно, он пришел в слишком близкое соприкосновение с побеленной стеной в большой общественной уборной. У нас почти все стены мажутся. Молчаливое рукопожатие; Уважительный жест, отдающий должное объему уже проделанной штрафной работы, после чего он повернул, не побоимся так выразиться, свое тонкое лицо психолога к окну, посмотрел на волю, где зима снова взялась за Эльбу, хотел было что-то сказать о прекрасном виде, но сдержался и вместо того передал мне привет от директора Гимпеля, с которым он, можно сказать, почти подружился. Гимпель мое письмо получил — сам он, Вольфганг Макенрот, присутствовал при том, как директор его распечатал, пробежал глазами, сел и прочитал еще раз, после чего произнес только: «Принуждение, педагогическое принуждение». Но вместо того, чтобы взорваться или остудить свой гнев музыкой, предпочел — опять-таки по словам Макенрота — выписывать в задумчивости все сужающиеся круги по кабинету, однако не без пользы, поскольку, вернувшись к письменному столу, директор объявил, что принуждением тоже иной раз достигались хорошие результаты. Содержание моего письма он не огласил; тут уж я понял, что на мою просьбу продолжить штрафную работу Гимпель дал согласие, не ограничив срок крещением.

Единственное, что я мог предложить Вольфгангу Макенроту, был краешек койки, но сесть он не пожелал, ему не хотелось задерживаться, его влекло домой, на материк, в свою меблированную комнату в Альтоне, где, по его словам, у него припасены восемь бутылок пива, они обеспечат ему пятнадцатичасовой беспробудный сон. Он переутомлен. Чувствует, что надорвался и — как он, постукивая себя по хребту, пояснил — внутренне опустошен.

Помогает ли он по-прежнему своей хозяйке, северогерманской рекордсменке на бревне, при домашних тренировках, указывая ей на погрешности? Да, по-прежнему, но ему не хочется сейчас об этом говорить. И просит ли его по-прежнему ее муж-крановщик в пятницу спрятать двадцатимарковую бумажку, чтобы не далее как в воскресенье утром потребовать обратно? Да, по-прежнему, но сейчас ему не хочется больше рассказывать. Тогда спрашивается, зачем он вообще пришел, если до того переутомлен, что ни о чем не может говорить, и на этот невысказанный, но витающий в воздухе вопрос на редкость впечатлительный Вольфганг Макенрот не замедлил ответить на свой лад: нерешительно просунув руку во внутренний карман пиджака, он вытащил оттуда сложенную рукопись, положил ее на мою подушку, придавил сверху двумя пачками сигарет и сделал в сторону того и другого — сигарет и рукописи — приглашающий жест: пожалуйста, мол, угощайтесь. Как бы то ни было, он не взял на себя труд сунуть приношение под серое суконное одеяло, своей жесткостью вызывавшее у меня по ночам нестерпимый зуд, и подобная неосторожность доказала мне, что психолог в самом деле «внутренне опустошен». Он и объяснений никаких не стал давать, лишь устало мне улыбнулся и вместо прощания кончиками пальцев коснулся моего плеча. Да, таким вот мог быть Макенрот. Но не всегда был таким.

Если даже вы догадались, все же я должен упомянуть, что оставленная на моей подушке рукопись была частью его дипломной работы — «Искусство и преступление, их

взаимосвязь на опыте Зигги Й.», — незанумерованная глава, с поучительным, во всяком случае удобопонятным, названием: «Раздел Б. Детство и влияние окружающей среды». Итак, он снова ждет от меня заключения, ждет отзыва, остался ли я доволен самим собой. Он подержал свою научную лупу над парнем по имени Зигги Й., а теперь лупа предоставлялась мне — я мог ее держать до тех пор, пока один из нас не вспыхнет под собранным в пучок световым лучом. Что тут нужно делать? И как? Ждет ли он от меня советов? Должен ли я одобрить его труд? Или, напротив, отвергнуть? Я потянул к себе рукопись, закурил сигарету.

Я принялся читать и узнал о себе следующее:

«...Третий и самый младший ребенок в семье сельского полицейского Оле Йепсена. Родился и детство провел в Ругбюле, деревушке на самом севере Германии, неподалеку от датской границы. Со стороны матери предки Зигги — полное имя Зигфрид Кай Иоганнес — зажиточные крестьяне, уже не в одном поколении обрабатывающие собственную землю, в семье отца преобладают — преобладают! — лавочники, ремесленники, мелкие чиновники. В родительском доме, где все шло заведенным порядком, ребенок рос без особых волнений, стадии адаптации протекали нормально. Привязанность, к отцу сочеталась с несколько боязливой любовью к матери. Поскольку брат и сестра — Клаас и Хильке — значительно старше исследуемого, они не могли быть товарищами его детских игр, что побудило мальчика создать себе собственную, населенную живыми существами игровую сферу, в которой, по словам его матери, главенствовали два персонажа, по имени Кэс и Пюх. Они доставляли ребенку много радости, но вызывали у него и страх.

*Значит, Вольфганг Макенрот побывал в Ругбюле, значит, он сумел вызвать их на разговор.*

Несмотря на интенсивность переживаний в игровой сфере, связи детского «я» с внешним миром не были нарушены; равно как остались без видимых последствий, если оценивать реактивное поведение, длительные периоды одиночества, когда ребенок был полностью предоставлен самому себе. По мнению родителей и некоторых опрошенных соседей, исследуемый в дошкольном возрасте производил впечатление очень скромного, тихого, всем довольного, ничем не выделяющегося ребенка и пользовался симпатией всех окружающих. Если что особенно и запомнилось некоторым свидетелям, то это «болезненная» чистоплотность, а также настырность, с какой он выискивал вопросы, ставившие якобы в тупик даже взрослых; кроме того, подчеркивалось рано пробудившееся чувство справедливости, проявлявшееся, в частности, при раздаче лакомств. В свете вышесказанного представляются необоснованными утверждения пожилого соседа, усмотревшего в ребенке уже в раннем возрасте зачатки лукавства и собственнических наклонностей, а также тягу к бесцельным преувеличениям. По общему свидетельству, Зигги Й. с первого дня поступления в школу был лучшим учеником в классе; небезынтересно также отметить, что посещение школы долгое время было для него сопряжено с чувством удовольствия. Нередко мальчик приходил в класс за полчаса до начала уроков; по словам родителей, его никогда не приходилось будить по утрам. Летние каникулы казались ему слишком долгими. Его учитель отзывался о нем как о «маленьком старичке» — отчасти потому, что Зигги Й. не только не участвовал в проказах одноклассников, но нередко даже отговаривал своих сверстников от очередной проделки и находчиво ее предотвращал. Когда школу посещали инспектора, он не раз удостоивался похвалы и даже вызывал удивление. Бывшие одноклассники положительно отзывались о его чувстве товарищества, проявлявшемся в том, что он первым заканчивал классные работы только для того, чтобы предоставить свою тетрадь друзьям.

По рекомендации его классного наставника исследуемый неоднократно выступал в детских передачах гамбургского радио и оставил, по мнению редактора, сильнейшее впечатление в серии передач «Мир глазами детей» и «Отвечают дети». Участвуя в концертах-загадках, Зигги Й. завоевал немало призов. За исключением закона божьего, он одинаково хорошо занимался по всем предметам, однако классный наставник особо выделил его незаурядные способности по рисованию и родному языку, упомянув в этой связи, что

некоторые сочинения даже читались вслух на школьных торжествах. Особенно хорошо получались у него описания картин: описание кораблекрушения, как его изобразил художник Пауль Флейнгус, настолько мальчику удалось, что его работа была послана в министерство в Киль. Если Зигги Й. впоследствии, в глюзерупской средней школе, не всегда выдвигался в первые ученики, то это связано с его наклонностями и деятельностью, которую он развивал вне школы и о которой будет подробно сказано ниже. Но и здесь все в один голос подчеркивают уверенность его суждений, его упорство и его ярко выраженную художественную направленность.

В итоге всех полученных сведений мы имеем основание предположить, что причину раннего одиночества, в котором «оказался Зигги Й., следует искать единственно в его одаренности. Коллектив всегда видит в одиночке вызов, угрозу или элемент разложения и потому уделяет ему чрезмерное внимание, относится к нему с подозрением и в конечном счете преследует его своей ненавистью.

Исследуемый узнал это на своем собственном опыте с той самой минуты, как его начали ставить в пример Одноклассникам; чем чаще это случалось, тем более одиноким становился Зигги Й., и то обстоятельство, что во время классных работ от него ждали помощи, нисколько не мешало его одноклассникам после занятий весьма ощутительно давать ему почувствовать свое превосходство. Судя по воспоминаниям его домашних, мальчику случалось, спасаясь от сверстников, прятаться и только с наступлением темноты возвращаться домой. Одиночеству в школе сопутствовало и обособленное положение мальчика в семье: поскольку брат и сестра были уже взрослыми и круг обязанностей родителей расширился, ребенку, естественно, стали меньше уделять внимания, обращаясь с ним подчас, как со взрослым. Он становится свидетелем разговоров старших, столкновений, полицейских мер и акций. Он участвует в таких действиях, которые, ввиду его восприимчивости, не могли остаться для него без последствий. Посвященный отцом в его служебные дела, Зигги Й. проявлял свою независимость тем, что, если считал себя правым, не принимал или втихомолку саботировал соглашения, которые навязывал ему отец. Когда же мальчик находил, что заслуживает порки, он не только не чинил препятствий экзекуции, но даже облегчал отцу работу, добровольно отдаваясь ему в руки.

Раннюю самостоятельность ребенка нельзя объяснить одним тем, что отцу в условиях военного времени некогда было выполнять все родительские обязанности по воспитанию, у ребенка, несомненно, имелась склонность к одиночеству. С сестрой и братом его, однако, связывала тесная дружба, включавшая со стороны мальчика доверие и безграничную готовность услужить. Быть может, именно эти отношения со взрослыми братом и сестрой позволяли мальчику общаться и с другими взрослыми на равной ноге и охотно бывать с ними.

Все же этим нельзя целиком объяснить отношения, сложившиеся между художником Максом Людвигом Нансеном и Зигги Й., отношения, вызывавшие недоумение у его родителей и так до конца оставшиеся им непонятными. После долгих расспросов выяснилось, что дружба эта возникла в то время, когда Нансен работал над своей знаменитой картиной «Жеребята в грозу»; вначале мальчик оказывал художнику мелкие услуги, но в основном довольствовался тем, что молча сидел рядом и наблюдал, как создаются картины. Соседи с удивлением отмечали, что художник, который прежде, как правило, отказывался работать в чьем-либо присутствии и до оскорбительности грубо обращался с непрошеными зрителями, не только терпел общество мальчика, но в дальнейшем даже искал его. Их часто встречали гуляющими рука об руку. Отец испытуемого не возражал против этой дружбы, тем более что сам, как и Нансен, родом из Глюзерупа и с юности находился с ним в более или менее приятельских отношениях.

Зигги Й. — так же как и его брат Клаас и позже сестра Хильке — служил художнику моделью. Зигги Й. позировал лишь дважды: для «Маленького Чиха» и для «сынишки Сенного черта»; на обоих полотнах он вносит в образы сказочной нечисти что-то милое и даже располагающее. Не подлежит сомнению, что Нансен именно для него сочинил серию

сказок, в которых каждая краска рассказывает историю своего возникновения, равно как оставшаяся незаконченной статья «Учиться видеть» посвящена Зигги Й. Случалось, что Нансен прихватывал для мальчика бумагу и краски и, объяснив тему, предлагал с ним состязаться; соседи иногда видели их вдвоем за работой.

Спасаясь от одноклассников, ребенок не раз прятался у художника в мастерской, как-то его даже заперли там на всю ночь, а однажды на время запретили туда заходить: случилось это после того, как он самовольно подмалевал картину «Нина О. из Г.» — ему будто бы настолько претил лиловый цвет платья, что он изменил его на зеленый.

*Не на зеленый, Вольфганг Макенрот, а на желтый; будем точны хотя бы в красках, со всем остальным, что касается меня, можете для своей дипломной работы расправляться как угодно .*

Отчего у мальчика возникла страсть к коллекционерству, сказать трудно; быть может, она явилась выражением подсознательного соперничества с художником. В потайном месте он собирал и развешивал репродукции картин со всадниками, другой его страстью, было коллекционирование — причем со знанием дела — ключей и замков. Когда это стало известно, нашлись люди, которые усмотрели здесь причину таинственного исчезновения ключей, а в глүзерупском краеведческом музее решили, что наконец попали на след вора, проникшего в музей и странным образом удовольствовавшегося одними лишь замками и ключами. Не лишено основания предположение, что Зигги Й. совершил несколько подобных краж.

Когда в последние годы войны художнику М. Л. Нансену запрещено было писать и вручение приказа, а заодно и надзор за его выполнением были возложены на сельского полицейского Йепсена, для исследуемого наступила пора тяжелого душевного разлада. Привлеченный отцом в помощники и в то же время выполняя поручения художника, связанные иногда со спасением картин, мальчик проявил инстинктивное понимание веяний времени.

*Это можно было бы назвать и по-другому .*

А тут еще разрыв в семье, от которого мальчик очень страдал: его брата Клааса, бежавшего из больницы, самострела, мать, так сказать, отринула, а отец выдал тяжело раненного сына властям. Неизбежным следствием всего этого была отчужденность ребенка от родителей; весьма возможно, Зигги Й. именно тут и убедился, что не питает к ним привязанности.

*Ага, сейчас начнется песенка о смягчающих обстоятельствах!*

Один, без любви, в такое время, когда были поколеблены все нравственные устои...

*Ну, конечно!*

...мальчик рос и видел много такого, что не может пройти безболезненно для ребенка. Шла война, и, хотя Зигги Й. не переживал ее тягот непосредственно, косвенно он испытал ее следствия сильнее, чем многие его сверстники, начиная от временных трудностей с продуктами и кончая соприкосновением со смертью. Но что больше всего тревожило тонко чувствующего, наблюдательного мальчика и — мы вправе предположить — заставляло страдать, была перемена в отношениях между его отцом и художником Максом Людвигом Нансеном...»

Довольно, при всем желании — довольно: свои сорок сигарет я давно отработал. То, что Вольфганг Макенрот здесь обо мне пишет, *тоже* верно, больше я ничего не хочу говорить, да мне и не положено говорить больше. *Тогда же* верно. Значит, по мне, он волен продолжать в том же духе, это никому не повредит, никого не обидит, только если вдруг кто-то явится и спросит о месте и людях, здесь упомянутых, и захочет повидать это место и людей или, чего доброго, надумает с ними пожить, я посоветовал бы ему обратиться еще и к другим источникам. Послушать и другие отзывы. Прочсть и другие описания. Например, о том, как туман сгущается в облака, или об отлете аистов, о нашей памяти и нашей ненависти, о наших свадьбах и зимах. Пусть сажает меня под свою лупу, пусть едет в Ругбюль и расспрашивает тамошних жителей, как умеет, пусть собирает добытые обо мне подробности,

нумерует и накалывает на булавки своей науки, пусть вываривает мое прошлое в студень, дает навару загустеть и этим блюдом сдает экзамены — мне он не поможет.

Я понимаю, какая польза будет ему, но мне он не поможет, я так ничего и не узнаю, обо всем у него слишком бегло, мимоходом, и вдруг неожиданно — конец, А я вот вижу, что ничто не кончилось, ничто не оборвалось, и я хотел бы все снова рассказать, по-другому, в наказание, но, так как Гимпель уже сейчас ворчит и лишь от месяца к месяцу добавляет мне срок на мою штрафную работу, надо продолжать, то есть вернуться назад, к тем годам, слишком многое там еще ждет. Например, меня ждет известие о мире, но до наступления мира была еще целая зима, одна из наших северогерманских зим с тонким снежным покровом и оголившейся кое-где землей, с переполненными рвами и сырým ветром, от которого крошится кирпич и обои отстают пузырями от стен. Вот такая зима.

Снег и дождь шли не переставая, немощные дороги размокли, и их затопило, шлюз не открывался, слишком велик был напор запруженной черной воды. Рвы вздулись, и в неожиданно появившемся течении веером колыхалась засохшая прибрежная трава. Опустели выгоны, по проволоке бежали и отскакивали капли. Если на снегу появлялись следы, то держались они от силы каких-нибудь полдня. Почерневшие, словно лакированные, скособоченные деревья, пустынный пляж, мутное Северное море — кому не обязательно было выходить, сидел дома. В сенях стояли мокрые залатанные резиновые сапоги, и, кому надо было выйти, тот сперва проскакивал под занавесом капель, падавших с переполненных кровельных лотков. Краска винно-красная или серо-белая — стекала со стен, а окна с утра до ночи запотевали. Это была та самая зима, когда Дитте захворала.

Люди нет-нет да и заговаривали о ее болезни, все больше намеками, заслонясь рукой. До меня дошло только, что жену художника мучает палящая жажда, причем я так и не понял, была ли жажда следствием болезни или самой болезнью. Во всяком случае, Дитте в эту зиму без удержу пила все подряд; сок бузины и чай, воду и ячменный кофе, молоко и бульон. Всякую склянку, где что-то плескалось и блестело, всякий наполненный жидкостью сосуд она жадно подносила к губам и, когда ее останавливали, стонала: «Я сгораю, я сгораю». Ничто жидкое нельзя было уберечь от нее. В своем длинном платье из грубой ткани, закинув назад голову, она обходила весь Блеекенварф в поисках питья, не брезгая даже бочкой с дождевой водой. Эта неутолимая, эта слепая жажда словно бы уже наложила свою печать на ее лицо: прекрасное, исхудавшее лицо, в рамке седых волос, казалось, пышет жаром и припухло.

Вызвали доктора Гриппа, врач притащил свой потертый кожаный чемоданчик со старомодными замками в Блеекенварф, сперва он беседовал с Дитте наедине, потом в спальню допустили художника. Мы с Юттой отправились по раскисшим лугам в глүзерупскую аптеку, получили прописанные доктором капли и таблетки, но от них жажда лишь усилилась — приняв капли, Дитте с закрытыми глазами произнесла одно только слово: «Еще!», а запив водой таблетки, она тут же наполнила стакан из умывального кувшина и одним глотком осушила. Художник мало что говорил, большей частью позволял ей пить и только все глядел на нее; зрачки его словно бы сузились, стали маленькими и колючими. Теперь он постоянно держался поблизости от Дитте, а когда отлучался, делал знак Тео Бусбеку, чтобы тот за ней присматривал. Йост починил старый граммофон, но ему не разрешали его запускать; несколько пополнившей Ютте — она всегда зимой полнела — запретили репетировать новые танцевальные па рядом со спальней больной.

Как я узнал, доктора Гриппа больше всего тревожило то, что нестерпимая жажда не прекращалась даже ночью: Дитте по нескольку раз вставала с постели и, если кувшин на умывальнике был пуст, пробиралась на кухню или в кладовую и пила. Ей сделали несколько уколов, но и они, как видно, лишь усилили жажду, и, когда поднялась температура, доктор Грипп предписал постельный режим. Больная сидела в кровати напряженная, судорожно опираясь о подушки и устремив серые глаза на дверь, прислушивалась к чему-то происходившему не в комнате, а далеко отсюда, в прошлом или будущем.

Подчас, когда заходили знакомые поглядеть на нее, подержать ее исхудалую руку или

ободряюще покивать, мне представлялось, я слышу, как сеется что-то, легче, чем дождь, мягче, чем снег, словно это сеялся свет в окне.

У Тео Бусбека было свое постоянное место у изголовья кровати; тщательно одетый, неизменно преданный, сидел он там, когда надо, взбивал подушки, когда надо, приносил прохладительное питье, и, если больная шепотом просила что-то, казалось, только он один понимал ее шепот.

Даже художник не понимал ее так быстро, как Тео Бусбек, который, если к нему приглядеться, производил впечатление человека рассеянного, даже безучастного, но скорее всего он напускал на себя эту рассеянность, чтобы лучше следить за каждым движением и желанием Диттё. Однажды я видел, как художник положил руку на плечо Тео Бусбеку и осторожно похлопал его по плечу, не в знак благодарности, а чтобы его утешить, и мне показалось, что Бусбеку это требовалось больше, чем художнику.

Как-то вечером доктор Грипп, который до того, по щедрости своей природы, предлагал Дитте на выбор целый ассортимент болезней, ясно и определенно установил у нее воспаление легких; конечно, он не отрицает, что кроме того и наряду с этим она страдает и другой болезнью, но что в ее иссохшем теле лютует воспаление легких, за это он готов поручиться. Он даже мог козырнуть историей возникновения этого воспаления легких: Дитте, по его словам, вероятно, схватила простуду ночью, когда босиком ходила из комнаты в комнату по каменным плитам в поисках воды. И он соответственно стал лечить больную от воспаления легких и запретил ей вставать, и Дитте следовала этому предписанию, за исключением одного только раза: однажды она поднялась с постели и достала из комода собственноручно сшитый саван, вышитый пояс и скромный серебряный браслет, который художник сам отчеканил к их помолвке; все эти вещи она аккуратно положила на табурет и настояла, чтобы они всегда были поблизости. Не знаю, правду ли рассказывали люди, но считаю вполне возможным, будто художник как-то ночью вошел в спальню больной, долго и пристально смотрел на жену, потом на минутку исчез и вернулся с блоком для эскизов и углем. Установлено, что он дважды писал Дитте в ту зиму, но по памяти или у кровати больной — неизвестно. Во всяком случае, оба портрета затем появились в альбоме «Двое», посвященном Тео Бусбеку. На одном Дитте лежит прямая и строгая, лицо наполовину затенено, рот требовательно раскрыт, словно она просит напиться — единственное, о чем она еще в состоянии была думать и чего просить. Плоское тело почти не выделяется под одеялом, руки неподвижно вытянуты вдоль туловища.

Дитте умерла в одиночестве. Поскольку доктор Грипп установил у нее воспаление легких, ему не составило труда заполнить свидетельство о смерти. Шел снег, но тут же таял. Агония была, как видно, краткой, по меньшей мере беззвучной, Тео Бусбек, сидя на своем стуле у изголовья кровати, ничего не заметил. Жену художника обмыли, обрядили в саван и вышитый пояс, надели браслет, после чего соседи стали приходить прощаться. Все, кто приходил, должны были смириться с тем, что не останутся одни с покойницей: в глубине комнаты под занавешенным зеркалом сидел художник; Бусбек по-прежнему занимал стул у изголовья кровати.

Итак, соседи явились и выразили, что могли выразить. Хильза Изенбюттель вошла в дырявых галошах, сняла Мокрую косынку, высморкалась, испустила явно не предусмотренный вопль, кинулась к двери и тем закончила свой визит. Старый Хольмсен из Хольмсенварфа еще в дверях стал быстро творить молитву, но рук не сложил, а крутил за поля отсыревшую шляпу, крутил примерно на уровне груди и по часовой стрелке, а когда кончил, подошел к покойнице, взял ее руку, приподнял, осторожно положил обратно и, покачивая головой, направился к художнику, обменялся с ним взглядом, но руки не подал.

Учитель Плённис, напротив, сперва подошел к художнику и пожал ему руку, потом описал хорошо рассчитанную дугу, с исключительным чувством пространства приведшую его точно к изножию кровати; там этот человек, сам едва спасшийся от смерти — его дважды контузило за войну, — повернулся к Дитте и чопорно отвесил ей короткий поклон. Птичий смотритель Кольшмидт только, так сказать, заглянул в комнату, кивнул художнику, бросил



взгляд на покойницу и с превеликой готовностью уступил дорогу фрау Хольмсен из Хольмсенварфа, которая еще до того, как подойти к кровати, бросилась на колени — она, очевидно, не рассчитала — остающийся кусок проделала на коленях, схватила руку покойницы и вдруг затряслась в истерических рыданиях, которые длились ровно столько, сколько ей хотелось.

Тем не менее ее плач убеждал, громкие всхлипывания были безупречны, а удалилась она, покачивая головой, как ее муж. Капитана Андерсена — его привез в своей пролетке инспектор плотин Бультьоганн — было слышно еще во дворе, он ругался, что Дитте выбрала такую мерзкую погоду, чтобы умереть: «Уж и не могла молодка подождать до весны!» Поскольку в его возрасте ему нельзя было падать, и если бы он упал, то не поднялся бы без посторонней помощи, его ввел в дом инспектор Бультьоганн, всячески старавшийся настроить фотогеничного старца с серебристой бородкой веночком и шелковистым пухом на висках на скорбный лад. А тот в свои преклонные годы не желал скорбеть. Неловко переступая на нестигающихся ногах, пуская слюни и оставляя лужицы на полу, вошел он в тихую спальню и, моргая, спросил:

— Где же она, наша молодка? — увидел покойницу, кое-как доковылял до нее, неловко погладил по щеке и прошамкал: — Нет бы подождать до весны! — А художнику, на которого ему указали, он сказал: — И ты, сынок, не больно торопись.

Следует еще упомянуть моего дедушку Пера Арне Шесселя, крестьянина и краеведа, он бережно внес свое сухое, брюзгливое лицо, будто на шесте, остановился посреди комнаты, поднял голову и закрыл глаза. Он изображал взволнованность и намешал себе эдакую суровую скорбь, для чего медленно опустил руки и на высоте паха вложил одну в другую. Лучшее всего удалось ему выражение мрачности, которое получилось у него единственно за счет уголков рта; прежде чем удалиться, он с преувеличенной беспомощностью развел руками и достаточно явственно их уронил. А Гудрун Шессель? А ругбюльский полицейский? О них нечего сказать, потому что в Блеекенварфе они не появились.

То думали идти, то передумывали; Окко Бродерсену они обещали быть, но во время сборов неожиданно явились гости из Хузума, лютом долго судили и рядили за завтраком, но в последнюю минуту отец покачал головой; они выясняли, что подумают об их появлении соседи, и, хотя соседи, как их уверили, ничего бы не подумали, хорошо взвешенное, не раз обсуждавшееся и наконец решенное посещение Блеекенварфа не состоялось. Так они и не увидели лица мертвой Дитте, теперь уже опавшего лица, на котором, может быть, оттого, что она избавилась от неутолимой жажды, помимо строгости, появился еще как бы отсвет слабой улыбки. И кто знает, пошли бы они — в данном случае имеются в виду все мы из Ругбюля — на похороны, если бы Пер Арне Шессель соответствующим образом их не обработал за ужином, ибо, разумеется, мой дед так подгадал свое посещение Блеекенварфа, чтобы попасть к ужину или, скажем прямо, нагреть нас на ужин.

Стало быть, на стол подали корейку с тушеной кислой капустой и две полные миски картофеля, но краевед потребовал для себя лично еще соус из шкварок, которым полили капусту, и, пока мы смотрели, как он заглывает еду, чавкает, перемалывает и набивает рот, Пер Арне Шессель доказывал нам, почему мы непременно должны быть на похоронах:

— У гроба всякая рознь... Смерть — она всех... Кто уходит из этого мира, не должен... нельзя уносить в могилу... Худой мир лучше доброй... Проводить в последний путь... Долг живых в том, чтобы... И кто уклонится от этого долга, того наверняка, будь он даже полицейским... — и так далее.

Ел он с большим аппетитом, говорил долго и под конец произнес незабываемые слова:

— Не всегда семья отвечает за каждого. — Когда он ушел, наше присутствие на похоронах Дитте было делом решенным.

Похороны пришлось на Субботу, панихида была назначена на двенадцать часов. Это были первые похороны, на которые мне разрешили пойти, и я с таким нетерпением их ждал, что в ночь перед похоронами мне приснилась Дитте: будто мы вдвоем с увлечением делаем холмик, крутую горку из пирога с крошкой, тащим вверх мешки с сахарной пудрой и

высыпаем на склон, а потом будто мы поднялись туда с санками и помчались вниз, так что дух захватывало. И вдруг санки опрокинулись, и мне в рот набилась земля, она была сладкая. Но вообще Дитте хорошо правила санками, крепко меня обняв, она уверенно лавировала между ольхами, а стволы ольх были покрыты глазурью. Ветер развеивал наши шарфы.

В утро похорон я был готов раньше всех и с нетерпением поджидал отца, но ему все, что бы он ни надевал, не нравилось: сначала он обрядился в форму, затем мрачно напялил старомодный черный костюм, еще на свадьбе резавший ему под мышками, а теперь и подавно, и в конце концов, с облегчением кинув штатское на кровать, облачился в парадный мундир, в котором, как когда-то удачно заметил Клаас, очень походил на павиана, по случаю воскресного дня получившего разрешение нарядиться в мундир служителя зоопарка. Он выглядел не одетым, а ряженым, каким-то сфабрикованным, искусственно созданным, и если можно было многое сказать о том, как обычно сидели на нем брюки, то в парадном мундире его вислый зад просто не поддавался описанию, это надо было видеть. Сам мундир все же как-то сидел, поскольку портной в расчете на возможные изменения припустил и на рост и на толщину.

Энергичным жестом вытянув руки по швам, отец предстал на суд матери:

— Ну как, Гудрун, как, по-твоему, сойдет? Могу я в таком виде показаться?

Гудрун Йепсен равнодушно его оглядела, сглотнула растворенный в воде успокоительный порошок и выразила свое одобрение тем, что промолчала, затем в свою очередь подошла к раскрытой двери платяного шкафа с вделанным в нее зеркалом, чтобы в который раз одернуть черное шелковое платье, еле налезшее на шерстяную нижнюю юбку и толстое шерстяное трико. Они могли бы провести весь день, наряжаясь на похороны, если бы, к счастью, не наткнулись на нечто, отвлекшее их от забот о собственном туалете: они обнаружили меня. Почему на мальчишке нет черных чулок? И как это без шапки? Мокрый не мокрый снег, все равно вести ребенка в резиновых сапогах неприлично. Если уж надевать шарф, то пуховый. А кальсоны? Какие на нем кальсоны? Покажи ногти. К парикмахеру? Ну, к парикмахеру ты и сама могла бы его послать — так оба они накиннулись на меня, шупали, теребили, обряжая всяк по-своему, но к одиннадцати часам поняли, что должны были раньше обо мне подумать.

— Пусть остается как есть, Гудрун, — с обидой в голосе произнес отец, после чего они влезли в пальто, набросили накидки, и мы двинулись все вниз, где нас дожидалась, надо признать, очень взволнованная Хильке. Ее волнение совсем не подходило к черным чулкам, черным галошам и черному суконному пальто. Размахивая подаренными к рождеству лайковыми перчатками, она хлопала себя по ладони, хлопала воображаемых мух на вешалке.

— Что-нибудь случилось? — спросил я, на что Хильке — не просто так, а именно в ответ — хлестнула меня перчатками по затылку и вытолкнула из дому на снег и дождь. Над Северным морем надвигались новый снег и новый дождь, с утроенным гулом на нас шла обложившая полнеба темная туча, волоча за собой белесую пелену. Ветер сразу же испытал нашу устойчивость, налетел на нас сбоку, забрался было под пальто, но, так как мы их наглухо застегнули, занялся накидками. Держать курс при таком ветре и такой скользине, могу вас уверить, было нелегко, но и стоять, поджидая отца, который, разумеется, что-то, как всегда, забыл дома, было немногим легче.

Наконец мы тронулись в путь, я с Хильке впереди, а чета Йепсен, безмолвно и под руку, примерно в пяти метрах за нами — весьма приметный семейный конвой, который, миновав кирпичную дорожку, поплыл по затопленной грунтовой дороге, пересек бревенчатый мостик и двинулся напрямик через поле в сторону Рипенского кладбища, имеющего отношение не к одноименной деревне Рипен — такой деревни вообще не существует, — а к Глюзерупу.

Если бы в ту субботу над нашей местностью появился самолет, глазам летчика предстала бы следующая картина: к небольшой, обнесенной живой изгородью площадке, которую гравиевая дорожка будто пробормом разделяла на два прямоугольника, с разных сторон поодиночке и группками стекались люди, одни, слегка отклоняясь назад, шли по ветру, другие то правым, то левым галсом, третьи, низко наклоняясь, перли прямо ветру в лоб,

они двигались по грязному и все более темневшему снежному полю, встречались у мостков и деревянных мостиков, переброшенных через рвы, скапливались там, мимоходом приветствовали друг друга и уже более многочисленным и упорядоченным потоком устремлялись к ровной и, несомненно, искусственно насыпанной возвышенности, где стояло одно-единственное высокое и длинное строение из красного кирпича. Затем летчик, вероятно, обратил бы внимание на странную одинаковость движений: все торопились, но, соблюдая удивительную дисциплину, никто не бежал к открытым воротам, перед которыми остановились две машины, третья была в пути. Перед воротами новое, еще большее скопление народа, тут уже здоровались обстоятельнее, даже отставляли то, что несли в руках — у многих было что-то в руках, — сходились для разговора, втаскивали друг друга под зонтики. С воздуха многое можно было разглядеть, но, конечно, далеко не все.

Когда мы встретились с Хольмсенами, с Хиннерком Тимсенем, Хильдой Изенбюттель и Окко Бродерсеном — в мундире почтальона, — отец шепнул нам: — Держитесь вместе, а ты смотри, если мне нажалуются, — после чего им завладел хозяин «Горизонта» и так настойчиво и многообещающе его в чем-то убеждал, словно предлагал ему участие в деле, которое опять надумал открыть: — После войны, Йенс, — все повторял он, — конечно, только после войны. — Хильке натянула перчатки не до конца, и я крепко схватился за пустые прохладные кончики пальцев и держался возле нее, да я и без отцовского приказа никуда бы не отошел, такой она казалась мне сегодня красивой. Черное ей шло. Чем ближе к кладбищу, тем волнение ее возрастало, она озиралась, хотела кого-то увидеть или чтобы ее увидели, из-за этого иной раз попадала в лужи и забрызгала себе ноги; до самых чуть полноватых подколенок ноги Хильке были забрызганы грязью. И не только у Хильке, почти что у всех чулки и низ брюк были в грязи, у Окко Бродерсена штаны были заляпаны доверху, отец еще сравнительно легко отделался, вероятно, благодаря своей походке.

Люди все подходили и подходили, и со всеми надо было здороваться: Карл Вильгельм Бюнинг и Йенс Лампе, Хедвига Струве, которую все иначе не называли, как матушка Струве, Анкер Бюльк и Детлев Хегевиш, слишком быстро вытянувшиеся сестры Гирлинг, инспектор плотин Бультьоганн и учитель Плённис, фрау Зельринг из поместья Зельринг на своем норовистом мерине, Йап Лейхсенборн и Пауль Флеивдус, два друга-художника из Глюзерупа — их излюбленные темы: психологические портреты и драматические морские сцены, — вдова штудиенрата Бойзиена и скрюченный подагрой столяр Хэк, который делал Гроб для Дитте.

Никто бы не подумал, что у нас здесь живет столько народу, и все это валило, теснилось к кладбищу, нарушая обычное безлюдье. Вот бы брали плату за вход! Люди толпились на главной аллее, черными группками стояли у Оползавших могильных холмиков, сгрудились и перед унылой часовней и за ней, под ольхами, с которых капало, и возле живой изгороди, которую обшаривал ветер. Капитана Андерсена было не видеть и не слышать, зато Ютта была здесь, бледная и все примечающая, и с ней тучное чудовище, его запихнули в темный и, надо надеяться, колючий вязанный шерстяной костюм. У нас было хорошее место перед часовней, но постепенно нас оттеснили на боковую дорожку, а там было всего несколько голых могил, в головах которых торчали из глины облупившиеся деревянные кресты; имена на крестах были все иностранные. Три-четыре вороны подлетели было к кладбищу, но вовремя свернули, а больше никаких птиц не показывалось. Ни белобровиков, ни сорок, ни вьюрков, ни даже синиц. Хильке потащила меня мимо рядов могил к живой изгороди из молоденьких туй, мы продрались через нее и снова очутились, хоть и втиснутые со всех сторон, перед часовней, на которой вырезанный из жести флюгер в виде петуха так придавило ветром на сторону, что петух, казалось, что-то напряженно высматривал, будто искал червей.

А художник? Художника я не обнаружил, так же как и Тео Бусбека, вероятно, оба сидели уже в часовне, которую все не открывали, не знаю почему; во всяком случае, стоявшая перед нами женщина, сильно смахивавшая со спины на подгоревший кирпич хлеба, заметила сухопарому гиганту с подгибающимися коленями:

— Если мы еще долго тут проторчим, следующая на очереди буду я.

Все, кто стоял поблизости, пусть негромко, с ней согласились, один лишь гигант с подгибающимися коленями, который все сверху видел и на такой высоте, очевидно, недурно проводил время, казалось, не расслышал; его, кстати, звали Феддер Магнуссен, и ему, если не ошибаюсь, принадлежала глюзерупская верфь.

Поскольку в мои намерения не входит награждать чахоткой ни женщину-кирпич, ни всех трясущихся от холода провожающих, я просто предоставляю кладбищенскому сторожу Фенне, у которого всегда воняло изо рта на версту, открыть выкрашенную суриком дверь часовни, закрепить створки резной двери с железным засовом и так наклонить голову, чтобы всякий счел себя приглашенным войти. И вот мы протиснулись в часовню и впихнулись в слишком узкие и чересчур высокие скамьи.

Тут я обнаружил художника и доктора Бусбека, они сидели в первом ряду у самого прохода; оба уставились на гору цветов, из-под которых тут и там поблескивало дерево, покрытое коричневым лаком. Пламя свечей беспокойно колыхалось на сквозняке. Пастор Бандикс стоял у алтаря и, по-видимому, разглядывал собственные ногти. Пахло грибами — лисичками и шампиньонами. Хильке сняла лайковые перчатки и все мяла и комкала их, не решаясь поднять еще недавно такой оживленно-предприимчивый взгляд. А у меня онемели ноги, как на скамьях у деда в Кюлькенварфе. И чего они не закроют дверь?

Многие оборачивались, и я тоже обернулся к двери, которую кладбищенский сторож Фенне с удовольствием бы закрыл, однако же не закрывал, потому что провожающие, не поместившиеся в часовне, не желали оказаться перед запертой дверью и достаточно громко давали это понять. Итак, дверь осталась открытой. Фенне подал пастору Бандиксу знак, и тот поднял лицо в очках с толстенькими стеклами, осмотрел потолок и распростер руки. Мы встали на молитву, сели и тут же снова встали, чтобы спеть «Когда придет мой смертный час». Хильке пела с воодушевлением, в верхнем регистре и даже ни разу не заглянула в текст, и художник пел, и сидевший в трех рядах от него отец, одна только мать не пела.

— Во всех делах своих, — так начал пастор Бандикс, — я уповаю на божий промысел, — и, после того как все сели, обосновал, почему он так поступает.

Он обрисовал полководца, разумеется могущественного, разумеется хитрого, человека, который успешно воюет и потому богат, ему уже, так сказать, принадлежит половина земного шара, полмира — как выразился пастор Бандикс. Но будь то мир или земной шар, этот полководец, чья личность так и осталась невыясненной, с каждой победой и с каждым завоеванием становится все мрачней, а однажды в присутствии гонца, принесшего ему весть о новой одержанной его именем победе, он даже впадает в глубокую тоску, просто оттого, что, как вы уже, вероятно, догадались, с каждым новым, завоеванием возможность дальнейших завоеваний все уменьшается.

Всякий поймет, что полководец не спешит с покорением последних, еще не завоеванных стран, но, как он ни хитрит, оттягивая последние победы, наступает день, когда весь земной шар принадлежит ему — весь мир, как выразился пастор Бандикс. Но будь то мир или земной шар, полководец, совсем упав духом, беседует со своими астрономами, и те, оказываясь, способны начертать несчастному путь к новым радостям: они советуют ему развлечения ради завоевать неисчислимые небесные пространства. Полководец воспрял, план этот настолько его увлекает, что, уверенный в победе, он грозит всевышнему отнять у него неисчислимые небесные пространства, однако до этого дело не доходит, поскольку всевышний со своей стороны считает, что полководец достаточно нахватал и должен потому готовиться к смерти. Но полководца такое известие никак не устраивает, он всячески против. Как выразился пастор Бандикс, в своем ослеплении он восстает и дает знать всевышнему, что он, то есть его несметная стража, попросту не допустит к нему смерть. И вот полководец поражен, когда в первый же вечер смерть неслышно входит в его палатку, он вступает с ней в разговор и просит дать ему еще один, последний шанс; смерть соглашается. Тогда он велит оседлать лучшего в мире коня и скачет в свое отдаленное ливанское владение с выходящим на море садом, и кто же ожидает его в саду? Вот именно — и смерть просит извинить ее за преждевременный приход, а затем предлагает полководцу следовать за ней. Полководец

повинуется, и на этом последнем пути на него даже находит этакое пренебрежительно-наплевательское и вместе с тем безмятежное спокойствие, — как выразился пастор Бандикс: тихое просветление нисходит на его душу — теперь он знает в точности цену своим завоеваниям и покоряется высшему промыслу.

Тут пастор Бандикс выдержал паузу, строго и бесстрашно обвел взглядом траурное собрание слева направо, от первого до последнего ряда, и, когда рука его взмыла кверху и указательный палец устремился к какой-то точке позади меня, я невольно оглянулся и увидел за собой два матово отливающих кожаных пальто, сидящих рядом с симметрично согнутыми под углом рукавами, будто на витрине магазина готового платья.

— Но любовь, — воскликнул пастор Бандикс, — любовь пребывает вечно! — после чего опустил указательный палец на гору цветов, под которой лежала Дитте, подождал немного, но, так как ничего не произошло, убрал палец, кивнул художнику и обратился к Дитте со вступительными словами: — И вот твой путь окончен. — Он выдержал паузу. Послышались всхлипывания и сопение, а также глухое подвывание, напомнившее мне рев сирены в туман, должно быть, его издавала матушка Струве. И с мягкостью, в которой он не видел надобности на уроках закона божьего, пастор Бандикс бегло остановился на важнейших этапах жизни Дитте.

Он вновь обратил ее в девочку, белое платье и белые туфли с пряжками, тихий просторный особняк во Фленсбурге, не оставайся долго в саду, не ходи к морю, побереги голос, детка, кричат ей вслед мать и бабушка, сейчас придет профессор Цигель, улыбающийся, важный учитель пения в сюртуке; сидя за слишком высоко настроенным роялем, он усердно наставляет свою ученицу, в конце кондов, ему платят немалые деньги за урок, да и его, как и все общество маленького городка, неизменно хватает за душу, когда маленькая девочка выступает с маленькими песенками в зимние вечера вместо десерта. И почему только хрупкая, утомленная девочка навсегда не осталась маленькой, спрашивал я себя, зачем пастору Бандиксу потребовалось дать ей вырасти, послать ее в консерваторию, заставить петь заглавную партию в «Проданной невесте»? Но он продолжал взбираться по ступеням ее жизни, упоминул о провинциальных подмостках, дружбе с композитором Фридрихом Дреусом, писавшим для молодой певицы ноктюрны и арии, постоянную заботу о брате-калеке, пока наконец на сцене не появился Макс Людвиг Нансен, первая встреча на почте, перед выплатным окном, где в ответ на их вопрос — они, впрочем, этого ждали — почтовый чиновник лишь покачал головой, что одному, что другому, однако на кофе денег еще хватило, а неделю спустя они рассылали нарисованные от руки извещения о помолвке. Упомянул о свадьбе, на которой не присутствовали родные, отказ Дитте от артистической карьеры и годы стойко перенесенной нужды и непризнания. И как естественное следствие — болезнь, молодая женщина носит затрапезные платья и рано старится, словно бы все это я уже где-то читал, — конечно, по ночам оба кашляли, но говорить об этом не говорили, — так или иначе, она переносит кочевую жизнь и случайные пристанища с такой же выдержкой и спокойствием, как впоследствии пору почета и славы, что пастор Бандикс отнес к «Взлетам и падениям явленной нам жизни художника».

— Ты была для него, — обратился он к Дитте, — тем, что все ищут и редко кто находит: спутницей в переломное время, утешительницей в пору ослепления, другом в годы одиночества.

Всхлипывания усилились, вторая сирена, снаружи, ответила матушке Струве сдавленным воплем, меж тем пастор Бандикс добрался до высшей точки краткого жизнеописания и заговорил о счастье, «счастье общности», которое не может не оставить следов в этом мире, пусть даже темные силы — он в самом деле сказал «темные силы» — пытаются вытравить эти следы. Со словами «Видишь, и ты жила не напрасно», закончил он свою речь и предложил нам помолиться, а потом еще раз спеть.

А когда мы помолились и спели, кладбищенский сторож Фенне ввел в часовню шесть носильщиков, все как один старики с потрескавшимися руками и черной морщинистой шеей, и мы следили за тем, как они стали убирать цветы и венки. Художник и Тео Бусбек первыми

двинулись за гробом? затем Ютта и Пост с пастором Бандиксом, потом незнакомые мне женщины из Фленсбурга, а за ними уже в шествие втискивался каждый, кто находил место или кому удавалось штопором вывинтиться с тесных церковных скамей, как Хильда Изенбюттель и фрау Хольмсен, отец намеренно не спешил, он примкнул лишь к последней трети процессии, забрался в самую гущу и, словно ему этого показалось мало, держал лицо опущенным, чтобы не привлекать внимания или по крайней мере не сразу быть замеченным; еще более неприметно вели себя только оба кожаных пальто, скромно пристроившиеся в самом хвосте. Помню лицо художника, когда он проходил мимо нас: плохо выбритое, бледное, все примечающее, стянутое от холода.

Я оставил Хильке, опередил похоронную процессию, обогнув ее слева, и почти одновременно с носильщиками оказался у ямы, покрытой по краям досками и вовсе не такой глубокой, как я себе представлял; на глинистом дне стояло немного воды — не почвенной воды, просто растаявший снег. Из стенок торчали беловатые корни, которые рассекла лопата, а что все Рипенское кладбище насыпное, легко было узнать по верхнему слою песка и глины глубиной всего в каких-нибудь полтора метра; снизу земля была черно-коричневая, рыхлая, хоть торф режь.

Художник взглянул на меня, я поздоровался, но он не ответил; он поддерживал доктора Бусбека, того, казалось, тянуло книзу мокрое драповое пальто, его чересчур большие калоши разъезжались по глинистому грунту. По знаку Фенне носильщики поставили гроб и пропустили под него веревки, концы они держали в руках, чтобы, как я понял, понемножку стравливать, но, прежде чем они опустили гроб, пастор Бандикс простер руку над могилой, кисть его расслабленно реяла, как лист на ветру; он благословлял гроб, рука все трепетала и трепетала в воздухе, и, лишь приступив к молитве, он ее уронил. После молитвы носильщики, упершись в глиняный край ямы, приподняли гроб и медленно опустили в могилу, а художник обнял Тео Бусбека за плечи и привлек к себе, так что вместе они образовали как бы треугольник.

Непредвиденный инцидент. Истерика? Картинный обморок у разверстой могилы? Как все это ни напрашивается, я вынужден отказаться от подобных эффектов, не вправе я также цитировать клятвы, прощальные слова, бессмысленные восклицания, которые часто слышишь у открытой могилы, особенно в дурную погоду, ибо, после того как гроб Дитте скрылся в яме, художник и Тео Бусбек бросили вслед по горстке песка и стали у конца живой изгороди, так чтобы всякий, бросивший за ними горсть песка на гроб, непременно должен был пройти мимо них. Многие нагибались и, хотя рядом лежал наготове совочек, рукой загребали песок, который сыпался струйкой или, если в песке попадались комки, глухо барабанил о гроб, после чего каждый пожимал руку художнику и доктору Бусбеку и говорил несколько слов, а то и не говорил.

Я дождался, пока очередь не дошла до Хильке, втиснулся за ней, кинул вниз, на Дитте, две полные пригоршни песка и по примеру сестры пожал руки обоим мужчинам. Отец тоже стоял в очереди; съездившись между Бродерсенем и Бультьоганном, он подвигался к могиле, дважды бросил по горстке песка и направился — никогда не забуду это сухое лицо, настроенное на кисло-сладкую нейтральность, — к художнику, встретившему его тем же невозмутимым, все примечающим взглядом, что и всех других. Казалось, здесь ничто не назревало, ничто не могло произойти. Казалось, все ограничится кратким рукопожатием, но назовут ли они друг друга по имени со слегка вопросительной интонацией: — Макс? — Йенс?

Однако, когда художник сжал руку полицейского и задержал ее в своей дольше, чем руки других, можно было догадаться, что у него возникла какая-то мысль, что ему захотелось от чего-то освободиться, сейчас, в эту минуту, когда все к нему устремлялись, чтобы выразить свое участие.

— Ты потом зайдешь, Йенс? — тихо спросил художник, и так как отец, очевидно ждавший этого вопроса, поспешно ответил «Нет»: — Мне надо тебе кое-что показать.

Отец в знак того, что это его не больно интересует, пожал плечами:

— Что там у тебя такое?

— Последний портрет Дитте, — произнес художник без ненависти, скорее с оттенком презрительной фамильярности. — Если зайдешь, Йенс, я тебе его покажу.

После этого ругбюльский полицейский счел излишним подать руку Тео Бусбеку; поджав губы, он повернулся и стремительно зашагал к центральной аллее кладбища, где в одиночестве ждала его супруга, подхватив ее под руку, потащил за собой и вдруг вспомнил о нас, вспомнил так внезапно, что, резко поворачив, рванул за собой мать, заставив ее дважды поспешно переступить. Да-да, мы тут, мы уже идем, я послушно бежал возле Хильке, держась за ее пустую перчатку. На этот раз старшие шли впереди, молча, изредка торопливо и рассеянно здороваясь, и беглый шаг ругбюльского полицейского был признанием всей глубины нанесенного ему только что оскорбления. Он не вступал в разговоры ни перед часовней, ни у кладбищенских ворот, а на вопрос капитана Андерсена: «Уже все кончено?» — коротко кивнул, даже не остановившись, чтобы сказать слово старику, которого только что привезли в пролетке и разворачивали из плета.

Беглым шагом через мостки и мостики, все время напрямик полями, по залитым лощинам, подлезая под прясла; и снова ветер переменялся, опять дул в лицо, как это сплошь и рядом случается у нас. На заснеженной насыпи под обнаженными ольхами стоял Блеекенварф, там на раздвинутых столах был накрыт кофе, правда, желтые башни испеченных Дитте пирогов с крошкой не громоздились на белоснежной скатерти, но песочные кексы, ореховые торты и тому подобное ожидало гостей на столах и приставных столиках. Женщины из Фленсбурга позаботились об угощении, подумали они и о нас, детях, сколько радости доставят нам пироги, но отец, когда мы поравнялись с Блеекенварфом, даже не глянул в ту сторону. Наклонившись и выставив плечо против ветра, мчался он перед нами до самого шлюза, а тут вдруг повернулся, повернулись за ним и мы, поверив на какой-то миг, что он пойдет обратно, что, передумав, все же отбуксирует нас в Блеекенварф, куда теперь с кладбища направлялась разбившаяся на одиночки, пары и группки процессия.

Но он всего лишь отвернулся от ветра, чтобы утереть слезящиеся глаза, а потом зашагал дальше, к кирпичной дорожке и к дому. Сколько всего хотелось спросить и как хотелось каждому поделиться, едва за нами закрылась дверь, но отец с ожесточением стал разжигать печь, он ковырял кочергой, дул, подкладывал, давая этим понять, что обмениваться впечатлениями не расположен. Правда, со мной он все же заговорил, дал поручение: только мать и Хильке вышли из кухни, он послал меня наверх за служебным мундиром, и, в то время как печь дымила на весь дом и по кухне, все заволакивая, плавали колеблющиеся пласты дыма, он стал переодеваться. Какое облегчение! Какая благодать! И какая перемена в настроении: он, казалось, оттаивал с каждой вещью, которую снимал и бросал на кухонную скамейку, он даже повеселел и, когда в кухонную дверь постучали, крикнул не просто «войдите», а:

— Войдите, если не шутите!

Хорошо помню, что он стоял в исподнем, когда вошел Окко Бродерсен, помахал рукой в виде приветствия и сразу направился к столу, вытащил часы и положил их перед собой, давая этим понять, что он установил себе срок — хоть и не известно, какой срок, — для посещения. Почтальон сел. Конец пустого рукава был у него засунув в карман. Окко поглядел на часы, на отца и снова на часы. Вероятно, он, как и мы, шел напрямик полем.

— Сегодня ты ведь не с почтой, — сказал отец, он стоял на скамеечке и собирался надеть брюки.

— Сегодня нет, — ответил почтальон. — Сегодня я сам кое за чем пришел.

— За чем это?

— За тобой! — Отец, натягивавший правую штанину, покачнулся, опустил брюки, затем поднял левую ногу, нацелился на темное отверстие, опять опустил брюки, при второй попытке энергично и с успехом сунул ногу в левую штанину, подпернул над коленями и на заду закрутившуюся вокруг икр ткань, чем и решил единоборство с брюками в свою пользу.

По какому же адресу ты хочешь меня доставить? — спросил он сверху вниз.

— Все собрались в Блеекенварфе, — сказал Бродерсен, — нам будет тебя не хватать. Никто меня не посылал, просто я считаю, что нам будет не хватать тебя, пошли, Йенс.

Отец поправил резинки на носках и рукавах, натянул и с шумом отпустил.

— Пусть лучше кого-то не хватает, чем окажется кто-то лишней, — ответил отец.

— Вы могли бы друг с другом потолковать, — сказал Бродерсен.

— Мы только что толковали, — буркнул отец, — что надо было сказать друг другу, уже сказано. — Он спустился со скамейки, подошел к зеркалу над раковиной и, расставив ноги, завязал галстук.

— В такое время, — продолжал Бродерсен, обращаясь к его спине, — кто знает, сколько оно еще протянется, да еще в такой день. Вы бы лучше себя спросили, к чему идет дело: долго ведь это уже наверняка не протянется.

— Окко, — сказал отец, — я ничего не слышал, и, если ты хочешь знать, меня не интересует, выгадает ли человек от того, что выполнит свой долг, будет ли ему от этого польза или нет. До чего мы дойдем, если всякий раз станем себя спрашивать: что из этого выйдет? Долг — его не выполняют по настроению или как подсказывает осторожность, надеюсь, ты понял меня. — Он надел мундир, застегнул на все пуговицы и подошел к столу, за которым сидел Бродерсен.

— Бывали случаи, — раздумчиво произнес старый почтальон, — когда бог миловал как раз тех, кто вовремя не выполнил своего долга.

Такие и никогда-то его не выполняли, — сухо возразил отец.

Окко Бродерсен встал, спрятал часы и пошел к двери, взявшись за ручку, он обернулся и спросил:

— Значит, не пойдешь?

Я понял, что отец в уме что-то прикидывает, он не ответил, дал почтальону повторить свой вопрос, но и после того ему потребовалось время, чтобы решить. Наконец он сказал:

— Обожди, пойдем вместе, — и исчез в своей конторе.

— Ты все растешь, — обратился ко мне почтальон, когда мы остались одни, на что я примерно ответил:

— А ты все стареешь.

Сестрице Хильке — она вошла поставить варить картошку — он сказал:

— Скоро опять принесу тебе хорошее письмо, не из Голландии, так из Бремена.

На это обещание Хильке оставалось лишь улыбнуться:

— Но я никакого письма не жду.

— А те, что не ждешь, всех лучше, — сказал Бродерсен, и видно было, что присказка эта не сегодня пришла ему в голову.

Отец вернулся одетый по-уличному, в мокро поблескивающей накидке на плечах, в фуражке, брюки он заправил в высокие резиновые сапоги.

— Так пошли, Окко, — сказал он, — я готов.

— Ты уходишь? — удивилась Хильке.

— Я в Блеекенварф, — сказал отец, — надо на минуту заскочить в Блеекенварф.

— Я поставила картошку, — заявила сестра, это всегда звучало у нее угрозой.

— Только кое-что вручить, — добавил полицейский, — много времени это не займет.

— А если мама спросит?

— Скажешь, я понес в Блеекенварф уведомление о штрафе, к ужину вернусь.

## Глава XIII Естествоведение

Тетьюс Пругель лупил проворнее и с несравненно большим эффектом, чем другие учителя. И поскольку особенно свирепо он лупил за невнимательность, а отнюдь не за лень,



непонятливость или глупость, никто в классе не осмеливался смотреть на оконные стекла, которые с самого утра сотрясались от далеких взрывов, так же как никто не решался следить за мчащимися на бреющем полете самолетами, что со стороны моря выскакивали из-за дамбы, у гудронированного шоссе делали крутой разворот — причем становился виден английский опознавательный знак — и уходили в направлении Хузума. Когда рев моторов пресекал его речь, Пругель саркастически возводил глаза к потолку и ждал, пока шум не утихнет, а затем, без труда подхватив оборванное предложение или даже незаконченное сказуемое, продолжал свою речь. Лысый коротышка, купавшийся до самого ледостава и так багровевший, что если не во всей школе, то по крайней мере в классе становилось жарко, он не видел оснований отменять последний урок и настоял на своем естествоведении, пусть даже из-за взрывов и назойливых самолетов ему то и дело приходилось прерываться.

А мы, распрямив спины и положив перед собой руки на наклонную крышку парты, сидели недвижимо и, обратив к учителю лица, глядели ему в рот и боязливо впитывали знания. Он рассказывал о рыбах, нет, о зарождении жизни у рыб, и это не совсем точно: о чуде зарождения новой жизни у рыб. Это-то чудо он и собирался нам показать в тот жаркий день не то конца апреля, не то начала мая на уроке так называемого естествоведения при помощи собственного микроскопа, который он принес с собой из дому. Микроскоп был уже установлен, две жестяные коробочки с таинственным, доказующим чудо содержимым лежали тут же, рядом. Хайни Бунье и Петер Паульсен в назидание всему классу были предупреждены: оба получили по три хорошо нацеленных, поначалу почти не оставивших следа удара линейкой по пальцам, чем было достигнуто и обеспечено на какой-то срок общее внимание.

Конечно, стоило бы для разрядки еще немного остановиться на Пругеле, описать его старые раны или выслушать историю каждой в отдельности — когда он бывал в духе, то любил показывать тень блуждающей над ребрами револьверной пули, — поучительным был бы также визит к его семье, родом из Мекленбурга, которую он в любую погоду тащил на прогулку по отмели, в тренировочных костюмах разумеется; но так как в мои намерения не входит лишать его сходства слишком подробным описанием, я укажу только, что в нашем классе он преподавал естествоведение, а сегодня, в частности, собирался рассказать о чуде зарождения новой жизни у рыб.

Итак, он говорил, а между тем вдалеке, в таком отдалении, что это ни в коей мере не должно было нас касаться, подавали голос восьмидесятивосьмимиллиметровка, иногда двадцатимиллиметровая счетверенная зенитная установка и реже стопятидесятимиллиметровая длинноствольная пушка: мы хорошо научились различать их по звуку выстрела и взрывной волне. Пругель, как всегда, невозмутимо стоял у доски — из него вышел бы завидный партнер для метателя ножей, — умирал нас своим взглядом и ровным голосом предлагал нам нырнуть в царство рыб.

— Какое множество родов, — говорил он, — какое множество видов, и больших и малых. Представьте себе хоть на минуту эту жизнь, остолопы эдакие, — говорил он, — эту кишашую жизнь на дне морском: акулы, не правда ли, сарганы, макрели, угорь и круглопер, треска и, не забывайте, всем вам хорошо известная сельдь — этот воробей морских просторов. Что бы стало, — спрашивал он себя, — если бы рыбы перестали плодиться? Постепенно, — отвечал он себе, — все виды вымерли бы. А что представляло бы, — спрашивал он себя, — море без рыбы? Мертвое море, конечно. — Затем он на какое-то время оседлал мастерской план природы, в котором, кажется, все, решительно все продумано и предусмотрено. Он вытащил на свет божий пример паровой машины, дабы убедить нас, что для жизни необходимо стогорание, не забыл упомянуть о естественном отборе и с разбегу, вниз головой опять нырнул к рыбам.

— Стало быть, и немые рыбы, впрочем, не такие уж они немые, наделены половыми признаками, половыми различиями. Оба пола собираются в пору нереста в большие косяки, ищут мелководные нерестилища близ устья рек или у морских берегов, при этом они иногда проделывают огромный путь, нередко поднимаются, как вы, наверное, уже слышали, вверх

по рекам и преодолевают — вспомните лосося — значительные препятствия. Тут на защищенном, изобилующем пищей месте откладываются яички, часто комками, а самцы оплодотворяют их своим семенем. Однако некоторые костистые рыбы, — здесь Пругель замолчал, ожидая с бесстрашием, которое должно было изобразить презрение, пока мчащаяся тень самолета не пронеслась над спортивной площадкой и не смолк гул, после чего продолжал: —...и значительная часть акул живородящие, но об этом только между прочим, где уж вам, остолопам, запомнить. Яйцо — жизнь заключена в яйце. И приходится лишь удивляться тому, сколь незначительная часть рыб заботится об отложенных яйцах, а тем более о воспитании молоди. Маленькая колюшка, та действительно строит гнездо, сторожит яички и даже какое-то время защищает мальков; есть виды, которые заглатывают яйца и носят их между жабрами, пока не выведутся мальки. Но большинство рыб просто бросают яйца на произвол судьбы, не заботясь ни о выведении, ни о выращивании молоди. А малек? Он растет не в яйце, остолопы вы эдакие, а плоско лежит сверху и все больше и больше над ним приподнимается. В этом вы сами сейчас убедитесь, — сказал Пругель, — сегодня я принес вам вещество, — он сказал «ценное вещество», — из которого возникает жизнь. В микроскоп мы рассмотрим это явление вблизи.

Вдалеке напомнили о себе зенитки, а восьмидесятивосьмимиллиметровый дядя так тряхнул рамы, что посыпалась потрескавшаяся замазка, но Пругель, должно быть, не желал этого слышать, он поднялся на кафедру, сначала открыл перочинный нож, потом обе жестяные коробочки, понюхал их содержимое, кончиком лезвия подцепил зеленовато-серую массу, разложил на стеклянные пластинки и пальцем размазал, точнее, слегка касаясь, распределил по стеклу. Затем вставил стеклышко, склонился над микроскопом, зажмурил один глаз, причем лицо его невольно ощерилось, несколько раз промахнулся, прежде чем ухватил черный винтик, подкрутил его, добился желаемой четкости и резко, так что хрустнуло, выпрямился. Обвел нас взглядом. Торжествующим. Предостерегающим. А также скептическим, словно то, что он собирался нам продемонстрировать, слишком ценно, чтобы расточать перед такими недостойными. Он скомандовал:

— Встать! Сесть! Встать! — приказал построиться в колонну: — В колонну по одному, остолопы, становись! — и дергал и толкал нас до тех пор, пока мы, подровнявшись, с распрямленными коленями, не построились в безукоризненную колонну, чтобы бросить взгляд на поучительное чудо. На яйцо. На рыбе яйцо.

Слава богу, Йост стоял первым, ему первому придется сказать, что он там разглядит, и мы с нетерпением следили за тем, как он наклонился, но тут же с опаской оглянулся на Пругеля, затем, встав на цыпочки, неловко и издали пригнулся к микроскопу.

— Ниже, — велел Пругель, — еще ближе, еще.

И тучное чудовище прижало глаз к линзе и стало глядеть. Его огромный зад натянул брюки, коричневый вельвет все сильнее врезался в щель между ягодицами, а он все смотрел и смотрел и вдруг придушенным голосом просипел:

— Икра, может, селедочная.

— А еще что видишь? — спросил Пругель, и Йост, после того как долго и пристально вглядывался:

— Икра, ее тут порядочно.

После этого ему разрешено было сесть, и мы по крайней мере знали теперь, как отвечать, чтобы и нас отправили на место. Вслед за Йостом микроскоп ухватил вздувшимися до синевы и наверняка ноющими от боли пальцами Хайни Бунье, и, вклиниваясь в его наблюдения, Пругель сказал:

— Хоть на сей раз думайте не о жареной икре, не об икре копченой или паюсной, не о съестном думайте, остолопы эдакие, а о чуде, которое заключено в каждом маленьком яйце. В каждом маленьком яичке — отдельная, самостоятельная жизнь. Много таких жизней рано погибает, служит пищей и так далее другим жизням, лишь сильнейшие, лучшие, самые стойкие и прочее выживают и сохраняют род; и всюду это так, если только не принимать во внимание вас, остолопов. Неполюценная жизнь должна погибнуть, дабы полноценная могла

существовать и продолжаться. Так задумано природой, и нам остается лишь признать ее закон.

— Головастик, — вдруг выкрикнул Хайни Бунье, — крохотный головастик.

— Все-таки хоть что-то, — снизошел Пругель и поправил: — Рыбий младенец, перед тем как выйти из яйца, присмотришь получше.

— Он мертвый, — воскликнул Хайни Бунье, на что Пругель:

— Расточительность, вот вам пример расточительности природы. Сотни, какое там, тысячи, сотни тысяч икринок — и все это в надежде, что хоть немногие выживут и позаботятся о продолжении рода. Как видите, отбор и постоянная борьба. Слабые в борьбе погибают, сильные остаются. Так это у рыб, так это и у нас. Запомните: все сильное живет за счет слабого. Вначале все имеют равные возможности, каждое неприметное яйцо заключает в себе и вскармливает жизнь, однако затем, когда начинается борьба, недостойный, — он именно сказал «недостойный», — сходит с дистанции.

Выдав нам эту и еще несколько подобных же истин, Пругель поманил меня, отодвинулся, чтобы пропустить к микроскопу, и сказал:

— Послушаем, что обнаружит наш Йепсен, — и встал сбоку от меня с линейкой в руках. Только я наклонился над микроскопом, как ему уже приспичило получить ответ: — Ну? — протянул он. Я поспешно оглядел случайный узор серо-зеленых, кое-где раздавленных, будто изготовленных из желатина шариков, хотел что-то сообразить, но тут линейка коснулась моих подколенок, не причинив боли, скользнула по ним и, прохладная, полезла вверх к ляжкам, все же я не оторвал глаза, претерпел блуждания линейки, ища хоть какого-то признака обещанного чуда. Выпученные рыбы глазки, крохотное прозрачное тельце и кишечная трубка, соединяющая желток и рыбку, — вот что я как будто разглядел, но мне этого показалось недостаточно. Я хотел — не знаю уж теперь, чего я хотел, может быть, я только потому не мог слова выговорить, что был разочарован увиденным в микроскопе. — Итак, ничего? — осведомился Пругель. — Ровно ничего?

— Пикша, — ляпнул я наобум, — возможно, что это яйца пикши, — после чего он убрал линейку и подтвердил:

— В самом деле, пикши, — но подтверждения его никто уже не слушал, потому что на возглас: «Англичане, англичане!» все мы бросились к окнам.

На школьном дворе стояла пыльная бронемашина, длинная антенна покачивалась, ствол довольно-таки невзрачной пушчонки был направлен на белые футбольные ворота, и двое мужчин, по виду англичане, вылезли из люка, взяли поданные им автоматы, обернувшись, крикнули что-то оставшимся в броневику и, настороженно озираясь по сторонам, двинулись к школе. Они были в форме цвета хаки и в высоких шнурованных башмаках. Оба совсем юнцы. У того и другого рукава засучены.

Они шли бок о бок по солнцу, направляясь к входу, миновали флагшток, и только я подумал: когда же они посмотрят вверх на нас, как они подняли головы и остановились. Стали показывать друг другу на прилипший к стеклам класс. Обменялись несколькими словами. Потом мотнули головой друг другу, предлагая идти дальше, и наискозь от нас исчезли в подьезде.

Мы бы не отошли от вздрагивающих стекол, если б учитель Пругель не приказал: «Становись!», и так как, на его взгляд, дело шло слишком медленно, он заиграл линейкой по нашим спинам — там шлепая, тут тыча под ребра; наконец он отогнал нас от окон и построил в колонну, тянущуюся от кафедры по главному проходу; Йосту, Хайни Бунье и мне разрешено было сесть на место.

Другой учитель хотя бы спросил: «Так на чем мы остановились?», а этот, словно на школьном дворе не стояло бронемашин и по школе не расхаживали англичане, сказал:

— Стало быть, речь идет об икре пикши, Йепсен правильно это заметил. Яйце рыбы, служащей пищей многим другим рыбам. Но что можно еще разглядеть в яйце? Бертрам! — И Калле Бертрам, смахнув со лба пепельную прядь, нагнулся над микроскопом, меж тем как все мы — за исключением одного Пругеля, — разинув рты, прислушивались и, насколько

возможно, не спускали глаз с дверной ручки. Не шаги ли? Английская речь? Нет, это Калле на кафедре, он так пристально глядел в микроскоп, что от напряжения зашаркал ногами. Как будто повернулась дверная ручка? Да, повернулась. И прежде чем Калле Бертраму пришла охота высказаться о чуде в яйце, дверь отворилась и осталась открытой, хотя поначалу никто не показался и можно было предположить, что она просто соскочила с щеколды, но в тот самый миг, как Пругель, видимо, собирался сказать: «Йепсен, затвори дверь», оба англичанина вошли, оба белокурые, оба светлоглазые, оба с покрасневшими лицами.

Они дошли до половины бокового прохода, повернулись к нам и стали всматриваться, словно задались целью узнать какого-то старого знакомого из давнего прошлого. Один из них сказал:

— Война нет, война конец, вы идти домой.

Помнится, мы смотрели на них с удивлением, тогда как они испытующе в нас вглядывались, правда недолго, потом их потянуло, уж это-то мы заметили, к доске, к кафедре. Один из них взял губку, сжал ее в руке и кинул обратно в ящичек; другой покрутился вокруг кафедры и молча, движением руки, предложил учителю Пругелю сесть. Учитель Пругель не сел, однако англичанин не стал настаивать на выполнении своего приказания, наверно, потому, что тут он обнаружил микроскоп. Он подошел к микроскопу, подозрительно на нас оглянувшись, опустил лицо, выпрямился — прямо сказать, потрясенный — и подал товарищу знак; тот в два шага очутился подле него, сделал вопросительный жест и был направлен к микроскопу. Посмотрел и второй англичанин, и вдруг, будто неожиданно обнаружил новорожденную морскую корову или какое-нибудь вымершее ластоногое, словом, будто он открыл нечто, что все мы и сам естествовед Пругель упустили, приник глазом к трубке и так и застыл. Что увидел он? Что открыл в яйце пикши?

Он оторвался от микроскопа, лишь когда товарищ слегка похлопал его по затылку, и вот оба дружно закивали: они увидели то, что им было так важно увидеть. Друг за другом двинулись они по проходу мимо окон в глубь класса, где стоял у стены шкаф с наглядными пособиями по природоведению: стеклянный, двустворчатый и вечно запертый — один из ключей давно украшал мою коллекцию. Чтобы не мешало отражение, они приблизили лица почти к самому стеклу. Все мертвое содержимое шкафа ощерилось: щерилось чучело чомги, чучело лысухи и взбиравшийся по полированному пеньку хорек, щерились чучела зайца, ворона и препарированная, просвечивающая, как пергамент, голова шуки, даже веретенница в круглой банке, несмотря на немислимые изгибы, и та щерилась. Англичане молча указывали друг другу на поразившие их экспонаты, даже присели на корточки, чтобы лучше разглядеть скелет тюленя, один попытался открыть шкаф. В конце концов они кивнули друг другу и пошли к двери, и все мы подумали, что они на прощание ничего не скажут или что им нечего будет сказать, но в дверях они остановились, оглядели класс, и один из них повторил: — Война конец. — С тем они и ушли.

А как же Пругель? Он что, забыл про нас? Забыл про микроскоп и про чудо в яйце? Почему его линейка перестала следить за дисциплиной в колонне? Почему он допускал, чтобы ребята липли к окнам? Помню, как он раздавил в руке мел. Помню, как скривил губы и, закрыв глаза, запрокинул голову, как часто и прерывисто задышал, я и сейчас вижу перед собой его оцепеневшее, бледное лицо, он вдруг стал похож на надорвавшегося атлета. Разочарование, растерянность, ярость. Охватившая все тело мелкая дрожь. Хрипение. И я помню, как он, шатаясь, пошел к кафедре, кое-как взобрался — на это его еще хватило — и без сил рухнул на стул, на глазах у всего класса закрыл лицо руками, какое-то время так застыл, а потом со стоном стал ладонями растирать лицо, очень осторожно, словно хотел снять шелушившуюся кожу. Врезалось мне в память и то, как он поднялся, преодолевая невероятное сопротивление, закрыл обе жестяные коробочки, пожал плечами, затем оглянул класс, явно собираясь что-то сказать, но так ничего и не сказал. И это Пругель, наш естествовед. Наконец ему удалось выговорить: «Ступайте домой!», и, пока мы поспешно собирали тетради и книжки, сам он не двинулся с места, все так же стоял в нерешительности возле своего микроскопа, растерянный, убитый, дал нам сперва всем выйти и не отвечал на

приветствия — таким видел я учителя Пругеля в последний раз.

Только он нас распустил, в коридор и на лестницу будто высыпали яблоч: обгоняя друг друга, грохоча, вприпрыжку, мы скатились вниз, но школьный двор был пуст, бронемашина уже заворачивала на гудронированное шоссе и пошла дальше на север. Ребята выбежали на шоссе и, глядя вслед удалявшейся машине, все еще стояли там кучками, когда я шагал по кирпичной дорожке, где меня уже не догнать было ни Йосту, ни Хайни Бунье, но, возможно, они меня и не хватились в этот день. Я уходил все дальше и даже ни разу не бросился на склон рва, когда из-за дамбы выскакивали истребители, тени их проносились надо мной, винты сверкали, как дисковая пила, и врезались в ясную голубизну неба. Только весна дарит нам такие денечки — ясные, лишь одно-два неподвижно повисших облачка, — дни, исполненные резкого света, когда от норд-оста горит лицо.

Входная дверь была раскрыта настежь. Велосипед Хиннерка Тимсена прислонен к стене у крыльца. Отец звонил у себя в конторе и кричал так громко, что я услышал его еще у сарая.

— Оружие получили, так точно, в полном составе, так точно, люди оповещены, — Я бросился к дому. — Охрана шоссе, так точно, — кричал отец, и после паузы: — Будет сделано. — Я в два прыжка взлетел на каменные ступеньки и ворвался в прихожую. — И повязки тоже, так точно, — кричал отец, без сомнения подразумевай нарукавные повязки, которые я еще из прихожей разглядел на кухонном шкафу.

Хиннерк Тимсен стоял у кухонного стола и встретил меня словами:

— Ну, теперь начнется! — и вместо объяснений указал на сваленное на столе оружие: ручные гранаты в новеньких, прямо с завода ящиках, несколько фаустпатронов, карабины и патроны. Я спросил его, кто все это привнес к нам на кухню, на что он сказал: — Никто, Зигги, Никто не думал, что мы еще понадобится.

— Из Хузума? — спросил я, но он не ответил, взял со стола фаустпатрон, поднял прицельную рамку и нацелился на наш будильник, затем принялся за вражеские банки с рисом-манкой-саго и без шума вывел их из строя. Он осмотрел карабины, прочел надпись на клейме и установил:

— Итальянские трофеи, — что звучало не слишком обнадеживающе. Ручные гранаты он убрал под стол и взялся считать патроны, тут как раз вошел отец. — Около шестисот, Йенс.

— Все в пути, — сообщил отец. — Посты уже распределены, мы берем на себя охрану дороги.

— Вдвоем?

Сейчас подойдут Кольшмидт и Нансен.

— Нансен?

Да, а теперь надевай повязку: весь фольксштурм у нас занимает позицию.

Итак, Хиннерк Тимсен надел повязку на рукав своей шафранно-желтой куртки, причем сделал это не как-нибудь, а со всем возможным рвением: то ему казалось, она сидит слишком высоко, то слишком низко, и, когда он наконец остался доволен, я накрепко двумя английскими булавками пристегнул повязку, которая одна только и указывала, что он солдат. Тем не менее перепробовавший столько профессий грузный мужчина еще раз перед зеркалом проверил, как сидит повязка, а затем стал помогать отцу делить оружие на четыре кучи, при этом он маленькими глотками отпивал чай, налитый ему моей сестрой. Чай ему, должно быть, пришелся не по вкусу. А когда я упомянул про английскую бронемашину, заскочившую к нам на школьный двор, Хиннерк Тимсен немедленно вышел с фаустпатроном на крыльцо, чтобы навести порядок, впрочем, он тут же вернулся, успокоительно помахивая рукой.

— Все тихо, спокойно, — сказал он и сел рядом с отцом на кухонную скамью. Мужчины ждали. Оба помалкивали. Да и о чем, собственно, толковать, когда все решено, никакой неясности между ними не оставалось, что касается доноса Вультйоганна, то инспектор плотин сам его забрал обратно — после беседы при участии ругбюльского полицейского. Я стоял у окна и держал под наблюдением луг: кто явится первый? Выходит,

фольксштурм займет позицию у нас.

Первым явился художник; я видел, как он приближался по лугу в длинном своем синем плаще и в шляпе, глубоко засунув руки в карманы.

— Дядя Нансен идет, — сообщил я, на что отец;

— Пора бы.

— Зачем, — понизив голос, спросил Тимсен, — зачем ты вообще его позвал, Йенс? Сейчас, когда, возможно, все решится?

— Именно потому, — ответил отец. — Сейчас, когда, возможно, все решится, я хочу, чтобы он был поблизости; это лучше, Хиннерк, уж поверь мне.

— Ты, значит, считаешь, что можешь на него положиться?

— В том-то и штука, — сказал отец, — если б я на него полагался, мне незачем было бы держать его при себе. — Он встал и взглянул в окно на художника, который, однако, явился не один и не первым, а вовсе задержался у таблички «Ругбюльский полицейский пост» и стал махать в сторону усадьбы Зельринг, подождал и еще раз, но уже спокойнее помахал рукой и под конец сделал несколько шагов навстречу птичьему зрителю Кольшмидту. Рукопожатие. Торопливые перекрестные вопросы. Кольшмидт что-то ему доказывал, раскрыв ладони, пытался в чем-то убедить или хотя бы добиться его согласия, а художник, видимо, колебался; слушая Кольшмидта, он взял его под руку, повел к нашему дому и потянул за собой вверх по ступенькам. Как только их шаркающие шаги послышались в прихожей, ругбюльский полицейский приготовился к встрече, попросту скажем: занял позицию. Выпрямившись во весь рост и слегка расставив ноги, то есть твердо, непринужденно, но не слишком непринужденно стал он посреди кухни, тем самым сразу присвоив себе авторитет, который причитался ему как инструктору в вечерние часы и нынешнему командиру отделения так называемого фольксштурма. Тимсену, который намеревался свернуть сигарету, он резко заметил:

— Здесь не курят.

Отец, стало быть, поджидал обоих мужчин в позе, которая казалась ему наиболее соответствующей данной минуте, и так ответил на их приветствие, что не оставалось сомнений насчет того, кто первый должен кого приветствовать. Затем, указав им на кухонную скамью, произнес:

— Садитесь вон туда, к Хиннерку, — и, когда мужчины сели, расслабился, подошел к столу и положил руку на ложе трофейной итальянской винтовки. Погладил ложе. И добился-таки того, что все трое мужчин выжидающе и молча вскинули на него глаза, однако первым заговорил все же не он. Первым заговорил худосочный птичий зритель Кольшмидт; зажатый с двух сторон, он вдруг высвободился, высунулся вперед и вполне членораздельно произнес:

— Ерунда, это же ерунда, то, что мы здесь делаем. Они стоят на Эльбе, они в Лауенбурге, они уже в Рендсбурге, может быть, их головные части уже здесь. Все сдаются, только мы одни, только мы здесь должны начинать сначала. Остановить их такими вот хлопущими. Голыми руками. Если б был хоть какой-то смысл, но ведь это же бессмысленно, это же просто ерунда!

Кольшмидт возмущенно осел на место, вытащил из нагрудного кармана свою коротенькую, обмотанную черной изоляционной лентой трубку и сунул в рот.

— Здесь не курят, — остановил его отец и приготовился ответить, но его опередил Хиннерк Тимсен, хозяин «Горизонта»; невзирая на множество взлетов, законченный неудачник, он не считал сопротивление бесполезным: вот именно сейчас, когда все идет к концу, именно сейчас и надо продолжать бороться, это долг каждого перед самим собой; пока все идет хорошо, легко быть стойким, а ты покажи свою стойкость тогда, когда успех сомнителен; кроме того, он лично никогда ни в чем не отступал без борьбы, а кто говорит, что все потеряно, можно, в конце концов, подать пример и заставить врага, уж наверняка можно заставить его призадуматься и неожиданным ожесточенным сопротивлением, не обязательно, чтоб оно длилось вечно, но попытаться все-таки следует.

Поскольку они уже непрошено начали выкладывать свое мнение, отец после этого заявления намеренно промолчал и так уставился на Макса Людвига Нансена, что тот не мог не почувствовать: ну, теперь твой черед сказать свое слово. И художник ни секунды не колебался. Он сказал:

— Зачем же дома, мы можем ждать и на воле, — а больше ничего не сказал, и, даже когда отец попросил его выразиться определеннее, он ограничился сказанным, не находя нужным крутить вокруг да около своей позиции..

А ругбюльский полицейский? Ему тоже, естественно, надлежало высказаться, от него зависело если не все, то, во всяком случае, многое, однако он не спешил, должно быть, выуживал из отдельных высказываний положительные и отрицательные пункты, плюсы и минусы и наконец подвел черту и подбил итог. Так или иначе, с тяжеловесной медлительностью пораскинув умом, он объявил, что имеется приказ, что приказы даются не зря, а должны выполняться, причем не рассуждая, и что в данном случае приказ гласит: охранять дорогу.

— Соответственно, — сказал он, — мы возьмем на себя охрану дороги, причем немедленно, так что у кого еще нет нарукавной повязки, пусть возьмет, после чего мы займем позицию.

Вот с какими речами фольксштурм у нас занимал позицию. И поскольку отцу и художнику сообща предстояло охранять нашу хоть и не магистральную и навряд ли жизненно важную, однако все же проезжую дорогу, в моем представлении возникли неизбежные картины: сырой окоп, не так ли, по грудь глубиной и рассчитанный на четверых, с южного края насыпь, по которой хлещут пули или, может, поначалу хлестали, ибо после множества отбитых атак над убогим валом вырос другой вал, как легко догадаться, вал бездыханных трупов, откуда к небу торчат руки с судорожно скрюченными пальцами, а вдалеке там и сям по лугу рассеяны бесчисленные танки с искореженными гусеницами и взорванными башнями, с десятков все еще тихо дымятся, скрывая от глаз до удивления скудные остатки сбитых самолетов, которые, падая, протаранили топкую торфянистую землю и ушли в грунт по меньшей мере до сидения пилота; я видел также и себя в роли подносчика патронов, подносчика пищи, подносчика воды, и так же, как у защитников дороги, на голове у меня была свежая марлевая повязка, наложенная, возможно, руками Хильке. Представления! Представления в духе игры в индейцев!

Да и как было их отогнать, когда вокруг надевали нарукавные повязки, распределяли оружие и намечалось место, где английские танки и бронемашинны наткнутся, так сказать, на железный заслон. Место наметили под мельницей — под моей мельницей; с насыпного холма, в котором собирались окопаться, дорога просматривалась до самого Хузумского шоссе, оттуда можно было также охранять старый шлюз, кроме того, луг Хольмсена представлял достаточный простор для скопления подбитых танков и самолетов. Мужчины перекинули через плечо карабины, взяли на плечо фаустпатроны, подхватили ящики с патронами и ручными-гранатами и двинулись той особой походкой, какую только и позволяла тяжесть оружия, стало быть, двинулись трусцой из кухни и — с быстро начавшими подгибаться коленками — вниз к кирпичной дорожке, я трусил сзади, меж тем как Хильке из своей комнаты, а мать из спальни следили за выступлением, следили с живейшим участием. Поскольку все другие шли нагруженные и навьюченные и не могли помахать на прощание, я за всех помахал женщинам, на что Хильке мне лишь погрозила, а мать вообще не ответила. Так наш фольксштурм занял позицию.

Перед самой мельницей принялись за рытье окопа, после того как я притащил две лопаты; получилась яма по грудь глубиной и тем не менее без грунтовой воды — что у нас кое-что да значит, — а уже в яме вырыли несколько горизонтальных углублений, туда сложили ручные гранаты и патроны, а также сунули несколько фаустпатронов. Было очень любопытно наблюдать всех четверых за работой: Хиннерк Тимсен, тот все время, хоть и невнятно, что-то насвистывал, и для каждого у него была припасена ободряющая улыбка; птичий смотритель Кольшмидт открыто выражал свое возмущение и мастерски, не замолкая

ни на минуту, на протяжении всей работы ругался, причем для некоторых ругательств находил очень эффектные вариации; Макс Людвиг Нансен с каменным лицом неукоснительно выполнял все, что приказывал отец, и, по-видимому, решил изъясняться только жестами; и, наконец, ругбюльский полицейский, в котором сторонник наблюдатель тотчас бы признал главное лицо по тому, как он размышлял, прикидывал, поправлял, будь то при засыпке невысокого, но широкого вала, будь то при проверке поля обстрела; в самом деле, казалось, если что и заботило сейчас отца, то единственно позиция под мельницей, ее устройство, ее маскировка. За три, самое большее четыре часа эти столь различные характеры все же сумели построить трудноразличимую, господствующую над дорогой позицию, легко обороняемую с трех сторон — лишь к Северному морю позиция была открыта и незащищена, но, поскольку оттуда никакого десанта не ожидалось, решили этим пренебречь. А с воздуха? После того как невысокие валы обложили кусками дерна, окоп в тени мельницы скорее всего должен был производить с воздуха впечатление несколько большей, чем обычно, но вполне мирной коровьей лепешки. Так как все необходимые рекогносцировки и проверки извне дали удовлетворительный результат, мужчины, помогая друг другу, в конце концов спустились в окоп, установили карабины и три фаустпатрона на бруствер и в полной боевой готовности стали напряженно наблюдать за дорогой, которая просматривалась до самого Хузумского шоссе.

Дважды меня отсылали и дважды я возвращался, но после третьего предупреждения, которое отец произнес негромко и со зловещим спокойствием, я знал, чего мне ждать, если вернусь еще раз, и потому удалился, сбивая головки одуванчиков, в сторону дамбы, там сделал крюк, незамеченный нашим фольксштурмом, прокрался обратно к мельнице и сразу же залез в купол, в свой тайник, втянув наверх лестницу, чтобы никто не мог за мной туда забраться.

Показалось там уже что-нибудь? Может, я что-то пропустил? Я выдернул картон из рамы, бросился на свое ложе, насторожил уши и посмотрел сперва вниз на позицию — вся команда была еще в полном составе, — а потом на переливающуюся гудронированную ленту Хузумского шоссе. Что-то там катилось, что-то там везли и подталкивали — нагруженную доверху ручную тележку, а вокруг, будто охраняя тележку, шло человек шесть мужчин. Ни бронемшины. Ни танка. И со стороны Глюзерупа — ничего, да и Северное море, которое я на всякий случай тоже обвел взглядом, было чисто до самого горизонта. Ни один вражеский самолет не перепутал школьный двор с артиллерийским парком. На Рипенском кладбище ничто не шевелилось. Итак, всего-навсего ручная тележка, малоинтересная цель для четырех занявших оборону мужчин и недостаточный повод для того, чтобы развязать искусственную бурю.

Меня еще тогда удивило, что наш фольксштурм не догадался поставить кого-нибудь наблюдателем на мельницу, но, раз уж они это прошляпили, я счел себя, пусть непрошено и без разрешения, их передовым особым наблюдателем, действующим в известной мере по собственному почину; в конце концов, приносить пользу можно и без разрешения, а я, будь что будет, все же крикну им сверху все разведанные о танке или бронемашине, но, как назло, ничего не показывалось, ни на переднем плане, ни на далеко просматриваемом заднем. Трудно даже поверить, но ничего не показывалось, по чему стоило бы открыть огонь. Решительно ничего на горизонте. Это установили и мужчины подо мной внизу, ибо, простояв о полчаса в напряженной и бесплодной боевой готовности, они посовещались, пришли, наверно, к заключению, что сторожить пустой горизонт не обязательно всем, и, быстро договорившись, маленькое подразделение разбилось на два еще меньших: теперь только двое мужчин впились глазами в горизонт, тогда как двое других, назовем их подвахтенными, сев на дно ямы, дремали, набирались сил и тому подобное. Мне было с самого начала ясно, что отец и художник будут вместе стоять, на посту, а сменят их Тимсен и птичий смотритель. Они ждали. Ждали перед своими карабинами и фаустпатронами. Если б подстриженные шаром кусты со стороны Зельринга вдруг двинулись на нас, я мог бы поднять сигнал тревоги, но кусты не двигались. Или если б живая изгородь боярышника в Рипене внезапно



легла на землю. Или если б я увидел, что на нас катится украшенная березовыми ветками лавина «тигров» и «пантер» невиданной породы! Нет, приходилось ждать. Ничего определенного я не замышлял, разве что хотел скоротать время, когда начал собирать жесткие треугольные кусочки замазки и мелкие осколки стекла. Набралась целая куча, и тут я на пробу сверху уронил кусочек замазки на позицию фолькс-штурма, он попал Хиннерку Тимсену в затылок. Тимсен, правда, не подумал, что его ранило, но решил, что это его ущипнул Кольшмидт, и так энергично толкнул своего ничего не подозревающего соседа, что тот едва не повалился на бок. До меня донеслась короткая перепалка, и отцу — вероятно, он сослался на серьезность положения — пришлось улаживать ссору. Они уже предлагали друг другу табачок.

Я выставил вперед руку, разжал кулак, тут же убрал руку и видел, как осколок стекла, подтверждая все законы падения, поблескивая, полетел вниз, в окоп, и, чего я вовсе не предвидел, угодил прямо в табакерку Тимсена, из которой Кольшмидт как раз собирался набить себе трубку. Птичий смотритель с удивлением извлек осколок, вылупил на него глаза, как будто на осколок упавшего метеорита, поднес его к глазу наподобие монокля, чтобы взглянуть на почти застывшие в небе облачка, и наконец передал его Хиннерку Тимсену, который, покачивая головой, выкинул стекло из окопа.

Я уже решил было высыпать целую пригоршню замазки и стекла на наш фольксштурм, на сей раз на отца, но мне так и не пришлось осуществить свое намерение, потому что вдали показалась какая-то фигура.

Кто-то вприпрыжку проскочил мимо шлюза, прошел вдоль рва, круто повернул и, ничего не подозревая, побежал прямо к позиции: Хильке! Ничего не подозревая? Хильке несла корзину и термос, она взмахивала корзиной, которую держала в правой руке, и термосом, который держала в левой, как булавами, и каждый маленький взмах увлекал ее вперед, вверх по заросшей мельничной дороге, через насыщенно зеленую насыпь, все ближе к позиции. Если бы это от меня зависело, я накормил бы мужчин раньше, но Хильке почему-то задержалась, она только сейчас передала корзину и термос в окоп, хотела и сама туда спрыгнуть, но отец не позволил, и Хильке уселась на трухлявую крестовину, предоставляя фолькс-штурму есть и пить. Они ели бутерброды и пили чай; ругбюльский полицейский пожелал узнать, чем и достаточно ли густо намазаны его бутерброды, поэтому он единственный из всех раскрыл свои бутерброды, посмотрел, что там, и явно без удовольствия принялся уничтожать свою порцию. Хиннерк Тимсен неприметными и, однако, всем понятными знаками счел нужным предложить сестре спуститься к нему в окоп, но она, видимо, разгадав его намерения, улыбаясь, покачала головой. Художник не стал есть, только выпил чаю и закурил, прислонившись особняком к земляной стенке. Кольшмидт сидя жевал и, даже жуя, продолжал выражать свое возмущение. Во время еды лишь один человек по-прежнему не забывал осматривать горизонт — мой отец.

Равнодушно смотреть сверху, как они закусывают, было свыше моих сил, я мигом спустился вниз и так неожиданно перед ними вынырнул, что Хильке, испугавшись, дважды сплюнула, а хозяин гостиницы сказал:

— Мальчонок-то, глядите, как поест, так он тут как тут. Откуда ты вдруг взялся?

— Оттуда, — сказал я, неопределенно мотнув головой в сторону дамбы.

— На крыльях, что ли?

— На крыльях, — ответил я. После чего мне налили чаю, и я пил из крышки термоса и ел бутерброды, от которых отказался художник, и те, что не доел птичий смотритель, я тоже с удовольствием съел, потому что у него хлеб был намазан домашней ливерной колбасой. Отец не возражал против того, чтобы я с ними ел и слушал какое-то время их разговоры. А говорили они как фольксштурмисты о типе танков, которые надо подпускать совсем близко, о уязвимом месте у выхлопной трубы, говорили о видах на ночь — туман и заморозки, — разговор зашел также о карманных фонариках и о том, как беречь батарейки.

Только художник не участвовал в разговоре, как-то само собой он застудил на пост, а трое других уселись на дно окопа и стали думать, чего же им не хватает. Ну конечно же, карт,

вот чего им не хватало, неужели ни у, кого нет с собой карт? У Тимсена в куртке оказалась старая колода, карты входили в его «реквизит» еще с того времени, когда он в своей шикарной гостинице отпугивал посетителей фокусами.

— Натэ, кто первый сдает?

Художник не спускал глаз с горизонта, а позади него, сперва рассеянно и то и дело прислушиваясь, затем все больше увлекаясь и все беспечнее остальные принялись убивать время за партией в скат; тут и казнили, и пересчитывали, и доказывали: «Если бы не ты, я пошел бы, и тогда обе последние взятки...», уж как водится.

Отец дважды подряд играл простые бубны и дважды Подряд проиграл, зато птичий смотритель Кольшмидт, не имея на руках трех валетов, дважды благополучно набрал гранд почти помимо своего желания, кстати, выигрыш, казалось, его взбесил, редко приходилось мне видеть игрока, столь мрачно встречавшего каждый свой выигрыш: возмущению Кольшмидта, чтобы разрастись, требовался проигрыш, а ему, как нарочно, ужасно везло.

— Опять ерунда, — цедил он и сразу открывал карты. Несмотря на все уловки, которыми Хиннерк Тимсен будто бы владел и во сне, он оказался посредственным игроком. Во всяком случае, игра настолько их занимала, что если они еще и помнили о неприятеле, то обо мне забыли Совершенно: ни один не отправил меня домой, и я так и не увидел действия, которое произвела бы пригоршня затвердевших кусочков замазки и осколков стекла, сброшенная с высоты мельничного купола.

Наконец, уже под вечер, появились самолеты, несколько «спитфайров» и «мустангов», завернувших из Фленсбурга или Шлезвига, чтобы на бреющем полете пронестись над нами и исчезнуть над Северным морем. Их еще даже видно не было, как Тимсен открыл огонь из своего итальянского трофейного карабина, «огонь по площадям», как он позднее объяснил в свое оправдание. Над самыми макушками деревьев, как сорокопуты, неслись они на нас, гул моторов становился все настойчивее, все жестче и решительнее, и вот они уже проскочили над нашей шкодой, снизились, должны были запутаться в скособоченной От ветра живой изгороди Хольмсенварфа и все же не запутались, взмыли кверху, но теперь-то все пошли на посадку, тени их стали больше и медлительнее, они явно шли на посадку и вдруг все же передумали, вероятно, потому что все фольксштурмисты на позиции открыли огонь, даже Кольшмидт, птичий смотритель Кольшмидт в особенности. Они заряжали и палили, не успевая прицелиться в мчащиеся мишени.

И художник тоже? Да, художник Макс Людвиг Нансен тоже стрелял, иногда по самолетам, но, случалось — видимо, он слишком поспешно дергал спусковой крючок, — по мельничному пруду, тогда там поднималось несколько тонких фонтанчиков, а из опоясывающих пруд камышей с паническим хлопаньем взлетали дикие утки и, вытянув негнущиеся шеи, пролетали над позицией. Самолеты не отвечали на огонь, по всей вероятности, они сбросили свой бомбовый груз, а может, впрочем, не берусь это утверждать, просто не заметили нашего огня, хотя Тимсен готов был поклясться, что одну машину, как он выразился, «прошил» насквозь. Дамба, неужели они ринутся со своими машинами на дамбу, и Северное море хлынет в пролом? Нет, они проскочили над самой дамбой, достигли моря, темными черточками помчались к горизонту, стянулись в точки, скрылись из виду. Фольксштурм мог поставить винтовки на предохранители.

Мало-помалу мужчины заговорили о только что пережитом, а я собрал тем временем пустые патронные гильзы, пересчитал их и удивился количеству — я не слышал столько выстрелов. Фольксштурмисты в данном случае придерживались одного мнения: надо было массировать огонь, всем бить по одному самолету, вот следующий раз уж мы не упустим... и после такого легко достигнутого единодушия и по прошествии нескольких минут, когда все четверо стояли на страже, внимание снова начало ослабевать, карты собрали, очистили от земли, распрямили, и стоило Тимсену похвастаться: «Был мой ход, и на этот раз я уж вас бы расчихвостил», как они, желая, видимо, поймать его на слове, уселись на хорошо утрамбованное дно ямы и сдали карты.

— Ты ведь постоишь? — спросил отец, на что художник, махнув рукой:

— Сидите, сидите.

Я сел возле художника на укрытый дерном вал; заговорить с ним я не решался, только следил за его взглядом, устремленным на эту землю, которую он так часто писал: насыщенный зеленый и пылающий красный усадебных строений; мы вместе просматривали дороги и обсаженное дикими яблонями шоссе, одновременно обнаружили вдалеке всадника — художник кивнул, когда я указал в ту сторону рукой, — не прозевали мы и грузовик, который, поднимая клубы пыли, ехал по песчаной дороге к поместью Зельринг. Я старался следовать за взглядом художника, по его примеру непрерывно поворачивался, порой и он обращал мое внимание на что-нибудь, замеченное мною одновременно с ним, и тогда я кивал. Но Хильке я увидел первый: она шла от «Горизонта», направляясь по гребню дамбы домой, и покручивала в воздухе пустым термосом. В Блеекенварфе все было тихо. Зато в Хольмсенварфе старик Хольмсен без конца вытаскивал из сарая во двор мотки проволоки, наверняка колючей проволоки, собираясь, должно быть, загородиться в собственном дворе и спастись от старухи Хольмсен. Бинобль полицейского художник лишь изредка приставлял к глазам.

Мы ждали, ждали до самых сумерек, и все еще никто не показался. Солнце зашло за дамбу точь-в-точь так, как художник учил его этому на плотной, не впитывающей влагу бумаге: в красных, желтых, лимонных полосах света оно село или скатилось в Северное море, гребни волн сразу вздулись и потемнели, оттенки охры и киновари распространились на еще не затронутую часть неба, но не резко очерченные, а размытые, притом довольно неумело, но именно того и добивался художник: «Умение, — сказал он как-то, — меня меньше всего интересует». Итак, долгий, неумелый, временами немножко впадающий в героическое заход солнца, сначала еще контурно, а потом уже, так сказать, мокрым помокром — все это стилистически безукоризненно повторилось за позицией.

Игра в скат шла теперь с переменным успехом, и сыгранные партии обсуждались с меньшей горячностью. Хиннерк Тимсен время от времени осведомлялся, не видна ли «фигура», имея в виду Иоганну, свою бывшую жену, она должна была принести из гостиницы чего-нибудь поесть — уж мы-то с художником вовремя его предупредим. Туман, который в такие дни обычно ложится вместе с сумерками, заставлял себя ждать, но скотина, как всегда об эту пору, начала реветь: сначала издали донеслось глухое призывное мычание невидимой коровы, находившейся вне сферы нашего наблюдения, и все черно-белое стадо неподалеку от нашей позиции тотчас повернулось в ту сторону, задвигало и закрутило шерстистыми ушами, но еще не отвечало, лишь когда далекое мычание повторилось одно из животных напряжилось и, тяжело вскинув голову, толчками выдыхая белые облачка пара, отозвалось, на что, однако, не получило прямого ответа, в разговор вмешался рев другой коровы, которую тут же перебил со стороны Рипена густейший бас, его-то, весьма возможно, и призывала дальняя корова, потому что теперь она немедля ответила, но, прежде чем густой бас откликнулся, заревела ближняя к нам корова.

Мне лично даже нравилось слушать скотину по вечерам, когда разноголосое мычание несется из края в край, и в тот вечер я к нему прислушивался и не заметил, как художник что-то решил про себя и к чему-то стал готовиться в наступающих сумерках. Он вдруг подтянулся и выпрыгнул из окопа, отряхнул плащ и, обернувшись к остальным, сказал:

— Скоро и вам ничего не будет видно, так что до завтра. — И пошел к дороге.

Отец бросил карты и крикнул:

— Стой, Макс, минуту, — Но художник продолжал идти. Полицейский с помощью Хиннерка Тимсена выбрался из ямы. Побежал, придерживая фуражку, наискосок к пруду, чтобы перехватить художника. Но в этом не было надобности: художник шел не спеша. Отец догнал его, положил руку на плечо:

— Ты что это вздумал, отсюда нельзя просто так взять и уйти.

— Темнеет, — сказал художник, — пора по домам.

Отец подступил к нему почти вплотную, стерпел его пренебрежительный взгляд и все остальное и медленно проговорил:

— Ты, верно, забыл, что на тебе повязка. Не знаешь, ЧТО это значит? — Художник молча стащил нарукавную повязку и протянул ее полицейскому, но тот не взял, и художник в конце концов отдал ее мне:

— Побереги до завтра.

— Надень повязку, — приказал отец. — На пост не заступают когда хотят, и с него не уходят домой когда хотят.

Вы можете и дальше играть, — сказал художник, — я не против того, чтобы вы дальше играли. — Однако скрытое в его словах презрение пропало втуне, отец был слишком возбужден и не расслышал иронии, а если и расслышал, вряд ли в состоянии был в полной мере ее понять и достойно отпарировать; последнее скорее всего объяснялось тем, что он пытался разрешить инцидент только с помощью существующих уставных предписаний, ибо для подобных случаев тоже существуют предписания, они были ему, конечно, известны, и в эту минуту он думал о них. Отец сказал дословно:

— Приказываю тебе вторично, — и этим ограничился.

Тимсен и Кольшмидт, до сих пор наблюдавшие за происходящим из окопа, заметив, что разговор обостряется, и желая быть свидетелями, подошли, и сразу же им было воздано по заслугам. Отец сказал:

— Каждый обязан стоять на положенном ему месте.

— Вот именно, — сказал художник, — на положенном! а мне сейчас положено быть дома, — после чего хотел уйти, считая, что изложил свои доводы. Но ругбюльский полицейский был иного мнения: расстегнув кобуру, он достал служебный пистолет, направил его на Макса Людвигу Нансена — примерно на уровне пояса — и даже не счел нужным повторить приказание. И стоял так. Смеркалось. Никто не показывался. Как твердо держал он в руке крупнокалиберный, почти не бывший в употреблении служебный пистолет! Ему ничего не стоило так вот стоять! А ведь он только дважды, по долгу службы, пускал он пистолет в ход: когда бешеная лиса вцепилась в телянка и еще когда племенной бык Хольмсена сбил график движения поездов глюзерупской железнодорожной станции.

— Ну образумься же! — неожиданно сказал Кольшмидт, но было неясно, кого он имел в виду.

Долго они еще будут так вот молча стоять друг против друга, не слишком даже настроенно или попытаюсь узнать, как далеко можно зайти, а скорее невозмутимо и все такое, словно им известно наперед, чем все это кончится, потому что, возможно, они уже не раз так стояли лицом к лицу. Служебный пистолет точно говорил по уставу все одно и то же: приказываю последний раз. Я протягивал художнику на ладони нарукавную повязку, он на нее не глядел, он не сводил глаз с отца, но теперь наконец реагировало его тело, исчезло напряженное бесстрашие и под исходившей от дула угрозой оно, сжавшись, слегка подалось вперед. Зная того и другого, я не сомневался, что художник, решив уйти, уйдет, как не сомневался в том, что отец тогда выстрелит, — недаром оба они родом из Глюзерупа. И художник это подтвердил.

— Я пошел, Йенс, — сказал он, — меня никто не удержит, и ты тоже. — И так как ругбюльский полицейский молчал, добавил: — Ничто, даже конец вас не исправит. Надо, видно, ждать, пока вы не перемрете. — Отец не отвечал, сейчас он настаивал только на выполнении приказа, ко всему остальному можно будет вернуться потом. Приказ был дан, и он ждал его выполнения.

— Если ты идешь, Макс, — вдруг сказал Кольшмидт, — то и я с тобой. — И он застегнул куртку на все пуговицы.

— Хорошо, — сказал художник, — пошли вместе.

— Ну, согласись, Йенс, — сказал Кольшмидт, — кому мы поможем, если пролежим здесь всю ночь? Будто мы в силах что-то остановить. Ерунда все это!

Казалось, ругбюльскому полицейскому не было дела до того, что еще один боец собирался покинуть позицию, только с художника не спускал он глаз, только его хотел переломить.

— Брось, Йенс, — увещевал Кольшмидт, — не устраивай историй и спрячь свою пушку. — Говоря это, он хотел было похлопать полицейского по плечу, но вдруг, испугавшись, на полдороге осекся и после короткой заминки убрал протянутую руку. Отец зашевелил губами, готовясь что-то сказать, и тогда повернулся к Кольшмидту:

— Дезертиры... знаешь, что бывает дезертирам?

— Потихе, ты, — сказал птичий смотритель, обошел отца и встал рядом с художником, образовав с ним единый фронт, фронт сопротивления или по крайней мере неповиновения, и очень спокойно произнес: — Громкие слова, Йенс, протри-ка лучше глаза. Сейчас мы уйдем, а завтра пораньше утречком будем на месте.

— Если все сматывают удочки, — сказал Хиннерк Тимсен, — то и я пойду, какой же смысл на ночь глядя? Да еще одному. — И, выступив вперед, присоединился к художнику и птичьему смотрителю, показывая этим бесповоротность своего решения, но даже вместе, группой, и после единодушных своих заявлений ни один не рискнул сделать первый шаг, правда, не столько из страха перед твердой рукой, все еще державшей служебный пистолет на той же высоте, сколько в надежде, что сообща им все-таки удастся перетянуть полицейского на свою сторону и вместе с ним покинуть позицию.

Отец упорно не сводил взгляда с художника, который мог бы что-то сказать, но, очевидно, ничего больше говорить не желал; даже когда Тимсен ободряюще его подтолкнул сзади, он продолжал молчать: наверное, он единственный из всех понял, что в ту самую минуту, как остальные решили идти домой, отец отказался от дальнейшей борьбы. Поэтому художник просто предоставил его самому себе. Он ждал с ничего не выражающим видом, обязывая тем самым ждать и других — еще немного, и одна группка покинет другую.

Разумеется, я мог бы еще какое-то время продержать наш фольксштурм в сборе, в сгущающихся сумерках, перед бескрылым ветряком. Кто берется за воспоминания, должен, точно купец у весов, принимать в расчет утруску и усушку, я принимаю их в расчет и потому хочу, чтоб отец, перестав пялиться на художника, коротко и осуждающе оглядел всю группу и, порвав магический круг, ровным шагом направился мимо мужчин к насыпи и вверх к позиции, которую считал тем местом, куда его поставили.

Мне ничего не оставалось, как последовать за отцом; не говоря ни слова, он помог мне спуститься в яму, подтянул ящик, я встал на этот ящик, увидел перед собой винтовку, но не прикоснулся к ней. Мы оба наблюдали за мужчинами, которые все никак не могли уйти, стояли, тесно сгрудившись, и перешептывались, может быть, у них опять разделились мнения. Но затем они все же ушли, временами мы только слышали их шаги, они дошли вместе до шлюза, хотя одному лишь птичьему смотрителю надо было в ту сторону, и опять все никак не могли разойтись. Да, им было нелегко расстаться, и, когда группка наконец распалась и все двинулись кто куда — уже невидимые нам, — я не исключал возможности, что один из них, например Хиннерк Тимсен, вдруг опять появится на позиции и притулится за своей винтовкой, словно ничего не произошло, однако никто не вернулся.

Итак, я оказался один на один в окопе с ругбюльским полицейским; загородившись ладонью, он раскурил трубку, а затем на свой сухой и непреложный лад стал осматривать дороги и луга, да и всю темнеющую землю в поисках противника, которому пришел на помощь еще и туман. Стадо молчало. Коровы улеглись. Продолговатыми глыбами маячили они за мельничным прудом. Туман стелился тонкими пластами, пласты эти сливались, поднимались кверху, расходились все шире, и казалось, будто дома на насыпях медленно всплывают, подобно стоящим на берегу лодкам, когда их поднимает прилив. Откуда-то издалека с большими промежутками, скорее похожие на взрывы при скальных работах, нежели на орудийные выстрелы, до нас докатывались ударные волны.

— Ступай домой, — сказал отец.

— А ты? — спросил я.

— Ступай спать, — повторил он.

Я недоверчиво на него поглядел, но он говорил всерьез, даже мотнул головой в сторону Ругбюля, и я выбрался наружу, предоставив ему одному охранять позицию.

— А ты? — спросил я еще раз.

— Буду искать название, — ответил он.

— Название?

— Да, искать название всему этому, этой страшной беде.

— А ужинать? — спросил я, на что он только с горечью Махнул рукой, но потом, спохватившись, пожал плечами и сказал:

— Если не доели маринованную селедку, оставьте на Столе. Мне еще надо здесь кое-что поделать.

Уйти и, сделав крюк, тайком вернуться, как в тот раз, Нет, у меня не было к тому ни малейшего желания, я пошел на виду у него к дому, ни разу не обернувшись, и еще со двора услышал, как трезвонил телефон — телефон все не унимался, — почему они не снимают трубку? На кухне горел свет, они только что отужинали, Хильке с Матерью, сейчас они в спальне, наверху. Не могли же Они не слышать телефон? Ладно, значит, они не хотят (быть дома, нет так нет. Может, Хильке расчесывала сидящей на кровати матери рыжеватозолотистые волосы, а потом собирала и укладывала в блестящий пучок, подумал я. Или растворяла в стакане воды успокоительный порошок, вращая воду по часовой стрелке. Или же массирует ее своими сильными и умелыми руками. Мне запрещалось одному входить в отцовскую контору, поэтому телефонный звонок меня не касался. Меня тоже нет дома. В кладовке стояла миска с маринованными селедками, я отнес ее на кухонный стол. Одну из пепельно-желтых селедок, плавающих среди гвоздики и кружков лука, я съел целиком, с другой съел сморщенную кожицу, а оставшиеся две накрыл газетой, с которой навязчивым и пустым взглядом на меня смотрел человек по имени Дениц. На клочке бумаги я написал: «Не трогать», поставил восклицательный знак и, чтобы записку не сдуло, положил на нее вилку. Хлеб? Хлеб пусть сам себе режет. Я вынес из дому рыбы кости, выбросил на темный двор, затем поднялся наверх, но до того, как войти к себе в комнату, долго и напрасно прислушивался у двери спальни, а потом, не опуская штор затемнения, бросился одетым на кровать и стал ждать его возвращения.

Помню, что я всматривался в темноту и прислушивался, как вдруг Хильке заиграла на рояле, ведь она никогда не училась музыке, а все же робкими пальцами играла на рояле, стоявшем на открытом воздухе, возле шлюза, и над Хильке носились чайки; она играла, и будто ледяные сосульки, совсем маленькие, маленькие и побольше, отрывались от края желоба и падали, падали на стекло и разлетались вдребезги, и тогда становилось видно, что они окрашены в красный, но больше в желтый цвет, а потом на Хильке упала тень, тень от самолета, парившего без моторов в воздухе; серый, довольно большой самолет, он пытался приземлиться возле позиции отца и, сделав множество кругов, бесшумно, только ледяным холодом повеяло, наконец опустился, мягко опрокинувшись на одно крыло, и сразу же овальная дверь открылась и оттуда высыпали мужчины и женщины, все знакомые, впереди капитан Андерсен, но также старик Хольмсен, и учитель Плённис, и Бульгйоганн, и Хильда Изенбюттель, а Хильке все ритмичнее скакала по роялю, отражавшемуся в прибывающей воде шлюза, именно ее-то игра и побудила всех взяться за руки и приплясывающим хороводом окружить позицию отца, все уже, все теснее сжималось кольцо, одежда развевалась, но не от ветра, и вот они уже рядом с ним и над ним, они связывают его, вытаскивают из окопа и, приплясывая, несут вверх по зеленому склону к мельнице, у которой появились крылья, крылья, обтянутые грязной парусиной и дрожащие от нетерпения, они прикрутили к ним отца и размеренно захлопали в ладоши, когда крылья начали медленно вращаться и рывком приподняли отца с земли, так что у него носки оттянулись и он, так сказать, обвис, но потом крылья завертелись все быстрее и быстрее, в воздухе загудело, давала себя знать центробежная сила, при движении вверх тело отклонялось, принимая горизонтальное положение, и тени от крыльев пробегали по нашим лицам, а в пруду то же самое происходило с тенью мельницы, пока из луковицы купола не заструился дым, да, мельница дымилась, и в воздухе стоял запах гари.

Тут я вскочил и бросился к окну, за окном поднимался кверху тонкий столбик дыма.

Внизу, во дворе, на раннем утреннем солнце возле костра стоял отец. Он не спеша подкармливал огонь бумагами, которые вынимал из скоросшивателей, следя за тем, чтобы воздушный ток от пламени не унес какой-нибудь обуглившийся лист. Тогда он сразу все выхватывал и совал в огонь лишь такую порцию, с какой пламя могло справиться, а если пламя, на его взгляд, слишком разрасталось, ждал, листая бумаги и перечитывая их.

Я стоял и смотрел на отца, пока он меня не заметил, и, так как он не пригрозил мне и меня не позвал, спустился к нему во двор и без приглашения стал ему помогать ловить страницы, которые нагретым воздухом подбрасывало кверху. Отец чувствовал, что я со стороны неотступно за ним наблюдаю, но долго это терпел и лишь спустя какое-то время спросил:

— Что с тобой? Первый раз меня видишь?

Я ничего ему не рассказал о мельнице и самолете, который приземлился под музыку Хильке, а только спросил:

— Когда мы туда пойдем?

— Конечно, — сказал он, — все кончено, — вырвал несколько страниц из папки и, прежде чем бросить в огонь, скомкал. Лицо у него было серое, небритое, фуражка сползла набок, на башмаках налипла сырая земля окопа. Его опущенные плечи. Замедленные движения. Хриплый голос. Увидишь такого человека, и сразу подумаешь: ну, этот сдался, ему уже не выбраться ни на какой берег.

И стесняешься с ним заговорить, потому что главное тебе известно. Он сидит на чурбаке, который ты ему подкатил, а ты смотришь ему в затылок.

Отец предоставил мне приглядывать за огнем, а сам, сидя на измочаленном чурбаке, только поддерживал пламя старыми, скорее всего никому уже не нужными документами, время от времени читая строчку-другую, безучастно, словно они никогда для него ничего не значили, а когда окормил огню первые кипы, пошел в контору и вынес новые бумаги — их много накапливалось из года в год, — а ведь он, не расстававшийся ни с какой малостью, все это собирал, прятал и берег, как свидетельства своей жизни, в которой ему когда-нибудь придется отчитаться.

Он был мной доволен, тем, как я следил за огнем, только-только поддерживая в нем жизнь. Когда он последний раз пошел в дом, то, кроме двух папок, вынес еще книги, черновую тетрадь и сверток, обернутый в промасленную бумагу и небрежно перевязанный шнуром. Значит, и это туда же — невидимые картины.

— Еще столько? — спросил я, а он тусклым голосом:

— Все. Все нужно сжечь, — и стал разрывать тетрадь.

Тут на крыльце появилась Хильке, спустилась во двор и позвала нас чай пить, то есть крикнула:

— Еще долго будете канителиться, чай совсем остынет, — а потом пришла еще раз, подошла поближе к нам, к огню, и неохотно, уже без задора повторила приглашение, причем все время глядела не на огонь, а на меня и вдруг выпалила: — Какое у тебя старообразное лицо, Зигги, тебе вполне можно дать лет тридцать. — Такова уж моя сестричка! Порой говорит о человеке, будто о лошади.

— Лучше сматывайся отсюда, — огрызнулся я, а когда она подняла с краю костра обуглившийся листок и попыталась прочитать, я выхватил у нее бумагу и бросил в огонь: — Катись и продолжай играть, — сказал я.

— Играть? — недоуменно переспросила Хильке. — Как это играть?

— На рояле, — сказал я, на что она, обращаясь к погруженному в свои мысли полицейскому:

— Да он совсем спятил, и лицо какое! — Я уже понял, без ругани мне от нее не отделаться, и соображал, что бы такое ей врезать, как Хильке вдруг вскрикнула: — Смотрите, вон там! Смотрите!

Мы обернулись и посмотрели на кирпичную дорожку, там стояла зеленая, оливково-зеленая бронемашина. Стояла там. Была там. С тархтевским мотором, с опущенной пушкой,

из люка выглядывала голова солдата в черном берете. Срезанный наискось покатым нос машины выдвинулся за табличку «Ругбюльский полицейский пост» и поворотил на нас, задел столб, но не свалил его и, впритирку миновав тележку, все ближе пододвигался к костру.

Отец поднялся с чурбака. Невольно одернул мундир. Он ждал приближавшуюся бронемашину, став навтыжку, не подавленный, а подтянутый. Когда бронемашина остановилась почти у самого огня, отец шепотом, так что я один мог разобрать, сказал:

— Бумаги уничтожь, сожги. — Но как?

Я понемногу, сантиметр за сантиметром, стал ногой подталкивать одну из папок к свертку, обернутому в промасленную бумагу, папка шуршала о песок и оставляла после себя след, будто проползло какое-то животное, возможно, черепаха. Из люка показались плечо, руки, солдат поманил к себе отца и что-то его спросил, на что отец ответил кивком. Папка как раз коснулась свертка, и в тот миг, когда солдат, подтянувшись на руках, спрыгнул из люка наземь, я подхватил и то и другое и, пяясь, отступил к сараю, где просто выронил свертки, просто выронил, а папку продолжал держать в руках, потом опять приблизился к костру, не спеша его обошел и встал рядом с отцом, разговаривавшим с солдатом.

У солдата были медно-красные курчавые волосы и две медно-красные звезды на погонах, если это вам что-то говорит, а на потрепанном матерчатом поясе у него висела потрепанная кобура, в которой лежал пистолет того же калибра, что и у отца. Уж не собирается ли он затоптать огонь, конфисковать удобочитаемые страницы и сдать их куда следует на обработку? Стоит ли того ругбюльский полицейский пост?

Английский солдат даже не взглянул на огонь. Не поинтересовался он также ни целыми, ни полуобгоревшими документами. Запинаясь, но говоря по-немецки и поглядывая на записку, которую вытащил из нагрудного кармана, солдат спросил отца, не старший ли он полицейский вахмистр Йепсен. Отец кивнул. А это Ругбюль? Отец кивнул. Если так, сказал английский солдат, то ему приказано арестовать старшего полицейского вахмистра Йепсена из Ругбюля. Настоящим предписывается. Он сложил записку и запихнул ее обратно в нагрудный карман. Потом подал знак бронемашине, собственно не бронемашину, а устремленным на нас из смотровой щели светлым блестящим глазам и жестом предложил отцу сесть.

Полицейский медлил.

— Кое-какие вещи, — сказал он, — ведь разрешается взять кое-какие вещи.

Солдат не знал, может ли он разрешить, и сперва справился, поговорив со смотровой щелью, светлые глаза как будто не возражали, солдат повернулся к отцу и указал на дом. Отец пошел вперед, солдат и я следом.

Трудно описать мой страх, мое волнение, когда мы входили в дом; я и мысли не допускал, чтобы отец, даже не попытавшись бежать, без малейшего сопротивления, ни слова не говоря, собрал свои вещи, сел в броневики и уехал, как от него требовали. Мы вошли в кухню, на столе стоял завтрак, чайник призывал подкрепиться. Полицейский собрал на подоконнике у раковины свой бритвенный прибор. Мы вошли в контору с пустыми полками, ящики письменного стола зияли открытые, словно их вырвало.

Полицейский взял портфель, выложил из него шкатулку, где ничего не хранилось, кроме второго ключа к портфелю, и уложил в нее бритвенный прибор. Гуськом по лестнице мы поднялись наверх, долго стучали в дверь спальни, пока наконец мать, в купальном халате и непричесанная, чуть приотворив дверь, не просунула отцу две пары носков, полотенце и рубашку, все это молча, она не видела ни солдата, ни меня. Зашли в мою комнату, отец впереди, и я недоумевал, что ему здесь брать, но он только обошел вокруг стола, похлопал по морской карте, похлопал по спинке кровати, первым вышел в коридор и спустился вниз, на кухню. Солдат остановился в нескольких Шагах от отца, он сунул пальцы за потрепанный матерчатый пояс и не проявлял никаких признаков нетерпения. Спокойно смотрел, как отец налил себе чаю и, круговым взмахом руки испросив извинения, принялся пить чай из Толстой фаянсовой чашки, а отец, со своей стороны, поверх края чашки наблюдал за



солдатом, оценивающе, со скрытой неприязнью. Пока отец пил, я держал его портфель. Как только мог он пить чай так долго и с таким удовольствием! Да еще налил себе вторую чашку, хотя солдат поставил ногу на стул и начал раскачиваться. Лишь опорожнив вторую чашку, отец взял у меня портфель и подал мне руку. Он позвал Хильке из кладовки и ей тоже подал руку. Потом вышел на площадку и, подняв голову, прислушался, постоял в нерешительности, кисло-сладко улыбнулся солдату, но тот не улыбнулся в ответ, и наконец крикнул наверх: — Так пока... мм? — и выпрямился: он был готов.

Мы проводили его во двор и стояли на крыльце на одном уровне с башней оливково-зеленой бронемашины с изображенной на ней крысой на задних лапках.

— Я скоро вернусь, — крикнул отец. — Скоро!

Хильке потихоньку заплакала, я это понял даже не глядя, потому что плач у нее получается, как икота. Они уже стояли перед бронемашинной, солдат взял у отца портфель и большим пальцем указал наверх, как вдруг нас с Хильке отстранили, прижав к стене, две обнаженные, усеянные веснушками руки.

Она пришла. Мать прошествовала между нами в коричневом халате с короткими рукавами, волосы у нее были распущены, она ступала словно на ощупь, прямо неся крепкое тело и откинув назад голову, своей походкой она напомнила мне гордую, злую королеву — какую только? — во всяком случае, своим появлением она достигла того, что солдат подтолкнул отца и что-то ему сказал. Костер почти догорел. Мать остановилась у костра и позволила отцу подойти ближе, еще ближе, совсем близко. Она раскинула руки, наподобие того как это делают рыболовы, показывая величину пойманной рыбы. И обняла его. Торопливо и неуклюже прижала к себе. Затем опустила руку в карман халата и подала ему что-то маленькое, блестящее, кажется, перочинный ножик, он взял ножик, коротко помахал рукой, будто отвечая на сигнал.

— Готово? — спросил солдат.

Ругбюльский полицейский вскарабкался на броневику и все глядел на нас, пока машина огибала костер, а когда оливково-зеленая громада почти вплотную проползла мимо нас, отец рывком выпрямился и подчеркнуто прогнул поясницу, дав мне этим на прощание понять, что я должен держаться прямо.

## Глава XIV Умение видеть

За вход брали полхлеба. Стало быть, с двумя хлебами под мышкой мы вполне могли рассчитывать на четыре входных билета и смело двинулись из Блеекенварфа вдоль подножия дамбы, потом напрямик лугами по направлению к Глюзерупу, затем повернули на восток к чахлой рощице, относившейся уже к лагерю или, вернее, к запретной зоне, как теперь именовали всю территорию между Клинкби и Тимменштедтом.

Да и трудно было бы назвать это лагерем, поскольку там отсутствовала известная по всем хрестоматиям колючая проволока, как отсутствовали бараки, вышки, прожекторы и отсутствовали часовые, которые могли бы быстро охватить взглядом укрепленный район и тем самым над ним господствовать.

Чтобы как-то удержать в одном месте около шестисот тысяч пленных солдат, из которых многие даже не очень-то понимали, что они в плену, оккупационные власти, низко склонившись над картой, установили, стало быть, запретную зону: тут вот дорога от Клинкби к Глюзерупу, потом прихватим еще кусок Хузумского шоссе, завернем на юго-восток в сторону Фалтмоора, а далее граница пойдет к Тиммеяштедту, таким образом, вокруг всей запретной зоны будет проходить дорога, и по этой дороге пустим патрулировать бронемашинны.

Война, которая поначалу протекала столь рентабельно, кончилась. Всех, кто кинулся с

севера, бежал с востока, благополучно пробрался с юга, бронемшины вылавливали и пускали в запретную зону, где не только разрешалось свободно передвигаться: пленным солдатам было дозволено самим решать, куда ставить плащ-палатку, было дозволено чтение лекций на такую, например, тему, как право на развод, можно было без спросу рвать щавель и питательную крапиву, не возбранялось также устраивать вечера песни, вечера читок и театральные представления. В исполнителях недостатка не было. Жителям близлежащих усадеб разрешалось посещать театральные представления за чертой запретной зоны, но в пользу пленных артистов с нас, правда, брали по полхлеба.

Не стану задаваться вопросом, как Вольфганг Макенрот с психологической точки зрения оценит тот факт, что первое в жизни впечатление от театра я должен был оплатить хлебом, кстати, солдатским хлебом, который при посредстве казначея уплыл из лагеря, а затем, при нашем посредстве, возвратился обратно. Так или иначе, мы бодро шагали к чахлой рощице: я, Хильке, доктор Бусбек и художник, несший в картонке два хлеба. Погода? Обычные перисто-кучевые облака; ветер — стихающий вест-норд-вест. Облачно, с прояснениями. Стало быть, погода театральная, чего я тогда не думал, но хочу сейчас подчеркнуть. Казначей, которому мы сдали хлеба, пересчитал нас, после чего нас пропустили, и долгогривые солдаты из морской пехоты, взявшие на себя роль капельдинеров, провели нас вперед, почти к самой сцене, представлявшей просто огороженную связанными вместе плащ-палатками площадку среди деревьев — елей, буков, ольх. На сухом лугу, скрестив ноги, пересмеиваясь, а кое-кто и черпая ложкой хлебово из котелка, расположилось около двенадцати тысяч зрителей, многие спали, еще большее число почему-то ковыряло в пальцах босых ног. Вновь и вновь к чахлой, но все же сулящей некоторое укрытие рощице подлетала пара сорок и, не решаясь сесть, снова улетала. Чибисы давно покинули запретную зону, перекочевали также фазаны и предпочитавшие тишину сторожкие дикие кролики.

Прежде чем представление началось, выступил человек со сморщенным лицом грудного младенца, в начищенных до блеска сапогах, как видно, казначей, он вышел из рощицы на сцену, потребовал тишины и разразился речью об эмоциях. Вокруг раздавались негромкие хлопки и слышались краткие проклятия: налетели слепни и оводы, но они не могли помешать представлению.

Главным там был здоровяк с косматой бородой веером и железной рукой — настоящую он, как выяснилось, отдал за своего императора, и еще о нем очень пространно говорилось, какой он-де храбрый и благородный и так далее и тому подобное, и что он прямо-таки просеки прорубал в полчищах вражеских рейтаров, и что он, разумеется, гордится своими ранами. Против императора бородач не возражал, тот был его другом, но епископа и мелких князей терпеть не мог, они были порядочной дрянью, а он стоял у них на пути, и они, естественно, хотели убрать его с дороги, но друзья и храбрые рейтары какое-то время этому мешали; все же в конце концов бородач объявили убийцей и поджигателем и посадили в Хейльбронне в темницу, где тюремщик позволил ему сидеть в садике на солнце. Но эхо уже не могло ничему помочь. Он умер и мертвый все еще отбивался от жалящих слепней, так же как отбивались от слепней и оводов князя и женщины: такое бывает в театре.

Я не ожидал, что театр может быть так скучен. Уже то, как они там разговаривают, например: «Тысяча чертей!» Или: «До гробовой доски». Или: «Скажи твоему начальнику, что к его императорскому величеству я, как всегда, чувствую должное уважение». Вскоре я уже больше обращал внимание на отчаянные хлопки и проклятия, которыми как зрители, так и актеры отвечали больно жалящим насекомым, чем на то, что говорилось на сцене. При всем желании не мог я также вместе со всеми смеяться, а тем более аплодировать, когда бородач с железной рукой вдруг выкрикнул: «А он, скажи ему, он может поцеловать меня в...»

Единственный, кто меня заинтересовал, был некий брат Мартин, актер, выступавший в монашеской рясе: он сразу же напомнил мне Клааса; голос, движения, то, как он держался слегка сгорбившись, — все настолько напоминало моего брата Клааса, что я подтолкнул художника и обратил его внимание на этого брата Мартина; художник кивнул, словно его догадки шли еще дальше. Брату Мартину почти не аплодировали, тогда как остальные не

знали, куда деваться от аплодисментов, причем особенным успехом пользовались женщины с грубым голосом: им достаточно было появиться, или оборвать лепестки с цветка, или смахнуть слезу, как разражался гром аплодисментов, а когда у одной — это при прощании в Якстгаузене — сползли пышные волосы и открылся прямой мужской пробор, все двенадцать тысяч зрителей пришли в бешеный восторг.

Хильке тут, правда, сочувственно всплакнула, и художник заверил ее потом, что она одна только и поняла эту сцену, такое бывает в театре. Вначале меня еще подмывало проскользнуть за сцену, в рощицу, я чего-то от этого ждал, но чем дольше тянулось представление, тем равнодушнее становился я к тому, что делалось в тени буков и елей. Я стал считать штатских, прикинул, сколько они в общей сложности принесли хлебов, чтобы поддержать всегда голодное искусство: не то тридцать, не то тридцать пять? Точную цифру знал, конечно, только казначей. «Увы» и «Горе мне», которые теперь — уже начало смеркаться — все чаще доносились со сцены, звучали вполне убедительно, поскольку у некоего Вейслингена, довольно-таки мерзкого типа, от укусов даже лицо вздулось, но главное, растущие сетования указывали на то, что представление подходит к концу. Оно явно шло к концу, бородач с железной рукой уже давал понять, что умирает не то с горя, не то с досады, а может быть, оттого что горе и досада, на его беду, сошлись вместе. Меня это мало трогало, и я не в силах был присоединиться к ликованию зрителей, настолько меня разочаровало мое первое знакомство с театром.

Я рвался домой, но у художника было еще какое-то дело, он оставил нас и исчез среди деревьев за сценой. Зрители поднялись и стали расходиться; многие подмаргивали и подсвистывали Хильке или: приглашали ее с собой. Теперь обнаружилось, что одни зрители уснули, их не будили, а попросту переступали через них. Другие зрители и на ходу, разговаривая, продолжали хлебать из котелков. Многие шли босиком, носки они держали в руке, а связанные башмаки перекинули через плечо. Но были и зрители вовсе неприметные, которые могли уйти, а тебе и в голову не придет посмотреть им вслед.

Хильке поздоровалась с некой Лаурой Лаурицен, о которой я знал, что она страдает сахарной болезнью; доктор Бусбек разговаривал с фрау Зельринг из поместья Зельринг, то есть слушал ее, терпеливо позволяя ей излагать своими словами то, что он только сейчас видел на сцене. С таким Вейслингеном, по ее уверению, она самолично была знакома и считает, что этот образ вполне реален.

— Поверьте, доктор, — сказала она, — таких Вейслингенов на свете пруд пруди. — И доктор Бусбек не стал ей возражать: своими разговорами она могла хоть кого довести до белого каления. — Ну как, Зигги, — обратилась она ко мне, — понравилось тебе представление наших солдатиков? — И, не удосужившись выслушать мое мнение, принялась объяснять мне не только, что именно мне понравилось, но и почему понравилось. Слава богу, она вдруг увидела супругов Магнуссен, которые тоже еще не знали, что видели на сцене, и мы избавились от нее. Но куда девался художник?

Когда он наконец вернулся, и по походке и по лицу его можно было догадаться, что его распирает какая-то новость, которой ему не терпится поскорее поделиться с нами; размахивая руками, сложив губы трубочкой и прищелкивая языком, прокладывая он себе путь сквозь спорящие группки и, еще не дойдя до нас, выпалил:

— Это он. Это в самом деле он, Клаас! Завтра он будет дома.

Каждый хотел узнать подробности, а Хильке даже надумала бежать за сцену, в рощу, но художник потащил нас за собой, повторяя только: — Нет, нет, не сейчас, — и тащил и подталкивал нас к границе зоны, мимо броневика и через мостик из еловых бревен.

— Это Клаас, — сказал он, и еще: — Мальчик жив. Вы только представьте себе: он существует.

— Тот, в рясе? — спросила Хильке.

— Я не верил своим глазам, — продолжал художник, — но я не ошибся... Как он попал в запретную зону? Его схватили, вот и все. Дважды он пытался пробраться домой, и дважды его хватили и доставляли сюда. Он долго лежал в госпитале, как я понял, бумаги или

протоколы, или там приговор, сторели во время воздушного налета, и, вероятно, позднее, когда его перевели в военную тюрьму, кто-то Тянул с его делом, а после освобождения, как я понял, он из Альтоны пешком отправился сюда, но тут бронемшины его... теперь он ожидает, чтоб его отпустили, и, так как сельскохозяйственных рабочих и актеров отпускают в первую очередь, он и стал актером, почему бы не попробовать. — Художник со своей стороны нажал на все пружинь! и ему обещали, что Клааса освободят возможно быстро... — Наверное, уже завтра. Вы только представьте себе, он вернулся.

Весь обратный путь говорил только художник, лишь изредка прерываемый нашими вопросами; мы потребовали, чтобы он подробно рассказал все, что заметил при встрече, и если меня тогда не удивило, то теперь я не перестаю удивляться тому, сколько же он увидел. А радость старого человека, он просто опомниться не мог. Его радостное изумление то и дело прорывалось наружу, Лишь раз художник, помрачнев, замолчал: когда Хильке Сказала, что уступит свою комнату Клаасу, он того заслуживает.

— Завтра же прямо с утра все перенесу, — заявила она. — И когда он в полдень придет, у него будет своя отдельная комната.

— Погоди с этим, — сказал художник, — рано еще готовиться.

— Но ведь его же отпустят?

— Да, отпустят. Я сам завтра пойду за ним, но сперва, может, несколько дней он поживет у нас в Блеекенварфе.

— Он так хочет?

— Он сам просил меня об этом. Конечно, ой хочет Выйти из запретной зоны, но только если сперва побудет у нас. Недолго, наверно, всего несколько дней. Ему надо сперва прийти в себя.

Что он этим хотел сказать: прийти в себя? Как это понять? Все, кого бы я ни спрашивал, подумав, только поднимали плечами, отвечали вопросом на вопрос или говорили — там видно будет; так что я не мог дожидаться возвращения Клааса.

Вопросы ничего не прояснили ни вначале, ни позже, и Клаас тоже мне на них не ответил; когда я после такого долгого перерыва вновь увидел брата, от него ничего нельзя было добиться: он спал. Сдал утром и днем, все равно светило ли солнце или лил дождь, В Влеекбнварфе его поместили в заброшенной ванной комнате, там он спал на разложенном прямо на полу матрасе, правда, оттуда убрали стремянку и кучу отбитой штукатурки, гвоздей, окурков и обрезков свинцовых труб, Он лежал на широком матрасе, накрытый пледом в черную и зеленую полоску, который художник принес из мастерской; иногда видны были только его сухие, без блеска, волосы, или одна ступня, или покалеченная кисть руки с натянутым на нее шерстяным носком.

Мне не разрешали к нему входить, и я часто подолгу стоял под его окном, терпеливо подперев руками лицо, и завидовал Ютте: ей вот разрешалось сидеть возле его матраса, присматривать за ним, видимо, сторожить его сон. Она приносила ему еду. Глядела, как Клаас ест — полулежа, опираясь на локоть, — и прикрывала его иногда пледом, когда он, насытившись, опускался на подушку, Ютта не обращала на меня внимания, даже если я показывался в окне в ту минуту, когда она дольше, чем следовало, возилась с одеждой брата, почему-то прижимала к себе брюки или куртку, прежде чем аккуратно сложить. И если Клаас спал в саду под яблонями, защищенный от ветра живой изгородью, она опять-таки сидела возле него на корточках, костистая и бдительная, и не подпускала меня близко, — Клаас и был и не был тут, видимый, но недостижимый под ее охраной.

— Что, малыш? — сказал он мне однажды, и это все.

Что ж, мне ничего не оставалось, как привыкнуть к его усталости. Я бежал в Блеекенварф, ожидая застать его спящим, заставлял его спящим и после долгого напрасного наблюдения решал: нет так нет и шел искать художника, который не знал, сколько еще проспит Клаас, но понимал, почему ему хотелось только одного — спать. Хотя от Клааса было мало толку, разве что он подмигнет мне или в лучшем случае мельком грустно улыбнется, я тогда зачастил в Блеекенварф, может, потому что хотел быть поблизости, когда

он окончательно проснется, но скорее всего потому, что художник заканчивал свой автопортрет — он начал его вскоре после того, как ушел с позиции под мельницей.

Сперва непременно к Клаасу, но там все оставалось по-старому, и оттуда через сад в мастерскую, к художнику: он-то узнавал меня уже по тому, как я открывал дверь, и из глубины мастерской сразу кричал мне:

— Скорей иди сюда, Вит-Вит!

Значит, снова не ладится. Уговоры языком краски, недовольные взгляды. Он работал над своим последним автопортретом. Приглядывался к этому другому Нансену и постепенно приходил к убеждению, что никакого сходства нет.

— Я просто себя не вижу, — говорил он, — все ускользает, меняется слишком быстро, я не могу снять противоречие в портрете. Цвет утратил надежность, обрел некоторое переходное состояние. У него чертова склонность эмансипироваться, — пояснял он, — стать произвольной энергией. Вот погляди, Зигги, и попытайся это описать, тогда ты поймешь, что описательством мало чего добьешься, если цвет становится энергией. Движением. Движением в пространстве.

Я сидел у него за спиной, на обтянутом холстиной ящике, чуть наискосок и наблюдал за его попыткой «закрепить» себя на определенном месте, под определенным небом, среди ландшафта, где в огненно-красном лисьем меху прогуливался Балтазар, несколько притихший, возможно укрощенный перспективой. Насыщенная краской японская бумага напоминала набивную ткань, а поделенное на участки разным освещением лицо — легкую маску, через которую просвечивал мир. Левая половина лица блеклого красно-сероватого цвета, правая зеленовато-желтого, фон в красноватых крапинах — так глядел он с портрета. Две разные половины лица и серые глаза, смотревшие издали сквозь голубоватую пелену, в какой-то мере выдавали трудность восприятия. Если сказать: слегка приоткрытый, готовый заговорить рот, то этому явно противоречила беловато отсвечивающая выпуклость лба. Если сказать: синеватая тень по спинке носа соединяла обе половины лица, то надо признать, что она же их и разделяла. Ничто не было однозначным: ни рот, ни глаза, ни даже уши, показавшиеся мне искусственными, будто отлитыми из металла.

— Ну, что она говорит? — нетерпеливо спросил он. — Ну, что говорит тебе эта картина? Как же ты не можешь сказать? Ведь когда думаешь, не обходишься без речи, когда видишь, не обходишься без слов. Так что же? — Я не понимал, чего он от меня требует, не понимал, почему он не может или не хочет удовлетвориться двумя половинками лица — красно-серой и зелено-желтой. — Нет содержания, — сказал он, — в картине и не обязательно содержание, но что же тогда? Нет, Балтазар, цвет не может стать плоскостью, вспомни, зимой, когда акварель на бумаге вдруг замерзла, снег смешал краски и как они, оттаивая, расплылись — что тут произошло? Стал ли цвет энергией? Той энергией, что создает кристаллы и водоросли? И мхи? Как ты думаешь, Вит-Вит? Чем объяснить, почему мы ничего не можем в точности воспроизвести? Не умеем подчиняться или не умеем видеть? Балтазар считает, что мы должны начать с того, чтобы снова научиться видеть. Видеть, господа, будто не все от этого зависит.

Он взял два наброска К автопортрету и поставил их рядом на мольберт, отступил и всем напряженно повернутым положением туловища выразил отрицание и недовольство.

— Ну, тут и тебе ясно, Зигги, — слишком бедно, слишком завершено. Этот светящийся изнутри синий для всего лица не оставляет места движению. Знаешь, Зигги, что такое видеть? Умножать. Видеть — значит проникать вглубь и умножать. Или еще открывать. Чтобы быть на себя похожим, надо открывать себя, постоянно, снова и снова, каждым взглядом. Что открыто, то и воплощено. Здесь вот, в этом синем, в котором ничто не колеблется, в котором отсутствует беспокойство, ничто не воплощено. Ничто не умножено. Когда ты видишь, то и тебя одновременно видят, твой взгляд возвращается обратно. Видеть, боже ты мой, это может также означать вложение накопленного или ожидание изменений. Перед тобой все — предметы, старик, но это не они, если ты не вложишь чего-нибудь и от себя. Видеть — это же вовсе не протоколировать. Нужно быть готовым и к пересмотру. Ты

уходишь и возвращаешься, и уже что-то изменилось. К черту протоколы! Форма должна колебаться, все должно колебаться, разве свет так уж упрощенно прямолинеен?

Или вот, Вит-Вит, эта картинка, тепло пронизанная солнцем, — Балтазар протягивает мне на ладони маленькую мельничку, а я не обращаю на него внимания. Понимаешь, там, где есть еще кто-то, где есть еще что-то, должно быть движение от одного к другому. Видеть это как бы обмениваться. А прок от этого во взаимном изменении. Возьми протоку, возьми горизонт, ров с водой, куст шпорника — лишь только ты их воспринял, как они тебя восприняли. Вы взаимно друг друга познаете. Видеть — тоже значит идти друг другу навстречу, сокращать расстояние. Разве не так? Балтазар считает, что всего этого еще недостаточно. Он настаивает на том, что видеть — это также разоблачать. Что-то так раскрыть, чтобы никто на свете не мог уже сослаться на неведение. Не знаю, мне претит эта игра с раздеванием. Если снять с луковицы слой за слоем, то ничего не останется. Я тебе так скажу, начинаешь видеть, когда перестаешь играть в наблюдателя и открываешь то, что тебе нужно — это дерево, эту волну, этот пляж.

А здесь, говорит что-нибудь эта картина? Мне пришлось поделить лицо, тут красно-серое, там зелено-желтое; не знаю, как иначе я мог бы это выразить, и все-таки полного сходства нет. Перед этим автопортретом я мог бы утверждать, что это вовсе не я, там слишком многого недостает. В нем недостает возможностей, в том-то все и дело, — когда пишешь что-нибудь, лицо, предмет, то должен в него вложить и возможности, которые он в себе таит. Кое-кому это удавалось в автопортрете — смотришь и распознаешь перенесенные болезни, порой даже материальное положение. А здесь слишком многого недостает. Не увидено и потому не освоено. И это тоже значит видеть — освоить, овладеть. Нет, наново напишу портрет, напишу по-другому. Как ты считаешь?

Макс Людвиг Нансен частенько так разговаривал, особенно когда бился над чем-нибудь и размышлял вслух. Отвечать на поставленные вопросы вовсе не требовалось, они были больше обращены к самому себе, чем к присутствующему. В данном случае ко мне. Что он вообще много разговаривал, объяснялось пшеничной водкой, которую он пил с содовой или разбавлял тыквенным соком. «В горле совсем пересохло, — жаловался он, — надо промочить!» Бутылка и кувшин с тыквенным соком стояли не в шкафу, а на шкафу, как когда-то джин, вероятно, он их туда ставил, чтобы неудобно было себе подливать. Или хотел, чтобы каждый стаканчик стоил ему известного труда. Или же просто хотел пить поменьше. Ведь, доставая со шкафа кувшин и бутылку, он рисковал облиться по меньшей мере тыквенным соком, и чем больше он пил, тем этот риск возрастал. Всякий раз, наливая себе стаканчик, он принимал озабоченный вид и делал в мою сторону извиняющийся жест, что, мол, не может и мне предложить стаканчик. И каждый, кто хотел с ним разговаривать, должен был сперва с ним чокнуться: Тео Бусбек, Окко Бродерсен, два английских офицера, посетители, вышедшие из машин с иностранными номерными знаками, — в горле пересохло, надо промочить! Лишь одному не предложил ой с ним выпить: Бернду Мальтцану»

Я сидел на обтянутом холстиной ящике, когда он вошел: крупный мужчина с ввалившимися щеками, в потертом, я даже сказал бы болтающемся на нем, костюме, Художник как раз смягчал синий, разделявший лицо на две половины. Мальтцан будто бы по делам был в Гамбурге и решил сюда заскочить, под мышкой он держал книгу «Цвет и оппозиция». — Вот как, — проронил художник, продолжая работать и не предлагая посетителю сесть. Он уже давно, сказал Мальтцан, думал приехать и написать собирался еще несколько лет назад, им надо поговорить, объясниться, чтобы все предстало в истинном свете.

Он стоял за спиной художника, тер указательным пальцем подбородок и время от времени делал неуклюжий шаг в сторону. Сперва ему надо передать одну просьбу, Слышал ли художник о новом журнале, издающемся в Мюнхене? — «Нация и искусство»? — холодно спросил художник, на что посетитель, не смущаясь, поправил: «Непреходящее», журнал называется «Непреходящее». Он, правда, не числится в составе редакции, но у него есть перспектива стать его постоянным сотрудником на твердом окладе, журнал выходит раз в

месяц. — Понятия не имею, — процедил художник. — Понятия не имею, — и продолжал работать. Мальтцан бросил взгляд на дверь, напрасно я сюда пришел, возможно, подумал он, но как выкрутиться, если ты здесь и уже начал разговор, за одним с необходимостью следует другое, единственное, что остается, — это ускорить дело, итак, журнал будет выходить ежемесячно и удовлетворять самые широкие запросы. Мальтцан знал не только, что говорить, он знал больше. Он слышал о серии, о цикле работ с интригующим заглавием «Невидимые картины», смеет ли он просить — он был бы чрезвычайно признателен — на них взглянуть? И может ли редакция при известных условиях рассчитывать на то, что им предоставят для напечатания один или несколько рисунков? Редакция сочла бы за большую честь и тому подобное.

Мальтцан впери в художника беспокойные щелки глаз, от этого первого ответа зависело многое. Художник покачал головой. Цикл разрознен, рисунки были у него изъяты, прошли через много рук, причем некоторые картины — как раз те, которые ему особенно важны, — утеряны: теперь цикл снова у него, но в таком виде его нельзя показывать. Ответ был, очевидно, более благоприятным, чем ожидал Мальтцан. Он сделал шаг-другой, надеясь привлечь внимание художника, но тот, будто обращаясь к автопортрету, снова заговорил.

А не ошибается ли редакция «Нации и искусства», оказывая именно ему столько внимания? Нет ли тут какого недоразумения? На что Мальтцан, постепенно отступая, с вымученной улыбкой стал объяснять: речь идет о новом журнале, он называется «Непреходящее» и открыт всем направлениям, надо наверстать упущенное в годы мрака и ослепления, это сейчас самая неотложная задача, все в таком духе. Художник кивал, он, казалось, не имел ничего против в общем и целом, но относительно себя его одолевали сомнения: зал, в котором обретается «Непреходящее», представляется ему недостаточно уютным, там слишком много света, поэтому он предпочитает остаться в «комнате ужасов», куда его когда-то сослала редакция «Нации и искусства»; в «комнате ужасов» он чувствует себя дома, у него там нет недостатка в друзьях, а кроме того, это как раз место, какого он всегда желал себе и своим картинам: из того, что в мире достойно отображения, не в последнюю очередь назовешь ужас, и, так как он достаточно часто пытался на свой лад передать этот ужас, он вполне подходит для такой «комнаты». Если Мальтцан разрешит коснуться их личных отношений, он благодарен за то, что тот определил ему такое место, все годы он этому радовался. И единственное, о чем он просит, — это оставить его в «комнате ужасов».

Тут Мальтцан вздохнул и, покрутившись, скорбно, но не безнадежно закивал: — Да-да, знаю, было такое, просто уму непостижимо, — но хорошо, что художник об этом заговорил, он, Мальтцан, даже надеялся, что об этом зайдет речь, это как раз вторая причина его посещения: ему хотелось бы внести ясность, способствовать тому, чтобы все было «правильно увидено» и понятно. — Правильно увидено? — переспросил художник, на что Мальтцан с пылом: — Да-да, увидено и именно так, как это поняли лишь очень немногие.

Он хотел продолжать, вероятно, все заранее подготовил, но тут снова послышался ровный голос художника: он ничего не может с собой поделать, но таким, как его увидел Мальтцан, он и сам себя видит: «намалеванная чертовщина и манифест вырождения» — таково ведь было мнение Мальтцана, так ведь он выразился, и что же получится, если теперь захотеть это «правильно» увидеть. Для него мир и в самом деле полон всякой чертовщины, а если человек, пишущий картины, выходит за рамки общепринятого, то его, естественно, должно считать выродком. Тот же Адольф Циглер из Дома немецкого искусства этим не грешил, он так и остался живописцем немецких срамных волос и никогда не ходил в выродках, напротив! Нет, как Мальтцан однажды его назвал, так пусть и дальше, пожалуйста, называет, он с самого начала «правильно» его увидел.

Мальтцан кисло улыбнулся, к этому он, очевидно, заранее приготовился. Он рад, что художник привел именно эту двусмысленную формулировку, в ней как раз видно то, что лишь очень немногие тогда поняли. Да, он писал и говорил о картинах Макса Людвига Хансена как о «намалеванной чертовщине» и не собирается это отрицать. Но неужели не

ясно, кого он имел в виду? В кого он метил? В статье буквально сказано: «Тебя со всех сторон окружает намалеванная чертовщина». Не так ли: «со всех сторон окружает» — достаточно ясно сказано. Чертовщина — это то, что происходило вокруг, художник по-своему отразил эту политическую чертовщину, ему, как критику, важно было указать на связь внешнего мира с миром художественных образов, пусть в скрытой, двусмысленной форме на это намекнуть. Он и сейчас поражается, что от большинства это ускользнуло.

Мальтцан продолжал говорить, все торопливее, пытаясь доказать, что, быть может, все-таки существуют разные способы видеть, и ему было неприятно, когда в самый разгар его рассуждений скрипнула дверь.

— Это ты, Тео? — окликнул художник. Доктор Бусбек не ответил, он медленно приблизился, вскользь, с недоумением взглянул на посетителя, сразу же хотел уйти и в оправдание сказал:

— Я уложился, Макс. Я только зашел сказать, что готов.

— У меня тут гость, — сказал художник и повернулся, Тогда Тео Бусбек оглядел с ног до головы крупного мужчину в поношенном костюме, поднял глаза, видно было, что он силится вспомнить, и наконец спросил:

— Бернд Мальтцан? — Мальтцан ответил коротким поклоном. — Бернд Мальтцан из «Нации и искусства»? — все еще не веря, переспросил Тео Бусбек.

— Он самый, — подтвердил художник, — мой покровитель, мой неизвестный защитник, если ты этого не знал. Он многим рисковал ради меня, и никто из нас этого не заметил, как сейчас выяснилось. Мы попросту не сумели это правильно увидеть.

Мальтцан оскалил зубы, поднял руку, словно прося слова, покачал головой и откашлялся. Он переводил взгляд с одного на другого. Развел руками: дайте же, мол, мне докончить, но художник не желал больше его слушать; спокойно, с непреклонным лицом, на котором не отражались ни злоба, ни презрение, он подошел к Мальтцану, указал на дверь и, не повышая голоса, сказал: — Вон! — и, так как Мальтцан непонимающе на него уставился, повторил: — Вон! — Не берусь сказать, как удалился бы я после столь краткого приглашения; Мальтцан, во всяком случае, с секунду поколебавшись, резко выпрямился, произнес, язвительно напирая на согласные:

— Честь имею, — и вышел.

— Неужели Мальтцан? — спросил Бусбек.

— Быстро же, — проговорил художник, — быстро они вылезают из щелей. Думаешь, они хоть на время скроются, присмирят, замрут наедине со своим срамом во мраке, а они уже тут как тут. Я знал, в один прекрасный день они появятся снова, но так быстро, Тео, так быстро — этого я не ожидал. Просто диву даешься и спрашиваешь себя, чего в них больше, забывчивости или бесстыдства.

Он положил Бусбеку руку на плечо и повел его к своему автопортрету, я тоже к ним примкнул. Они рассматривали незаконченный портрет иначе, чем обычно, почти не шевелясь и предпочитая молчать. А когда молчание затянулось, художник сказал:

— Твоя комната здесь так и будет твоей, никого туда не поселю, все сохранится, как есть.

— Я оставлю вам тут картонку, Макс, — сказал Бусбек, — надеюсь, она не помешает. — Он не сводил глаз с картины и не повернул головы к художнику, который дружески напомнил ему об их уговоре, и добавил:

— Это навсегда, когда бы ты ни захотел здесь пожить, приезжай без всякого предупреждения. Я вообще не понимаю, почему ты уезжаешь.

— Все теперь позади, — сказал Бусбек, — ты во мне больше не нуждаешься, а я хочу еще раз попытаться начать сначала. Ты же знаешь.

— Да, конечно. Такие уж мы с тобой. Да, Тео, такие. Но приезжать-то ты будешь?

— Непременно, каждое лето, Макс, можешь не сомневаться.

— А картина? Как? Автопортрет, как он, по-твоему?

— Еще не знаю, Макс, я должен сперва посмотреться.



Не получилось, значит?

— Я не о том, надо сперва вникнуть в то, что ты тут рассказываешь. Но мне пора.

— Мы тебя проводим, Тео. До Глюзерупа, разумеется. Мы с Зигги. И в поезд тебя посадим, хочешь не хочешь, верно, Вит-Вит? Ну, конечно. Где бы взять хорошую палку? Пожитки твои на палку, палку на плечи, так мы живо Доберемся до станции, если Зигги понесет акушерский саквояж.

Я нес кожаный портфель с защелкивающимся запором — художник прозвал его акушерским саквояжем, — мужчины подняли на плечи палку с болтающимся, соскальзывающим, но затем, когда палка прогнулась, неподвижно повисшим чемоданом, и мы тронулись по извилистой дороге к дамбе, вдоль заболоченных рвов, затянутых ряской. Мальтцана и след простыл. Хороший день для уборки сена, теплый, сухой, в моем представлении будто разукрашенный голубыми флажками; в сторону Тимменштедта и в самом деле ворошили сено, обнаженные по пояс торсы наклонялись и распрямлялись, поблескивали длинные зубья вил. Мы вскарабкались с нашей поклажей на дамбу. Художник спросил в последний раз:

— Может, все-таки останешься, Тео? — На что Бусбек, отвернувшись к морю, проговорил:

— Я вернусь, Макс, а сейчас мне лучше уехать. Поверь.

Я бежал впереди. Самый что ни на есть день для ласточек: какие низкие крутые развороты, какое пикирование к горячему песку, какие сдавленные крики, когда несколько ласточек устремлялись друг другу навстречу и в последний миг пути их скрещивались! Они стрелой мчались над лугами, низко проносились над дамбой, но тут порыв ветра с моря подбрасывал их кверху, в небо, откуда они, со свистом рассекая воздух, падали вниз.

— Поспеем вовремя, Тео, — уверял художник, — не к чему все время смотреть на часы.

Внезапно они остановились, опустили ношу. Стали совещаться. Они смотрели на полуостров.

— Не видишь? Еще левее, в ямке, у самой воды? Неужели не видишь?

— Ютта?

— Она самая, и знаешь кто лежит с ней рядом?

— Клаас?

— А кто же еще!

Наконец-то, значит, Клаас проснулся, наконец-то решился выйти из-под защиты Блеекенварфа. Он лежал на песке ничком, а возле него в тесном, сваявшемся купальном костюмчике, заштопанном возле подмышек и на ее маленьком, твердом заду, стояла на коленях Ютта. Клаас снял с себя рубашку и так закатал брюки и подштанники, что казалось, у него на икрах серо-белые манжеты. Его косматая голова торчала из ямки, выкопанной в песке, а перед ним, будто два диковинных, обессилевших живых существа, склонив на сторону голенища, возвышались его армейские сапоги. Ютта его массировала, втирала ему что-то в спину, елозя взад и вперед и изредка похлопывая его по лопаткам. Если Клаас поднимал ногу, она прижимала ее к земле, если хотел приподнять голову, шутиливо хватала его за шею, словно собираясь задушить.

— Позвать их? — спросил я. — Сбежать за ними?

— Не надо, — остановил меня доктор Бусбек, — я уже простился с обоими в саду. Оставь их.

Теперь ничком на песок бросилась Ютта, проворно спустила с плеч бретельки костюма, а Клаас неловко приподнялся и довольно долго искал пузырек с маслом. Он облил ей всю спину, растер ладонь о ладонь, хотел было приняться за дело, но вдруг почему-то остановился и, склонив набок голову, сверху поглядел на Ютту, которая покорно лежала и, должно быть, спрашивала: «Ну? Ну что ж ты?» Затем он начал втирать ей масло, довольно-таки машинально, даже как-то безучастно, потому что, массируя, все глядел на Северное море и на раскаленный пляж; тут он нас и заметил.

Он помахал нам, подтолкнул Ютту и указал в нашу сторону. Оба замахали. Мы

замахали в ответ. Но ни они, ни мы не двинулись с места. Потом мы подобрали багаж; на этот раз я пропустил мужчин вперед, им время от времени приходилось менять шаг, чтобы утихомирить разгулявшийся чемодан, который порой оживал и, раскачавшись, начинал лягаться.

— Слава богу, что мальчик остался жив.

— Да, слава богу.

Глюзеруп был уже виден, даже дважды виден в мареве знойного дня: второй Глюзеруп, с припудренными цехами цементного завода, с водонапорной башней и ржавыми газгольдерами, словно бы в зеркальном отображении поднимался над первым.

— Ни улыбки, Макс.

— Что ты хочешь сказать?

— Земля эта — твоя земля, она не умеет смеяться, даже сегодня, в такой великолепный день. Вечно на полном серьезе, все равно и при солнце такая суровость.

— Тебе было тяжело здесь?

— Все время, Макс, считаешь себя к чему-то обязанным.

— К чему же?

— Не знаю, может, к серьезности, к серьезности и молчанию. Даже в полдень она гнетет. Иногда мне представляется, что эта земля не имеет поверхности, а лишь... Ну, как бы выразиться, глубину, лишь зловещую глубину, и все, что там скрыто, тебе угрожает.

— И тебя это страшит, Тео?

— Мне просто кажется, что поверхность человечна.

— Я понимаю, Тео, но, раз уж она такая, не следует ли нам попытаться сделать эту землю обитаемой?

— Конечно, это тревожит, но это всего лишь настроения, быть может, вся земля здесь из одних настроений, и, раз они тебе известны, уже не так теряешься.

Вероятно, мы должны научиться ее видеть.

Так на прощание рассуждали они на гребне дамбы, и могло создаться впечатление, что они не хотят оставить между собой ничего недосказанного. Они рассуждали и все еще не заметили, что у входа в «Горизонт», подбоченясь и широко расставив ноги, стоял Хиннерк Тимсен и смотрел в нашу сторону. Все окна гостиницы были открыты настежь и закреплены крючками; на белом шесте колыхался личный вымпел Тимсена: скрещенные ключи, к которым, по-видимому, не существовало замков. Деревянные лестницы и переходы были выскоблены добела и сверкали на солнце. Думаете, трактирщик сделал хоть шаг нам навстречу? Он, ухмыляясь, ждал, пока мы подойдем, и заступил нам дорогу, нет, он просто собирался нас отвести в «Горизонт», но мужчины только положили вещи и остановились, а Бусбек, вынув часы, сказал:

— Нам надо поспеть на поезд, Хиннерк, в Гамбург только один прямой поезд.

Глоточек, — настаивал Тимсен, — глоточек на прощание, после стольких лет, все готово. — Он просунул до половины в открытое окно и захлопал в ладоши, и тотчас Иоганна в белом переднике вынесла поднос с высокими бокалами, в каждом плавал ломтик лимона.

— Что это такое?

— Сперва выпейте.

— А Зигги?

— Верно. Иоганна, еще шипучки для мальчика.

Мы чокнулись на прощание и за скорую встречу, мужчинам питье понравилось, и они спросили:

— Откуда у тебя джин, Хиннерк?

— А в честь чего, вы думаете, мы так проветриваем? — спросил Хиннерк Тимсен. — Здесь всё устраивают праздники победы, приезжают из Глюзерупа в своих машинах и празднуют, мы даем только помещение да проветриваем. Вы хоть бы разик посмотрели, — сказал он и выпил, слова но решил за всех нас просмаковать. — Скоро у меня будет для вас

еще кое-что получше. Да, Макс, а о тебе опять сегодня утром справлялись. Приехали в джипе. Они плохо знают по-немецки, я плохо знаю по-английски, но понял, им хочется, чтобы ты их нарисовал, портрет, что ли, как того майора. Что мне было делать, я им объяснил, как проехать в Блеекенварф.

— Найдут, — сказал художник и поставил пустой бокал на подоконник, взглядом показывая, чтобы *ж* мы туда поставили свои, затем поблагодарил Тимсена, похлопывая его по плечу, и, когда Бусбек и Тимсен пожимали друг другу руки, сказал:

— Давайте побыстрей, не навек же расстанетесь.

— Может, все-таки заглянете на минутку? — спросил трактирщик, на что Бусбек:

— Боюсь, если дальше так пойдет, мы опоздаем.

Снова прощание и все, что при этом говорится: возвращайся скорей, держись и не пропадай надолго, уж будем надеяться. Мы взяли вещи и двинулись дальше. Тимсен махал нам вслед с тропинки, а Иоганна — с видовой площадки.

— Еще несколько таких прощаний, Тео, — сказал художник, — и придется тебе тут остаться.

— Поспеем еще, — уверял доктор Бусбек.

Я предложил им срезать угол, идти к железнодорожной насыпи, затем вдоль полотна и через чугунный мост; они согласились, и мы кое-как спустились с дамбы и пошли напрямик теплыми лугами.

— Цветы не забудь, — сказал доктор Бусбек, — в день ее рождения, восьмого сентября.

Уж как-нибудь я знаю, когда у Дитге день рождения.

— Тогда хорошо, я только напомнить.

Мы вскарабкались на железнодорожную насыпь и пошли проторенной тропинкой; не только путевые обходчики, а почти все у нас ею пользовались, когда спешили на поезд. Я кидал кусочки щебня в темные широкие рвы, над которыми висел зной. Палкой колотил по перилам чугунного моста. Я уже различал станционные часы, крест-накрест заклеенные лейкопластом, — на стекле была трещина.

— Видишь, — сказал художник, — поспеем вовремя. Даже билет тебе купим.

— Надеюсь, — сказал Бусбек.

И вот станция Глюзеруп: четыре колеи, две платформы, закопченное депо, красно-кирпичная коробка главного здания, множество тупиковых путей, на которых стоят в самом деле загнанные в тупик более или менее обгоревшие, искореженные вагоны, на некоторых еще можно разобрать надпись: «Транспорт работает на победу». В главном здании — билетные кассы, служебные помещения, камера хранения, туалеты, а также зал ожидания: если оттуда убрать столы, стулья и скамьи, по своим размерам и обилию света он подошел бы для спортивного зала, при такой двенадцатиметровой высоте можно было бы даже в мяч играть.

Выход на платформу закрыт провисающей на уровне колен цепью, перешагивать через нее вправе только лица, облаченные в форму. Ходить по путям воспрещается: чтобы попасть с платформы на платформу, надо пройти по обшитому досками мосту-переходу, все перила которого изрезаны непристойными рисунками и инициалами скучающих пассажиров. За стеклянными окнами видны занятые каким-то сидячим делом служащие в форме; когда перед окошечком висит картонная табличка «Закрето», стучать туда бесполезно. Эмалированная дощечка с надписью «Плевать только в урны» утратила всякий смысл, поскольку никаких урн нет, должно быть, их убрали за ненадобностью. Пол главного здания выстлан рифленой плиткой, на одной стоит год постройки: тысяча девятьсот четвертый.

Когда мы добрались до станции, билеты уже продавали и пассажиров пустили на перрон; нам надо было на платформу № 2, ошеломленные, стояли мы на солнцепеке вместе со всем населением Глюзерупа, которое, очевидно, решило скопом покинуть город: люди сидели на корзинах, рюкзаках, картонках, чемоданах, ящиках, тащили мешки, стенные часы, кровати, туалетные столики, оленьи рога, упорно и незаметно пробивались к краю платформы, чтобы обеспечить себе выгодную позицию для предстоящего штурма поезда.

— Как видишь, Тео, не ты один уезжаешь, — сказал художник.

— Да, похоже, — признал Бусбек.

До чего же терпеливо сидели люди, некоторые даже спали на бесформенных грудах багажа. Мне бросилось в глаза обилие бывших солдат, оружие которых заключалось в украшенных затейливой резьбой палках; у большинства единственным багажом был туго набитый сухарный мешок. Бросился мне также в глаза бородатый старик: вывернув шею, он присосался к крану бачка с питьевой водой и с фырканьем, кидая вокруг себя злые взгляды, защищал кран от стайки ребятишек, которым тоже хотелось напиться. Бросилась в глаза женщина в узком костюме, она бесцеремонно проталкивалась сквозь толпу ожидающих и иногда, если мужчина стоял к ней спиной, резко к себе его поворачивала и всякий раз разочарованно, чуть ли не оскорбительно отталкивала от себя, видимо, это был снова не тот, кого она искала. И разумеется, мне бросилась в глаза женщина с белой птичьей клеткой, служившей местом заключения не птице, а неуклюжему, со старинным заводом будильнику. И еще Хильда Изенбюттель: она, конечно, сразу бросилась мне в глаза, едва лишь остановилась на ступеньках перехода, откуда ей видна была вся платформа и где она сама была у всех на виду.

— Вон Хильда Изенбюттель, — сказал я, и художник, окинув ее коротким взглядом, повернулся к Бусбеку:

— Погляди-ка, Тео, так может стоять только беременная: животом вперед, и это само собой разумеющееся чувство превосходства.

— Всякий ей уступит место, — заметил Бусбек.

Из служебного помещения вышел человек с жезлом, в форме железнодорожного служащего, перешел через путь на нашу платформу и стал безжалостно оттеснять ожидающих — для их же безопасности — от края платформы. С заученными, во всяком случае не раз испробованными убеждениями, обращался он к отъезжающим, особенно взывая к их благоразумию: «Посторонитесь, отойдите».

— Значит, сейчас подойдет, Макс.

— Да, я уже его слышу.

— Как мне тебя благодарить, Макс?

— Не говори об этом.

— За все эти годы.

— Да перестань, Тео.

— У меня такое чувство, будто я уезжаю из дому.

— Надеюсь, что так, и напиши, как там, в Кёльне. Вот он, твой поезд.

Буксуя и все реже вздрагивая на стыках рельсов, подошел поезд, обдал стеной жара, хлестнул, чуть не опалив кожу, поднятым ветром, подошел и остановился, скрежеща и сотрясаясь, железо напирало на железо, горячий пар искал выхода, клапаны щелкали от изменившегося давления, а на буферах, на крышах вагонов, на подножках люди переводили дух, расслабляли онемевшие от напряжения руки и ноги, разжимали стиснутые пальцы — судорожную хватку, с какой не только держались сами, но, как по меньшей мере показалось мне, держали также поезд, который сплошь облепили своими телами, подчинив его себе, подобно тому как водоросли подчиняют себе корпус корабля, постепенно оплетая его и все замедляя его ход; в самом деле, люди до того заполонили поезд, что можно было подумать, будто они им управляют одним лишь числом своих тел и общим стремлением двигаться дальше. И поскольку они этого добились, никто не желал уступать завоеванного места пассажирам, лезущим с платформы, и все же под общим напором с платформы они вынуждены были податься, отступить, потесниться для новеньких, которые сразу начинали осваивать доставшееся им пространство. И несмотря на весь этот крик, столпотворение, уговоры, драку, удивительным образом все же ясно был слышен голос человека с жезлом, выкрикивавшего через короткие промежутки: «Глю-зе-руп! Станция Глюзе-руп!»

Как мы посадили доктора Бусбека? Художник нас удерживал. Спокойно, спокойно, пусть кидаются, он со стороны присматривался к поезду и вдруг решил: — там, тормозной

тамбур, тогда мы налегли; трое засевших в тормозном тамбуре медсестер возмутились и запротестовали, когда мы впихнули к ним багаж Бусбека, когда же мы посадили туда самого доктора Бусбека, одна из сестер, пожилая, седовласая женщина, обеими руками загородив свои непомерно большие груди, вся побелев, слабым голосом позвала на помощь. — Этот господин, — крикнул в открытое окно художник, — будет вас в дороге снабжать едой и поить прохладительными напитками, так что не обижайте его, — а затем подстраховал дверь, протянув веревку от ручки до поручня. Скоро мы с платформы услышали из тамбура смех, стало быть, там быстро нашли общий язык, только вот домахать нам Тео Бусбек не смог, это сделала за него одна из сестер, когда после неоднократных сигналов и контрсигналов поезд наконец тронулся, весь обросший телами, лежащими плашмя на крыше или трясающимися в ритм перестуку колес на буферах, и я помню, как гроздь людей рассыпались или соскакивали, едва поезд стал набирать скорость, и как некоторые, крича и махая, бежали до самого конца платформы, где, перегнувшись через перила, слали вслед приветы, на которые никто уже не отвечал.

Но и после того, как поезд скрылся за сверкающим изгибом рельсов, платформа не опустела: пассажиры занимали освободившиеся скамьи, усаживались на свои пожитки, доказывая, что можно ждать и наудачу. Разморенный жарким полднем, они опять начали дремать. Мы собирались уходить и вдруг увидели бегущую по платформе Хильду Изенбюттель, она устремлялась в ту сторону, где недавно стоял багажный вагон. Что там такое? Что ей нужно, спрашивали мы себя, провожая взглядом бойкую хохотушку и видя, что и другие обращают внимание на женщину в цветастой косынке, огибавшую в сложном слаломе груды багажа и лежавших вповалку людей; на бегу она коротко и часто махала.

Там на земле сидел человек в мундире, она бежала к нему. Человек сидел возле низенькой самодельной тележки с колесами от детской коляски. Сидел он очень прямо. У него не было обеих ног. Мужчина был без пилотки, и ничто не затеняло его молодое жесткое лицо. Он напряженно смотрел ей навстречу и, когда она, осторожно неся свой живот, опустилась перед ним на колени, грубо схватил ее за плечо, теперь лица их оказались примерно на одном уровне, но не приблизились друг к другу, как можно было ожидать.

— Это же Альбрехт, — воскликнул художник, — Альбрехт Изенбюттель, значит, все-таки выбрался оттуда, из-под Ленинграда.

Женщина высвободилась из цепкой хватки мужчины и внезапно его обняла, причем оба слегка качнулись, затем поднялась, наклонилась к нему и, сначала примериваясь, потом решительно приподняла его и посадила на низенькую тележку. Раздумывая, уставилась на культи и подвернула под них защитного цвета брюки. Распутала веревочную лямку, перекинула ее через голову, продела в нее одну руку и пошла.

Хильда Изенбюттель одна везла тележку по платформе, а муж ее, держась обеими руками за края, сидел, выпрямившись, на деревянной квадратной площадке и в такт легким толчкам, казалось, безостановочно кивал. Он не смотрел по сторонам, не обращал внимания на приветствия и даже, когда мы их остановили и предложили свою помощь, не взглянул на нас, но это объяснялось не только безучастностью ко всему, просто с этой минуты он все перепоручил жене, заранее соглашаясь с тем, что она для него найдет или не найдет нужным. Жена поблагодарила, но отказалась.

— Нет, Макс, не надо, я сама справлюсь, вот разве что вверх по лестнице.

Они понесли безногого вверх по ступенькам, я за ними тащил тележку, а наверху они снова опустили его на тесное сиденье.

— Наконец-то, — сказала она, — наконец-то он опять дома.

На изрытой пристанционной площади, в тени лип мы еще раз предложили им свою помощь, но Хильда Изенбюттель снова отказалась. Художник указал на ее живот, а она, откинув назад голову:

— Справлюсь, надо справиться. — Развязала косынку, вытерла с затылка пот и сунула ее под культи мужа. — Во всяком случае, большое вам спасибо.

Мы дали им уйти вперед и шли следом по направлению к порту и дальше, по

немощенной дороге вдоль берега; жесткие резиновые колеса тележки выбивали облачка тонкой пыли, и мы вынуждены были равнодушно смотреть, как женщина время от времени останавливалась, чтобы вытереть пот или хоть несколько секунд не чувствовать врезающейся в тело лямки, тогда и мы задерживались, сбавляли шаг, и художник говорил:

— Все еще словечка не сказали друг другу.

— Почему?

— Они же все видят, — отвечал он.

Здесь, на прибрежной дороге, колеса поскрипывали и восьмерили, но Хильда Изенбюттель не обращала на это внимания, она шла по извилистой дороге к дамбе, а мы следовали в отдалении. В воздухе стоял запах пыли и сена.

Мужчина на тележке смотрел все прямо перед собой, он ни разу не повернул головы к Северному морю или к равнине с разбросанными усадьбами, по которым не мог не скучать в годы своего отсутствия, лишь раз, когда они спускались с дамбы и женщина на коленях придерживала тележку, а мужчина помогал ей, упираясь руками в землю, он взглянул в нашу сторону, словно ожидая помощи, но не позвал, и потому мы им не помогли. Да они и без нас справились, спустились с крутого склона, и теперь остановились мы, потому что женщина с неожиданной силой покатила тележку по бурой торфянистой дороге к тополям, черным от сидевших на них скворцов. Стоило — у нас всегда стоит — смотреть вслед, когда кто-нибудь удаляется на фоне пустынного неба, тут уж поневоле останавливаешься и устремляешь все свое внимание на соотношение пространства и движения и всякий раз снова дивишься подавляющему величию небосклона.

Мы долго стояли на дамбе спиной к морю, видели, как супруги становились все меньше и меньше, видели, как они слились в одно целое, которое под конец уменьшилось настолько, что осталась лишь едва уловимая движущаяся точка.

— Как, по-твоему, стоит нам сегодня еще поработать? — спросил художник.

— Почему бы и нет, — сказал я, и он положил мне руку на затылок и стал меня подталкивать вперед и вниз, в плавный изгиб дамбы, но не мимо «Горизонта», а на восток, к Хузумскому шоссе, видимо, ему не хотелось еще раз встречаться с Хиннерком Тимсенем. Даже когда он молчал, когда замыкался в себе, мне нравилось бежать с ним рядом, не в ритм его шагам, нет, просто в его дружеском присутствии, всегда исполненном неожиданного, всегда заставляющем тебя быть к чему-то готовым, будь то к вопросу или взгляду. Так вот идти с ним рядом значило быть занятым сполна и в напряженном ожиданий, а уж о радости и говорить нечего.

## Глава XV Продолжение

Сегодня, 25 сентября 1954 года, мне исполнился двадцать один год. Хильке прислала мне кулечек со сладостями, мать — царапающий кожу пуловер, директор Гимпель — предусмотренную распорядком, быстро оплывающую свечу, а наш любимый надзиратель Карл Йозвиг расщедрился на двенадцать сигарет и двухчасовые утешения: благодаря всему этому день моего совершеннолетия прошел сравнительно сносно. Если б не штрафная работа, я бы не сидел в своей обжитой камере, а был бы вместе со всеми, в столовой перед моим местом красовался бы букет цветов — коротко обрезанные астры в банке из-под повидла, — ребятам пришлось бы исполнить в мою честь состряпанное Гимпелем именованное поздравление, похожее на канон, я получил бы кусок пирога и лишний кусок мяса в виде добавки, и меня, конечно, освободили бы от работы и разрешили вечером погасить свет на час позже остальных. Но всему этому не суждено сбыться.

Итак, с нынешнего дня все вправе считать меня совершеннолетним, вправе корить тем, что я взрослый; впрочем, бреясь над раковиной, я что-то не заметил особых перемен. Читая

свою штрафную работу, я грыз печенье, беседовал с быстро оплывающей свечой, которая, однако, меня никак не просветила, и выкурил целую сигарету из запаса, оставленного мне Вольфгангом Макенротом. В конце концов проклятая свеча все же сделала свое дело, заставила меня не хуже моего дедушки, краеведа и истолкователя жизни, спрашивать себя и размышлять: кто ты? Куда стремишься? Какую ставишь себе цель и так далее, что всегда казалось мне отвратительным. К тому же на меня нахлынули воспоминания: подводное кофепитие в шестидесятилетие доктора Бусбека, представилась Ютта на качелях в узорах светотени, представились мои морские сражения, та минута, когда мы нашли Клааса среди торфяных брикетов, и похороны Дитте.

Все это я перебрал в памяти и ничегошеньки не извлек, поэтому приход Йозвига мне не помешал; смущенный, но веселый, он вошел, пожелал мне доброго утра и поздравил:

— Поздравляю, Зигги, со вступлением в совершеннолетие, — улыбаясь, вытряс из рукава сигареты на разбросанные тетради. Сел на край койки. Уставился на меня участливо, долгим взглядом, ни слова не говоря, а за окном на осенней Эльбе, громыхая, ползла вверх и вниз черпаковая цепь стоявшей на якоре землечерпалки — уже много дней острозубые черпаки набрасывались на дно фарватера, сотрясаясь и выплескивая воду, выходили на поверхность и, как бы наклонив голову, выплевывали в шаланду синеватый ил.

Может, работа пойдет живей, если я узнаю, что все ребята по мне соскучились? Даже Эдди? Нет, от этого работа не пойдет живей. Может, тут виновата заданная Корбюном тема: «Радости исполненного долга» и я оттого выгляжу таким измученным, так раздражен и нетерпелив? Может, виновата и тема. Не лучше ли мне просто закруглиться, швырнуть работу Гимпелю, вот, мол, все, корец? Поскольку радость в исполнении долга еще длится, покончить с ней ловким ходом — значило бы провалить всю тему.

Тут Карл Йозвиг подпер руками голову, опустил глаза и кивком признал мою правоту, мало того, он, несомненно, одобрял мою настойчивость, хвалил мое упорство. Своими вопросами он просто хотел испытать мою стойкость, пояснил он.

— Штрафная работа есть штрафная работа, Зигги. Радость исполненного долга настолько многообразна, что стоит ее правильно осветить.

— Многообразна? — переспросил я.

— Ну да, если ты понимаешь, что я имею в виду.

Я не понимал.

— Тогда слушай, — сказал он, и преподнес мне историю, которую разрешил использовать по своему усмотрению. — Если это тебе поможет, — добавил он, — потому что в ней тоже пойдет речь о радости исполненного долга. Случилось это с одним малым в Гамбурге, в яхт-клубе на Альстере. Так вот.

Была однажды у гамбургского общества гребцов сильнейшая восьмерка, загребной носил фамилию Пфаф, но звали его попросту Фите, такой он пользовался популярностью. На многих снимках видно было, как он стягивает через голову майку, чтобы подарить ее; Фите был честным спортсменом, но что он мог поделаться, если деньги, раз попав к нему в руки, сами к ним прилипали, также и чужие, к сожалению; когда-нибудь это должно было открыться. Однажды на Альстере проходили большие отборочные гонки на первенство страны, и ожидалось, что Фите, как уже не раз, принесет победу Гамбургу. На берегах Альстера царил атмосфера небольшого национального праздника, речная полиция зорко охраняла дистанцию, Фите был широко известен даже в ее среде. Между одиночками и двойками шла ожесточенная борьба, но ее наблюдали без особого волнения, кульминационный пункт, как всегда, составляли гонки восьмерок, а это еще предстояло. Да, был однажды мослатый честный загребной по имени Фите Пфаф, перед отборочными гонками он имел беседу с учтивым, но непреклонным господином; господину оказались известны пристрастия и привычки Фите, и, перед тем как он откланялся, Фите пообещал, что во время гонок ему вдруг станет дурно, чужаку этого не простят, тогда как общий кумир вправе рассчитывать на сочувствие.

А теперь, пожалуй, можно позволить восьмеркам выйти на старт. Обычная картина:

лежа на животе, помощники придерживают лодки, и по данному сигналу легкие, стройные, сверкающие лаком суда, разогнанные мощными сорока шестью гребками в минуту, а также возгласами рулевых и гулом толпы, вылетают на покрытую легкой рябью дистанцию, где долго в начальном спурте держатся наравне, но потом, когда лодка противника — я говорю уже «лодка противника» — учащает гребки, Фите Пфаф и его команда, как бешеные работая веслами, выходят на полкорпуса вперед, очевидно намереваясь прийти первыми. Тщедушные рулевые орут в подвязанные мегафоны на атлетов, а те, рывком откидываясь на подвижных банках, рассекают воду длиннейшими веслами; от движения гребцов в лодке будто бы многое зависит, и никто не откидывался так ловко и уверенно, как Фите Пфаф, у него это шло не от одних тренировок.

Восемьсот метров, тысяча двести; сейчас загребному должно сделаться дурно и исход гонка будет решен, но что это? Вместо того чтобы запнуться, сбить товарищей с темпа и, табаня веслом, завалиться вперед, у Фите словцо бы прибавилось сил. Он греб с ожесточением, с какой-то необъяснимой радостью, во всяком случае, он позабыл все, что обещал учтивому, но непреклонному господину, од был, как и раньше, примером для всей команды. Если спросишь, что же заставляло его вопреки данному обещанию с таким самозабвением и счастьем добиваться победы своей восьмерки, то должен будешь признать — это была радость исполненного долга. Понимаешь? Все отступило в эту минуту, ничто уже не шло в счет — едва он сел на подвижное сиденье, взялся за весло, услышал за спиной пыхтение товарищей и гул голосов с берегов Альстера, как уже не мог выбирать, он должен был подчиниться заданному ритму, должен был, так сказать, делать то, к чему обязывал долг.

Был однажды такой загребной, Фите Пфаф, великан с чувствительной душой, согласившийся под давлением шантажиста симулировать на отборочных гонках внезапную дурноту, однако чувство долга захватило его в свои сети и понесло по крайней мере почти до самого финиша, оставалось всего двести метров, и тут случилось нечто такое, от чего зрители застонали, а судьи повскакивали с мест. Фите по-честному стало дурно, он осел мешком, лодка потеряла управление, и восьмерка противника победила. Поверили ему? Большая часть руководства яхт-клуба поверила; даже после того, как оно узнало, какой разговор вел Фите с учтивым господином, его полностью не лишили доверия, собирались даже оставить в восьмерке, но Фите сам не захотел, не мог и не вправе был: он счел своим долгом уйти — и ушел.

Йозвиг выдержал паузу, ожидая услышать мое мнение, но я молчал, потому что все еще представлял себе его историю в виде кинокартины — я только так ее воспринимал.

— Видишь, — спросил он, — понимаешь теперь, куда может завести человека радость исполненного долга? Во что может превратить? — И с пригласительным жестом — Используй материал, если хочешь.

— Это радость исполненного долга, какая требовалась Корбюну, — сказал я. — И нечто совсем другое — жертвы долга, о них не говорят.

Йозвиг встал с койки, положил руку мне на плечо и потрепал со снисходительным одобрением.

— По твоим словам видно, что теперь ты совершеннолетний. — Он официально разрешил мне курить весь остаток дня и на прощание слегка ткнул меня в затылок.

— Сам-то ты не собираешься отложить работу на сегодня? — спросил он, уже стоя у двери.

— Зачем?

— Как-никак двадцать один год, — сказал он. — Тут уж начинаешь определяться, задаешь себе всякие вопросы, размышляешь. В двадцать один год, Зигги, я уже был помощником надзирателя. Самый подходящий возраст также, чтобы податься куда-нибудь за границу. В двадцать один год из кучи всяких планов выбираешь что-то определенное и решаешь, кем быть, ну хотя бы сторожем в музее. Понимаешь, что я имею в виду? Двадцать один год уже к чему-то обязывает: пожалуйста к кассе. Как только свечи на именинном столе догорели, ты для всех взрослый.



Вот какую проповедь прочитал мне Йозвиг, никогда бы не подумал; но поскольку, я знал, из каких это делалось побуждений, то не стал раздражать вопросами насчет его собственной жизни. Я покорно кивал, притворяясь, что задумался и готов измениться, смотрел не отрываясь на оплывающую свечу, гнавшую дым от моей сигареты к потолку, и не мешал ему, когда он, почуяв во мне благодатную почву, еще раз обошел стул и стол, выкладывая предостережения и советы, после чего наконец убрался восвояси.

Чем же это от Йозвига разило? Ничего не могу с собой поделывать, всякий раз, как он заходил в мою камеру, он оставлял после себя резкий запах какой-то дезинфекции. Может быть, он потихоньку посыпался чем-то, прежде чем идти к нам в камеры, во всяком случае, после него я вынужден был открывать окно и проветривать.

Эльба! Какая тусклая течет она мимо с приходом осени, на том берегу уже опускается туман, скрывая от глаз землю. Вершины деревьев выступают, как в затопленном лесу, стук дизель-моторов смягчается до биения пульса, удары с верфей не будят эхо, а громохание черпаковой цепи, которой землечерпалка скребет речное дно, почти не долетает до меня. Огни, блеклые, медленно ползущие мимо огни словно бы передают трудность движения. Надстройки судов проскальзывают совсем близко, и кажется, что они никак не соприкасаются с водой. Когда белесый туман опускается на ночь и все на реке становится сомнительным и неверным, для меня наступают если не самые волнующие, то все же наиболее захватывающие минуты на Эльбе.

Я замечаю, что меня одолевает именинное настроение — подытоживающее лицемерие собственного пупа, а мне необходимо вернуться назад, погрузиться в минувшее, к своей сугубо личной Атлантиде, которую надо обломком за обломком поднять на поверхность, подгоняет время, подгоняет долг, велика важность — двадцать один год, если подумать, что капитан Андерсен прошлой весной праздновал свое столдвухлетие и уже на следующий день, то есть на сто третьем году жизни, в легком подпитии снимался в научно-популярном фильме, картина эта сейчас идет во всех кинотеатрах: «Люди и силы природы на побережье». Какое мне дело до Эльбы, до судов и суденышек на ней и до тумана над ней. Спортсмены-водники давно пристали к берегу под едва прикрывающими их ветвями. Последний катер, перемалывая воду наискось к течению, неприметно скрылся. Меня это не интересует. Меня не интересует, кто заработает на данных, которые привезет из экспедиции выходящее в море океанологическое судно. С меня достаточно ругбюльских проб воды и почвы, здесь, над темной равниной, сбрасываю я свою планктонную сеть, здесь собираю свой улов.

Как всегда, когда я раскрываю сеть, прежде всего бросается в глаза отец, ругбюльский полицейский; после того как его выпустили из лагеря, он опять стал тем же, чем был раньше, тем, чего все между Глюзерупом и Хузумским шоссе ждали от него. Всего три месяца не существовало полицейского поста в Ругбюле, но затем постовой появился снова, с неподвижным своим лицом и нескладными брюками и, как ни в чем не бывало, приступил к своим обязанностям, будто не было никакой вынужденной отлучки, будто он по своей воле уходил в отпуск; ему пришлось лишь подкачать шины служебного велосипеда, они за это время немного спустили.

После того как мать спорила с фуражки эту маленькую штукювину, орла, он сам снял кокарду, но ни орла, ни кокарду не выбросил, уложил в жестяную коробочку, а коробочку спрятал в письменный стол и еще в тот же день, не дожидаясь даже официального восстановления в должности, сел на велосипед и поехал по дамбе, охотно останавливаясь со всяким поговорить, чтобы одними и теми же словами, одними и теми же пренебрежительными жестами удовлетворить общее любопытство: да, в Нейенгамме, вполне терпимо, еда — нормально, обращение — в общем и целом, не было ли превышения власти — нормально и так далее.

Ни разу не потрудился он подыскать новое выражение или хотя бы отказаться от штампованного, и, когда бы он ни рассказывал о пережитом, никто не оставался в накладе, потому что он всякий раз повторял все слово в слово. Ругбюльский полицейский вернулся и просто продолжал делать то, что-вынужден был прервать, продолжал по-своему и с той

последовательностью, какую соблюдал во всем. Он запер свой журнал, наколот дров, съездил в Глюзеруп сдать служебный пистолет, вскопал уголок в саду, где собирался посадить табак, и посадил его, утащил Хильке с очередного торжества в «Горизонте», причем вывихнул ей руку, много раз ездил в Хузум, откуда однажды привез «Новые директивы для полиции», которые тотчас непрочитанными запер в стол, совершал служебные объезды на велосипеде, пока однажды утром после завтрака не дошел черед и до Клааса.

На этот раз нет причин рассказывать, что у нас было к завтраку — скорее всего овсяная каша, хлеб со сливовым повидлом и суррогатный кофе, — мы молча уплетали за обе щеки, в разном темпе, каждый про себя подсчитывая ломти хлеба другого, и ни о чем не думали или, во всяком случае, думали о самом обыкновенном, как вдруг отец приказал Хильке:

— Принеси его портрет.

Сестрица моя, никогда не бравшая в рот ложки, чтобы не прикусить ее со звоном и лязгом, Хильке, стало быть, когда отец повторил свое приказание, прикусила ложку особенно сильно и так и сидела с ложкой во рту, давясь и выпучив глаза, видимо не понимая, чего от нее хотят.

— Клааса, — сказал отец, — его фотокарточку, принеси ее сюда. — После чего сестра выпустила черенок ложки, но саму ложку оставила во рту, в растерянности встала и глазами спросила то, что не могла спросить ртом, в конце концов вышла из комнаты и немного погодя вернулась со вставленной в рамку фотографией моего брата, которая со дня своей опалы лежала на дне комода.

Отец взял у Хильке из рук фотографию и положил вниз лицом рядом с будильником на кухонный буфет, закончил свой завтрак, терпеливо подождал, пока и мы не закончили, и попросил убрать со стола. Со стола убрали. Помню хорошо, что я пересчитал ложки: их было четыре. Мы составили посуду в раковину, я вытер стол. Полицейский зашевелил губами, видимо подбирая слова, и время от времени озабоченно поглядывал на мать, которая не отвечала на его взгляд, а вместо того сосредоточенно и задумчиво языком нащупывала щербины в зубах. По его знаку мы сели, Хильке и я, а отец встал, поставил фотографию на подоконник, вперился в нее глазами, не столько упрекая, сколько заклиная, словно хотел, чтобы Клаас вышел из рамы и предстал перед ним во плоти.

— Он должен меня выслушать, — сказал отец, — он должен по крайней мере при этом присутствовать так или иначе. — Я выжидающе посмотрел на фотографию.

Затем отец схватил руками спинку стула, выпрямился» откинул назад голову и, устремив глаза на Клааса, заговорил, обращаясь к фотографии!

— Пора кончать, и с тобой тоже пора кончать, нельзя вечно держать про себя то, что мы думаем, надо высказаться, когда-нибудь надо высказаться. Мы собрались здесь, потому что хотим подвести итог. Все мы знаем, что ты натворил, времена, может быть, изменились, но то, что ты натворил, ты натворил.

Он замолчал, большим и средним пальцами прикрыл глаза. Этой минутой воспользовалась мать, чтобы ближе придвинуться к столу и еще больше прогнуть поясницу, Хильке незаметно почесывала свои полные подколенки. С каким-то подобием цыканья полицейский уронил руку, опять усталился на фотографию, покачал головой и сказал. Надо подвести черту и прийти к какому-то решению. Там, где я находился, целыми днями я только и думал о том, что он с нами сделал. Думал о том, что он вернулся и даже ни разу не зашел сюда. Не считал нужным просить прощения. Сперва навлек на нас весь этот позор, а потом даже прощения не попросил. Жил все время рядом, у этого в Блеекенварфе, пока не укатил в Гамбург, не сказав ни слова. Так надо же наконец выложить все начистоту. Надо наконец рассчитаться.

Отец еще долго разглагольствовал в этом духе, перечислял Клаасу все зло, какое он нам якобы причинил, причем смягчающих обстоятельств не привел, очевидно не находя таковых; обращался он непосредственно к фотографии, указал ей на то, что и семья может взять на себя роль судьбы и вынести решение, тут я насторожил уши и попытался наперед угадать, какой же будет приговор: может, отец запрет Клааса на несколько лет в погреб? Или велит в

нашем присутствии выпить плодоовощной ядохимикат? Мне пришло также в голову, что в наказание за все он может заставить Клааса спрыгнуть с мельницы или потребовать, чтобы он без посторонней помощи повесился на дощечке «Ругбюльский полицейский пост». Или отец все же не пойдет так далеко? Ограничится пожизненным мытьем посуды? Или пятью годами резки торфа в летний сезон?

Как и следовало ожидать, отец не спешил с объявлением приговора, хотя было заметно, с каким усилием, словно преодолевая внутреннее сопротивление, он говорил, напоминая нам — и себе тоже — во всех подробностях об умышленном ранении Клааса, о бегстве и выдаче его и — в довершение всего — нежелании вернуться домой, но наконец он все же закруглился, велел Аильке подать ему фотографию, вынул ее из рамки, положил перед собой на стол, после чего огласил приговор.

Я опешил, уж очень приговор после всего показался мне мягким: Клааса больше не пустят в дом.

— Запомните раз и навсегда! Пока я жив, он не переступит порог родительского дома, — а нам запрещалось не то чтобы вслух, но и мысленно произносить имя Клааса. — Вы просто вычеркнете его из памяти. — Засим отец порвал фотографию на мелкие клочки и бросил их в плиту.

Мать встала, как видно, она была обо всем предупреждена, а может, они даже вместе все заранее обсудили, я это вполне допускаю. Она смахнула крошки с платья и, как ни в чем не бывало, прошла в кладовку, делая вид, что хлопочет по хозяйству: закрыла банку с повидлом хрустящей бумагой, откупорила бутылку сока. Мы с Хильке остались сидеть, однако смотреть друг на друга избегали, а заговорить и вовсе не решались. А ругбюльский полицейский? Он только завел или принялся заводить будильник, наше старомодное страшилище с ненавистным трезвоном, как вдруг, все медленнее и медленнее крутя завод, насторожился, стал к чему-то прислушиваться, к чему-то присматриваться с тем странным волнением, которого мы за ним не знали вплоть до вечера в Кюлькенварфе, вечера, посвященного не то отечеству, не то морю, во всяком случае, отечественному морю.

Отец прислушивался, он что-то обнаружил, руки у него дрожали. Он поставил будильник обратно на буфет, просунул пальцы под подтяжки и стал их тереть. К чему он прислушивался? Голову он наклонил набок и задрал кверху в сторону моей комнаты, но там же никого нет. Давившая тяжесть лишала его уверенности, и он вынужден был опереться. А еще что? Его, конечно, бросило в пот, губы пересохли, глаза вылезли из орбит и тем не менее казались затуманенными, я бы даже сказал ясновидящими. Он противился чему-то и не выдержал, никто не мог ему помочь. Потом губы его зашевелились, он порывисто заговорил сам с собой, закивал, словно все подтверждая, пошатываясь, вышел в коридор, поспешно натянул мундир, надел португую, нахлобучил фуражку, и, сидя в изумлении за кухонным столом, мы услышали, как он выскочил из дому, бросился к сараю, где стоял велосипед, и, рывком приподняв его, повернул.

На этот раз он уехал, не простившись. Не думайте, что мать, выйдя из кладовки, заметила исчезновение отца, и когда Хильке по собственному почину сказала: — На него опять накатило или что-то такое, — она только вскинула глаза, преспокойно включила радио и под «Светлячки, светлячки» принялась за мытье посуды. Больше ничего не произошло. Хотя я еще чего-то ждал, больше ничего не произошло, и я бочком выскользнул из кухни и поднялся к себе в комнату — теперь, раз двери для Клааса закрыты, она навсегда останется моей.

В угловом шкафчике до сих пор хранились его вещи. Я отдернул тонкую занавеску, там на нижней полке лежала завязанная картонка, которую я дал ему слово ни за что не открывать. Все это время я держал свое слово, правда, три или четыре раза я порывался ее открыть, однако пересиливал себя, но сейчас мне загорелось, картонка сама собой оказалась у меня в руках, веревка сама собой развязалась, и мне ничего или почти ничего не оставалось сделать, чтобы крышка поднялась, и на кровати — там картонку легко было сразу спрятать — я принялся выкладывать собранные и доверенные мне братом сокровища. Мать была занята

на кухне. Отец уехал.

Теперь, когда Клааса больше не пустят в дом, он наверняка ждет, что я открою картонку и спрячу в безопасное место все самое ценное. Конечно же, он этого от меня ждет. Итак, я стал вынимать из картонки вещь за вещь, вертеть, рассматривать. Помню банку с коллекцией побелевших ракушек, рогатку и книжку «Юный садовник»; грязный, замаранный кровью носовой платок, тетрадки с сочинениями, и бечевку, и опять бечевку; помню также громовую стрелу в кульке, коробку оловянных солдатиков — все были целехонькие, — потом маленький самодельный подсвечник, вероятно, подарок художника; школьную фотографию — восемнадцать молодых старичков и пять старушек с косичками, — набросок художника к «Сборщику яблок», который я сразу запрятал себе под подушку; перочинный нож с перламутровой ручкой. И я помню также перевязанную стопку писем, которую ни за что бы не открыл, если б это были чужие письма, но почерк был брата и все они были адресованы Хильке. В каждом письме упреки и угрозы: он упрекал ее, что она опять не пришла — к торфяному пруду, на пляж, к маяку, — и угрожал, что «все кончено», если она в следующий раз не явится. Иногда он намекал на какое-то общее их воспоминание, на что-то увиденное ими на пляже однажды летом, не знаю уж точно, как это было, они вместе что-то наблюдали, мужчину и женщину среди дюн полуострова, чужих людей, которых увидели и за которыми потом пошли следом.

Я выложил все содержимое картонки, несколько вещей переправил к себе, в том числе набросок к «Сборщику яблок», но тут внизу зазвонил телефон. Я прислушался. Подошла Хильке, ответила, как всегда отвечала: «Вас слушает Хильке Йепсен, а кто говорит?» После чего я слышал только «нет», «да», «да», «нет», и, когда она поспешно вернулась на кухню, я уже знал, что кто-то спрашивал отца. Едва я закрыл, завязал и спрятал картонку, как началось: — Зигги! Спустись вниз, Зигги. Скорей Зигги! — волей-неволей пришлось спуститься на кухню, где меня дожидалась Хильке. Оттого ли, что я так настойчиво, с жадным любопытством на нее уставился, но Хильке невольно отступила и, вместо того чтобы отправить меня с поручением, сперва сказала:

— Чего ты так смотришь? Перестань сейчас же так смотреть, будто я тебе что плохое сделала.

— Как хочу, так и буду на тебя смотреть, — сказал я, а она:

— Но не так, не такими ледышками.

— Давай говори, чего тебе надо, — сказал я.

Что-то там должно состояться в Блеекенварфе, сейчас или часа через два должны прибыть какие-то важные, а может, и особо важные персоны, британский комиссар земли или что-то в этом роде, во всяком случае, очень крупные шишки, у которых есть дело к Нансену, при этом непременно должен присутствовать полицейский.

— Быстро, Зигги, ты должен сказать отцу, что звонили и ему надо сейчас же в Блеекенварф. И перестань так смотреть, говорят тебе, я этого не люблю. — Мой взгляд настолько ее вдруг смутил, что она подошла к зеркалу в прихожей, проверила, нет ли чего на лице, повернувшись боком, подозрительно осмотрела блузку и юбку и, ничего не обнаружив, взбешенная, погнала меня прочь: — Бети, тебе говорят, это срочно.

К дамбе, сперва к дамбе. Сумрачный, но безветренный осенний день. Северное море тихо колышется, гладь, два ловца макрели в лодке. Ни одной чайки в небе, зато на воде целое сборище, их медленно относит течением вдоль берега. И никого на велосипеде, ни в сторону «Горизонта», ни в сторону маяка. Далеко в море два минных тральщика утюжат фарватер. Под дамбой — удаляющийся в сторону Глюзерупа джип. Я решил идти к «Горизонту», там всегда все известно, там можно будет спросить. И что только находят во мне кудлатые овцы, стоит мне появиться, как они меня окружают, рысцей бегут за мной, преследуют, и приходится пинками от них отбиваться. От их свалывшейся шерсти воняет.

Если б не эта вонь, я бы раньше обратил внимание на запах гари, раньше бы обнаружил отца за работой, но овцы меня подгоняли, подталкивали, я пробежал мимо полуострова и, только случайно оглянувшись, обнаружил, что к кабине художника у подножия дюны

прислонен велосипед — это мог быть, но мог и не быть велосипед отца. Используя свое преимущество, я скатился с дамбы и спасся от овец; пережевывая жвачку, они тарасились мне вслед, но я ушел от их вони и бляения. Кто-то был в кабине художника. И в воздухе стоял запах гари. Ни огня, ни дыма, однако, видно не было, но, когда я стал подниматься на дюну и остановился на вершине, запах гари усилился, и тут, тут я разглядел поднимавшийся за кабиной тоненький столбик дыма; не могу даже объяснить, какой на меня напал страх, знаю только, что я бежал и бежал и меня всего колотило, вот какой это был страх, по крайней мере поначалу.

Велосипед, прислоненный к боковой стенке кабины, был отцовский, дверь стояла настежь, но отца в кабине не было, он стоял снаружи, позади кабины и, покуривая, глядел в огонь или, вернее, в догорающие остатки огня, время от времени носком башмака озабоченно подпихивая туда, где еще теплилось, полусгоревшую бумагу. Рассердился он или был удивлен моему приходу? Он словно бы даже не узнал меня, стоял как истукан, обессиленный, отсутствующий и не отрываясь смотрел в огонь. Когда я поспешно стал палкой разгребать остатки костра у его ног, он не воспротивился. Все было кончено. Бесполезно пытаться что-то спасти. Клочок бумаги, крохотный, пощажженный пламенем, клочок голубой бумаги: обложка альбома с зарисовками. Отец сжег альбом с зарисовками художника к серии «Люди на побережье».

Я выпрямился и только испуганно на него посмотрел. Лицо его сияло тупым удовольствием, теперь, когда он это совершил, можно было постоять и спокойно покурить, словно после выполненного поручения. Там, на полуострове, перед догоревшими остатками костра я начал его страшиться, не его силы, или хитрости, или упорства, нет, а этой неискоренимой в нем непреклонности, страх этот был сильнее внезапно вспыхнувшей ненависти, которая повелевала мне кинуться на него с кулаками и бить, бить его по ляжкам, по животу. Это тупое удовольствие! Это злобное спокойствие в нем! Я видеть его не мог, присев на корточки, стал забрасывать место, где горел костер, песком, струей сыпал тонкий песок на обугленные остатки, пока они не исчезли и ничто уже не напоминало о костре.

Ругбюльскому полицейскому, казалось, не было до этого никакого дела, он молча наблюдал за мной, несколько раз глубоко перевел дух, будто пробуждаясь от сна, однако, едва очнувшись, тут же опять погрузился в состояние тупого удовольствия. Нет, я тогда еще не удивился, когда вдруг почувствовал ломящую боль в висках, какое-то легкое онемение, и меня всего затрясло от страха, страха, впервые подсказавшего мне, что ничто, ничто уже не в безопасности от него в округе. С ужасающей своей непреклонностью он найдет любой тайник, подумал я и сразу подумал о моей коллекции на мельнице и о том, что необходимо ее получше от него спрятать, но куда?

— Почему ты так дрожишь? — спросил он. — В твоём возрасте нечего дрожать. — Завтра, думал я, или лучше сегодня же вечером все оттуда унесу. — Ну, — настаивал он, — что случилось? — Может, в Блеекенварф, думал я, может, художник поможет мне найти новый тайник в Блеекенварфе. — Изволь отвечать, — приказал он, и я сказал!

— Ты не имеешь права это делать, не имеешь права больше отбирать, не имеешь права разводить костры, не имеешь права ничего больше жечь.

— Кто это тебе сказал?

— Все, все говорят, *что* с запрещением писать картины покончено и ты не можешь больше ничего указывать, и, если я расскажу, что ты тут наделал, художник так это не оставит. Что было, то прошло и не вернется, все это говорят, а я слышал и видел, что ты раньше делал, но теперь ты не имеешь права. Нечего тебе больше указывать дяде Нансену, я знаю, он может делать что хочет!

Он ударил. Я навзничь упал на песок и остался лежать, подогнув под себя ноги. Он угодил мне в подбородок. Второй удар только скользнул по щеке.

— Встань! — приказал он. Я продолжал лежать. Он схватил меня за ворот и поднял, подтянув мое лицо к своему, так что мне пришлось встать на цыпочки, касаясь его всем телом. Итак, медленное освидетельствование моих глаз, о, он в этом хорошо разобрался,

тщательное исследование сетчатки, на этот раз я выдержал его взгляд, не уклонился, а прямо глядел в его суженные зрачки, мне нечасто приходилось видеть его так близко. Какой же он был морщинистый и какой мрачный, эта мрачность была ему даже к лицу, она оповещала, что ругбюльский полицейский не в ладу с миром.

— Вот как, — произнес он, — выходит, ты тоже что-то знаешь: стало быть, ты справлялся! Тебе известно, что разрешено. Ты точно знаешь, когда что-то начинается и когда кончается. И то, что сегодня все по-другому, чем раньше, от тебя тоже не укрылось. — Он ослабил хватку, оттолкнул меня, не очень сильно, не так, чтобы я потерял равновесие и упал. — Ты много слышал, — сказал он. — только одного не слышал, что человек должен оставаться верен себе, должен выполнять свой долг, как бы ни изменилась обстановка, я имею в виду осознанный долг. А ты, стало быть, хочешь разболтать про то, что твой отец делает, потому что так велит ему долг, ладно, рассказывай каждому встречному-поперечному, донеси и ему, в Блеекенварф, где ты все время торчишь. Работай против отца. С Клаасом разделался, а с тобой и подавно разделаюсь. — Он поднял голову, сжатые губы его побелели, он скрипнул зубами. Оценивающе, без издевки, только оценивающе взглянул на меня. Неопределенно, как бы разговаривая сам с собой, взмахнул рукой: — Может, еще что скажешь?

К своему удивлению, хоть я и приготовился отрицательно мотнуть Головой, я не стал молчать: повторил, что наблюдать ему больше не за чем и нечего отбирать и уничтожать. Я сказал ему, что никакого запрета писать картины больше нет и нет у него никакого долга вмешиваться. Угрожать я ему не угрожал и не сказал также, как его ненавижу, но, должно быть, он это почувствовал, как почувствовал и мой страх, потому что подошел ко мне вплотную и отчеканил:

— Не путайся не в свое дело, и мы останемся друзьями, только не путайся не в свое дело.

Затем он оглядел исчезнувшее под песком место костра, кивнул, пошел к велосипеду, приподнял и повернул его в сторону дамбы, нисколько не интересуясь моими намерениями, вероятно считая, что я за ним последую, во всяком случае, я слышал, как он разговаривал вслух, слышал также свое имя; я пошел за ним до воды и там, обращаясь к его спине, передал поручение из дому. Не думайте, что Йенс Оле Йепсен остановился, когда услышал, что его ждут в Блеекенварфе, что ему надлежит там быть, потому что британский комиссар земли и другие важные шишки... он молча принял к сведению мое сообщение, обошел дюну и поехал со стороны моря вдоль дамбы, пока не достиг места, где ему оставалось лишь ее пересечь, чтобы попасть на обсаженную ольхой аллею, ведущую в Блеекенварф. На большой скорости он домчался до распашных ворот, въехал во двор и, сойдя с велосипеда, так же как и я, посмотрел в сторону Хузумского шоссе; мы одновременно с ним увидели две оливково-зеленого цвета машины, увидели, как они завернули, как стали приближаться.

Отец сначала прислонил велосипед к дому, потом несколько поодаль, к поленнице, в дом он не пошел, а, открыв распашные ворота, стал ждать на дороге; там я к нему присоединился, и, спиной придерживая ворота открытыми, мы с ним выстроились эдаким жидким шпалером для встречи подъезжающих машин, в тот момент скрытых от нас живой изгородью Хольмсенов. С самого возвращения из лагеря интернированных отец ни разу не бывал в Блеекенварфе, не обменялся с художником ни приветствием, ни словом, ни разу даже не осведомился, всё ли в Блеекенварфе осталось по-старому. Поскольку он терпеть не мог никаких перемен, он о них не спрашивал и не торопился о них узнать. Он стоял возле меня у въезда, какой-то обмякший, несобранный, хоть и не безразличный; мне велено было проверить и спереди и сзади, как сидит на нем мундир, а также пучком травы протереть ему башмаки, если не до блеска, то хотя бы начисто.

Не знаю, зачем я стал навтыяжку в распашных воротах, отец же поднял руку к козырьку для приветствия еще задолго до того, как можно было различить лица сидящих в автомобилях, и, застыв в приветствии, мы пропустили машины, которые, следуя одна за другой вплитык, въехали во двор.

Так, а сейчас я предоставлю четверем мужчинам разного роста, очень по-разному одетым и разным с виду, выйти из машин, предложу им прежде всего оглядеться, то есть обвести взглядом пруд, хлев, мастерскую, сад, а также — в просветах — окружающий ландшафт, причем всем четверем с почти принудительным единодушием придет в голову та же мысль, которую они прочтут друг у друга на лице: вот, значит, где он живет, вот, значит, его мир.

Мужчины обменялись кивками, каждый понимал, что это означало. Шоферы объехали пруд и поставили большие оливково-зеленые машины вплитирку друг подле друга. Как описать этих четверых мужчин? Весельчака можно быстро изобразить, хотя бы потому, что он один из всех был в мундире: с непокрытой головой, с изогнутой трубочкой в зубах, пегими усами, этюдником на груди, веснушками на лице и руках, на погонах корона и несколько звезд, в общем, немного прихрамывающий и упорно ухмыляющийся тюлень. По сравнению с ним комиссар — или мужчина, который впоследствии таковым оказался, мистер Гейнс, — выглядел невзрачнее, даже беднее: на голову ниже тюленя, узкий в плечах и ужасающе сутулый, он держал руки в карманах, словно бы зяб, и костюм у него был поношенный. Самый молодой выделялся не столько резкими чертами лица, вечно дымящейся сигаретой в зубах и даже не столько необычайного размера, на мой взгляд, замшевыми полуботинками, сколько голосом: стоило ему заговорить, а так как он был переводчиком, то говорил вдвое больше остальных, как представлялось, будто в вишневом саду поместья Зельринг забили во все трещотки и тазы, отгоняя скворцов. А четвертый? В фетровой шляпе, в очках со стальной оправой, он нес набитый портфель.

Что в доме были не только оповещены о предстоящем посещении, но что посетителей давно заметили, но подлежит никакому сомнению. И тем не менее дверь не отворялась, никто не выходил встречать гостей, стоявших теперь, кстати сказать, молча, перед осенним цветником художника, может, они копались в памяти, припоминая названия цветов. На лицах их изображалось любопытство, понимание, восторг. Они прошлись немного по саду, обогнули мастерскую, вернулись во двор и стали показывать друг другу на уток, которые, всполошившись, держались посредине пруда, затем гости направились к нам. Отец и я стояли боком к двери, я не прочь повторить: жалким шпалером, он по одну сторону, я по другую. Мы не спускали с посетителей глаз и, думается, своим упорным стоянием навтыяжку как бы требовали, чтобы они наконец о нас вспомнили; и они вспомнили, переменили шаг, от неторопливого, чуть ли не усладительно-прогулочного перешли на целеустремленную и тем самым скорую ходьбу.

Отец отдал честь. Рукопожатие. Краткие, милостивые вопросы. Такие же краткие, поверхностные ответы полицейского. Весельчак, а также переводчик поздоровались за руку и со мной, правда на меня не взглянув, в совершеннейшей рассеянности. Переводчик спросил меня своим трескучим голосом: «Как поживаешь?» На такие вопросы я принципиально не отвечаю. Отец не столько услужливо, сколько по обязанности осведомился, следует ли теперь постучать, так сказать, за гостей, комиссар улыбнулся и собственноручно костяшками пальцев дважды стукнул в дверь и, выжидая, хотел было повернуться к своей свите, как дверь неожиданно быстро распахнулась, на что он, очевидно, не рассчитывал.

Конечно, ехидне не следовало бы так торопиться, посчитала бы, что ли, до десяти, прежде чем открывать, но, наверно, она уже порядочно простояла за дверью и у нее просто нервы не выдержали. Во всяком случае, экономка художника — она была родом из Фленсбурга и состояла в дальнем родстве с Дитте, художник называл ее Катрина или Тринхен — показалась на пороге, с несколько излишней поспешностью нас приветствовала и отступила в сторону, приглашая войти. Четверо мужчин исчезли в полумраке прихожей. Мы остались снаружи и уже прикидывали, чем бы заняться в ожидании, как вдруг появился комиссар и не только позвал, но еще пропустил нас вперед и сам притворил дверь.

Из огромной горницы в прихожую падал дневной свет. Мы гуськом вошли. Я сразу протиснулся вперед и увидел лежащего художника. Он скорее лежал, чем сидел на бесконечном диване, на котором Тео Бусбек провел все эти долгие годы, из-под синего плаща

у него высывалась ночная рубашка грубого полотна, голые с проступающими венами ноги были в домашних туфлях. На голове, само собой разумеется, шляпа. К дивану пододвинут стол, там лежали трубка, табак и стопка нераспечатанных писем. На полу валялся серый шерстяной плед, который ехидна подняла с укоризненной поспешностью, сложила пополам и накинула на ноги художнику.

— Он только встал после гриппа, — пояснила она. А художник, словно желая от нее отделаться:

— Приготовь-ка нам всем кофейку, но чтоб с добавком, а сначала принеси стулья. — Экономка негодуяще на него посмотрела, а он засмеялся и протянул комиссару руку, тот с размаху крепко ее пожал, а потом художник поздоровался со всеми нами: с весельчаком, с переводчиком, с фетровой шляпой, со мной и наконец с ругбюльским полицейским, который отнюдь не рвался с ним здороваться и даже норовил этого избежать, но, поскольку очередь дошла до него, вынужден был подать художнику руку. Йенс? Макс? Ничего похожего не было слышно. Мы пододвинули стулья, уселись полукругом, перед диваном, всматриваясь в лицо полусидящего, полулежащего художника, лоб которого покрылся лихорадочной испариной, а он, со своей стороны, изучал нас своими серыми с лукавинкой глазами, причем довольно откровенно.

Как начать беседу, которой в определенный момент предстоит сделаться официальной, если главное лицо, едва оправившись от болезни, лежит перед вами в ночной рубашке и плаще? С болезни, естественно, стало быть, поговорили о гриппе, о сезонных и несезонных гриппах, о том, как их лечат в Шлезвиг-Гольштейне и как в Англии, установили различия. Комиссар, например, ни разу в жизни не хворал гриппом, тогда как его супруга болела каждую весну и т. д.

— От простого гриппа ноги не протянешь, — сказал художник, — переболеешь, и все, надо только почаще сдабривать его кофейным пуншем, но куда девалась Катрина с кофе?

Поговорили о саде художника, о цветниках осенью, о красках, которые намешивает осень, — тут разговором завладел мужчина в мундире — он и о строении венчиков потолковал с художником, главным образом о губоцветных и мотыльковых. Затем явилась ехидна с кофе, и все видели, как она то и дело взглядом одергивала художника, пока накрывала и разливала кофе, а под конец с явной злобой поставила на стол бутылку водки, которую художник тотчас схватил и откупорил.

— Здесь у нас кофе пьют с добавком.

Кроме меня, все пили кофе с добавком; переводчик, поднимая чашку, сказал «прозит», а художник на это:

— Вот именно, когда мы пьем кофе, то вправе говорить «прозит».

Комиссар, который и сам, если была необходимость, сносно разговаривал по-немецки, не только попросил ему перевести, но и растолковать, а затем, взяв поданный ему портфель, встал, открыл оба замка, достал оттуда что-то синее, большого формата и плотное, скажем что-то весьма представительное, взял в руки, взвесил и подошел к краю дивана — две обтянутые коленкором картонные цапки, как я теперь разглядел, — хоть и не благоговейно, но все же с шуточной торжественностью протянул их художнику, однако сразу осторожно потянул обратно, когда тот уже собрался их взять, полагалось еще сказать несколько слов, он сам хотел сказать несколько слов и приготовился; тут мы все встали.

Последовала самая тихая речь, какую я когда-либо слышал. Существовала, значит, такая Королевская академия в Лондоне, которая... Ввиду исключительных заслуг перед европейским изобразительным искусством и по единогласному решению совета... Поскольку художник дал согласие на избрание, чем оказывает академии величайшую честь, настоящим... Тут художник снова протянул руку к диплому, а комиссар снова осторожно потянул диплом обратно, так как желал еще что-то добавить от себя лично; он сказал, что в круг его обязанностей не входит оказание услуг Королевской академии, но в данном случае это доставило ему особое удовольствие и отвечало его искреннему желанию, к тому же у него были еще поблизости какие-то дела, а его друг генерал Тэйт непременно хотел его



сопровождать; и вот они здесь не только затем, чтобы вручить мистеру Нансену диплом почетного, члена академии, но и чтобы присутствием своим выразить, как высоко ценят они в нем выдающуюся личность, явившую пример подлинно свободного служения искусству, так примерно.

После этих слов художник получил диплом, а комиссар, подняв чашку с кофе, сказал:

— Так, значит, этим можно чокаться. — И мы все выпили за художника, в том числе и отец. Отставив мизинец, держа чашку на высоте груди и одним глазом косясь на высокого посетителя, поздравил он художника, который лишь пробежал глазами бумагу, положил на стол рядом с письмами и, указывая на бутылку, предложил угощаться самим. Гости так и сделали. Все закурили, один только отец не курил.

Дома в Ноттингеме, сказал, дружелюбно улыбаясь, весельчак в мундире, у него висят несколько нансенов, и он назвал их и указал также год написания. Художник в изумлении поднял голову. Как же так, ведь картины эти — «Сборщица мака», та наверняка — находились в Дрездене и в Гейдельберге, позднее их из музеев изъяли и отправили в Берлин, где они были уничтожены? Тем не менее он, генерал, купил эти картины в Швейцарии. Значит, доходившие до него слухи, которым он, художник, отказывался верить, все же были справедливы: эти сумасшедшие в Берлине, нуждаясь в валюте, через посредников продавали конфискованные картины. Картины эти генерал купил в Швейцарии, стало быть, их не уничтожили, и он знает, что многие произведения современной живописи не были уничтожены, а переправлялись за границу. А он-то, художник, думал, что все погибло, все восемьсот вещей. Нет, он, генерал, может на этот счет его успокоить, если в данной связи вообще допустимо употребить такое слово. Даже примерно известно, на какие суммы совершались сделки, и, надо полагать, когда-нибудь можно будет назвать точные цифры.

Разговоры. Подхватывают что-то и бросают. Затруднительный вопрос поворачивают и лишают остроты. А во время так называемого запрещения писать, спросил комиссар, как же он жил? Да и мыслимо ли это вообще? Лично он, комиссар, решительно себе этого не представляет. Это еще не самое худшее, заверил художник. Надо, понятно, привыкнуть к такому положению, считаться с ним, принимать меры на всякий случай, ну а в остальном — ему не известен ни один художник на свете, который бы не нарушил наложенного на него запрещения писать. Живописью ведь занимаешься не только перед мольбертом, пишешь постоянно или вообще не пишешь. Можно ли запретить то, что человек делает во сне?

Он не совсем точно выразился, сказал комиссар, ему любопытно было узнать, как практически контролировался запрет. Надзор? Обыски? И кто, скажем, все это осуществлял? Уж не собирался ли отец ответить? Он заерзал на высоком стуле, оперся о резную спинку, покрутил в руках фуражку и поскреб большим пальцем вдруг задергавшуюся щеку. Для этого тоже, для надзора за соблюдением запрета, привлекли местную полицию, спокойно объяснил художник, положение создалось несколько щекотливое, поскольку это было давнее знакомство, но в конце концов все обошлось. А потери были? Да, были и кое-какие потери. Этого невозможно было избежать. Но кое-что и создавалось? Разумеется, кое-что создавалось и во времена запрета. И что случилось с конфискованными работами? Художник пожал плечами и вдруг сказал:

— А что прикажете делать тому, кто хочет выполнять свой долг, и только? Такому тоже порой несладко приходится, во всяком случае, у него свои трудности.

Разговоры. Идут к чему-то, задерживают что-то плывущее в потоке и снова дают уплыть. Сидящие люди за разговором: куда их только не заносит и чего они только не находят.

Когда можно надеяться увидеть большую выставку Тернера, спросил художник, ради этого он готов проделать немалый путь даже с запущенным гриппом. В его музее, сказал генерал, если художник как-нибудь заглянет в Ноттингем, несколько тернеров, в его музее художник мог бы их посмотреть, но почему именно Тернер? Потому что у Тернера все как бы недосказано; хорошо, но это делают и другие; делают все, но Тернер этого достигает единственно за счет света, и ему, художнику, хотелось бы как-нибудь посмотреть на все это в

совокупности. А тогда почему бы не в Ноттингеме, спросил генерал.

Бывал он когда-нибудь в Лондоне, поинтересовался комиссар. Нет, ни разу не был и сомневается, поедет ли туда когда-нибудь, прежде он охотно путешествовал, но теперь... Кроме того, он по-прежнему недолго любит большие города. И кроме того, ему столько еще осталось открывать здесь, между Глюзерупом и Хузумским шоссе, пусть ему никогда не удастся до конца постичь этот край и его людей, все же он надеется хоть чуточку расширить свои познания. А не важно ли все-таки для работы, хотелось узнать генералу, пребывание в метрополии, на что художник — никогда этого не забуду — ответил:

— Столицы, которые нам нужны, в нас самих. Моя метрополия здесь. Здесь у меня все, что мне нужно, и даже сверх того; оставшихся несколько лет не хватит мне, чтобы рассказать об этом клочке земли все, чего он заслуживает. Уже одни только таинственные существа, населяющие здесь землю, воздух, то, что встречаешь по ночам в болотах и на берегу моря, чуткий слух здешних жителей, их страх, когда чернеет небо, их лица, их медлительные мысли или способы вступать в противоречие с законом, верно, Йенс?

Отец подскочил и непонимающе уставился на художника.

— Я хотел только сказать, — пояснил художник, обращаясь к отцу, — если бы ты привел из собственной практики несколько случаев о здешних людях — большего, пожалуй, не расскажешь и живя в столице. Все, что случается на белом свете, случается и у нас, разве не так? — Наступило молчание, все ждали ответа или хотя бы подтверждения со стороны отца, все на него смотрели, однако ругбюльский полицейский не проронил ни слова. Он кивнул — и все.

Художник предложил гостям подлить себе еще, но все пропустили приглашение мимо ушей. Генерал заметил, что, конечно, охотно поглядел бы мастерскую и вообще с большим удовольствием посидел бы там, но, вероятно, это сейчас невозможно. Художник с шутливым сокрушением кивнул на кухню, где хлопотала ехидна, сочтя это объяснение достаточным. А в другой раз? В другой раз — несомненно, только не сегодня, будь по ее, опять кивок в сторону кухни, он бы вообще сегодня не встал с постели. Ух, и строга, но он считает излишним воевать о ней. Ну что ж, они приедут еще, значит, решено, может быть, если удастся, в будущем месяце. Милости просим. Еще раз примите сердечные поздравления, к которым присоединяюсь и я, и большое спасибо за посещение, нет, это нам надо благодарить, но главное — желаем быстрой поправки после гриппа.

Четверо мужчин, занимающих различное положение в обществе и более или менее активно участвовавших в разговоре, прощались: вытягивали руки из манжет, обнажали зубы, разглаживали и морщили кожу на лице, делали выпад в сторону дивана, отступали и боком, не спуская глаз с больного, пододвигались к двери. Отец простился последним, хотя до этого, как я видел по его лицу, взвешивал, не воспользоваться ли суматохой и улигнуть не прощаясь. Он подошел к художнику официальный, суровый, но не враждебный, с кислейшей миной, какую только мог сделать, протянул покрытую рыжим пушком руку, вяло вложил ее в руку художника и не то пожал ее, не то нет.

— Еще на кофейный пунш хватит, — сказал художник, на что отец:

— Меня ждут дела.

— Значит, нет? Очень жаль.

Отец вышел из комнаты, не глядя на художника в отличие от других. Что же он сделал, выйдя из дома? Взял велосипед, встал навтыжку возле распашных ворот и ждал, пока тяжелые автомобили подъедут; он заранее поднял руку для приветствия и, хотя между первой и второй машинами был достаточный интервал, продолжал держать руку у козырька и лишь тогда ее опустил, когда машины, дважды прогрохотав, миновали бревенчатый мост.

## Глава XVI

### Страх

С одной стороны, о гимназии имени Теодора Шторма в Глюзерупе все отзывались с почтением, с другой стороны, дорога в школу отнимала у меня втрое больше времени. С одной стороны, мне уже не приходилось удирать от какого-нибудь Йоста или Хайни Бунье, с другой стороны, столько задавали на дом, что вторая половина дня была вконец испорчена. С одной стороны, учителя там не смели и пальцем нас тронуть, с другой стороны, хотя учитель Плённис, не скупясь, раздавал весьма чувствительные затрещины, мне его недоставало. С одной стороны, я соглашался с матерью, твердившей мне, что учение — свет и что средняя школа послужит мне хорошим «трамплином для вступления в жизнь», с другой стороны, я спрашивал себя, зачем мне зубрить греческие вокабулы, если я не собираюсь ехать в Грецию. С одной стороны, я понимал, что не каждому в средней школе могут предоставить стипендию, с другой стороны, мне было непонятно упорство, с каким отец всем рассказывал о моем поступлении в гимназию.

Но то, что мое отношение к гимназии имени Шторма было и осталось двойственным, мне ничем не помогло: мои родители заставили меня принять стипендию, подарили мне новенький школьный портфель, достали мне почти новый велосипед, пытались пробудить во мне большее рвение, почему-то остававшееся во мне сокрытым, засовывали два лишних бутерброда на завтрак, осматривали рубашку, носки и ногти перед тем, как мне выходить из дому, а когда я, пригнувшись к рулю, нажимал на педали, махали мне вслед, иной раз Даже мать. По дамбе туда: слева — Северное море, справа — равнина; по дамбе обратно: справа — Северное море, слева — равнина, следуя тем давно знакомым путем, который так часто проделывал отец и по которому он и теперь иногда ездил со мной: «Цепляйся, я тебя повезу, держись только в кильватере». И я соглашался на все, чего они от меня хотели, и получал за это мзду в виде сладостей, бутербродов, лишних карманных денег и — что для меня было всего ценней — свободного времени в моей комнате. Возможно, отец вычитал из «Полицейского справочника», что среднее образование дает право претендовать на более высокую должность в полиции, и все его поблажки объяснялись этим. И ради того, чтобы из меня получился начальник городской полиции или на худой конец начальник участка, Хильке не разрешалось после обеда ни петь, ни слушать радио, за что она на меня сердилась, да это и понятно.

Если даже путь этот был мне давно знаком, если я с закрытыми глазами мог бы найти там любую ответвляющуюся дорогу и тропинку, поездки из школы и в школу никогда не надоедали мне, хотя при встречном ветре они бывали тяжелы и утомительны. Все было на месте, и все каждый день выглядело иначе, в изменившемся освещении, под изменившимся небом, а сколько сюрпризов готовило мне Северное море: когда я ехал в школу, еще распластанное, почти сонное, оно лизало прибрежный песок, а при моем возвращении, бушуя и вздымаясь, швыряло о буны зелено-синие чернила волн. А крестьянские усадьбы: то убогие и словно обреченные под длинными полотнищами дождя, затерянные в серой мгле, то, когда на них ложился молочный туман или когда луга впереди или сзади вспыхивали на солнце, крепкие и самонадеянные, с вьющимся из труб полуденным дымком. Или ветер: то посвистывает в спицах, смерть как доволен и готов хохотать до упаду, когда тебя заносит, то в бешенстве кидает тебе в лицо накидку или треплет ее и рвет, а то еще норовит спихнуть тебя с дамбы. Как быстро все здесь меняется, ежедневно, ежечасно, наводя на размышления об этих переменах, а иной раз заставляя и сердиться на эти перемены, если, конечно, охота.

Я на пути к дому. Осень. Около двух часов дня. Морские птицы, опустевший пляж. Ветер дует с северо-запада почти мне в спину, раздувает пальто, и оно бьется, как мокрый парус; следы на прибрежном песке, кто бы это мог пройти? Ветер был сырой. Пахло солью и йодом. Затиснутый в багажник портфель был весь в водяной пыли и блестел. На горизонте —

флажок дыма, а корабля не видать. Песочники, их крик: вит-вит. Скотина на лугу опять в пополах от ночного холода, от пронизывающего дождя. И опять какой-то человек роет дренаж. Впереди замаячили контуры «Горизонта», с которого осыпается краска, с тех пор как Хиннерк Тимсен, наэлектризованный перспективами нового дела — оптовая торговля топливом (он из какой-то статистики вычитал, что зимы становятся все холодней), — продал гостиницу государству, превратившему ее с небольшими затратами в приют для слабоумных детей. Флагшток покривился, но никто его не поправляет. И куда девался вымпел с двумя скрещенными ключами? Четверо, нет, пятеро сестер столпились на видовой площадке на самом ветру и говорили, убеждали в чем-то моего отца, который стоял, опустив голову, и что-то на свой лад принимал к сведению. Там же были птичий смотритель Кольшмидт и инспектор плотин Бультьоганн, он теперь носил на отвороте пальто и пиджака маленький бронзовый спортивный значок. Я приподнялся с седла, налег на педали и все-таки не поспел: прежде чем я достиг площадки, сестры и мужчины спустились по узенькой лестнице в сторону моря, разделились, образовав цепь, и пошли, объясняясь знаками, в сторону полуострова. Редкая сеть: в таком порядке цепочка продвигалась наискосок к полуострову, затем одно крыло ее загнулось назад, и, все время держа дистанцию, цепь поползла вперед через впадины, через холмы, вдоль берега и по дюнам к оконечности полуострова, где два противоположных течения сталкивались, бешено закручивая воду и все легкое, что по ней плавало.

Они искали что-то. И вот-вот что-то выловят, ну кто же тут не захотел бы участвовать! Скорей за ними! Я оставил велосипед на площадке и побежал сначала за всей бредущей цепочкой, потом по следу одного только птичьего смотрителя, и на холмах, где ветер трепал недавние посадки волоснеца, я нагнал его, вместо приветствия улыбнулся и стал подстраиваться к его шагу. Мне не хотелось спрашивать, что они ищут, да мне и не потребовалось, потому что немного погодя Кольшмидт сам вслух сказал, чего боится, и тут я узнал причину их поисков.

Ушло двое детей, по-видимому, еще на рассвете, до завтрака, мальчик и девочка. Сначала сестры искали их только в доме, и слишком долго, по мнению Кольшмидта. Когда дети исчезли, был отлив и надо было также искать на отмели. Он боялся, что они убежали на отмель, и он, птичий смотритель, ждал самого худшего. То и дело он останавливался и с холма смотрел на пляж, всматривался в прибой и в морскую даль, видимо, он предполагал, что дети скорее там, чем на полуострове. Нас задержали жидкие заросли лозняка, мы прочесали кусты: ни следа, ни признака. Одна из сестер, высокая, костлявая, в грубошерстном дождевике, подозвала отца и показала ему что-то в песке, отец ковырнул носком башмака, нет, это не могли быть следы; они расстались, пошли дальше. Мы поднялись на дюны, и тут не было следов, и возле кабины художника тоже, мы, не входя, обошли ее вокруг. Я зарыл торчавший из песка обугленный клочок бумаги. Ну, а как наша блуждающая цепь? Лишь вначале все видели друг друга; чем дальше мы искали, все больше при этом углубляясь в гряды дюн, тем труднее было угадать, кого увидишь, выбравшись из дюнной долины; иногда пропадало левое крыло, иногда правое, потом вдруг исчезали ищущие посередке или отдельные звенья цепи, а бывало и так, что я мог разглядеть лишь обе крайние точки крыльев — инспектора плотин Бультьоганна и старшую сестру.

Но почему отец вдруг отклонился в сторону? Почему он отстал? Кольшмидт заметил это и послал меня занять его место, я отыскал следы отца и продолжил их, пополнив бредущую цепь, но ненадолго. Вдруг старшая сестра остановилась, знаки, восклицания, опять знаки, она всем махала, все повернули на девяносто градусов и поспешили к ней. Старшая сестра все стояла и показывала протянутой рукой на идущие бок о бок следы, которые выходили из Северного моря и шли дальше, к оконечности полуострова, пока мы все не собрались вокруг и пока каждый не признал, что отпечатки на песке детские; легкие отпечатки, очень близко расположенные друг к другу, возможно, дети держались за руки, когда прошли по отмели и поднялись сюда.

— Это они, — заключила старшая сестра, и, так как она, не проронив больше ни слова,

пошла по следам, мы тронулись за ней. Разбиваясь о почти затонувший баркас, Северное море подбрасывало фонтаны такой высоты и такой силы, что нас всех обдало брызгами. Волнистые линии в песке, словно бы продолжавшие волны Северного моря, Пересекали поперек всю оконечность полуострова до самой будки птичьего смотрителя, до шестов и сетей. Все прибавили шагу. Никого в будке, никого под скамьей и столом, и на берегу никого, хотя следы вели туда, зато там, в сетях...

В крыльчатой сети, кончавшейся мотней — мотня была слабо натянута и бечевки закреплены к колышкам, — на земле, среди мечущихся птиц, обманутые, как и они, четким теньвым рисунком сети, сидели пропавшие дети; увидев нас, они не испугались и не обрадовались, только посмотрели коротко и равнодушно. Они сидели спиной к спине на песочке в глубине мотни, девочка душила засаленную тряпичную куклу, а мальчик пытался оживить своим дыханием мертвую птицу. У девочки было старообразное, тупое лицо, коротенькие, торчащие в стороны крысиные косички, она была в клетчатом платье. Мальчик был босой, тяжелая голова, казалось, оттягивала его к земле, затылок сильно выдавался. Когда, пытаясь оживить птицу, он прижимал ее к толстым губам, голова его болталась из стороны в сторону, и я слышал, как он издавал какие-то хрюкающие звуки, выражавшие не то нетерпение, не то удовольствие. Девочка, расставив загорелые ножки, тыкала тряпичную куклу лицом в песок и крутила, стараясь ее удушить.

Птицы металась и били крыльями над головой девочки, проносились мимо самого ее лица, но она их не замечала, не пыталась отогнать. Мальчик, засунув мертвую птицу в вырез полотняной рубашки, засмеялся и стал раскачиваться всем туловищем, с губ его стекала слюна, он зацепил пальцами сеть и хотел приподняться, но не смог» Девочка запела резким, пронзительным голосом и повернула к нам лицо. Но тут старшая сестра наконец отыскала обращенный к морю вход в сеть, ощупью пробралась по крыльям, залезла в мотню, ухватила девочку и вынесла наружу; эта костлявая женщина с холодным взглядом все держала девочку на руках и прижимала к груди, в то время как девчурка колотила ее тряпичной куклой по голове, пока белый накрахмаленный чепец не слетел на землю и не посыпались шпильки. Даже после того, как старшая сестра ее поцеловала, девочка продолжала тупо колошматить ее куклой.

А мальчик? Две сестры, призвав на помощь Кольшмидта, с трудом вытащили его из мотни, он не сопротивлялся, но и не понимал, что от него хотят; опустив голову, будто собираясь боднуть, обмякший, ничего не соображающий, невозмутимый в своей отъединенности, дал он себя извлечь и, тяжело дыша, стоял окруженный нами.

— Все хорошо, Йохен, — сказала одна из сестер, — сейчас пойдем домой, и ты выпьешь горячего какао, но сначала дай сюда птицу. — Мальчик привычным жестом обтер руки о штаны. — Дай сюда птицу, — мягко повторила сестра и засунула руку мальчику за пазуху, опустила ее глубже, мальчик хрюкнул, рука сестры, шаря, скользнула по животу, задержалась и вытащила за хвостовые перья мертвую птицу. Мальчик хотел схватить птицу, но промахнулся. — Вот так, а теперь пойдем, как паиньки, домой, выпьете что-нибудь горячее, и спать. — Мальчик сложил руку горстью и приложил к уху, услышал то, что было доступно лишь ему одному, не стал артачиться, пошел своей охотой, только время от времени останавливался и сосредоточенно прислушивался к чему-то.

Итак, обратно к «Горизонту». Сестры, дети, экономка и даже обе кухарки вышли на площадку нас встречать; восклицания, объятия, исполненные облегчения порывистые поцелуи. Нашлись! Наконец-то! Я заглянул в открытую дверь, отца там не было, и вдруг увидел девочку, которая каждое утро неуклюже махала мне, когда я проезжал мимо, а иногда днем, сидя на подоконнике в синем халатике, тоже махала мне. Я даже придумал для нее имя: я называл ее Нина. Она переступила порог и, неуверенно двигаясь, вышла на площадку.

Я подал ей знак, она не поняла. Я кивнул ей, она это заметила, но не отвечала на приветствие. Стараясь по возможности не привлекать внимания, я подошел к ней ближе, улыбнулся, закивал и, чтобы напомнить, кто я, подражая ей, неуклюже помахал, она не видела или увидела, но не вспомнила, а когда я протиснулся к ней на такое расстояние, что

мог бы дотронуться до нее рукой, она вдруг завизжала от страха и обхватила сестру, ища у нее защиты. Мне не оставалось ничего другого, как молча убраться, я протолкался сквозь оживленную группу детей и взрослых, провожаемый удивленным взглядом сестры, которая рассеянно гладила девочку и утешала ее. А вот и мой велосипед, я повел его на дамбу, встал на педаль, оттолкнулся, как отталкивался отец, вскочил в седло и, всем весом нажимая на педали, покотился в сторону Ругбюля.

— Придешь ты когда-нибудь или нет? — крикнула Хильке с крыльца. — Сколько мне еще греть для тебя рис? — Значит, рис с сахаром и корицей, а может, даже и с фруктовым супом. Я сказал:

— Нечего себя нарочно взвинчивать, — а она уже потише и примирительно:

— Я два раза его разогревала, Зигги. Где ты пропадаешь? — Указание обращаться со мной если не почтительно, то, во всяком случае, предупредительно побудило ее отобрать у меня портфель, подмигнуть и слегка провести рукой по моему затылку. Она собиралась взять меня за руку, но я счел это неуместным и затрусил вслед за ней на кухню.

— Отец дома?

— Нет, его нет, отца вызвали в «Горизонт», там опять что-то стряслось — двое будто бы сбежали, утонули, может.

— Дай мне лучше поесть, вместо того чтобы толковать о том, чего не знаешь. — Значит, все-таки рис с фруктовым супом. Тарелка опустилась передо мной и была небрежно отодвинута. Хильке обиделась. — Просто двое ребят заблудились, я как раз оттуда и сам помогал искать, представляешь, они забрались в сети птичьего смотрителя.

— Так вот почему, а мы боялись, не случилось ли что с тобой.

— А как сегодня в школе?

— Да ничего. — Это спросила вовсе не Хильке, последний вопрос задала мать, которая незаметно вошла с распущенными волосами и переброшенным через плечо полотенцем, она собиралась мыть голову. Мне незачем было оборачиваться, чтобы узнать, как она выглядит и что делает, я и так знал, что на ней салатного цвета комбинация, на ногах стоптанные, в засохших брызгах пены кожаные шлепанцы; вот она берет из шкафа шампунь, вот ополаскивает таз, вот спускает с мясистых плеч, усеянных веснушками и родинками, бретельки. Наливает в таз теплую воду.

— Я не хочу, чтобы ты ходил в «Горизонт», Зигги. Ты меня понял?

— А я вовсе и не заходил-туда. — Вода, вероятно, была слишком горяча, она ее охлаждала, опустив в таз руки и взбивая волны.

— Достаточно и того, что этих детей сюда прислали, ты-то по крайней мере не ходи туда.

— Двое заблудились, я просто помогал искать. — Она встала, широко расставив ноги, пригнула голову, рассыпала волосы над тазом и заговорила сдавленным голосом:

— Там теперь вечно будет что-нибудь случаться, все и будем, значит, трястись. Ублюдки несчастные, от них только одно беспокойство. И чего их сюда принесло!

— А куда им деваться? — Ответа не последовало, она зачерпнула воды, сперва смочила волосы, затем, пыхтя от напряжения, опустила голову в таз.

— Если б они были просто больные, а то ведь ублюдки, они всем в тягость. Какое к ним вообще может быть чувство, если они ничего не соображают? Слышишь, Зигги! Я не хочу, чтоб ты туда ходил, на них смотрел, да еще играл с ними.

С волос стекала и капала вода, теперь она плеснула себе на затылок вязкий, медового цвета шампунь и начала его втирать, взбивая сперва жидкую, затем все более густевшую пену; пена, дрожа, лежала у нее на шее, хлопьями сползала на ухо, в лицо и, судя по ее шипению, попала в глаза, тут на помощь пришла Хильке. — От одного их вида, Зигги, повредишься, и думать не думаешь, а беда пришла. Впечатления — они, знаешь, могут так крепко засесть в голове, что и рассудок помрачится.

А я сидел, ел рис и слушал, еще немножко тихонько посидел, пока Хильке споласкивала и отжимала рыжеватые волосы матери и затем вытирала их полотенцем. Можно мне теперь

идти готовить уроки? Да, можно.

— Но подумай о том, что я тебе говорила, Зигги.

— Подумаю.

— А что вам задали на сегодня?

— Сегодня? Задачки, потом по истории и сочинение.

— О чем?

— «На кого я хочу походить».

— Ну, это не так трудно.

— Да.

— Любопытно посмотреть, что ты напишешь. — Салатная комбинация туго обтягивала ее широкий зад. Кожа на шее покраснела. Она тяжело дышала в полотенце. В тазу колыхалась темная жижа, по которой еще плавали языки пены, но пена садилась на глазах, опадала и растворялась. Я был рад уйти из кухни и сесть за уроки.

Поскольку к истории я всегда был равнодушен, я начал с сочинения, и то, что случилось всегда, произошло и сейчас. Сперва тема показалась мне вполне преодолимой, благодарной и даже как бы нарочно созданной для меня; когда нам задавали сочинения вроде «Лучший день каникул», «Посещение краеведческого музея» или, как сегодня, «На кого я хочу походить», это никогда не представлялось мне чрезмерным требованием: каждая тема внушала мне вначале одинаковую уверенность. Но все эти доступные темы сразу оказывались непосильными, едва лишь — а этого от нас требовали — я начинал их расчленять. Ни одно сочинение без четкого плана. Вступление, развитие, главная часть, заключение: все должно было катиться по этому конвейеру, и кто его не придерживался, тот не справился с сочинением. Хоть мне почти всегда удавалось освоиться с темой, я всякий раз терпел неудачу, и все из-за своей нерешительности. Я никак не мог заставить себя определить, что является главной, а что второстепенной проблемой, у меня не хватало духу зачислить одних лиц в главные, а других — во второстепенные персонажи, Вежливость, или жалость, или недоверие мешали мне, но всего хуже было то, что я не в силах был давать заключение, а именно на этом наш учитель немецкого, доктор Треплин, был просто помешан. Он требовал, чтобы всему давалась оценка: хитростям Одиссея, характеру Валленштейна, грезам Бездельника и поведению горожан при пожаре города Магдебурга. О том, чему не давалась оценка, не стоило и говорить. Оценка! Еще сегодня мне сжимает горло, и я задыхаюсь, как об этом вспомню.

На этот раз тема была «На кого я хочу походить». Кто же послужит мне примером? Отец, ругбюльский полицейский? Художник Макс Людвиг Нансен? Может, доктор Бусбек, это воплощенное терпение? Или мой брат Клаас, чье имя нам запрещено было произносить не только вслух, но и мысленно? На кого же я хотел походить? Если не на отца, то почему нет? А если на художника, то почему именно на него? Я уже чувствовал, что все в этой теме исходит из оценок, сводится к оценкам, и, так как мне никогда не удавалось и не удастся оценивать знакомых мне людей в том смысле, в каком этого желал Треплин, надо искать для себя образец в другом месте, в другое время, с этим легче будет справиться, — а что, если взять выдуманный образ, состряпанный из кусочков, а не существующий в жизни? Но каким же должен быть этот образ, чтобы я желал походить на него?

Я помню, что сначала придумал фамилию, а именно — Мартенс, выбрал имя, а именно — Хейнц, и этого Хейнца Мартенса сделал одноруким, подарил ему длиннейший шарф, снабдил резиновыми сапогами и отправил на унылый остров Кааге, который по неизвестным причинам служил не только местом гнездования красным уткам-пеганкам, но после окончания войны и излюбленным районом целей для еще неопытных летчиков британских военно-воздушных сил.

Хейнц Мартенс получил лопату с короткой рукояткой, ею он мог вырыть себе убежище, получил продукты и несколько рубашек на смену, снабдил я его также жевательным табаком и сигнальным пистолетом, которым он должен был предостерегать как высиживающих яйца уток, так и пилотов. Первые бомбардировки он претерпел никем не замеченный, но потом

стало известно, что на Кааге кто-то сидит, чтобы сохранить пеганкам их гнездовье, об этом заговорили, слух распространился в Гамбурге, Лондоне и, главное, среди членов английского общества защиты животных, а отчасти и среди пилотов британских военно-воздушных сил, которых Хейнц Мартенс встречал красными ракетами, однако без особого успеха, ибо после каждого налета ему приходилось собирать бесчисленное количество более или менее пригодных на жаркое уток.

Едва заслышав певучее гудение моторов, Хейнц Мартенс выскакивал из убежища и прежде всего выпускал несколько ракет почти полого над заповедником, тотчас в небо панически поднимались тучи уток, но затем быстро перестраивались в круговой порядок, после чего он уже стрелял вертикально, навстречу летящим бомбардировщикам, до той самой минуты, когда начинали рваться первые бомбы. Хлопанье и свист крыльев. Певучее гудение моторов высоко летящих бомбардировщиков. Трепетный свет падающих ракет.

Красноватый отблеск отразился в моем окне, лег на мои руки, на тетрадь с сочинением, заплясал на стенах комнаты, вдруг послышались крики и шаги, внизу у нас в доме поднялась беготня, захлопали двери, и голос Хильке:

— Пожар, скорей, Зигги, пожар!

— Где?

— Да вон же! Спускайся.

Горел мой тайник! Горела моя постель. Моя выставка, моя коллекция замков и ключей горели. Горели картинки с всадниками и «Человек в алой мантии». На земляной насыпи над прудом горела старая беекрылая мельница, моя любимая мельница. Что это, сирена пожарной машины? Я слышал, как она выла, но машины было не видать, она, вероятно, еще не выехала. Горел купол. Пламя выбивалось из верхних люков и разбитых окон, полыхая, взмывало кверху. А там, в мельничном пруду, мельница тоже горела, но потише. Сверху и снизу взлетали искры, сноп желтых и красных ракет, которые ветер, ветер пожарища, гнал над равниной к Хольмсенварфу. Горели князь Юсупов и Изабелла Бурбонская и объезжающий Мюльбергское поле сражения император Карл V. Горели две невидимые картины и принадлежащий Клаасу «Сборщик яблок». Языки пламени соединились над куполом, и их понесло в сторону. Завывание метели. На фоне белесосерого неба кружились хлопья сажи. А купол все держался и держался.

Я бежал и видел, что бегут многие: с усадеб, напрямик по лугу и вдоль дамбы, люди бежали на пожар, боясь не опоздать вовремя. Как они спешили! Как торопливо протискивались сквозь проволоку изгородей, прыгали через рвы, обгоняли друг друга, и только чтобы обеспечить себе хорошее место.

Прыгая через ступеньки, я спустился с лестницы. Хильке кричала, чтобы я вернулся. Мать кричала, чтоб я вернулся. Я побежал через двор, по кирпичной дорожке, мимо шлюза; во рву, вдоль которого я мчался, на воде лежал отсвет пламени. Срезав угол, я побежал через окаймляющие пруд камыши и как раз выскочил на дорогу, когда рухнул купол. Горящий купол рухнул в башню, раскололся на мукомольной платформе и подбросил кверху целый вихрь искр; теперь пламя полыхало, как из широкой трубы, тяга открыла огню полный простор. Я остановился и смотрел, как распространяется огонь, как пламя лизнет что-то, разделится, подскочит, прислушивался к жесткому треску, совсем как полощет на ветру парус. Горящий ком вылетел из открытой двери и с шипением упал у моих ног на траву, я не стал его затаптывать. Я стоял под дождем кружащегося пепла. Я смотрел на огонь. Двое мужчин пытались бревном вышибить дверь, но ничего не получилось: дверь под их ударами только приподнялась из петель и повисла наклонно. Пожар не тушили, хотя все кричали, что надо тушить. Вот пламя выбилось из нижних окон и побежало вверх по внешней стене башни.

Когда же я последний раз смотрел на пожар? Вероятно, в начале войны, когда у Хольмсена горел хлев и мужчины во дворе только заботились о том, чтобы не дать спасенной скотине броситься обратно в огонь. Я не заметил, как кольцо зевак отступило от жара.

Я вдруг оказался один, закрыл глаза, ощутил только пульсирующую все быстрее боль,



что-то напирало, подталкивало, вонзалось в меня острием, обдавая холодом и жаром, но я не хотел, нет еще, я сопротивлялся давлению, которое возрастало; все зашаталось, горящая мельница, тени глазающих, я увидел, как моя каморка стала вращаться, кружиться вместе с постелью, ящики с замками, стены с картинками, все это кружилось вокруг меня, картинки слились в один нескончаемый ряд, я протянул вперед руки и бросился к входу, к стене пламени, к колышущейся завесе. Под снятую с петель дверь, вверх по огромным стертым ступеням: там горели мучные лари, и стремянка, и грубо обтесанные балки перекрытия.

Слишком много света, просто там слишком много света, чтобы что-то разглядеть, мне пришлось локтем защитить лицо, я задыхался, и я подумал о тале, но тут они меня схватили и поволокли вниз по лестнице на воздух, двое мужчин, даже не знаю кто. Как я ни рвался, ни выворачивался, даже падал, они держали меня крепко. Один сказал: «Смотри, чтоб не вырвался, а то опять туда ползет», после чего оба так меня стиснули, что я поднялся на цыпочки и разинул рот. Через кольцо неохотно расступившихся зевак они потащили меня вниз по дороге к пруду, там они меня отпустили, я упал на землю и, как они велели, ополоснул лицо, шею и плечи водой.

Когда я поднял голову, они рассмеялись, и один сказал: «Здорово опалился малец», потом повернулись ко мне спиной и стали глядеть на пожар.

И я тоже глядел на пожар или на его разбегающееся отражение в воде, но недолго; когда подъехали пожарные из Глюзерупа, развернули шланг, подтащили к пруду помпу, я поднялся и ушел, не оглядываясь, оставив им мельницу и пожар, оттеснивший от равнины наступающие сумерки. Но и тогда, когда я проходил мимо пруда и по лугу, мимо неподвижно стоящих коров, меня все еще продолжало колоть, боль поднималась по позвоночнику, ударяла в виски, проникала внутрь холодом и жаром. Раз я остановился, я различил голос отца, значит, он на месте, он выкрикнул какое-то приказание, и все. Колья ограды, коровы и я — все отбрасывало колеблющиеся тени, я шел в сторону Блеекенварфа, словно это само собой разумелось, словно меня там ждали. Ветер усилился, Возгласы позади, там, на пожаре, что-то, видно, случилось, я не оглянулся. Надо мной, довольно низко, прижатый к земле ветром, стлался дымовой столб и наконец повис на живой изгороди Блеекенварфа, вероятно пожарные принялись тушить. Дорога поднималась, а вот и бревенчатый мостик.

Я остановился, но художник давно меня заметил, он стоял неподвижно на конце бревенчатого мостика, остывшая трубка свисала на подбородок, руки он сунул глубоко в карманы плаща, слегка бившегося о его ноги. Он стоял так неподвижно, что почти сливался с живой изгородью.

— Поди сюда, — сказал он, — не бойся ничего.

Я подошел, он положил мне руку на плечо, и мы стали смотреть на горящую мельницу. Не качается ли башня? Я подумал о Закадычном друге мельницы, о старике с коричневыми пальцами, подсвеченными красным, исполински выставившем из картины: разве не в подобных же сумерках пытался он, прищелкивая пальцами, возвратить одряхлевшую мельницу к жизни? Одна сторона башни обломилась и осела, проливаясь огненным дождем. Много ли помогла ему его сердечность, его простодушная уверенность?

— Да стой же спокойно, Вит-Вит, — уговаривал меня художник, — что тебе не стоит? Или тебе нужно что-то мне рассказать? Стой спокойно, мой мальчик!

Он способен был стоять неподвижно, наблюдая, как горит бескрылая мельница, которая и ему была далеко не безразлична. У него доставало выдержки стоять здесь, на бревенчатом мостике, возможно, он ходил смотреть на пожар вблизи и лишь потом сюда вернулся — не знаю, но вполне могу это допустить.

Над нами тянулся длинный столб дыма, словно от чадающего парохода. Художник стоял, прищурился, взгляд его был тверд, ноги крепко упирались в тяжелые брусья. Но вот дрогнула вся башня; надломившись на середине своей высоты, она накренилась и, рухнув на дорогу, развалилась на части, извергая вращающиеся ядра и подскакивающие огненные комки, горящие обломки скатывались со склона, одни погружались в мельничный пруд и с шипением гасли, другие от каждого толчка рассыпались фонтаном искр. Дымовой столб

теперь изменил свой цвет на серо-желтый, а свой запах — на едко-удушливый, ветер нес нам в лицо дым, и художник немного спустя сказал:

«— А теперь все кончено, Вит-Вит, пошли ко мне, и через живую изгородь садом потащил меня к себе в мастерскую.

Он зажег свет, надел очки и приподнял мне лицо за подбородок.

— Уж не побывал ли ты в огне? Твои брови, твое лицо опалены, словно ты и вправду воевал с огнем. Да тебя, кажется, лихорадит? — Я пожал плечами, а он все так же озабоченно, склоняясь ко мне: — Приляг, Зигги, на минутку, я принесу тебе попить, стакан пахты тебе, во всяком случае, не повредит. — Все так же заботливо он подвел меня к одной из пятидесяти пяти коек, которые, как я долго думал, были у него припасены на ночь для всех действующих лиц его картин: для словенцев, для танцующих пляжников и желтых пророков, для согнувшихся на ветру крестьян в поле и для лукавых зеленых торговцев. Как-то в веселую минуту художник подтвердил мою догадку, заявив, что здесь и правда ночует фосфоресцирующий народец, представленный в его картинах, а уж тут боже сохрани сделать удивленную мину: раз он что сказал, значит, так тому и быть.

И вот с одной из коек было сорвано покрывало, обнажившее застиранный брезент, а под брезентом — соломенную подстилку. Я сел на приготовленное мне ложе, Мако Людвиг Нансен бережно поднял и уложил мои ноги, укрыл меня и нарочито строго на меня поглядел.

— А теперь ложись безо всяких, нравится это тебе или нет. Спокойно лежать и не двигаться до моего возвращения. Слышишь? Я мигом обернусь.

— А как же свет? Свет ты мне оставишь? — Он кивнул.

— Свет будет гореть, чтобы ты без меня не сбежал.

Он взбил мне подушку в полотняной наволочке, и я снова улегся, чувствуя себя под защитой его заботы и ласковых слов. Уходил он с весьма серьезным видом, и я прислушался к его шагам, нерешительно направлявшимся к порогу; резкий порыв ветра ворвался в дверь и произвел переполох среди беспорядочно накиданных листочков на письменном столе, несколько листков спорхнули на пол. Я не видел художника, но почувствовал, как он замедлил шаг у окна и еще раз на меня поглядел, до того как направился к дому. Затем...

Мне надо как следует подумать, восстановить то, что произошло затем, потому что это произошло со мной впервые, я ведь собирался спокойно ждать и лежал дрожа под одеялом, до этой минуты мне удавалось почти все себе объяснить путем сравнений. Итак, света хватало, обстановка знакомая, время, каким я располагал, ограничено — я примерно представлял, когда художник вернется с моим питьем. Я не чувствовал себя здесь в гостях. Пока что все ясно: я вижу, как лежу на койке, укрытый до подбородка коричневым одеялом, окруженный знакомыми картинами. Но где же переход, мне нужен переход — или это произошло со мной без всякого перехода?

Вот, пожалуй, с чего началось: я заметил, что кто-то на меня смотрит и, пожалуй, даже узнает меня. Тут были словенцы, они сидели за круглым столом, с довольными, слегка остекленевшими от настойки глазами. Рыночные торговцы вперились в пожилую женщину, равнодушно проходившую мимо, а согнувшиеся под ветром крестьяне торопились убирать сено перед наступлением грозы. А танцующие пляжники? Пророки? Они были всецело заняты собой.

Должно быть, вся суть заключалась в двух менялах с зеленовато-золотистыми руками и похожими на маски лицами: они смотрели на меня, они больше не перемигивались украдкой от сидевшего перед ними согбенного человека, чье отчаяние их не трогало, чье несчастье было их удачей. Мне чудилось, что они уставились на меня, и в их льдисто-серых глазах не было обычного выражения превосходства. Я не мог этого объяснить, да и не желал никаких объяснений, картина как-то стянулась, я ощущал боль в висках, их сдавило тисками — что-то светящееся, колеблясь, надвигалось на картину из ее глубины; менялы, казалось, затаили дыхание; я обеими руками схватился за одеяло; я уже отчетливо видел, как маленькое открытое пламя надвигается о заднего плана, приближаясь неуклонно, необратимо. Что перевесило мой страх? Ошеломление? Слабость? Испуг? Какое-то время, несмотря на страх,

я лежал и всматривался, я помню только одно: картина. Маленькое открытое пламя. И страх. Вот, пожалуй, и все. И тут я недолго думая скинул одеяло и вскочил, что-то заставило меня сорвать со стены картину, повернуть тыльной стороной, отогнуть картонку и вынуть из рамы менял. Куда бы их лучше спрятать? Под подушку? В шкаф?

Я вытащил рубашку из штанов и обернул менял вокруг тела, как когда-то «Наводчика туч»; потом одернул рубашку и растянулся на своем ложе, решив никому ничего не рассказывать — даже художнику. Я только хотел отнести картину в безопасное место, я еще сам не знал куда, лишь бы вон отсюда, где она Могла в любую минуту загореться. Как приятно она холодит кожу! Как спокойно ей там лежит, думал я и закрыл глаза, чтобы не видеть других картин. Не лучше ли рассказать? А вдруг он не поверит? Или убежать? У меня и в мыслях не было оставить картину себе, да и в дальнейшем я вовсе не собирался завладеть картинами, которые мне доводилось уносить в надежное место, видя, что им угрожает опасность. Я забирал их только на временное хранение. Я не мог допустить, чтобы они сгорели по случайному недосмотру. Я обязан был что-то сделать. Обязан был прислушаться к тому, что диктовал мне страх. Ошибка моя заключалась лишь в том, что мне слишком рано открывалась опасность, и я слишком рано уносил картину в сохранное место.

Я не убежал. Я лежал и дожидался, пока художник вернется. Он с трудом закрыл дверь. Присел на край моего ложа.

— На, пей! — Я пил и поглядывал на него через край стакана. Не изменилось ли что в его лице, в его обращении? Для того ли только он уходил, чтобы принести мне попить? — Что с тобой, Зигги? — спросил художник. — Здесь тебе нечего бояться. Да не жар ли у тебя? Отдохни немного, и я отведу тебя домой.

Он снял со шкафа бутылку, крепкими желтыми своими зубами вытащил пробку, налил стакан и сразу опрокинул, потом налил другой и закурил трубку. Поглядел в окно.

— Огня уже не видать, Вит-Вит, с пожаром, должно быть, управились, завтра нам будет очень недоставать нашей старой мельницы. Ты ведь в ней частенько бывал. Я то и дело видел, как ты оттуда выходишь. Почему ты убежал с пожара?

Мне нужно было в уборную, Я лежал в напряженной позе, боясь пошевелинуться, вес картины уже давал себя знать, да и новый страх парализовал мои движения. Если он заметит исчезновение картины, если обнаружит ее на мне, что он со мной сделает? — спрашивал я себя, косясь на опустевшую раму, которую снова повесил на место. Может, никогда больше не пустит в мастерскую? И стало быть, между нами все кончено? Рама висела безобразно криво, я чересчур поспешно ее повесил, грубое коричневое одеяло облепило меня, словно собиралось выдать, А тут эта невыносимая жара, волнами ходившая по моему телу, — как уж тут дышать ровно? К тому же мне отчаянно хотелось в уборную.

— Два насоса, — сказал художник, глядя в окно, — теперь они заливают в два насоса, как будто еще нужно что-то спасать или оберегать от огня. Ночью пойдет дождь, можно бы остальное предоставить дождю. Как ты считаешь?

— Да.

Он отвернулся от окна и направился ко мне своими короткими шагами, в то время как я уставился в потолок. Сколько же нужно плестись, чтобы пройти такое расстояние, почему он тянет так долго? Наконец он подошел. Поставил стакан на пол и, слегка побряхывая, опустился на край койки. Скажи же наконец, что тебе известно, торопил я, что ты успел открыть?

Он вытащил свой большущий, пропитавшийся табаком платок и насухо обтер мне лоб и виски.

— Прежде всего успокойся, Вит-Вит, — сказал он, — когда-нибудь ты убедишься: все, что мы сотворили или собрали в этом мире, не так-то легко из него уходит. Оставленные нами следы сохраняются куда дольше, чем мы предполагаем. Возьми хоть старика Фредериксена, что жил здесь до меня, ведь я почти ничего о нем не знаю, а он, видишь ли, каждые полгода измерял рост Своего сына и делал на дверном косяке зарубки, — казалось бы, пустяк, но что-то непременно остается. — Он похлопал меня по колену. — Чтобы что-то

осталось твоим, не обязательно опять его увидеть, а кое-что лучше даже потерять из виду, чтобы владеть им безо всяких забот. Вот я и думаю, пусть у меня было семьсот или даже восемьсот картин. Они ведь не перестанут быть моими, оттого что я, может быть, никогда их больше не увижу. А ты? Да, я знаю, у тебя их было порядочно.

— О чем это ты? — спросил я. А он, ни капельки не сердясь на мой вопрос:

У тебя был отличный тайник и немало хороших Вещей, я иногда даже просто поражался и готов был подарить тебе что-нибудь от себя.

— Ты заходил наверх? И все знал?

— Да, я все знал, я бывал наверху, и не раз.

И человека в алой мантии?

— Да, я опять увидел человека в алой мантии, да и не только его.

— Как ты догадался?

— Лежи спокойно. Ты видишь, я все тебе оставил, даже две невидимые картины, которые ты урвал для себя, и я уже подумывал о том, чтобы украдкой что-нибудь тебе повесить в качестве сюрприза.

— Это все он, — сказал я, — все он, и так оно и будет продолжаться, он только про то и думает, только и ждет случая.

— Успокойся, мой мальчик, ты сам не знаешь, что говоришь.

— Его это работа, что в кабине, что на пляже, да и вот теперь, я это точно знаю, он все вынюхивает, от него ничто не укроется, и он не уймется никогда.

— Мы найдем тебе новый тайник.

— Он и до нового доберется, так и знай.

— А тогда мы найдем несколько тайников и будем пользоваться ими попеременно, но только успокойся и отпусти мою руку.

— Ты должен что-то сделать, дядя Нансен, — сказал я, — ты один только можешь что-то сделать, то ли он с каким-то вывихом, то ли ему чего-то не хватает, я прямо до смерти его боюсь, когда он так вот стоит и к себе прислушивается.

— Я знаю твоего отца дольше, чем ты его знаешь, — сказал художник, — быть того не может, чтобы он поджег мельницу, еря ты себе это внушаешь. Хочешь еще пахты?

— А я говорю тебе, что от него все нужно прятать.

Художник заставил меня снова лечь, и тут взгляд его сказал мне, что он знает больше, чем я думаю; в его голосе не слышалось ни разочарования, ни огорчения, ни тем более гнева, когда он раздельно сказал:

— За менялами я уж как-нибудь сам присмотрю. — Полагая, что картина под моей койкой, он быстро нагнулся и, не найдя ее там, озабоченно посмотрел на меня. — Давай ее сюда, — сказал он, — она будет у меня в сохранности.

— Огонек, — сказал я, — я видел, как к картине подбирался огонек.

— Не беспокойся.

— Я видел огонь, все равно как тебя вижу.

— Я в этом не сомневаюсь, но теперь дай ее сюда! — Он в два приема сорвал с меня одеяло, нащупал картину под моей рубашкой и, решительно отказываясь от моей помощи, вытащил рубашку из штанов. — Руки прочь! — приказал он спокойным тоном. — Я все сделаю сам. — И ни разочарования, ни гнева, как я уже сказал.

До чего же узкие и бледные были у него запястья, выглянувшие из широких рукавов, когда он снимал со стены раму; не говоря ни слова, он вставил картину и повесил на место.

— Есть хочешь?

— Нет.

— Видно, тебе и в самом деле нехорошо, — сказал он, улыбаясь. — Надо привыкать, Вит-Вит, привыкать к утратам! Ведь это даже к лучшему: нельзя останавливаться на достигнутом. Надо опять и опять начинать сызнова. Когда мы на это способны, мы можем еще чего-то ждать от себя. Не бывало случая, чтобы я остался собой доволен, и тебе, Зигги, советую: будь недоволен — по возможности.

Он испугался моего вида. И снова укрыл меня.

— Господи, мальчик, как ты выглядишь! Пойдем, я отведу тебя домой.

— Я не хочу домой, я хочу остаться здесь, — сказал я.

— Это невозможно.

— Но раз мне хочется!

— Можешь поесть с нами, а потом я отведу тебя домой.

## Глава XVII Болезнь

А что, если перехватить, вот именно перехватить Окко Бродерсена и справиться, нет ли у него в почтовой сумке письма для нас и не отдаст ли он письмо мне, чтобы сэкономить время и так далее; нет, все это ни к чему, наш однорукий почтальон, восседавший с прямой, как доска, спиной на велосипеде, взял себе за правило вручать почтовые отправления если не в доме, то по меньшей мере перед домом адресата, сопровождая этот акт всяческими намеками, а подчас и наставлениями, точно ему было больше известно содержание письма, чем получателю. Видя, как Окко Бродерсен подает запечатанный конверт, вы, может, и не подумали бы, что письмо написано им лично, но что он Хотя бы присутствовал при его написании — такая мысль напрашивалась сама собой. Как он умел похлопывать по письму! Как умел предостерегающе им помахивать! Нет, тому, кто знал Окко Бродерсена, и в голову не пришло бы перехватывать его в пути и справляться о почте, он либо спокойно давал ему проехать, либо бежал за ним следом, вот так же, как я, до самого двора или входной двери.

— Нам что-то есть?

Поставив сумку на седло велосипеда, почтальон открыл ее и провел большим пальцем по тесно составленным конвертам; конверты отгибались, показывая адреса.

— Для нас ничего?

Итак, одно письмо большого формата в коричневом конверте, адрес написан печатными буквами, имя отправителя не указано.

— Без отправителя, — укоризненно заметил Бродерсен и глубокомысленно кивнул, возможно соображая, не задержать ли такое письмо, но в конце концов отдал его мне и указал на дом:

— Ступай, отнеси да передай старику, впредь пусть письма получает не иначе, как с именем отправителя.

— Скажу.

И наш старый почтальон, не простясь, свернул к кирпичной дорожке и покатил по направлению к Хольмсенварфу.

— Вот, тебе письмо.

Отец был занят чисткой обуви. Раз в неделю он производил смотр всей разнокалиберной обуви в доме, стаскивал ее на кухню, выстраивал в почти правильный ряд и приступал к чистке в три приема: очистить от грязи, смазать кремом, надраить щеткой. Пришлось оставить письмо на столе. Наводя суконкой глянец на голенище сапога, полицейский только сощурился на письмо, пожал плечами и отвернулся, потом снова глянул, словно напоследок что-то в письме его насторожило, и на этот раз глядел дольше прежнего, хотел было отвернуться, однако любопытство, с наглядной очевидностью возраставшее на его лице, пересилило; вот он тщетно ищет имя отправителя, вот откладывает сапог вместе с суконкой; надорвав конверт, он принялся читать стоя, но, по-видимому, ничего не понял, плюхнулся на скамью и продолжал читать уже сидя, затем что-то с чем-то стал сравнивать, повернув письмо к свету, и, должно быть, все так же ничего не понимая, огорошено посмотрел на меня и рывкнул:

— Ступай позови мать, пусть сию минуту сойдет вниз!

Итак, я стуком выманил Гудрун Йепсен из спальни и пропустил ее вперед, но на лестнице обогнал и видел, как она вошла в кухню, как с миной безропотной страдальницы стала у кухонного стола, дрожа от озноба в утреннем халате. Отец, казалось, ее не заметил. А может быть, и заметил, но, прежде чем протянуть ей письмо, хотел лишний раз удостовериться в том, что там написано. Она ждала, а он читал. Ей было ясно, что смысл доходит до него с трудом. Он вертел письмо по столу туда-сюда и, читая, склонял голову набок. Внезапно пододвинул матери письмо с конвертом, вскочил и, взяв ее за плечи, бережно, но решительно усадил, а сам, едва она приступила к чтению, стал за ее стулом.

Успокоился ли он? Нет, он не успокаивался ни на минуту.

— Читай, читай, — приговаривал он. Или: — Приглядишься получше. — Или: — У тебя глаза на лоб полезут! — Она не слушала и не намерена была в угоду ему спешить. Она тоже вертела бумагу по столу, потом неподвижно уставилась на плиту, хотела что-то сказать, по так и не произнесла ни слова.

А сейчас я с вашего позволения немного отвлекусь от моих не то растерявшихся, не то ошеломленных родителей и, пока они постепенно приходят в себя и вновь обретают дар речи, постараюсь рассказать, что пришло к нам в дом с этой почтой. Письмо, как вам уже ясно, было анонимное, в большой конверт была вложена вырванная из журнала страница, почти весь лист занимала репродукция с картины под названием «Танцующая в волнах». На узком поле было выведено печатными буквами: «Обратите внимание на сходство, тут есть над чем задуматься». Картина принадлежала кисти Макса Людвига Нансена. На картине изображена была Хильке. Она танцевала среди плоских играющих волн, рядом со сверкающим побережьем, под красным небом, танцевала с распущенными волосами, в одной короткой полосатой юбчонке, груди, казалось, мешали ей танцевать, и она опустила руку, чтобы их придержать, запрокинутое лицо ее выражало недовольство и усталость. Она танцевала с волнами и танцевала против волн, их ритм определял ритм ее движений и, как можно было догадаться, все дальше уводил ее от берега в море, где танцу придет конец. Итак, танцующей в волнах была моя сестра Хильке. Имя отправителя? Никакого имени, конечно, не значилось ни на конверте, ни на Журнальной странице. Почтовый штемпель? Письмо было опущено в Глюзерупе.

— Ну, что скажешь? — спросил отец и тыльной стороной ладони требовательно забарабанил по журнальному листку. — Это же она, конечно. Меня не проведешь, это она, Хильке, а что это значит, мы понимаем.

— Я узнаю ее, — сказала мать.

— Каждый узнает, — сказал отец.

— Она показывалась ему, — уронила мать.

— Предлагала ему себя, вот что это значит, — сказал отец.

— Ни капли гордости, — сказала мать.

— Ни капли стыда, — сказал отец. Они еще много чего говорили, глядя на картину и вторя друг другу, перечисляли то и это, но чувствовалось, что среди всех обвинений самой тяжелой виной была Хилькина вина перед ними, ее родителями. Они не переставали говорить об этом, не переставали сожалеть и оплакивать себя, все, что имп в озлоблении говорилось о Хильке, рождало у них сожаление о собственной участи. И как она могла причинить нам такое горе, как могла поставить нас в такое положение! Да где же она, наконец?

Отец вышел в прихожую и кликнул Хильке, послушал и снова покричал, а когда в ее комнате открылась дверь, поспешно вернулся в кухню, чтобы занять наиболее выгодную позицию, по возможности возвышенную, и, не найдя таковой, встал во главе кухонного стола, где и дожидался ее, выпрямившись во весь рост и расставив ноги, с напряженно вздернутым сухим лицом.

— Что такое? — спросила Хильке, увидев наши лица. И чуть потише: — Что случилось?

Она вошла нерешительно, двигаясь робко, почти боязливо, переводила взгляд с одного на другого и напрасно старалась что-то прочесть в наших глазах. Сложила руки и потеряла

ладонь о ладонь. Что тут такое? В чем я перед вами провинилась? Собрала на затылке волосы и связала их лентой. Облизнула губы. Ругбюльский полицейский нарочно мучил ее, как мучил всех, не спеша с ответом и наслаждаясь муками неизвестности, которые вызывал своим нарочитым молчанием; порой мне даже думалось — или по крайней мере сейчас думается, — что его нарочитое молчание уже составляло часть кары: не предъявляя обвинения, он лишал свою жертву возможности защищаться.

Хильке подошла к отцу и умоляюще простерла руки; он все молчал.

— Да скажите же, в чем дело? — Наконец она перехватила мой взгляд, я указывал ей на стол и на лежащее там письмо. Стоя за матерью, она поглядела на репродукцию, причем долго, слишком долго, как мне показалось, не отрывала от нее взгляда; взять листок в руки она побоялась. Так вот оно что! Теперь все понятно. Она пренебрежительно повела рукой и деланно улыбнулась, очевидно решив показать, что не придает этому никакого значения: вот, мол, что вас беспокоит! Облегченно вздохнув, она отвернулась от стола. — Так это же бог весть когда было, чуть ли не прошлой весной, — сказала она и в самом деле надеясь всех этим успокоить или, во всяком случае, разрядить атмосферу.

Мать уперлась в расписанную голубыми разводами клеенку на кухонном столе. Отец издали свверху вниз уставился на письмо.

— Так, значит, вот в чем дело, — отбивалась Хильке, — подумаешь, важность, «Танцующая в волнах», что тут такого? Человеку понадобилось, чтоб ему позировали, и он счел меня подходящей натурой, а больше ведь ничего и не было. И всего-то один раз! Единственный! «Танцующая в волнах»! Ведь это все равно что побывать у врача, а вы из мухи слона делаете. — Хильке уже чувствовала себя оправданной, она и двигалась уже иначе.

— Стало быть, все сошлось, — беззвучно уронил отец. — Выходит, с подлинным верно. Ты ему показывалась, ты ему позировала, вот и видно, чего стоит твоя гордость.

Хильке круто повернулась и удивленно вскинула на него глаза:

— Гордость? При чем тут гордость?

— Ты живешь с нами, — продолжал отец, сузив глаза в щелку, — и уж, верно, от тебя не укрылось, что было между ним и мной.

— Так это же кончилось, — возразила Хильке, — кончились те времена, — на что отец, скривив рот в презрительную гримасу:

— Раз уж зашло так далеко, какой тут может быть конец? Но это не твоего ума дело, у нас разговор про тебя, про тебя на этой картине. Можешь ты наконец понять, что произошло?

— Она на меня похожа, танцующая в волнах, похожа, да! — А отец:

— Тебя здесь каждый узнает, не только мы. Нам это кто-то прислал в конверте без обратного адреса, и то же самое может сделать каждый, кому она попадет на глаза. А что о тебе подумают, сама понимаешь. Да еще пусть бы кто другой сделал с тебя картину, но уж, во всяком случае, не он! Он — с его законами, что только для него писаны! Он — с его наглостью. С его презрением к тем, кто выполняет свой долг. Ты поди и не слыхала, какие разговоры здесь идут про нас двоих!

Хильке медленно двинулась к окну и стала там, опустив голову, видно было, что ей уж не до ответов. Не удостоив ее взглядом, отец продолжал обращаться к тому месту, где она только что стояла.

— Подумай, что ты натворила и что приходится из-за тебя терпеть нам, твоим родителям.

Тут внимание мое привлекла мать, — пробудившись от оцепенения, она начала подавать признаки жизни, вдруг выпрямилась на стуле и как бы про себя прошептала:

— Какой ужас! — А затем вслух: — Ужас, во что он тебя превратил, все там не твое, чужое. И эта одержимость. И этот хмель. А что он с телом твоим сделал! Эти пылающие бедра! Эти кривые ляжки! А лицо — разве ты можешь согласиться с таким лицом?

— Позор! — отозвался отец, а мать:

— Он и всегда-то позорил каждого, кого бы ни вздумал малевать, а теперь и до тебя

добрался. Только цыганка может так выплясывать.

— Вот именно, — поддакнул отец, — только цыганка, он из тебя цыганку сделал.

— Стыд какой, — продолжала мать, а полицейский:

— Надеюсь, ты понимаешь, что тебе остается сделать.

— Есть только один выход, — подхватила мать, — эта картина, подобная картина не должна существовать, ни ты, ни мы с отцом этого не допустим.

— Раз ты способствовала, чтоб она появилась, так поспособствуй, чтобы ее больше не было, — добавил отец. — Тебе это нетрудно сделать.

Хильке потянула к себе табурет, села, будто пригретая из милости, глянула себе на ладони и вдруг, закрыв лицо руками, засопела и принялась икать. Тот, кто не знал ее близко, и правда мог принять это за икоту, нам, однако, было ясно, что она плачет.

— Ты поняла, что тебе говорят? — сказал отец. — Чего мы от тебя требуем? Чтобы этой картины и духу больше не было.

Хильке так и не ответила, поняла она или нет, она раскачивалась всем телом взад-вперед, точно искала поддержки или опоры.

— Ты можешь этого требовать! — подхватила мать. — Это твое право, такую картину не должен видеть каждый встречный.

— Он тебя обесчестил, — добавил отец, — и только ты и никто другой можешь это исправить.

До чего же быстро и слаженно они чередовались, подхватывая, поясняя или усиливая слова своей дражайшей половины, точно два сыгравшихся актера! А поскольку их утверждения, обличения и требования были обращены не к самой Хильке, а как бы направлены через ее голову куда-то в пространство, то создавалось впечатление, будто они давно обменялись с ней местами и уже не Хильке имеют в виду, не ее роль в этой истории, а то, что история эта значила для них обоих. Они дополняли друг друга. Они подавали друг другу реплики. Они взвинчивали друг дружку, меж тем как моя сестрица, я сказал бы, врыдалась в свою роль, иначе говоря, впала в этакое бессильное, прерываемое лишь отдельными всхлипами равномерное подвывание. Никто не просил ее перестать. Никто не пытался удостовериться, поняла ли она наконец, чего от нее добиваются. Они шпыняли ее и талдычили все про одно и то же, пока телефон не призвал ругбюльского полицейского в контору. Тут поднялась мать и тоже удалилась, впрочем, нет, до того как удалиться к себе наверх, она подошла к Хильке, возложила на ее плечо негнущуюся ладонь, слегка нажала и только тогда нас покинула.

Как успокоить плачущую Хильке? Я в подражание матери положил ей на плечо руку, слегка его помассировал, потом обстучал, потом отбарабанил на Хилькиной ключице «Не плачь, дитя мое», все это, правда, небрежно, так как внимание мое было поглощено говорившим по телефону отцом. Он подтвердил, что он и есть ругбюльский полицейский, что номер два-ноль-два и есть его номер, а также трубным голосом заверил, что он самолично у аппарата.

Авария на транспорте? Так-так, авария на транспорте... На Хузумском шоссе... Тележка молочника... с велосипедом... Стало быть, «мерседес», тележка и велосипед, тридцать восемь жертв... Понимаю... модель тридцать восьмого года... Быть может, мои коллеги в Глюзерупе... Ага! Двое раненых... Совсем другое дело... На повороте к поместью Зельринг, понимаю... Все понятно, да.

Он положил трубку, в прихожей надел мундир и подпоясал португепю... Я видел в зеркале, как он прихватил свою светлую кожаную сумку, нахлобучил фуражку и застегнул карманы мундира. Остановился у двери, посмотрел на нас без упрека или предостережения, глянул наверх и, прислушавшись, крикнул: «Так пока... мм?» — и вышел. Ни заключительного слова, ни завершающего жеста.

Что же делать с сестрой? Я попробовал ее поднять, но без успеха. Попробовал оторвать ее руки от лица, но без успеха.

— Пошли, — уговаривал я, — пошли, я отведу тебя в твою комнату, ты приляжешь и



все спокойно обдумашь. — Она мотнула головой. Она прошептала:

— Не уходи, побудь со мной немножечко, — а я на это:

— Только при условии, что ты пойдешь к себе.

Немного погодя она встала, дала мне руку, и я повел ее сперва в прихожую — Хильке все еще плакала и другой рукой прикрывала лицо, — а там и в ее узенькую комнатку. Я ощущал, как мягко сотрясается от плача ее тело, и уговаривал:

— Да перестань, Хильке, перестань же наконец, честное слово, реветь не стоит. — Она присела на кровать, а я сел рядом, и мне удалось осторожно отвести ее руку от воспаленного, липкого от слез лица.

И тут она спросила, хочется ли мне бежать из дому? И я сказал:

Тогда она сказала, что тоже давно рвется вон отсюда и только ради меня все это выносит. И еще сказала, что ей теперь в самую пору руки на себя наложить, на что я:

— Вот и хорошо, я тебе цветы на похороны принесу, дикие маки. — Тогда она спросила, почему этот дом такой ненавистный, такой чужой и чувствую ли я, что кто-нибудь здесь меня понимает? И я сказал, нет, не чувствую. И тогда я спросил ее, кто их только выдумал, а она спросила, кого. А я: ругбюльского полицейского и его жену. И тогда она сказала, не уехать ли нам вместе, пожалуй, всего лучше в Гамбург, город она знает, да и для меня там что-нибудь подвернется, а я сказал, почему бы и нет. И тогда она сказала, как бы сделать, чтобы никто эту картину не видел, а я сказал, ничего не получится. И тут она спросила, что особенного, если кто-то на тебя посмотрел. А я сказал, что ничего это не значит. И тогда она спросила, что ей теперь делать. А я сказал, понятия не имею. И тогда я спросил, слыхала ли она новость, а она спросила, какую. Я ответил, что Клаасу присуждена премия за фото. А она: нет, не слыхала.

И вдруг Хильке бросилась на кровать, повернулась на бок, подтянула колени, казалось, она затаила дыхание и к чему-то прислушивается. Я развязал ленту, стягивавшую ее волосы. Вдруг она сказала: Адди опять в Гамбурге, а я ответил, знаю. Тут она спросила, согласился ли бы я на ее месте выйти за него замуж, и я ответил: если это нужно. А Хильке сказала, кабы не они, все было б по-другому. Я сказал, выменять их надо, тогда она спросила, кого, а я: ругбюльского полицейского и его жену. И Хильке сказала, не надо так говорить, а я спросил: разве тебе этого не хочется? И она сказала, хочется.

Так у нас и шло — туда-сюда — в ее комнате, и постепенно она успокоилась, расправила затекшее тело, я снял с нее башмаки, вытащил из-под нее одеяло и кое-как ее прикрыл. Но Хильке не захотела лежать, а тем более под одеялом, а захотела хлеба, ломтик хлеба со сливовым повидлом, и поскольку я счел это добрым знаком, то обещал ей сходить в кладовку и сделать ей бутерброд.

Но я так и не дошел до кладовки, потому что в прихожей, засунув руки в карманы и вопросительно и строго уставившись на меня из-под полей широкополой шляпы, стоял Макс Людвиг Нансен, стоял сам не свой от волнения, по всему видно было, как тяжело дался ему этот путь к нам. Ни обычной улыбки, ни подбадривающих тычков, вместо этого — сжатые губы, выпяченный вперед подбородок, напряженная осанка, разговор, очевидно, предстоял не из приятных. Первым делом надо было выдержать его взгляд и требовательную позу, а затем:

— Где картина? Давай ее сюда, я пришел за картиной.

— Картина? — удивился я. — Какая картина?

— Не заговаривай мне зубы, не притворяйся, отдай картину, и дело с концом. Ты знаешь, что я имею в виду: «Танцующую в волнах».

— А разве она пропала?

— То-то что пропала, и я пришел за ней, если тебе требуется объяснение, ну?

— Да не брал я твою картину.

— Я все перерою.

— Ищи сколько хочешь, а только картины здесь нет.

— Послушай, Зигги, если ты не вернешь мне картину, тебе больше не видать

Блеекенварфа. Я знаю, что тебя заставило ее взять, но эту картину ты обязан вернуть. Я пришел за ней.

— Да нет же ее здесь.

— А вот увидим, — сказал художник, схватил меня за руку и потянул по лестнице вверх. — Ведь это твоя комната?

— Моя.

— А тогда открой, да поживей.

Видели бы вы, как он ворвался ко мне в комнату и начал ее обыскивать! Дойдя до середины, он пригнулся и давай обшаривать ее по кругу в поисках тайника.

Я стоял у окна и следил, как он перебрал все на полке, как снял со стола морскую карту, как перерыл кровать, я наблюдал его попытки отыскать в сундуке то, чего там и быть не могло, уже судя по его размерам, под конец эн даже стал на колени и заглянув под лоскутный ковер. И все не успокаивался. Он был так уверен в правильности своей догадки, что, обшарив все сверху донизу, подошел ко мне и принялся меня трясти, приговаривая: — Где-где-где картина? — на что я, так же приговаривая, отвечал ему: — Не знаю-не знаю-не знаю. — У тебя она! — Да нет ее у меня! — Ты видел, что она под угрозой, и захотел ее спасти. — Нет, только не эту картину, не «Танцующую в волнах». — А тогда кто-то другой из вас унес ее, кто-то из вашего семейства. — Он схватил меня за ворот, собрал рубашку в массивный, сильный свой кулак, крутанул, поднял меня на воздух — и так, на вису, глаза в глаза, повторил свое обвинение, но услышал от меня все то же «нет». Мне удалось устоять против его хватки, против его взгляда, я еще умудрился подумать: «Кто это колет там дрова?», потому что в наше объяснение вторглось донесшееся со двора, из сарая, тюканье топора. Ясно, отец! Он поздно прибыл на место аварии, когда пострадавшие успели, как говорится, разойтись по домам, а поскольку поленница уже не первую неделю была у него на совести, то он и собрался с ней разделаться: отходы с глүзерупской лесопилки.

Увидев отца через мою голову, художник отпустил меня и, отстранив рукой, пошел к двери. Он спустился вниз, в прихожей закурил трубку, с чрезмерной, пожалуй, важностью сошел по каменным ступеням и, попыхивая короткими затяжками, повернул к сараю. Отец его покамест не видел или притворялся, что не видит; он сосредоточенно, с каким-то остервенением колот поленья. Аккуратно положив на чурбак коротко отпиленный кругляш, он отступал назад, еще примериваясь, замахивался и, не вкладывая в удар особой силы, а как бы только направляя движение топора, обрушивал его на обрубок таким рассчитанным ударом, что, расколотый пополам, он так и оставался лежать на чурбаке, и отец сбрасывал его тыльной стороной руки. Ну, подними же наконец голову! Он, конечно, давно заметил художника, остановившегося перед кучей наколотых дров; наклоняясь за новым поленом, он не мог не видеть башмаки художника и его плащ, но делал вид, будто он на дворе один. Я еще подумал: «Поглядим, сколько отец заставит художника ждать, поглядим, насколько у художника хватит терпения дожидаться». У нас это умеют — видеть и делать вид, будто не видят, и о том, кто не выдержит, сдастся, уступит, говорят: не сдюжил, кишка тонка. Отец замахивался топором, топор въедался в дерево, старый наш топор с засохшими на лезвии следами голубиной крови. Художник попыхивал трубкой и следил за отцом узкими щелками глаз. Стало быть, ничего не менялось? Не скажите, отец все наращивал темп, наращивал остервенение, он уже не примерялся как следует и этим выдавал себя.

Я мог бы на добрую неделю затянуть это их визави, но по справедливости должен признать, что художник сдался, — подняв отлетевшую половинку, он бросил ее на кучу со словами:

— Не торопись, я могу и подождать.

Отец ничего не сказал в ответ, он только, намуслив большой палец, смущенно провел по острию и продолжал свою работу, да неудачно вогнал лезвие в древесину суковатого обрубка, который не только не раскололся с первого раза, а даже взлетел вместе с топором, да так его и не отпустил; полицейскому потребовалась вся его сила, чтобы расколоть зловредный обрубок. И снова к ногам художника полетела половинка, и снова он подобрал ее

и швырнул на кучу.

— Всею свое место, — сказал он, однако ответа не дождался и продолжал стоять, хоть и упорно, но довольно беспомощно, словно чувствуя себя лишним, чуть ли не помехой. Осознав это и убедившись, что новая попытка начать разговор может исходить только от него, художник, засунув оба больших пальца в карманы плаща, подошел к отцу, просто подошел сбоку и сказал презрительным тоном:

— А все-таки я хотел бы обратиться за справкой — или нельзя?

Полицейский расколол потрескавшийся от сухости кругляш, вогнал топор в чурбак, но затем выдернул его, оперся о топорнице и, отвернувшись, стал ждать вопроса.

Художник без лишних слов потребовал свою картину, на что полицейский сперва недоуменно выпучил глаза, а потом, пренебрежительно пожав плечами, заявил, что не понимает, чего от него хотят, да и вообще, конфискуя картины, он всегда, как известно, выдавал расписку, пусть ему покажут расписку. Теперь он впервые посмотрел на художника, а тот настойчиво твердил свое: у него, мол, из дома исчезла картина под названием «Танцующая в волнах» и он пришел в твердой уверенности найти пропажу здесь, в Ругбюле.

Отец что-то обдумывал, а затем пожелал узнать, ясно ли ему, художнику, какими он швыряется обвинениями, ведь это звучит так, будто бы он, полицейский, украл картину, на что художник предложил отцу припомнить: давно ли ругбюльскому полицейскому приказано было конфисковать все написанное им, художником, вопреки пресловутому запрещению, что тот исправно и делал и, даже когда авторы приказа благополучно попрятались в кусты, продолжал в том же духе — хватать, уничтожать и сжигать, слепо и тупо выполняя давно утративший силу приказ, — пусть потрудится вспомнить! Или он позабыл, как часто по служебной надобности околачивался в Блеекенварфе? Так неужели же он, художник, после всего этого не вправе задавать вопросы? Выслушав его, отец поднял руку с топором и этой недрогнувшей рукой с плотно прижатым к ней топорнице спокойно указал на кирпичную дорожку: не закончил ли художник и не пора ли ему удалиться? Все, о чем следовало переговорить, было с лихвой переговорено за последние годы, а вот и дорога со двора! Он нисколько не удивляется, сказал художник, что у ругбюльского полицейского отшибло память, да он и сам не прочь уйти, но есть вещи, на которые он все же хочет обратить внимание: время запрещения писать картины и впрямь миновало, и то, что он, полицейский, в ту пору вообразил своим долгом, сегодня, пожалуй, следует назвать совсем по-другому.

Вот на что он хотел указать и прежде всего установить со всей ясностью: нынче кое-что изменилось по сравнению с прежними временами, ему уже нет нужды ждать и отмалчиваться, и он больше нет намерен ждать и отмалчиваться.

Отец опустил топор на чурбак и с натужной усмешкой осведомился, не следует ли это понимать как угрозу и не собирается ли художник при случае с ним расправиться, он даже сказал «подстрелить». Нет, зачем же, он просто не намерен больше церемониться, возразил художник, время, когда он церемонился, миновало. Это время и для него миновало, заявил отец, теперь-то и ему становится ясно, что, несмотря на приказ, он излишне церемонился с художником, во всяком случае, настолько, что вот они нынче, как ничуть не бывало, стоят рядом и разговаривают. Если бы он буква в букву и без оглядки выполнял свой долг, им бы сейчас не стоять здесь рядом, — может, художник не удосужился это заметить?

Он достаточно всего заметил, возразил художник, и по крайней мере убедился, что за проклятая болезнь пресловутая верность долгу, с этой болезнью он и намерен бороться всеми силами, этого ждут жертвы, жертвы так называемой верности долгу. Все ли он сказал, осведомился отец, его, мол, ждет работа, он сказал это с уничтожающим презрением, которого не мог не заметить художник. Нагнувшись за новым обрезком, отец обстоятельно уложил его на чурбак, замахнулся, но тут же опять опустил топор — нет у него той картины, заявил он, а была бы она у него, он бы трижды подумал, вернуть ли ее владельцу или не вернуть, как-никак он тоже имеет к ней отношение; после чего, взяв топор в обе руки, так хватил по кругляшу, что расколота деревяшка отлетела в сторону, а топор врезался в чурбак. Уж, кажется, художник узнал все, что хотел узнать, однако он все не уходил, он желал

лишний раз удостовериться: значит, между ними теперь полная ясность? Ругбюльский полицейский отдает себе отчет, что ему предстоит, если... И надо ли снова повторять, что отныне...

Хотел он того или не хотел, но каждое слово звучало угрозой, я больше не в силах был слушать, как он поносит все с тем же остервенением работающего отца, и, пятясь назад, двинулся к дому и видел, что отец снова взмахнул топором, указывая на кирпичную дорожку; все так же пятясь, я поднялся по лестнице, меня бросало в жар и холод, в висках ломило, стучало, теснило, и у себя в комнате я стал кулаком месить под ложечкой. Неужели они все еще стоят у сарая? Да, они все еще стояли внизу, художник — вполоборота, видимо собираясь уйти, но, поскольку он уже начал этот разговор, ему, должно быть, хотелось скачать с души все — досаду, накопившееся бешенство — и наперед предостеречь. Отец то отвечал, то задавал встречный вопрос, то просто смотрел на своего противника с медлительным, как мне казалось, удивлением, хладнокровно и как бы даже свысока. Если вы спросите о превосходстве, я затруднился бы сказать, кому из них принадлежало превосходство в этом столкновении у сарая.

Наконец Макс Людвиг Нансен ушел, мне было так невыносимо тяжело, что я мысленно подгонял его, а когда он в нерешимости остановился на кирпичной дорожке, подумал: «Да уходи же, уходи!» В прихожей царил тишина. Хильке больше не давала о себе знать, должно быть, сама раздобыла себе бутерброд с повидлом; из-за двери в спальню доносилось однообразное завывание, не только издавна знакомые, но даже успокоительные звуки — мать могла часами поддерживать эту музыку. Я отвязал веревку от дверцы чердачного люка: дернешь — и люк откроется, еще раз дернешь — и «патентованная» лестница, которую достал нам Хиннерк Тимсен, соскользнет вниз. Взобравшись на чердак, я, как в свое время на мельнице, втянул лестницу наверх и закрыл люк. Спокойно, сказал я себе, не волноваться! Тут где угодно можно спрятаться и что угодно спрятать! Здесь меня никто не найдет!

Сюда приходили, может быть, раз в год, чтобы сложить ненужный хлам, с которым жалко было расстаться, а Йепсены не в силах были расстаться даже с самым негодным хламом. Старые матрасы, просиженные диваны, бельевые корзины, кухонные столы, рассыпающиеся стулья, горы устаревших выкроек и книг, сундучки с испорченными замками — все это сносились сюда и обрекалось вечным сумеркам и безмолвному распаду. Все было брошено как попало, в полном беспорядке, убрали — и с глаз долой. Тут камин, вымазанный какой-то коричневой дрянью, там шкаф с полуоткрытой дверцей, рядом маленькое косое оконце, которое никогда не открывалось.

Я снял башмаки и прокрался к окну, словно опытный гимнаст, преодолевая встречные препятствия. Со двора доносились тюканье топора и треск раскалываемого дерева. Вот он, мой ящик, прикрытый бумагой и старыми мешками, заставленный ломаными стульями. Я убрал маскировку, снял несколько листов промасленной бумаги, поднял крышку и присел. Стоило мне увидеть мою новую коллекцию в целостности и сохранности, и недомогание мое как рукой сняло, в висках больше не стучало и не ломило.

Я извлек «Танцующую в волнах» и поставил ее на край ящика. Сверху в косое оконце скупно сочился свет, и Хильке танцевала передо мной среди маленьких играющих волн. Мне вдруг показалось страшно важным видеть перед собой Хильке в ее короткой полосатой юбчонке, с упругими грудями, эту Хильке, которая, изнемогая от усталости, не переставала танцевать перед сверкающим побережьем. Никто, никто, кроме меня, не увидит эту картину, решил я, да и остальные картины будут существовать только для меня, чему-то они меня учили, чему-то очень для меня важному. Стучали.

Услышав стук, я подумал, что это ругбюльский полицейский бьет топорищем по чурбаку, чтобы крепче насадить топор, но нет, стучали в дверь камеры — и не робко, как стучал Йозвиг, а резко, отчаянно, стук не только возвещал о приходе Вольфганга Макенрота, но также говорил о его изменившихся к худшему обстоятельствах. Так стучат, сказал бы я, когда считают себя вправе прийти к другу и поделиться своим горем.

Я еще не успел повернуться к двери, как он уже ворвался в распахнутом макинтоше и,

даже не подождав, пока за ним запрут дверь, бросился ко мне, вовсе не думая о том, как бы лучше повести себя с трудновоспитуемым молодым человеком, который к тому же исследуемый в твоей дипломной.

— Дерьмо! — сказал он. — Я с головой увяз в дерьме, Зигги, этого не описать словами, можно сесть? — Рассеянно похлопав меня по плечу, юный психолог плюхнулся на койку с видом, мало сказать, несчастным — с видом утопающего! Опять что-то случилось? Но первым делом сигареты, сегодня пять пачек, две из них от Хильке. Он бросил мне одну пачку, остальные сунул под одеяло и обреченно покивал в пространство, это могло значить либо: «Все, крышка!», либо: «Мир отнюдь не таков, каким мы желали б его видеть». Ловко вытряхнув из жестяной коробочки две желтые таблетки, он слизнул их с ладони и без всякого усилия проглотил.

— Работа? — спросил я.

— Нет, хозяйка! — Он вскочил и стал быстрыми шагами мерить камеру от окна к двери, потом всплеснул руками над головой, сделал несколько преувеличенно широких, очевидно помогающих расслабиться движений, будто плыл кролем, с глубоким вздохом стукнулся спиной в дверь — я уже ожидал увидеть прильнувший к глазку зрачок Йозвига — и наконец остановился у стола. Итак, речь шла о его хозяйке, северогерманской рекордсменке по упражнениям на бревне. Вольфганг Макенрот горько усмехнулся. Его хозяйка ждет ребенка — не то от него, не то от мужа-крановщика, — двусмысленная ситуация, огорчающая не столько ее, сколько его, Макепрота, — ей-то все равно, лишь бы ребенок, — тогда как он настаивает, чтобы ребенок был его. Вот тут и разберись попробуй! Он просил, чтоб она вспомнила. Она пыталась вспомнить, но затем только головой покачала. Он потребовал, чтобы она подсчитала, она подсчитала, но затем повела в нерешительности плечами.

— Представь, Зигги, быть отцом в какой-то доле, в лучшем случае наполовину! — Я посочувствовал ему и предложил жить с этой семьей, покуда ребенок не вырастет настолько, чтобы самому выбрать себе отца из числа имеющихся кандидатов. — Ты и сам не веришь тому, что говоришь. — Он повертел головой, высвобождая шею из воротничка, и подул на левое запястье, словно желая его остудить. — И в таком идиотском положении приходится писать дипломную. Вот!

И Вольфганг Макенрот выложил передо мной на стол пачку исписанных листков — новую главу своей дипломной, исчерканную вдоль и поперек, о чем свидетельствовали уже первые страницы.

— Понятно, это всего лишь набросок, но мне хотелось бы, чтобы ты посмотрел... — Он разгладил скомканные, испятнанные, надорванные здесь и там страницы. — Нет, я считаю, что написать что-то путное можно, только когда свободен и нет никаких забот, а ты как?

— У меня по-другому, — отвечал я, — чем больше забот, тем лучше; не желай себе здоровья, свободы и легкой жизни — это приносит одни разочарования.

Он взял со стола рукопись. Ему хотелось бы мне кое-что прочитать. Нет. Всего лишь несколько страничек? Нет. Тогда он попросит меня, когда я примусь за рукопись, помнить, в каком он сейчас состоянии. Нет. Но почему? Ни о каком снисхождении и речи быть не может, сказал я, втайне надеясь, что он возьмет свою сырую рукопись обратно, но с присущей ему временами бестолковостью юный психолог снова сунул мне рукопись и процитировал какой-то дурацкий трюизм насчет того, что-де на ошибках учатся или нечто в этом роде. Вероятно, он ждал от меня большего, ждал участия, утешения, подбадривания, но я ничего не мог из себя выжать, да и никогда не смогу, если он будет носить эту тоненькую золотую цепочку на шее; возможно, на цепочке медальон и, возможно, в медальоне фотокарточка хозяйки, улыбающейся с бревна. Не выношу, когда мужчины носят золотые цепочки.

Единственное, что я мог придумать, — я сказал ему, что готов прочесть рукопись, и при этом потянулся к перу, после чего единственное, что ему оставалось, это ретироваться; он был совершенно подавлен.

Я не собирался браться за чтение, по крайней мере до ужина. Меня влекло назад, в Ругбюль, на чердак, к моему ящику, к новой моей коллекции, которую я надеялся собрать при более благоприятных знаменьях, но чем дальше я отодвигал исписанные страницы, тем больше они лезли в глаза, они попросту заступили мне обратную дорогу, затемнили мне память, и я нехотя положил их перед собой, зажег сигарету и принялся за чтение.

Ну что ж, поглядим, какое он из меня состряпал блюдо: то ли изрубил в котлету, то ли сварил в бульоне? Куда приколол меня своими булавками? И что я собой представляю, так сказать, в виде набитого по всем правилам чучела, либо в высушенном, или на иной ученый лад препарированном состоянии?

Итак, «Искусство и преступление», это нам уже известно. Какая же глава? Глава четвертая, а заглавие? «Навязчивые состояния, их классификация», внизу карандашом: «Условное название». Дальше Макенрот писал:

«Раннее заболевание Зигги Й. и его нарушенные взаимоотношения с внешним миром должны рассматриваться в тесной связи с отношениями, которые складывались между художником Максом Людвигом Нансеном и отцом испытуемого, сельским полицейским Йенсом Оле Йепсенем. То, что поначалу представляло для полицейского лишь очередное служебное поручение, пусть и необычного свойства, а именно надзор за соблюдением приказа о запрещении писать картины, в силу особых обстоятельств и во взаимодействии с некоторыми чертами его характера превратилось у него в навязчивую идею: надзор за соблюдением приказа стал для него личным делом, и он продолжал считать его своей прямой обязанностью даже в то время, когда запрет утратил силу.

*Сказано более чем безобидно .*

Навязчивой идее отца, обладавшего «ясновидением» — здесь это называют «зырнуть будущее», — соответствовало появление у мальчика навязчивого страха, возникновение у него этого чувства определяется точной датой. О необычной страсти к коллекционерству, для которой не существует моральных табу и к которой мы еще вернемся, уже говорилось обстоятельно на предыдущих страницах; сюда прибавились еще и навязчивые представления особого рода. Впервые они дали себя знать, когда старая мельница, где хранилась коллекция Зигги Й., сгорела дотла. Горе, вызванное этой потерей, и в особенности подозрение, что мельницу поджег отец и что, выполняя свое поручение, он не остановится и перед другими поджогами, породило у мальчика при взгляде на некоторые картины в мастерской художника чисто галлюцинаторные видения. Ему представлялось, будто на заднем плане картины возникает огонь и будто он все приближается. Картина в его воображении угрожала опасностью, и, чтобы ее спасти, он следовал побуждению отнести ее в сохранное место, причем с этим еще не сопрягалось желание ее присвоить. Здесь речь идет об особом рода страхе, встречающемся крайне редко и настолько связанном с данным лицом, что я собираюсь при случае поговорить о нем специально как о «фобии Йепсена». Не мешает напомнить, что отец исследуемого одно время пытался использовать сына для наблюдения за Нансеном, тогда как художник, со своей стороны, неоднократно обращался к помощи мальчика для спасения своих картин: противоборствующие чувства, порожденные в Зигги Й. этой дилеммой, так и не были преодолены.

Возникая вначале от случая к случаю и вне всякой, казалось бы, связи, эти навязчивые представления стали позднее повторяться все чаще и с явной закономерностью, их можно было заранее предсказать: они произвольно появлялись всякий раз, как Зигги Й. какая-либо картина особенно трогала. Мучительные чувства, сопровождающие эти состояния, позволяют говорить о галлюцинациях.

Навязчивые представления о том, что картины необходимо отнести в сохранное место, появлялись, однако, у мальчика не обязательно в доме художника, они могли возникать где угодно: в гимназии, в сберегательной кассе, в музее. И в самом деле, испытуемый Зигги Й. впоследствии следовал своей идее в самых различных местах, сначала в Глюзерупе, а потом в Хузуме, Шлезвиге и Киле и, наконец, в Гамбурге. Что он действительно считал, будто спасает картины от опасности, подтверждается тем, что они никогда и нигде не поступали в

продажу. Заботливо упакованные, они хранились в специально изыскиваемых тайниках, куда не минует опасность.

Хорошим материалом для оценки этих продиктованных навязчивой идеей поступков Зигги могут служить протоколы уголовной полиции в Шлезвиге и Гамбурге. Схваченный на месте преступления, Зигги Йепсен в свое оправдание ссылаясь на необходимость спасти картины, которым угрожает опасность, причем, как сказано в протоколах, говорил он об этом так, что это заставляло предположить психическую ненормальность.

*Так вот куда Макенрот гнет!*

В обоих протоколах упоминаются слова «дилетантство» и «фанатизм», к тому же подчеркивается, что речь идет не о краже в обычном смысле слова и что допрашиваемый производит впечатление честного интеллигентного человека; вероятно, отчасти по этой причине против него тогда не возбудили дело.

Следует, однако, признать, что опасение за картины было не единственным мотивом навязчивых поступков Зигги Й.; не меньшую роль сыграла рано пробудившаяся в нем и с годами все возрастающая и крепнущая страсть к коллекционерству. Согласно исследованиям Бенгш-Гизе («Кулуары преступления», Дармштадт, 1924), коллекционерство относится к занятиям, которые по их побудительной силе можно приравнять к инстинкту, причем фактор удовольствия может достигнуть такой степени остроты, что это приводит к нарушению норм законности. Выше мы уже говорили, что Зигги Й. не останавливался и перед кражей для пополнения своей коллекции ключей и замков; на вопрос, допустимы ли такие поступки с точки зрения закона, он признал, что это непростительное преступление против собственности.

Напротив, в отношении похищенных картин у исследуемого отсутствует ясное сознание вины. Зигги Йепсен даже притязает на своего рода предназначение, ему якобы определено «собирать подверженное угрозе». Этим же объясняет он и страсть к коллекционерству. Мнения, будто коллекционерство представляет собой особый, пусть искусственный, порядок, противопоставляемый хаотичности мира, Зигги не разделяет. При рассмотрении этого случая решающую роль должно играть понятие предназначения: одиночке принадлежит право на исключительность. Примечательно, что навязчивые идеи и действия у мальчика были слишком поздно распознаны как болезнь.

Когда родителям стало известно, в каких проступках повинен Зигги Й., они сочли лучшим средством для его исправления телесные наказания. Больного на целые дни запирали в его комнате, в доме не разговаривали в его присутствии, мальчика морили голодом. Ему запрещено было ездить в соседние города. Успеваемость его в гимназии за это время резко упала, однако снова повысилась, как только эти меры были смягчены и Зигги Й. снова обрел возможность «собирать подверженное угрозе». То, что среди похищенных картин оказались и ценные экземпляры, следует рассматривать как чистую случайность.

Решительные изменения во взаимоотношениях отца и сына наступили, когда ругбюльскому полицейскому было поручено разыскать акварель М. Л. Нансена, исчезнувшую из глюзерупской сберегательной кассы. Поскольку все улики говорили против Зигги Й., сельский полицейский Йепсен стал выслеживать сына, однако безуспешно, и дело у них дошло до бурной ночной сцены, в результате которой исследуемый был навсегда изгнан из дому.

*Ладно бы изгнан! Он хотел меня в тюрьму засадить, говорил: «Я не успокоюсь, пока не засажу тебя в тюрьму».*

Так случилось, что все полицейские меры и усилия ругбюльского постового с какого-то времени сосредоточились на одном Зигги Й. Единственный, кто понимал состояние мальчика как болезнь, был художник М. Л. Нансен; хоть он и вынужден был запретить Зигги Й. доступ в мастерскую, это не мешало ему любить и жалеть мальчика, что еще больше распяляло полицейского, побуждая его беспощадно преследовать сына».

Нет, Вольфганг Макенрот, все это и так и не так. Я вынужден был прекратить чтение. Здесь слишком о многом умалчивалось, слишком многое истолковывалось в свете

подкупающей противоречивости; обвиняя меня, он тут же искал смягчающие обстоятельства, тогда как я согласен на что угодно, но только не на смягчающие обстоятельства. Я решил вернуть Макенроту его главу с советом написать ее заново, в духе, соответствующем моим представлениям. Я ждал от него описания болезни, а не кропотливых оправданий. Мы немало толковали с ним об этом. Я обещал ему помочь и помогу.

## Глава XVIII Посещения

Опять меня принесло слишком рано. Сколько я себя ни помню, мне еще ни разу не удалось явиться к условленному или назначенному часу. Что в школу, что домой к обеду, что в Блеекенварф или на любой вокзал, я всегда прихожу слишком рано. Поэтому я ничуть не удивился, найдя двери Шондорфской галереи в Гамбурге закрытыми и встретив полное равнодушие со стороны служителей, этих обряженных в серую форму и напяливших перчатки шимпанзе, призванных блюсти порядок и руководить потоком посетителей; они даже не взглянули в мою сторону и, стоя далеко поврозь в зеркальном холле, как ни в чем не бывало продолжали свой односложный разговор, и даже, когда я вполне учтиво на пробу подергал ручку стеклянной двери у центрального входа, ни один не удостоил меня внимания. Всегда и везде раньше времени: Вольфгангу Макенроту следовало бы сделать отсюда свои выводы.

Я заглядывал в стеклянную дверь. Расхаживая взад и вперед на виду, под морозящим дождем, я то и дело дергал дверную ручку. Я снова и снова перечитывал афишу, извещающую об открытии большой выставки Нансена. Служители не видели или не желали меня видеть. Когда участники Альстерской эстафеты, вымокшие до нитки, в забрызганных грязью трусах и майках прорысили внизу по трамвайной линии, служители подошли к стеклянным дверям и не без сочувствия устались на бегунов, которые, хватая воздух ртом и выгребая руками, звучно шлепали по асфальту, направляясь к Гусиному рынку. Я сделал служителям знак, но они не удосужились его заметить; скрестив руки за спиной, они черепашьям шагом повернули к середине холла и стали под большим канделябром, словно для взаимного освидетельствования. То, о чем они говорили, касалось только их. Возможно, они оценивали друг друга, прикидывая, словно на весах, степень суровости, бдительности и авторитетности, которая исходила от каждого или по возможности должна была исходить. Какое же стечение публики могло бы их побудить открыть раньше времени?

Вторым явился понуро шагавший старик; пересчитав тростью потемневшие от дождя мраморные ступени, он попытался плечом открыть стеклянную дверь и, потерпев неудачу, усталился на служителей из-под косматых бровей и забарабанил в дверной косяк набалдашником. Никакого впечатления. Тогда он подошел к афише, рывками задрал голову и укоризненно усталился на автопортрет Макса Людвига Нансена с различными половинами лица, точно принося ему свою жалобу. Уткнув металлический наконечник трости в синюю переносицу портрета, он прочитал самому себе вслух сообщение о времени открытия и продолжительности работы выставки, посмотрел на электрочасы у трамвайной остановки — было все еще без четверти одиннадцать, — кинул взгляд на меня и, втянув голову в плечи, приготовился ждать: ни дать ни взять большая нахохлившаяся птица, которой время нипочем.

А за ним? За ним вынырнула пара: тучный, заросший щетиной сердитый малый в заплатанных резиновых сапогах, с непокрытой головой и в длинном пуловере из некрашеной овечьей шерсти, с огромным воротником; судя до всему, одеяние это заменяло ему и ночную рубашку. Жидкие белесые волосы ниспадали на лоб, во рту, выдававшим склонность к насмешке, торчала потухшая сигарета. Всем своим видом он показывал, что пришел не своей охотой, а, возможно, сдавшись на уговоры своей спутницы, длинноногой, длинноволосой девушки в черном, поблескивающим лаком дождевике. Одной рукой она



держалась за его бесформенное бедро, другой сжимала самодельную куклу из овечьего подгрудка, походившую на свою хозяйку не только крошечным дождевиком. Девушка была в сандалетах на босу ногу, у нее были очень светлые зареванные глаза и широкое, с правильными чертами лицо; нежность свою она делила поровну между тучным провожатым и куклой. Она посинела от холода.

Оба подрулили к афише и изучали ее дольше, чем обычно изучают афишу; тучный малый, пожав плечами, осведомился у своей подруги, не раскаивается ли она, что так рано его разбудила в это ли в чем не повинное воскресенье, и, так как та не нашлась что ответить и только крепче вцепилась ему в бесформенный бок, он, кивнув на автопортрет, проворчал что-то насчет мазила... Этот мазила, взявший патент на облака и на ветер, этот космический рисовальщик декораций... Но уж так и быть... Раз уж мы поднялись ни свет ни заря... Погляди на автопортрет, тут он перед тобой как на ладони, этот великий штукатур. Он все ворчал, тогда как девушка, напевая «Колыбельную», баюкала свою куклу.

Но тут главная дверь отворилась и мы ринулись к входу, где двое прилизанных — волосок к волоску — служителей задержали нас и пропустили только работников телевидения и радио, которые, очевидно, ждать не привыкли и сразу же ввалились в холл со своими металлическими ящиками, камерами и съемочной аппаратурой, но этим не ограничились: едва войдя, они взяли в оборот с десяток или с дюжину служителей и заставили их тащить кабель, искать контакты, ставить прожекторы и все такое прочее. Прильнув к стеклянным дверям, мы наблюдали эти приготовления в холле; время от времени отступая назад, я видел в стекле плоские отражения все новых посетителей, один за другим, каждый по-своему всходивших по мраморным ступеням; те, кто не припадал лицом к стеклу, переговаривались, испытующе глядели на электрочасы или, смирившись, просто ждали.

Чем ближе к одиннадцати, тем больше стекалось народу: кто прибыл в такси, кто на трамвае, кто в собственной машине, а кто и пешком. Они поднимались по мраморной лестнице и приветствовали друг друга на всякий манер — от еле заметного кивка до изнурительных поцелуев и обстоятельных объятий — сплошной перевод времени; глядя на них, можно было подумать, что если это не члены одной семьи, то наверняка старые друзья-приятели. Множество рукопожатий. Мужчины хлопали друг друга по плечу, дамам целовали ручку. Кругом шныряли внимательные взгляды тех, кому еще не приелась эта приветственная процедура. Порхающие на губах улыбки — от кисло-сладких до благодушных. Кивки без конца и края и нескончаемые сигналы на расстоянии: потом, мол, потом увидимся, надо непременно потом повидаться. В воздухе носился дым от сигар и трубок. В ушах звенели возгласы, обращенные вверх и вниз. В то время как языки безостановочно работали, глаза высматривали: кто пришел, кто только появился, а кто еще заставляет себя ждать.

Встретились и мне знакомые лица: Бернд Мальтцан в макинтоше и гамбургский художественный критик Ганс-Дитер Хюбшер, дважды приезжавший в Блеекенварф: шелковистая кудрявая шевелюра, роговые очки, восковая с желтизной кожа — ну точно личинка майского жука с колючим взглядом.

Среди посетителей, столпившихся на ступенях Шондорфской галереи, каждый по-своему заслуживал внимания: дама в черном и в черной широкополой шляпе, с лошадиными зубами и серьгами, на которых могли бы покачаться по три обезьянки-игрунка; или, скажем, человек с распоротой штаниной и младенчески удивленным лицом; или другой, с пылающими щеками, попыхивающий неуклюжей трубкой, неотрывно следя за видениями, возникающими в облаках дыма, он, казалось, мог колечками дыма написать портрет своего визави; пожилая пара — оба в верблюжьих пальто, с одинаковым лиловым отливом в седине; человек с пораженной сикозом бородой и с палочкой из слоновой кости; девушка в кожаной юбке и пуловере цвета морской зелени, терпеливо растиравшая спину своему коренастому, короткономому спутнику; плоскогрудая рыжеволосая дева с прыщавыми ногами — каждый заслуживал внимания, а вместе они, если хотите, давали представление о многообразии рода человеческого.

Но не думайте, что служители это восчувствовали и умиленно капитулировали,

преждевременно открыв доступ в зал: они минута в минуту дождались срока и, только когда электрочасы показали одиннадцать, распахнули двери, да так и продолжали стоять, ухмыляясь во всю пасть и преграждая путь к вешалкам, словно в ожидании благодарности за то, что они как-никак вход открыли, впрочем, нет, скорее они ухмылялись оттого, что телевизионная бригада приступила к съемкам вернисажа и служители увидели, что обе камеры в первую очередь панорамируют в их сторону. Во всяком случае, нам пришлось, теснясь и толкаясь — мне так и не удалось проскочить первым, — пробираться мимо них в глубину Шондорфской галереи, в светлый зал, который благодаря легким картонным перегородкам, открывавшим и закрывавшим улочки и переулки, должен был при взгляде сверху производить впечатление игрушечного лабиринта. В эти-то улочки и переулки излился поток, но не потерялся в нем: заранее рассчитанными переходами посетители, словно по собственному желанию, вновь возвращались в большой холл и становились с краю, спиной к высоким окнам и лицом к выходу. Как естественно было здесь остановиться и, перешептываясь, оглядывать друг друга! Как легко было отказаться от намерения еще до вступительного слова посмотреть картины, развешанные в хронологической последовательности! А что кто-то должен произнести вступительное слово, говорил уже порядок, в каком становились зрители.

Разговоры и тихий смех возобновились, и снова наперебой зазвучали приветствия. Так вот где привелось, давайте уж не откладывать, как насчет той недели, впрочем, сговоримся по телефону... Старик обещал прийти, по крайней мере так писали газеты... В Талия-театре не скажу, зато наверняка в Камерном... радуйтесь, что не попали на премьеру... Порой он представляется мне собственным надгробием... И как он ограничивает насыщенность краски... Пафос, не правда ли, чрезмерный пафос зримого... Удивительно, как это Шондорфу удалось заманить старика в город... В тождестве краски, моя дорогая, у него заключен аллегорический смысл... Для меня он все же декоратор... Балдуин полностью переключился на телевидение, нынче в театре недалеко уйдешь с критикой современности... Да и вообще мы живем в век зрительных восприятий, другие чувства уже не котируются... Краска несет у него не только поэтическую, но и метафорическую функцию... Он в большей мере немец, нежели семеро померанских гренадеров, вместе взятых... После этого зоопарка недурственно бы зайти куда-нибудь подкрепиться... По силе внушения краской ему нет равного.

Скажите, это не Томас Штакельберг? Ведь это Штакельберг, верно?.. Долгогривый, с застывшей беспомощной, рассчитанной на экран ухмылкой, в костюме короля Эдварда в публике и правда появился певец и актер Томас Штакельберг; изобразив полунамеком нечто вроде приветствия всем и каждому, словно бы в ответ на приветствия всех и каждого, привычный к вниманию и вопросительным взглядам, он с заученной непринужденностью прошел через открытый круг и вместе со своей изящной большеротой спутницей ввинтился в какую-то группу. Вылитый отец... До чего похож... А в чем они еще теперь вместе выступают?.. Вот уж не ожидал вас встретить на выставке Нансена...

— Как же, — возразил Штакельберг, — всякий раз, как моя Габриель дарит мне наследника, она требует акварель Нансена и, разумеется, ее получает. Не правда ли?

Два субъекта в распахнутых пыльниках уставились на меня, словно ко мне присматриваясь, — один молодой, другой постарше. Никто их не приветствовал, да и сами они ни с кем не здоровались и не общались друг с другом. Оба были явно не этого круга. Когда телекамера перенеслась на их сторону, они, точно по молчаливому уговору, отвернулись и отступили назад. Но не ушли, а продолжали меня разглядывать; мне даже показалось, что я интересую их куда больше, чем Рудольф Шондорф, который между тем, пронеся через круг свою гладкую, самоуверенную физиономию, поднялся на возвышение и не просто стал, а утвердился на нем во властной, исполненной собственного достоинства позе.

Все взгляды обратились на Рудольфа Шойдорфа. Он, видимо, чувствовал это общее внимание: держа руки перед грудью, он массировал пальцы, словно желая придать им

больше гибкости для предстоящего рукопожатия. Обернувшись назад, он сделал знак служителю. Разговоры почти умолкли, смех звучал приглушенно, все застыли на месте. Напружив грудь, директор галереи выставил вперед одну ногу и свободно уронил руки вдоль тела. В зал вступил Макс Людвиг Нансен.

Он пришел в сопровождении Тео Бусбека. Костюм, в котором художник явился на свою большую гамбургскую выставку, крайне меня удивил, таким я его еще не видел: штiblеты с гетрами, узкие брюки в полоску, залоснившийся от времени сюртук, черный шелковый галстук с булавкой, стоячий крахмальный воротничок, старомодный котелок на тяжелой, мощной голове — в таком виде он мог бы предложить свои услуги Альтонскому краеведческому музею и поселиться в восстановленной там фризской хижине тысяча восемьсот десятого года. Лицо его было замкнуто и высокомерно, на губах витала неопределенная пренебрежительная гримаса. Что до походки, то он выбрал ее под стать костюму: торжественным, властным шагом, словно вступая в свои владения и требуя, чтобы перед ним расступились, поднялся он по ступеням рука об руку с Тео Бусбеком, своим другом. Ни тени улыбки или дружеского расположения в ответ на приветствие Шондорфа. С явным неудовольствием принял он к сведению приветственные слова и ограничился еле заметным кивком; когда в зале послышались аплодисменты, он тоже всего лишь кивнул. Под эти жидкие хлопки вступил он в круг и удержал доктора Бусбека, который явно не прочь был смыться. После чего поднял голову и неприязненно уставился на прожекторы и на жужжащую камеру, всем своим видом выражая надменность и непримиримость. Шондорф вторично протянул ему руку, но художник оставил ее без внимания; когда же телережиссер, подойдя, попросил его еще раз, не торопясь, специально для телезрителей поблагодарить директора галереи, Нансен сделал ему знак убраться подальше. Потупив голову, он дал понять, что готов выслушать вступительную речь: валяйте, мол!

Итак, Шондорф на правах хозяина взял слово. Он говорил тепло, заглядывая в шпаргалку и вертя ее в руках, точно свиток, между тем как художник слушал сосредоточенно и в то же время критически настороженно, словно только и ждал повода возразить или по меньшей мере поправить оратора. Второе почтительное приветствие. Затем, естественно, об оказанной чести. Упоминание о трудностях и препятствиях. Реверанс: «В лице Макса Людвиг Нансена мы чтим величайшего живущего представителя...» Цитируется вошедшая в историю искусств телеграмма в Имперскую палату изобразительных искусств в Берлине. Сожаление о бесценных, безвозвратно утерянных шедеврах. Прямое обращение к художнику: «То, что вы, невзирая на все это, откликнулись на наше приглашение...» Уверения во всеобщей благодарности. Рукопожатие. Аплодисменты.

Следующим выступил Ганс-Дитер Хюбшер. Гамбургский критик обошелся без шпаргалки, речь его лилась свободно, он говорил короткими, энергичными фразами. Закрыв глаза и то и дело облизывая губы, со слабой горестной улыбкой, словно сожалая, что слова бессильны выразить всю меру его восхищения и являются лишь слабым паллиативом, он вдавался в рассуждения решительно обо всем, начиная с «восприятия первоначальных сил природы» и кончая «мощным пафосом живописной выразительности» у художника Нансена.

Тот в свою очередь удивленно, но впрочем, одобрительно смотрел на критика, закивал, когда речь зашла о новом понимании поверхности и иероглифах выразительности, и не стал возражать, когда оратор коснулся «поисков первоначального в человеке».

Художник о чем-то пошептался с Тео Бусбеком, но сразу же повернулся к оратору, когда тот перешел к неизменным категориям живописи, таким, как поверхность, краска, свет и орнаментальное оформление. Тут Макс Людвиг Нансен снова кивнул, и я понял, что больше всего удивляет его собственное согласие с высказываниями критика. Он невольно шагнул ближе к оратору, заговорившему о группе красок, которые Нансен всегда и везде пытается соединить в некий «генеральный аккорд», во всеохватывающую тональную совокупность и так далее и тому подобное; художник и против этого не нашел что возразить, а также не стал протестовать, когда стремление достигнуть тональной созвучности было названо величайшей проблемой как его, так и Рембрандта. У Нансена при этом, на мой взгляд, был крайне

озадаченный вид. В заключение Хюбшер сказал:

— Этот труд целой жизни свидетельствует о том, как через созвучность тонов некое предвосхищаемое содержание претворяется в живопись.

Тут он открыл глаза, коротко поклонился художнику и собравшимся и хотел уже удалиться, как Макс Людвиг Нансен удержал его за рукав и под нарастающий гул аплодисментов схватил за руку, потянул к себе и вперил долгий взгляд в человека, чьи слова так пришлись ему по сердцу. Он даже что-то произнес, чего я не расслышал. Во всяком случае, выставку можно было считать открытой, посетители разошлись — кто налево, кто направо, кто назад, в глубину зала, круг распался, разговоры ожили, и снова зазвучал смех, особенно в той компании, которая заклинила Томаса Штакельберга. Публика опять разбрелась по улочкам и переулкам, но не рассеялась, а группами пошла бродить вдоль стенок мимо картин, норовя захватить мягкие скамьи, призывающие к вдумчивой созерцательности.

В головной группе, так как имелась и таковая, шагали Шондорф, художник, доктор Бусбек и Ганс-Дитер Хюбшер, они торопились, Шондорф что-то объяснял им на ходу и нет-нет останавливался для какого-нибудь замечания, но никто не был склонен его слушать, а меньше всего художник — это он задавал темп и тянул за собой всю компанию. Время от времени он делал критику знак не отставать, словно имел на него виды, — уж не хотелось ли ему побольше услышать о себе? Сказать наверно не берусь, одно только не подлежит сомнению: художник никак не ожидал, что кто-то станет говорить о нем, а он, ошеломленный, сбитый с толку, пожалуй даже испуганный, будет на каждое слово твердить: да-да!

Кто знает, как бы он отнесся ко мне, случись ему меня увидеть, но я был начеку и держался в стороне, укрываясь за посетителями; в последний мой приход он изгнал меня из Блеекенварфа и запретил показываться ему на глаза, заявив, что больше мне не верит: «Я на тебя больше не могу полагаться, Вит-Вит, — сказал он. — Ты окончательно утратил мое доверие», — и повелительным взглядом указал на Ругбюль. Мне было довольно уже того, что я шел по его следам и урывками видел его из-за чьих-то спин. Доктор Бусбек, тот как будто меня углядел в толпе и, кажется, даже узнал на мгновение, но так как я не ответил на его взгляд, видимо, счел, что ошибся, и не удивительно, ведь прошло столько лет.

Тот же Тео Бусбек, единственный из них, подметил насмешку, провожавшую торжественный кортеж: кто качал головой, кто посмеивался, кто открыто скалил зубы; он словно принимал это к сведению, но тут же отворачивался. Я слышал реплику: «Все это пустопорожняя галиматья, плод его собственного воображения».

Но я не стану повторять услышанное прежде всего потому, что пора уже обратиться к большой картине, впервые здесь мною увиденной; она висела в особицу и занимала целую стену.

Предо мной внезапно открылся холст «Сад с масками», и я остановился как вкопанный. Сад сверкал, подобно краскотерочной мастерской, это было какое-то безудержное цветение, здесь все словно старалось превзойти друг друга прелестью очертаний и форм, но каждая малость существовала и сама по себе. А с одного из деревьев, с длиннейшего сука, какой только можно вообразить, свисало на шнурах три маски — две мужские и одна женская. Солнце освещало их сбоку, частично зажигая в них свет. От масок исходила какая-то жуткая уверенность, какая-то загадочная самонадеянность. Их глазные прорезы были землисто-бурого цвета — и это на фоне ясного, безоблачного неба. Может, маски угрожают цветущему саду?

И я представил себе, как веет легкий ветер, чуть колышет маски, по он нарастает, становится яростным, швыряет их друг о друга и кружит с сумасшедшей быстротой... Кого напоминали эти маски? Казалось, они сняты с знакомых лиц, где-то, когда-то я их видел, но ни одно имя не приходило мне в голову. И я представил себе, что за ночь маски размножились, вот они уже свисают со всех сучьев, с каждого куста, поднимаются на сухих стеблях с каждой грядки; я подошел к кишевшему масками саду, и, как сейчас помню, мне

захотелось взять в руки тонкую крепкую трость и сшибать их со стеблей, кустов и сучьев, захотелось сечь головы, как отсекают венчики цветов, а потом, пожалуй, собрать этот мусор в тачку и свалить его на кучу перегноя.

Тут они подошли ко мне с двух сторон. И, подхватив под мышки, приподняли. Я, все еще не отрывая глаз от масок, узнал светлую прорезиненную ткань их пыльников. Сад между тем закамуфлировался; только сейчас я обнаружил, как все там старалось укрыться от грозного взгляда парящих масок. Не силком, не рывками, а исподволь, равномерным нажимом отгеснили они меня от картины. Присутствие масок в саду привело к тому, что все со страху надело личины: цветение остановилось или совершалось под спудом, жар красок где усилился, а где померк. Справа и слева я мельком увидел знакомые лица и даже в этот краткий миг узнал присущее им выражение крайнего усердия и профессиональной подозрительности.

Чей-то локоть и слабо стиснутый кулак уперлись мне в ребра, пока еще не причиняя боли. Обернувшись, я увидел скрытую среди цветов пару глаз, устремленную на качающиеся маски. Повернуться, закричать, протестовать было ни к чему, ведь я догадывался, кто взял меня в клещи и по чьему наущению. Они отпустили меня, но шуршание пыльников не утихало, провожая каждый мой шаг. Нам незачем было сговариваться, что все должно обойтись втихую, незаметно, только бы без шума и пререканий. Я держал себя так, как держались на экране знакомые мне герои, попавшие в подобное положение, — покладисто, тихо, смиренно, и это их устраивало.

Медленно, слоняющимся шагом направился я к выходу, поглядывая тут и там на картины и свесив руки. И только на подходе к лестнице остановился, дал пыльникам приблизиться и спросил, обращаясь к обоим: — Настучали из Ругбюля? — на что один уронил: — Молчать! — а другой: — Пошел вперед!

Я и так понял, вовсе незачем было меня еще подталкивать и незачем было с такой силой пихать в спину: спустившись вниз, я остановился только потому, что не знал, в какую дверь они намерены меня вывести.

Как бы то ни было, я выиграл расстояние и, сделав два поспешных шажка, воспользовался этим стартом и вдруг кинулся бежать, в мгновение скатился с наружных ступеней и припустил во всю прыть, все больше входя во вкус, не слушая угроз и криков «Стой!», слыша только собственный топот, стук и гул моих собственных шагов по мостовой, уносивших меня все дальше — к мосту и через улицу, на волосок от надвигающейся стены трамвая, заставившего пыльники остановиться, после чего те опять устремились за мной, теперь они все реже кричали «Стой!» и «Ни с места!», но зато все ретивее и неотступнее поспешали следом через стройплощадку, лавируя среди будок, грузовиков и кранов, а затем гуськом побежали за мной по тому же зыбкому помосту, по которому пронесся я, и дальше по улице до светофора — он еще посветил мне зеленым, — а затем и до затейливых витрин универмага, где они впервые потеряли меня из виду и где, однако, другие свидетели, празднующие воскресные зеваки, стали удивленно и подозрительно оборачиваться и указывать на меня, но я уже проскочил мимо, я бежал стрелой к железнодорожному виадуку и, увидев табличку с надписью «Дым!», с тоской возмечтал о дыме, призывая дым — этакое взметнувшееся ввысь густое спасительное облако, однако заправочная колонка по ту сторону виадука была видна как на ладони, а рядом из машины высунулась рука, протягивающая деньги, и заправщик уже убирал шланг, — все дальше и дальше, к забитой автостоянке перед Главным вокзалом, где я, пригнувшись, прошмыгнул между машин, и так как в отелях не спрячешься, да в Немецком театре тоже (хотя, по сообщению утренней газеты, знакомый актер выступал там сегодня на утреннике с чтением Гёльдерлина, Шторма и Гёте), а преследователи уже миновали виадук, и заправщик, взяв их сторону, кивал, указывая им направление, то единственно, что мне оставалось, это Главный вокзал со своими залами ожидания, с уборными, кассами и киосками, со своими стоящими, толкущимися и спешащими пассажирами, и я скользнул в прохладный, продуваемый сквозняками зал, огляделся и прикинул, какие тут для меня возможности, но, не воспользовавшись ни одной,

пересек зал, побежал к трамвайной остановке и вскочил в вагон — на мое счастье, как раз подъехал трамвай, — и, сколько я потом ни оглядывался на убегающий вокзал, так и не обнаружил своих преследователей.

Не озираются ли на меня в вагоне? Может, я вызываю подозрение у соседей? Их настораживает мое учащенное дыхание? Но нет, никому до меня дела нет. Все воззрились на контролера, проверявшего билет у грузной пожилой женщины.

— Билет недействителен, что бы вы там ни говорили, — утверждал контролер.

Старуха развязала и сняла с головы мокрую косынку.

— Первый раз такое слышу, — огрызнулась она и, подняв с пола тяжелую сумку, откуда выглядывал большой букет, демонстративно водрузила ее рядом, заняв еще одно место. Контролер вертел билет в пальцах и разглядывал его на свет.

— Ничего вам не поможет, — заявил он, — билет недействителен.

Женщина с досадой отвернулась и вполголоса пожаловалась сумке:

— Я, слава богу, четверых вырастила, а ни от кого еще подобного не слыхала.

Контролер в своем чересчур длинном форменном плаще гамбургских трамвайных служащих подступил к женщине и, невольно на крутом повороте трамвая опершись на ее плечо, поднес билет к самому ее носу.

— При пользовании общественным транспортом, — сказал он, — пассажир обязан предъявить годный проездной документ.

Женщина вытерла мокрой косынкой замутившееся стекло.

— Перво-наперво уберите лапы, а во-вторых, откуда мне знать, действителен мой билет или недействителен?

— Вы пересели в другой вагон, не взяв положенного для пересадки билета: по распоряжению высших инстанций, при пересадке полагается взять положенный для этого билет.

Женщина пожала плечами:

— Ко мне еще никто не привязывался с какими-то высшими инстанциями.

Эти пререкания не умолкали, оба не могли договориться, и я так и не знаю, чем у них кончилось — то ли контролер высадил старуху из вагона, то ли женщина запустила контролеру в лицо своей сумкой, — передо мной внезапно вынырнула укусная фабрика, и мне пришлось сойти.

Через заброшенный двор, мимо штабелей пустых бочек прошел я к старому конторскому зданию, входная дверь здесь круглые сутки не закрывалась, в каменных ступенях зияли трещины, с потолка свисал рожок, из которого кто-то вывинтил лампочку, исцарапанные, обшарпанные стены пестрели надписями и инициалами; здесь на втором этаже жил Клаас. Правда, он был не единственный съемщик, но на двери значилось только его имя. Пришпиленная кнопками визитная карточка гласила: «К. Йепсен, фотограф». Звонка не было, я постучал, стучал долго и упорно, пока не вышел Клаас, босиком, в мятой пижаме. Он недовольно на меня уставился:

— Входи!

В длинном коридоре висела его портретная галерея под названием «Мертвые гамбургцы». Снимки изображали утонувших, убитых в драке, зарезанных, заколотых, удушенных, застреленных или задавленных транспортом жителей города, но были среди них и приявшие мирную кончину в постели.

Клаас толкнул неплотно прикрытую дверь. В комнате на холостом ходу вертелся проигрыватель; на столе стояли бутылки из-под красного вина и пять стаканов; на широком диване лежало постельное белье, в плетеном кресле валялись вперемешку мужская и женская одежда.

— Ютта! — позвал Клаас, обращаясь к боковой двери, и снова: — Ютта, ты меня слышишь?

На зов немедленно явилась Ютта в застиранных джинсах, плотно обтягивающих ее маленький зад, в тоненьком коротком пуловере, оставлявшем обнаженную полоску тела. До

того как со мной поздороваться, оба переглянулись. Ютта поцеловала меня, Клаас собрал одежду и бросил ее на диван, освободив для меня кресло.

— Садись, Ютта принесет тебе кофе и бутерброд с ветчиной.

Оба закурили, Клаас отпил глоток вина.

— Ну, как поживает наш малыш? — спросила Ютта, а я:

— За что-то на меня крысятя в Гамбурге, два пыльника гнались за мной по пятам, я еле от них утек.

Пока я рассказывал, Клаас поднял свой стакан, сощурил один глаз и через край стекла стал визировать какие-то воображаемые предметы на противоположной стене и на потолке; он слушал меня без всякого интереса, ни разу не прервал, а в заключение произнес:

— Все это мне решительно не нравится, малыш, — и после небольшой паузы: — До утра, так и быть, побудешь у нас, а там поищи себе что-нибудь другое.

— Он может спать в темной комнате, в шезлонге, — вмешалась Ютта, но Клаас на это:

— Зигги может сегодня переночевать у нас, где ему будет угодно, но завтра пусть поищет себе что-нибудь другое: эти господа ничем не отстанут, если кто от них улизнул.

Ютта принесла мне кофе и бутерброд с ветчиной и поставила долгоиграющую пластинку, кажется сестер Эндрюс, и сама им тихонько подтягивала; покуривая, она с помощью английской булавки вдевала новую резинку в свое трико. Клаас подошел к окну и стал глядеть во двор, а потом и повыше, на улицу, все так же, через край стакана визируя какие-то цели — окна, крыши и чуть ли не зеленые литеры уксусной рекламы.

— Чего им от тебя нужно, малыш? С чего это вдруг?

— Понятия не имею, — отвечал я, а Клаас:

— Это не он ли тебе подсудобил? Старик в Ругбюле?

— Возможно, что он. Да, пожалуй, на то похоже. Должно быть, что-то выследил.

— Твою похоронку?

— Да.

— Отсюда тебе нетрудно смыться, — сказал брат. — Если сюда явятся, проберешься в Ганзину комнату, там лестница ведет наверх. Я отведу тебя.

— Пока что побуду здесь.

— Пока что побудь здесь. — Брат сунул мне в руку свой стакан и предложил выпить, а сам пошел в кухню и стал мыться под краном.

— Ты танцуешь? — спросила Ютта.

Я покачал головой.

— А тогда пей, — сказала она, долила мой стакан и принялась прибираться, напевая и не расставаясь с сигаретой, стряхивая пепел куда попало.

А затем... Оба мы испугались, и даже Клаас как будто всполошился, в коридоре раздался двукратный рев: раскатистый и оглушительный, он, казалось, предвещал недоброе, приближающиеся шаги остановились перед дверью, мы стояли не шевелясь и только переглядывались, Клаас сделал мне знак перейти в кухню, но тут дверь отворилась, и в комнату ввалился уже знакомый мне малый в пуловере из некрашеной овечьей шерсти и заплатанных резиновых сапогах, обеими руками прижимая к груди с полдюжины бутылок. Он снова взревел, но уже сдержаннее и тише, за ревом последовало урчание, после чего он мотнул головой по направлению к комнате Ганзи.

Итак, это и был Ганзи. Когда же он, не произнеся ни слова и даже не потрудившись закрыть дверь, убрался, из-за него вынырнула та самая длинноволосая девушка в лаковом дождевике; подняв высоко над головой свою куклу, она, смеясь, помахала нам рукою.

— Идем! — крикнул ей вслед Клаас.

Как описать вам комнату Ганзи? Мрачная кишка с двумя дверьми — одна открывалась прямо на лестничную клетку, — три высоких окна выходили на фабричный двор, служивший складом для гнилых бочек; вдоль стен выстроились крашенные в голубой цвет морские рундуки; покрытые шкурами, издававшими кисловатый запах, они заменяли здесь стулья и кровати; многочисленные консервные банки служили пепельницами; прибавьте к этому

мольберт, узкую полку, уставленную сидящими, стоящими и лежащими как попало куклами из подгрудка, а под окном на серо-белом картоне, исполненный угольным и серебряным карандашами и частично акварелью, был изображен цикл «Восстание кукол» — символ веры самого Ганзи. За занавесом скрывались газовая плита и раковина, а также посуда и шпалеры разномастных жестяных коробок. За мольбертом в углу стоял шезлонг, в котором спал плешивый молодой человек в расстегнутой кожаной куртке, казалось, он только и делает, что спит и собирается спать и дальше, во всяком случае, ближайшие дни и недели. Да, не забыть столы, два круглых садовых стола с отпиленными ножками, а также картонку с велосипедными насосами — Ганзи коллекционировал велосипедные насосы, он покрывал их лаком, и каждый насос имел свой номер.

Пил преимущественно Ганзи. Дорис — так звали девушку в дождевике — раскупоривала бутылки и разливала вино, причем каждого, кому она вручала стакан, целовала, а Ютту так даже поцеловала с легким причмокиванием, на что Ганзи, лежавший на спине, задрал ноги, крикнул:

— Поставьте музыку, вы, распутные подружки!

Итак, пение под гитару; проигрыватель стоял у самого шезлонга, где спал плешивый. Клаас сидел на полу, облокотись на один из рундуков, и балансировал на правом колене стаканом, Дорис тоже легла на пол, подстелив овечью шкурку. Под гитару пел мужчина, он пел о черном солнце и о черной реке, где кто-то утонул, возможно, что ребенок.

Ганзи курил и кивал, но вдруг вскочил и, почесавшись под коленками, сунул мне свой стакан. Что теперь последует?

— Господа, — возгласил он, — песок скрипит у меня на зубах, и во рту вкус клея, я все время места себе не нахожу и только сейчас догадался, в чем причина: это от выставки, от мировоззренческих декораций. Представьте, наш маляр даже сами изволили прибыть собственной персоной — этот всесветный изобразитель облаков осчастливил нас своим присутствием.

Ганзи направился к мольберту, поискал коробку с цветными мелками и нашел ее в рундуке за спиной у спящего. Дорис засмеялась и засучила ногами.

— Итак, внимание! Мы отправляемся на поиски первозданного в человеке и делаем это на истинно немецкий лад, с сердечной умиленностью, прошу прощения! Не дрыгай ногами, Дорис! Да и вообще, я просил бы не смеяться! — Он начертил мелом белое с желтым полотнище и украсил его по краям золотистым свечением. — Перед вами перво-наперво песчаный берег Северного моря, то самое побережье, которому море декламирует свои аллитерационные стихи. Так сказать, безмолвное величие природы: куда ни наложишь, там завтра что-нибудь да вырастет. — Ганзи взял черный и белый мелки, и на пляже возник угол, впрочем, нет, это скрючившийся человек, одетый во все черное: узкие, дудочкой брюки и сюртук; человек держит в руках книгу, которую читал или собирается читать, а гуляя по побережью, можно читать только что-нибудь значительное. — При такой работе мел стоном стонет, — продолжал Ганзи, — но мы должны ему внушить, что он обязан наращивать интенсивность краски, так же как природа внушает растению увеличиваться в росте, если вы способны понять, что я имею в виду. Ведь от краски ждем мы ответа на волнение, испытываемое человеком, взирающим на мир; из краски возникает наше представление о первозданном.

Он рисовал энергичными штрихами, сжав губы, преувеличенно размашисто и властно жестикулируя: синее пробивалось сквозь желтое, белое взрывалось сверкающей зеленью, так что краска становилась зримым мотивом, выражающим — я был вынужден признать это — страх. Итак, зеленое лицо у человека, который с открытой книгой в руках бродит по побережью, выражает удивление и страх, хотя пока еще не видно, чем этот страх вызван. Но вот на поверхности возникает нечто коричневое с драматическими черными полосами, оно растет и круглится на песке, удлиняясь с одной стороны и приобретая твердые очертания с другой.

— Перед вами громадная вселенская птица, надеюсь, вам это ясно. Эти двое узнают



друг друга. Северонемецкий пророк одержим страхом, ведь перед ним то самое, первозданное. Но тут нам должна подыграть поверхность, здесь явно не хватает туч, а без туч этой встрече недостает чего-то мифического; итак, мы сейчас изобразим, как в небесах что-то веет, что-то ткется: ночь близка. Сюда бы еще испуганные голоса земных тварей, вот только как прикажете их изобразить?

Покуда Ганзи набрасывал тучи, сдвигал и разрывал их, в комнату, не постучавшись, вошли новые гости: два парня и низкорослая черноволосая девица; не ожидая приглашения, они разделись, налили себе вина, сели куда попало и стали следить за Ганзи, который, покончив с тучами, стал придумывать название картине: «Пророк встречает на побережье птицу сверхъестественных размеров».

— А теперь, шествуя по стопам космического декоратора Нансена, мы постараемся разобраться, что есть первозданного в человеке.

Он уже хотел приступить, но не принял в расчет меня — я, впрочем, тоже не принял себя в расчет, так как совершенно неожиданно услышал свой голос.

— Что ж, все это занятно и мило, вот только с перспективой у тебя не ладится. — Когда же Ганзи озадаченно на меня уставился, я вскочил и, подойдя к мольберту, стал показывать его погрешности по этой части. Ганзи сдержался, только глаза у него сузились, он подавил желание сказать то, что вертелось на языке, а вместо этого попросил вина и отпил глоток. — У космического же декоратора, — продолжал я, — все в порядке: во всем и везде.

— Так, еще что?

— А птица, — продолжал я, — в нее попросту не веришь, тогда как у штукатура все представлено самым убедительным образом. Я хочу сказать, что его фантастические образы кажутся нам старыми знакомыми и действуют они сообразно своей природе, тогда как по этой птице видно, что высидеть что-либо она не способна.

— А больше ты ничего не придумашь?

— Преломление света, — продолжал я, — у оформителя витрин всегда не случайно, все у него оправдано и вытекает одно из другого — здесь же я ни в чем не вижу внутренней необходимости.

— Что ж, прекрасно, но я не пойму, к чему ты ведешь? Пора закругляться!

Я оглянулся на Клааса, но Клаас уставился в землю; я поискал глазами Ютту — она явно избегала моего взгляда и не собиралась на него отвечать.

— Дело в том, что я его знаю.

— Знаешь? Кого же это?

— Нансена, великого декоратора пейзажей, знаю почти все его работы, я не раз видел, как он их пишет: такого рода цикл, как твой, ему, понятно, не осилить, но свое дело он делает как следует, тут не придерешься.

— Ты по существу говори, не наворачивай, — сказал Ганзи и осушил свой стакан.

— До тебя ему, конечно, далеко, — продолжал я, — но, когда ты его высмеиваешь, надо, чтобы это как-то сходилось. Или ты считаешь, что это не обязательно?

— До чего же он потешный! — пришла в восхищение Дорис.

— Очень уж ты, я смотрю, заносишься, — съязвил Ганзи, — похоже, Нансен когда-то купил тебе мороженое на палочке или разрешил таскать его папку. А ведь я тебя видел на выставке, и знаешь, что мне пришло в голову? Я подумал: вот идеальная модель для Нансена, конечно, для определенного сорта картин вроде: «Молодой человек на сенокосе».

Тут уже и у Клааса нашлось что сказать:

— Давай садись, Зигги! — сказал он. Но не мог же я просто смолчать.

— Ты будешь смеяться, — сказал я, — но я и в самом деле ему позировал, потому и знаю, как он пишет, его манеру. И если ты хочешь уничтожить Нансена его собственной манерой, надо, чтобы это было на что-то похоже.

— Ненавижу, когда повторяются, — ввернул Ганзи, а Дорис все с тем же восхищением:

— Он уморителен. Вот бы с кем я не отказалась в темноте картины смотреть!

Я промолчал. Молча прошел мимо Ганзи, и все следили за тем, как я, присев на

корточки перед его циклом «Восстание кукол», принялся с нарочитой медлительностью разглядывать отдельные работы. Итак, кукольный народец, куклы из подгрудка: треугольные лица, приплюснутые шарообразные лица: точка, точка, запятая, минус, рожица кривая... Руки, сгибающиеся в любой точке, ноги, которые можно завязать в два узла, эластичные, пятнистые, но явно бессмертные тела. Куклы взбираются на фабричную трубу и занимают ее. Они взорвали водонапорную башню, разрушили мост, сбросили поезд с рельсов, сорвали флаг с какого-то здания. Вырыли могилу. Куклы под пронизывающим ветром. Куклы на полигоне. Куклы заковывают спящую девушку в кандалы: Дорис, разумеется. Они убегают от волчка, гарцуют на петухе и одновременно двенадцатью ножницами препарируют мягкое кресло.

Покуда я рассматривал картины, все глядели на меня, не произнося ни слова, я слышал только их дыхание и легкое причмокивание, с каким они сосали свои сигареты. Наконец я поднялся, медленно повернулся к Ганзи, который смахнул со лба свои жидкие волосы и насмешливо выжидал.

— Садись, Зигги, — снова подал голос Клаас.

— Ну, что скажешь? — спросил Ганзи.

— Знаменательно, — сказал я. — Все это очень знаменательно.

— Не для меня.

— Одно меня удивляет, — продолжал я, — откуда это похлопывание по плечу, этот пренебрежительный тон, это презрение, когда речь идет о старике? Для него у вас не находится ничего другого. Вы кажетесь себе неизмеримо выше: скажите на милость, он уже и это знал, видел, владел этим.

— Нечего меня поучать насчет Нансена.

— Мне, однако, кажется, что тебе известно далеко не все.

— Так вот, послушай меня внимательно, сынок, — сказал Ганзи. — С моей точки зрения, это как раз вреднейший случай: фольклорные мотивы, не правда ли? Ясновидение и политика.

— Однако ему запрещали работать, — возразил я. — Тебе, должно быть, не известно, что его живопись была под запретом, сотни его картин уничтожены.

— Вот это-то для меня и загадка в Нансене, — сказал Ганзи, а я:

— Разве это не говорит в его пользу? Но ты, конечно, все понимаешь лучше, чем кто другой.

— Во всяком случае, понимаю то, что для меня важно: например, понимаю, что мне отвратно в тебе.

— То же самое и я, но одно мне непонятно: то, что вы так все себе облегчаете, критикуете, не потрудившись понять, с кем и о чем вы спорите.

Я мог бы многое ему выложить, но до этого не дошло: не успел я опомниться, как Ганзи, подняв колено, пнул меня пониже живота; от внезапной боли я весь скрючился, как его пророк на побережье, и, занятый своей болью, не углядел, как он тут же нанес мне еще два хорошо рассчитанных, не сказать чтобы катастрофических, но точно нацеленных удара, один снизу, прямым в Подбородок, и другой по затылку, что называется пославший меня на пол.

При падении запомнились мне красные пятна; красные пятна, приплясывая, надвигались на меня, я узнал в них обрезки красной велосипедной камеры, которыми Ганзи чинил свои резиновые сапоги, они, казалось, наплывали с темного заднего фона, чтобы вращаться вокруг меня; падая, я услышал крик, но так и не определил, кто кричит. Спор на этом закончился, фильм оборвался, истощилось и гостеприимство Ганзи, ибо когда я открыл глаза, то не увидел пожелтевших обоев в Ганзиной комнате, изображающих охотничьи сцены, — подбитых уток, падающих в камыши; меня окружала полная темнота и запах хлора, по-моему, хлора.

Я лежал в шезлонге с закутанными в одеяло ногами. Голос Клааса произнес: — Он спит. — Голос Ютты откликнулся: — Ну и пусть спит. — И снова голос Клааса: — Давай,

вернемся к ним. — Они старались ступать бесшумно и тихонько закрыли дверь, но я их слышал, я лежал в темной комнате и собирался уйти, не простясь. Был полдень или вечер? И куда деваться? Обратю в Ругбюль? Или наняться на рыболовное судно, идущее в Гренландию? А может, уехать в Страсбург и зачислиться в иностранный легион? Или разыскать оба пыльника, явиться добровольно и для начала узнать, что им известно и какие у них намерения на мой счет?

Я лежал и думал, перебирал и взвешивал имеющиеся у меня возможности; особенно занимал меня проект зайцем пробраться в Америку, переменить имя, скажем, на Зиг О'Йепсен, заработать кучу денег, открыть художественную галерею и, собрав вокруг себя тамошних молодых художников, устраивать с их помощью выставки национальной живописи, где после президента выступать буду я, — к счастью, из этого культурно-просветительного фильма ничего не вышло.

Много чего перебрал я в мыслях, ни на что не решаясь, время уходило, а я все не вставал, не покидал ни темную комнату, ни квартиру Клааса, напротив, старался отвлечься от подтекающего крана, откуда капало, капало через все мои планы и через голову, который все что-то считал и отсчитывал, подводя итоги, и, насчитав до восьмидесяти с лишним, я уснул глубоким и вместе тревожным сном, готовый к тому, что вот-вот Клаас, или Ютта, или даже Ганзи придут меня будить.

Я не забуду сна, приснившегося мне в темной комнате. Я будто плыву один в широкой деревянной лодке к островку, порядком отстоящему от нашего берега. Я сижу в тени вспомогательного паруса, моя лодка направляется к плоскому островку, лишь слегка возвышающемуся над водой. Там ждет меня мой новый тайник. Я построил его из развалин каменной церкви — единственное, что нашлось на необитаемом островке. Мой тайник просторен и прохладен, я законопатил в нем все пазы и щели. Выйдя на берег, я вытащил лодку из воды и закопал для верности якорь. Я оглянулся на тайник и увидел, что его осаждают тюлени. Расположившись полукругом, они грелись на солнце, их шкуры поблескивали; подняв головы, они уставились на меня; среди взрослых животных попался и молодняк. Мне оставалось только лечь на песок, я подполз к ним, и они не обратились в бегство. Кое-как пробрался я между их тушами, залез в тайник и только было расслабился, как услышал выстрел, стреляли с моря, пуля ударила в обломок камня и с визгом отскочила.

К берегу плыли две лодки, две утлые скорлупки без весел, без мотора, без паруса и руля. Они шли, словно подтягиваемые проволочным воротом. В лодках, выпрямившись, в странно деревянных позах, со вскинутыми ружьями стояли двое: мой отец, ругбюльский полицейский, и Макс Людвиг Нансен, художник. Мне снилось, что оба они охотятся на тюленей. Подплывая к островку, они стреляли на ходу, на дулах их ружей повисли белесые декоративные облачка. При первом же выстреле тюлени с трудом потянулись к воде. Их стадо то распадалось, то вновь в смятении сбивалось в кучу; поворачивая к южному краю острова, они с натугой влачили свои грузные тела мимо входа в мой тайник, их лапы били по песку, вожаки лаяли и предупреждающе рычали, я выскочил наружу, но выстрел заставил меня припасть к земле, и я пополз вместе с убегающим стадом. Тюлени двигались быстрее меня, я не поспевал даже за молодняком, но не сдавался и упорно следовал за ними через заросли волоснеца, через тела убитых и раненых животных и наконец увидел, что передовой отряд достиг берега и, нырнув, исчез под водой.

Я двигался так медленно и так неловко, что не мог угнаться за стадом и все больше отставал. Наконец силы мои иссякли, я тщетно пытался подняться и даже, когда обе лодки причалили, не мог заставить себя встать на ноги. Двое мужчин одновременно спрыгнули на берег; посоветовавшись, они расправили привезенную сеть и, ухватясь за крылья, поволокли ее по песку прямо на меня, оба в светлых пыльниках.

Я, надсаживаясь, полз на животе, еле-еле передвигаясь по песку, мой след почти не отличался от следов, оставленных тюленями. Двое мужчин, поднажав, в несколько шагов нагнали меня и набросили на меня сеть.

Смеясь, они все больше стягивали ее и кружили надо мной, норвя держать мотню

отверстием к моему лицу; тонкий деревянный обод, катаясь и прыгая, как бы подбадривал меня, приглашая сдаться: давай, давай! — а тут они еще пригнулись и дружелюбно, подобно терпеливым укротителям, стали похлопывать меня по плечу, указывая на сужающуюся воронкой ловушку: — *Allez, allez, hopp!*

Я, конечно, не стал прыгать, но, не выдержав характера, протиснулся сквозь обод, пролез в завязанный узлом конец мотни и тут же почувствовал, что меня подсекли, сеть впиалась мне в тело, перед глазами поплыл, закачался песок.

— Зигги Йепсен?

— Я за него, — отозвался я.

— Пойдете с нами! — Солнце рухнуло и ослепило меня. — Зажги свет! — Вспыхнуло узкое синее пламя, кто-то отдернул занавес, чей-то голос произнес: — Он еще не совсем проснулся. — Кто-то поднял меня и выпростал мои ноги из одеяла. Протянув руку, я коснулся пыльника. — Это в самом деле фотолаборатория, — сказал голос, а другой: — Тогда поосторожнее, как бы не засветить парнишку.

## Глава XIX Остров

Там, на холме, против голубого здания дирекции, и сейчас еще расположен приемный пункт, более известный у нас как «пункт завлекательный». Вообразите приземистое, барачного типа деревянное строение, стоящее вровень с землей, поставьте перед каждым окном по цветочному ящику, развесьте в окнах по-деревенски пестрые, в красную и белую шашечку, колыхающиеся на ветру занавески, дверь открыта настежь, *пол* в коридоре свежесмыт — и ни малейшего признака надзирательской каморки. Что же еще? Вообразите восемь спален, где помещаются «завлекаемые», иначе говоря, новички, доставленные сюда гамбургским баркасом. Я нахожусь в седьмой, вместе с Куртхеном Никелем, который не далее как вчера в очередном припадке ненависти учинил здесь форменный разгром. Черноволосый, в распахнутой на груди черной рубашке, вчерашний силовой акробат, он лежит в своей постели неподвижно, как изваяние, и, по-видимому, слушает. Уж не прислушивается ли он, как и я, к голосу директора Гимпеля, который в сопровождении делегации психологов явился на приемный пункт и, обходя комнату за комнатой, поясняет психологам те преимущества — а также опасности, коими чревата новая воспитательная система? Я стою подле своей кровати и курю, прислонясь к деревянной стене. За окном проходит отряд трудновоспитуемых в тиковой прозодежде; вскинув на плечо вилы и лопаты, они угрюмо тянутся на полевые работы; кое-кто, оглядываясь на наш барак, перешептывается с соседями и смеется.

— Это своего рода шлюз, — поясняет директор Гимпель, — наш, если позволительно так назвать, «завлекательный пункт» играет в лагере роль шлюза.

Один из психологов (скептически): Если я правильно вас понял, юный уголовник проходит здесь подготовку к заключению?

Гимпель (тактично пресекая подобную развязность): Это можно также назвать барокамерой. Во избежание шока юный преступник, так сказать, исподволь вовлекается в тюремный режим. Мы этот переход ему облегчаем. Повторяю: здесь он, правда, лишен тех свобод, какими пользовался за этими стенами, но кое-какие свободы — назовем их малыми свободами — ему не заказаны. Он волен курить, слушать радио, распределять полдня по своему усмотрению и без помехи передвигаться по острову.

Психолог: Сколько же времени вы их держите здесь?

Директор: Три месяца. Юноши, приговоренные к тюремному заключению, содержатся на приемном пункте в течение трех месяцев. До сих пор такая постепенная подготовка как нельзя лучше себя оправдывала.

Куртхен, внезапно выйдя из оцепенения, соскочил с кровати и с ненавистью на меня уставился.

Куртхен: Где они? Где эти свиньи?

Я: Не слышишь, что ли? В пятой.

Куртхен (подойдя ко мне, шепотом): Поздравляю! Слышь? Можешь себя поздравить!

Я: С чем?

Куртхен (подходит к окну, быстро поворачивается и, ухватясь обеими руками за подоконник, прислоняется к нему спиной). Ты будешь публикой, малыш, ты увидишь, как я одного из них прикончу. Применение насилия — вот за что они меня сюда закатали, — применение насилия в двадцати семи случаях. Так пусть же увидят своими глазами, как я применяю насилие.

Директор Гимпель (в соседней комнате): Так оно и есть, для различных случаев и сроки предусмотрены разные. Мы разработали особую шкалу, ступенчатую систему, по которой определяем, сколько времени кому здесь находиться.

Куртхен расстегивает брюки, нашаривает что-то на внутренней стороне левой ляжки, отвязывает и достает ножик в кожаном футляре.

Я: Брось дурака валять.

Куртхен (с ненавистью): Если уж не прокурор, так пусть любой из них! Все они друг друга стоят — понятно? Все они нас ненавидят. Завидуют, что мы молоды.

Я (умиротворяюще): Убери ножик. Кто знает, для чего он еще здесь тебе понадобится.

Куртхен (словно в оправдание своей ненависти): Они трусят и не хотят нас понять.

Доктор Гимпель (в соседней комнате): В более легких случаях мы обходимся и двумя неделями. Как уже сказано, продолжительность срока зависит от психической восприимчивости субъекта. При переходе воспитуемых на тюремный режим мы почти не наблюдаем эксцессов. Мы и вообще избегаем эксцессов, а если они бывают, то преимущественно здесь, на «завлекательном пункте».

Куртхен (продолжая оправдываться): Ни одна собака даже не пытается понять нашего брата. А у меня такой уж нрав: если кто не заглядывается на мою девчонку и не дает рукам воли, нечего тому бояться. Но если кто на нее вылупится, а тем более к ней пристанет, тут у меня словно что-то обрывается внутри. Этого я не выношу, понятно? Я подхожу к такому субчику и вежливенько ему объясняю, что, ежели ему не охота получить по харе, пусть не подъезжает к моей девчонке. Некоторые берут это во внимание, а другие так и лезут на рожон. И то, что я вступаю за свои права, называется насилием у этих гадов.

Директор Гимпель: А теперь я предложу вам перейти в шестую, там я представлю вам своего рода раритет: юного похитителя художественных ценностей, который к тому же разбирается в живописи.

Йозвиг (беззвучно): Это в седьмой, господин директор!

Директор Гимпель: Ладно, значит, через комнату. А кто у нас в шестой?

Йозвиг: Организатор покушения и Россбах.

Я (не торопясь подхожу к Куртхену): Убери нож!

Куртхен (с угрозой): Ни шагу дальше!

Я (останавливаясь): Если ты это сделаешь, крышка! Тебе отсюда не выбраться.

Куртхен (смеется): А ты сперва спроси, хочу ли я выбраться, понятно? Лишь бы показать этой сволочи, а что из этого получится, мне без интереса.

Я: А если нападешь на не причастного?

Куртхен: Нет среди них не причастных... Все они на один образец... Чем оставить нас в покое и по-честному посадить за решетку, они этот остров превращают в манеж, а из нас делают ученых лошадей. Они и тебя, малыш, превратили в цирковую лошадку. (С внезапным подозрением.) Сколько, говоришь, тебе припаяли?

Я (подходя к нему ближе): Три года по кодексу о юных правонарушителях.

Куртхен: Угон машин?

Я: С чего это ты взял?

Куртхен (с пренебрежительным жестом): Не твоя ли рожа попалась мне в газете?

Я: Не машины, а картины — я прятал картины в надежное место.

Куртхен (недоумевая): Картины?

Директор Гимпель (выходя в коридор вместе с делегацией): Разумеется, у нас и для заключенных введена ступенчатая система. Скажем, ступень первая в заключении мало чем отличается от режима на приемном пункте, том самом, который мы сейчас осматриваем.

Один из психологов: Если я вас правильно понял, вся ваша воспитательная система носит характер шлюза?

Директор Гимпель (в восторге от того, что он так хорошо понял): Совершенно верно: мы всё здесь рассматриваем как переходное состояние, промежуточный этап.

Юный нарушитель с первых же шагов приучается смотреть на все как на переходную стадию.

Куртхен (на цыпочках идет мимо меня к двери, наклоняется и прислушивается, следя за мной уголком глаза; свет падает на его волосы, свет играет на коротком лезвии его ножа, черные брюки тесно обтягивают ляжки, на высоких каблуках поблескивают бутафорские гвоздики, пальцы свободной руки делают быстрые хватательные движения): В шестую вошли.

Я: Убери нож!

Куртхен: А ты не суйся, куда не просят, понятно? Не нравится — прогуляйся-ка в уборную. Пользуйся моментом!

Я: Они тебя порешат, они раз навсегда тебя прикончат, если ты себе это позволишь. Не валяй дурака!

Куртхен (с ненавистью): Эти свиньи меня уже прикончили — разлучили с моей девчонкой. Она и руки не подала мне после моего осуждения.

Директор Гимпель с делегацией исчезает в шестой комнате, теперь голосов их не слышно.

Я (включая радио): Давай встретим их с музыкой.

Куртхен (запальчиво): Сейчас же выключи эту мерзость!

Я (выключая радио): Ты все себе изгадишь!

Куртхен: А ты не заметил, малыш, что они уже и без того нам все изгадили? Послушал бы прокурорам он, видишь ли, решил защитит от меня общество. Общество, мол, вправе уберечь себя от опасности, какую представляю я. Для блага тетки Луизы и дядюшки Вильгельма он и спровадил меня сюда.

Поигрывая ножиком, подбрасывает его в воздух и уверенно ловит, а потом пропеллером запускает под потолок и, отступив на шаг, смотрит, как клинок вонзается в половицу.

Я: Подумай, что скажет твоя старушка?

Куртхен: Если ты насчет моей мамыши, так она в дальнем плавании, она была в войну второй женщиной-радиостом на борту немецкого корабля.

Я: А твой отец?

Куртхен: Я ведь не лезу тебе в душу, так и ты отвались с такими разговорчиками. Понятно? (Подходит к окну, где в ящике цветет герань, и короткими, меткими ударами ножа отсекает у нескольких стеблей листья и соцветия.) Что за картины такие? Из музеев или фотокарточки девочек?

Я: Попадались даже такие, которых хватило бы тебе на год жизни. А я только убирал их и прятал в сохранное место.

Куртхен (бросается к двери и пригибается): Идут!

Я: Смотри же, без глупостей!

Директор Гимпель (из коридора): Приемному пункту обязаны мы и тем, что у нас наблюдается все меньше попыток к бегству — каких-нибудь восемь попыток в год. И совершают, их все те же лица.

К двери приближаются размеренные шаги. Куртхен отходит назад и опускает руку с ножом, он весь сосредоточен и бросает на меня предостерегающий взгляд.

Я (стоя у открытого окна): Не делай этого, сумасшедший!

Куртхен (в бешенстве): Заткнешься ты наконец?

Дверь нерешительно отворяется, Куртхен, готовясь к прыжку, медленно отступает назад. Входит Йозвиг. Просительно подносит к губам палец, словно хочет нас убедить, остеречь, подготовить, взгляд его падает на меня, но я взглядом же, молниеносно отсылаю его туда, где стоит Куртхен, быть может, что-то кричу — не знаю, — во всяком случае, мой слабый, неслышный в коридоре возглас заставляет Йозвига насторожиться, он как бы становится йеньпе, еще больше сжимается, но, пригнувшись и обороняясь, выбрасывает вперед свои непомерно длинные руки, словно в кэтче; Куртхен, замахнувшись ножом, кидается на Йозвига, я настигаю его в два прыжка, впрочем, нет, я продолжаю стоять у окна, готовясь оказать помощь Йозвигу, если она ему понадобится: достаточно двух прыжков, и я буду рядом.

Ни крика, ни стопа. Куртхен молча нападает, а Йозвиг молча защищается... Напряженная в прыжке фигура Куртхена... Рассчитанная готовность Йозвига... А теперь моментальный снимок: Йозвиг ребром ладони бьет снизу по руке Куртхена, сейчас она взметнется вверх, пальцы разожмутся, и нож взлетит к потолку. Итак, Йозвиг бьет, рука Куртхена взлетает в воздух, сам он откидывается назад, и нож падает на пол, к ногам Йозвига. Куртхен, набычившись, с ненавистью смотрит на Йозвига, хочет нагнуться за ножиком, но Йозвиг наступает на него ногой.

Йозвиг (огорченно): Тебе все еще мало? Или ты окончательно одурел?

Куртхен (прижимая к груди зашибленную руку, сдавленным голосом): Ладно, в следующий раз. Отложим до другого раза.

Йозвиг (убирая ногу): Вот он, твой нож, бери. Попробуй еще разок! (Пригласительно отступает назад, Куртхен, попавшись на эту хитрость, тянется за ножом, но Йозвиг вовремя наступает ему на руку. Куртхен подсакивает от боли, Йозвиг поднимает нож и прячет его в карман. Куртхен, шатаясь, плетется к своей кровати, валится на постель и принимается нянчить руку, дует на нее и массирует.)

Йозвиг: А теперь, видать, с тебя хватит.

Куртхен (со злобой): Скотина, ты у меня сейчас дождешься!

В комнату входят семь психологов из пяти стран, за ними в спортивной куртке и брюках гольф следует директор Гимпель, излучая бодрость и жизнерадостность неунывающего воспитателя. Вошедшие озираются по сторонам и разглядывают нас, точно мебель.

Йозвиг (Куртхену, добродушно): Что же ты не встанешь?

Куртхен: А катись ты к...

Йозвиг: Здесь господин директор.

Куртхен: Пусть он дважды катится...

Директор Гимпель и психологи переглядываются с легкой ажитацией ученых заговорщиков. На их лицах вместо неприязненного удивления читается вспыхнувший интерес.

Гимпель (Йозвигу): Здесь что-то случилось? Что-нибудь экстраординарное?

Йозвиг: Я ничего такого не заметил. (Кивая на Куртхена.) Не поставит ли его на ноги? Только прикажите, и я научу его вежливости.

Гимпель (качая головой): Спасибо, милейший Йозвиг. В этом нет нужды. Мы и сами справимся. (Подходит к кровати Куртхена. Психологи обступают его полукругом.) Мы вас вполне понимаем, господин Никель, у каждого бывает плохое настроение, но мы как-никак нуждаемся друг в друге. Я бы даже сказал, мы обязаны идти друг другу навстречу.

Куртхен (по прежнему прижимает руку к груди): Катитесь подальше, а главное, увольте меня от вашего трепа.

Один из психологов: Похоже на Юсуповский фактор ненависти.

Гимпель (с неисчерпаемым дружелюбием): Мы тут, разумеется, не задержимся. Но не откажите и вы мне в одолжении. Господам иностранцам желательно узнать, как вы сюда попали?

Куртхен: Все это вы прекрасно знаете. Прочитайте им протоколы, этого за глаза хватит.

Гимпель: Да, но господам желательно услышать это из ваших уст. Кстати, в дальнейшем я буду обращаться к тебе на «ты». Я всем нашим воспитанникам говорю «ты».

Куртхен: А мне начхать на то, как вы ко мне обращаетесь!

Гимпель (твердо): Итак, расскажи нам, каким образом ты, с твоей точки зрения, оказался здесь.

Куртхен (бросается на спину, глядит в потолок и дует на больную руку): Я смерть как охоч до маленьких детей и, бывало, уже на завтрак съедаю по этакому маленькому ребятенку.

Гимпель (без досады, с таким видом, будто и такой ответ его удовлетворяет): Ну, а помимо того? Ведь это не единственная причина.

Куртхен (спокойно): А еще меня мутит от старых хрычей и гримз. Я даже основал общество.

Гимпель: Что за общество?

Куртхен: Общество по уничтожению старых хрычей и гримз.

Один из психологов: Аномальный коэффициент агрессивности. Кверулентство.

Второй психолог (наклоняясь к Куртхену): Мы воображаем себя сильным человеком, не так ли? Все перед нами трепещет. Если ты и вправду так о себе мыслишь, приходи завтра в спортивный зал, наденем перчатки, а там видно будет, кто кому морду набьет.

Куртхен: Отчаливай, дедуся! Да гляди, как бы у тебя песок из штанов не посыпался.

Гимпель: Милейший Курт Никель! Не забывай, что ты не с врагами говоришь, мы душой рады тебе помочь. Но для этого нам нужно понять тебя.

Йозвиг: Не помочь ли ему подняться, господин директор?

Гимпель: Пускай себе отдыхает.

Куртхен: Я сыт по горло. От меня вы больше ничего не услышите. Обратитесь лучше вон к тому. (Показывает на меня пальцем.)

Гимпель: Что ж, не возражаю. У нас с тобой еще не однажды будет случай побеседовать.

Поворачивается ко мне. Психологи о чем-то шепчутся по-английски. Как видно, мнения о Куртхене расходятся. Каждый не прочь расспросить его поподробнее, но, так как директор Гимпель почти приятельски протягивает мне руку, все поворачиваются и с интересом окружают меня.

Гимпель (ко мне): Ты у нас ведь эксперт по вопросам искусства?

Йозвиг (не утерпев): Это Зигги Йепсен, господин директор!

Гимпель: Как же, знаю. Знаю я господина Йепсена и всю его историю знаю. Но, быть может, он и сам не откажется рассказать этим господам, как он здесь очутился? Как попал к нам?

Йозвиг (тихо): Открой рот или я тебя больше знать не хочу.

Я (пожимая плечами): Что вам, собственно, от меня нужно?

Гимпель: Я же говорю тебе, расскажи, как сюда попал. Мы хотим услышать это от тебя.

Я: Из-за картин, я прятал от отца картины, за которыми он гонялся. Вот и весь сказ.

Психологи наострили уши и закивали друг другу. Один из них вооружился записной книжкой и карандашом.

Гимпель (терпеливо): А почему твой отец гонялся за картинами? Как ты считаешь?

Я (глядя на Куртхена, который безучастно лежит на своей постели): Сперва по долгу службы. Из Берлина пришло запрещение художнику Нансену писать картины, и отцу приказано было передать ему это запрещение, а также следить, как оно выполняется. Он служил в сельской полиции — Ругбюльский участок. А потом он уже не мог перестать. Остальное вам известно.

Один из психологов (желая удостовериться): Макс Людвиг Нансен?

Другой психолог: Экспрессионист?

Гимпель: Итак, Зигги, твой отец, будучи полицейским, должен был следить за выполнением приказа, а, когда приказ потерял силу, он по-прежнему продолжал



преследовать художника.

Я: У него это стало пунктиком, как бывает с теми, кто знать ничего не хочет, кроме долга. А потом это сделалось болезнью, если не чем похуже.

Один из психологов: Похуже, говоришь?

Гимпель: Твоему отцу случалось конфисковать картины?.

Я: Конфисковать, сжигать, истреблять, все, что угодно.

Гимпель: А теперь о себе. Ты, стало быть, прятал от отца картины, укрывая их в надежном месте. Расскажи нам об этом подробнее.

Я: Началось с пожара на мельнице. У меня был на мельнице тайник, и все погибло от огня. Все мои коллекции. Картины, ключи, замки. С этого и пошло. Я и сам хорошо не понимаю: я смотрел на картину и вдруг замечал: что-то на ней шевелится и на заднем плане вспыхнул огонек — просто так, сам по себе, — и тут уж я не мог оставаться равнодушным.

Первый психолог: Целеустремленная навязчивость.

Второй психолог: Грезоподобная защитная реакция.

Я: Так оно и получалось: я видел, что картина под угрозой, и убирал ее в надежное место. Вы бы тоже так поступили. После пожара на мельнице я завел новый тайник, у нас на чердаке, туда и относил картины. Но он его нашел. Выслеживал, выслеживал меня, пока однажды не нашел картины. Тут уж он разделался со мной по-свойски.

Куртхен (с кровати): Лопух! Тебе бы их сожрать!

Гимпель (успокаивающе): Но ведь твой отец выполнял свой долг.

Я: Он решил засадить меня в тюрьму. Он мне это сам сказал. Вот и добился. А если хотите знать, как я здесь оказался...

Директор Гимпель (с жаром): Вот-вот! Это-то нам от тебя и нужно.

Я (не спеша подхожу к Куртхену и присаживаюсь на постель): На это я могу дать вам точный и, можно сказать, исчерпывающий ответ. Я замещаю здесь своего родителя, ругбюльского полицейского, и я чувствую, что вот и Куртхен тоже здесь кого-то замещает — некую тетушку Луизу или дядюшку Вильгельма. Похоже, что и другие ребята здесь тоже за кого-то отдуваются. «Трудновоспитуемые подростки»: такой ярлык они нам прилепили на суде, и здесь каждый день про это поминают. Возможно, кое-кто из нас и не поддается воспитанию, мне трудно судить. Но есть и у меня к вам вопрос: почему такого же острова, со всеми его мастерскими, не заведут для трудновоспитуемых старших? Разве они не нуждаются в воспитании?

Куртхен (свирепо): Никакого острова б не хватило.

Я: И когда, собственно, кончается воспитание? В восемнадцать лет? В двадцать пять?

Гимпель (подакивая, с жаром): Вопрос более чем уместный. Тут не придерешься!

Я: Здесь нам морочат голову, но, может, они и сами себя морочат. Не стану спрашивать, сколько людей с нечистой совестью разгуливают тут на свободе.

Один из психологов: Скорее всего — отклоненная агрессия, преследуемый преследователь, а?

Я: Но поскольку никто сам себя не судит, то и отыгрываются на других, отыгрываются на молодежи. Все же какое-то облегчение. Чего проще: нечистую совесть сажают на баркас и отвозят сюда, на этот остров, и тогда уже ничто не мешает им с удовольствием съесть свой завтрак или вечером прихлебывать грог.

Гимпель (осуждающе): Тут уж, Зигги, ты становишься тривиален.

Я: Так и быть, я скажу вам, как попал на этот остров. Ни у кого из вас рука не поднимется прописать ругбюльскому полицейскому необходимый курс лечения, ему дозволено быть маньяком и маниакально выполнять свой треклятый долг. А я нахожусь здесь, в исправительной колонии, оттого что он достиг солидного возраста, считается незаменимым и исправлению не подлежит. Да, если хотите знать, я здесь вместо него. А вдруг это выход: я вернусь домой и преподам ему то, чему научился здесь? Что ж, будем надеяться. Надо же на что-то надеяться. Поверить этому ведь я не могу.

Гимпель (откашливаясь): Хоть оно и жестоко, то, что ты здесь наговорил, но понимать

тебя я понимаю. Твое разочарование мне понятно. Так и надо, прямо и откровенно сказать о том, что лежит на сердце...

Куртхен: В печенках сидит. Видали, он даже не отличает сердце от печени, а все понимает! Обожаю таких: все понимают, но пальцем не пошевелят.

Йозвиг (Куртхену): Ты с директором говоришь.

Куртхен: Подумаешь, директор! Я сам себе директор. Знал бы ты, за кого я здесь отдуваюсь!

Йозвиг (с некоторой угрозой): Мы теперь частенько будем видеться.

Куртхен (обращаясь к потолку): Один-то уж раз во всяком случае.

Гимпель (Йозвигу): Оставьте! Не надо преждевременно вызывать раздражение. (Психологам.) Есть у кого-нибудь вопросы?

У всех есть вопросы, но каждый уступает другому честь быть первым, соответствующие галантные жесты в сторону кровати, на которой возлежит Куртхен и сию я.

Первый психолог (Куртхену): Разрешите поинтересоваться, вы росли одиноко или в обществе сверстников, товарищей детских игр?

Куртхен (с минуту молчит, потом враждебно): Раз это вас интересует, извольте! Я рос по соседству с богадельней. Товарищами моих игр были престарелые, младшему исполнилось семьдесят шесть. Мы играли с ним в песочек, и я прихлопнул его лопаткой.

Первый психолог (с кисло-сладкой улыбкой): Вопрос мой имеет свои основания.

Куртхен: Охотно верю. Но я устал. Потом это единственное, что пришло мне в голову.

Психолог с записной книжкой (ко мне): Тут кое-что еще остается неясным. Вы утверждаете, что спасали картины, находившиеся под угрозой огня. Означает ли это, что вы исключаете слово «воровство»?

Я (Куртхену): Что бы это значило? И на меня напала усталость. Может, это погода?

Куртхен (приподнявшись на локте, психологу с записной книжкой): И вам еще не надоело? Вы же видите, малыш устал. Что еще вам желательно здесь подглядеть? Давай, Зигги, ложись! (Заставляет меня лечь.) Я буду тебя гладить, пока ты не уснешь.

Я: Но у нашей постели народ, Куртхен.

Куртхен (с иронией): Не бойся, малыш, так уж они воспитаны.

Гимпель (спасая положение): Полагаю, господа, у вас уже создалось известное впечатление. С главным вы познакомились. С вашего разрешения, мы теперь отправимся в восьмую комнату.

Директор Гимпель и психологи с более или менее дружескими приветствиями отбывают. Йозвиг явно старается выйти последним.

Йозвиг (огорченно): От вас я, признаться, ждал большего. Представление получилось не сказать чтоб удачное. Но ничего, мы вас еще перекуем.

Куртхен: Захлопни пасть, не то кишки застудишь, да и нам сквозняки ни к чему.

Йозвиг уходит и закрывает за собой дверь. Куртхен вскакивает, идет к двери и прислушивается к шагам удаляющейся делегации.

Куртхен: Влипли мы как следует. Но меня ты тут долго не увидишь. Я сбегу.

Я: Если поймают, восемь суток ареста. Сказано в правилах внутреннего распорядка.

Куртхен: Значит, это можно проделывать два раза в месяц. Есть покурить?

Я протягиваю ему сигарету, зажигаю спичку, мы закуриваем.

Куртхен: Послушай меня, малыш, нам надо пробраться на баркас. Как-нибудь прошмыгнем и спрячемся.

Я: На меня не рассчитывай.

Куртхен: Ты что, с ума сбрендил?

Я: Мне там деваться некуда. Ни прятки, ни родного угла. На вокзале не очень-то рассидишься.

Куртхен: Останешься со мной. У нас в Лангенхорнв огородишко на окраине. В беседке нас никто не найдет.

Я: На меня не рассчитывай. С меня на первый раз хватит. Мне нужна передышка.

Куртхен: Ты и впрямь из-за угла мешком напуган.

Я: Может, как-нибудь попозже. А сейчас не пойдет. Очень уж мне досталось. Попробовал бы ты пожить с этими людьми в Ругбюле.

Куртхен: Твой отец в самом деле служит в полиции?

Я: Он всех нас доконал. На совесть похозьяничал на участке Ругбюль — Глюзеруп, да и в своем семействе. Такого не приходится учить, что и как делать. Ему только прикажи, он и пойдет ломить не оглядываясь.

Куртхен (подходит к окну и выглядывает наружу): Мне тошно, когда я это вижу — эта коробка напротив, эти мастерские и бараки. И песчаные поля. А Эльба — такой захлавленной я ее нигде не видел. Я тут просто не выдержу. Как можно с этим мириться?

Я: Можно, если сравнить с тем, что было.

Куртхен: Ты все же порядочный слюнтяй, как я погляжу. (Задумчиво.) А жаль, что у меня сорвалось.

Я: Радуйся, что так получилось.

Слышатся шаги, дверь открывается, входит директор Гимпель.

Директор Гимпель: Вот и хорошо, что у вас сон прошел и, значит, мне не в чем себя упрекнуть. Я пришел к вам с предложением. Пока вы здесь, на приемном пункте, незачем вам киснуть в четырех стенах, в вашем распоряжении весь остров. Если не возражаете пройтись, я к вашим услугам, случайно у меня нашлось полчаса свободных.

Куртхен: Спасибочко за букет. Мне вполне хватает этого пейзажа. (Обращаясь ко мне.) Может, тебе не терпится здесь всмотреться?

Я: Как-нибудь в другой раз. Успеется.

Гимпель (присаживается на стол): Сегодня у нас, кстати, музыкальный день и, значит, слушайте радио сколько вздумается.

Куртхен: Вот как? Он у вас прозывается музыкальный?

Гимпель (держится таким лихим малым, душа нараспашку): Вы здесь скоро освоитесь. У нас каждый день недели имеет свои название: понедельник — тихий день, мы читаем; вторник — день санитарный, смотр одежды и обуви; сегодня, как уже сказано, музыкальный день, четверг — день здоровья, мы занимаемся спортом; пятница — день размышлений, пишем сочинения; суббота — веселый день, мы музицируем, выступает наш веселый островной хор под моим, кстати, управлением, рад буду вас в нем приветствовать; и, наконец, воскресенье — день созерцательный, мы пишем письма, штопаем, беседуем.

Испытующе смотрит на нас, словно требуя взрыва восторженных восклицаний.

Куртхен: Что ж, вполне, по крайней мере ни одного дня мерзопакостного.

Гимпель (без малейшего смущения): Тот, кому удастся попасть в островной хор, пользуется известными привилегиями; его дважды в неделю на два часа освобождают от работы.

Куртхен (обращаясь ко мне): Ну, малыш, спой нам что-нибудь, покажи свое искусство.

Директор Гимпель (все так же терпеливо): А вы уже подумали о выборе работы? Мне кажется, раз вы живете в одной комнате, вам и работать захочется в одном месте?

Куртхен: Работать? А что вы можете нам предложить?

Я: В приговоре ни слова нет о работе.

Гимпель (широковещательно): В наших новых мастерских есть чему поучиться. Здесь при желании вы можете приобрести любую специальность, сделаться плотником, слесарем, маляром, садовником, да кем угодно. Хотите — портным. И даже электросварщиком. Можете заработать свидетельство подмастерья.

Куртхен: Еще бы, с красивой тюремной печатью!

Гимпель: С печатью и за подписью мастера. Экзамены принимаются в профсоюзной организации.

Куртхен (мне): Что скажешь, малыш? Какую нам выбрать специальность? Раз уж без этого нельзя?

Гимпель: Никто вас, разумеется, не заставляет избрать специальность. Другое дело — работать. Работать на острове обязан каждый. И за работой дело у нас не станет.

Куртхен: В акробатах тут поди не нуждаются? Скажем, силовые номера?

Гимпель (спускается со стола и расхаживает по комнате, заложив руки за спину): Вам еще многому предстоит поучиться. И многое уразуметь. (Задумчиво.) Жизнь на острове чревата для вас неожиданностями, которые, очевидно, будут приняты не беспрекословно. Вам, видимо, еще не известно, какая связь существует между работой и хлебом. Не важно, здесь, на острове, вам это втолкуют. Вы постигнете необходимость повиновения, а когда-нибудь, смею надеяться, и радость ответственности. Все, что нам необходимо на этом острове, нами же и создано: здания, инструменты, идеалы — даже идеалы. Мы — сообщество, островное сообщество, которое само определяет, что ему нужно. Готовность — вот чего мы от вас ждем.

Если вы готовы сообразоваться с законами этого острова, для вас откроются новые возможности. Труднее всего начало. (Останавливается перед Куртхеном, оглядывает его с ног до головы, не спеша просовывает руку в карман, нащупывает и осторожно вынимает ножик Куртхена, разглядывает его на ладони. Куртхен весь напрягается.) Это твой ножик, верно? (Куртхен тянется за ножом, Гимпель убирает руку.) Тебе, конечно, известно предписание: приносить с собой оружие строжайше запрещено. Кто по незнанию принес, должен безотлагательно сдать его в дирекцию, комната четвертая. (Пауза. Оба молча смотрят друг на друга. Гимпель передает Куртхену нож и отступает на шаг.) Ты спустишься вниз, сейчас же. Сдашь ножик в комнате четвертой и покажешь мне расписку. А теперь ступай. (Куртхен медлит, вертит нож в руках.) Ну что? Прикажешь рассказать дорогу?

Куртхен с ненавистью оглядывает Гимпеля, медленно к нему подходит, проходит мимо и оборачивается на пороге.

Куртхен: Со мной вы нарветесь, предупреждаю для ясности, со мной это не пройдет.

Выходит из комнаты. Гимпель идет к окну и, широко расставив ноги, наблюдает за Куртхеном до тех пор, пока тот не исчезает в здании дирекции, потом мне через плечо:

Гимпель: Главное, как видишь, начало, надо только начать. Да и для тебя, Зигги, я придумал начало. Что ты скажешь насчет библиотеки? Библиотеку надо заново привести в порядок, составить каталоги. Мне кажется, книгам будет с тобой хорошо.

Я: И это все?

Гимпель (пренебрежительным тоном): Ты мог бы, конечно, работать в веничной мастерской. У нас изготавливаются всевозможные веники.

Я: Я предпочел бы для начала веники.

Гимпель: Почему же?

Я: Сам не знаю. В данное время веники мне ближе.

Гимпель: Можешь еще поразмыслить. У нас дозволено менять место работы. Если хочешь, займись для начала вениками, потом возьмешься за книги.

Дверь с силой отлетает. В комнату, размахивая разбитыми очками, врывается тощий человек, его трясет с перепугу. Это доктор Корбюн. Тяжело дыша, останавливается посреди комнаты, распространяя вокруг себя запах помады.

Гимпель: Милейший доктор Корбюн, опять с вами что-то случилось?

Корбюн: Насилу вас нашел, господин директор! Необходимо, чтобы вы были осведомлены о подобных происшествиях.

Директор Гимпель: На уроке государственного устройства?

Корбюн: На уроке немецкого. Всегда и неизменно на уроках немецкого. Я задал тему для классного сочинения.

Гимпель (разглядывая очки): Разбиты?

Корбюн: У одного из учеников вдруг начались судороги, и он свалился с парты. Оле Плэц. Я хотел оказать ему помощь, и тут поднялся бунт.

Гимпель: Оле Плэц.

Корбюн: Они запретили мне его трогать. Они угрожали мне. Но не мог же я оставить

его без помощи! И в этой суматохе — вот! (Показывает на очки.) Смахнули. Растоптали. И у меня все основания думать, что умышленно.

Гимпель: Мы расследуем. Какую же тему вы им задали?

Корбюн: Тему сочинения? Самую отвлеченную, каждый мог писать что хочет: — «Лишь тот, кто способен повиноваться, способен и приказывать».

Гимпель: Тема полезная.

Корбюн: Двое после урока сдали мне пустые тетради. Я направил их в дирекцию.

Гимпель: Я сейчас ими займусь. (Подает мне руку.) Скоро, Зигги, скоро ты напишешь свое первое сочинение. И ты с этим справишься лучше, я уверен. Итак, дай мне знать твое окончательное решение.

Я: Для начала веничная, это твердо.

Гимпель отнимает у меня руку, растопыривает пальцы и внимательно их разглядывает.

Гимпель: Желаю, чтобы остров понравился тебе, как и ты ему.

Я: Там видно будет.

Оба уходят.

Я беру в зубы окуроч, подхожу к окну и гляжу им вслед. Включаю радио. Выслушиваю сообщение об уровне воды в Эльбе и в Везере. Потом выключаю радио и закрываю окно. Ложусь на кровать, раскидываю ноги и закладываю руки под голову.

## Глава XX Расставание

Покамест я запер свою штрафную работу. Вот уже пять дней, как мои аккуратно сложенные в стопку темно-серые тетради лежат в железном шкафчике слева, шкафчик заперт на ключ, ключ спрятан в кожаный кошелек, плоский кожаный кошелек висит у меня на шнурке за пазухой и трется о грудь. Йозвиг в конце концов перестал справляться о моей работе, он не знает, закончил я ее или только прервал на время, а может, и не хочет знать, ток как в то утро, когда он, заглянув в глазок, удостоверился, что я не пишу, что стол мой опустел, а испещренный зарубками табурет задвинут под стол, он, далеко откинувшись назад и прибегая к помощи подбородка, притащил ко мне в камеру целую башню белых картонок из-под обуви и, свалив эту ношу на опустевший стол, напомнил мне мое обещание помочь ему рассортировать его коллекцию старых денег.

Итак, мы принялись сортировать, разглаживать и подклеивать купюры, а также раскладывать их по картонкам, надписав каждую синим карандашом и наказав им энергичным шрифтом быть отныне тюремными камерами для целых эпох — периодов обращения тех или других дензнаков, — а также для представленных на монетах и банкнотах властителей и банкиров, преимущественно с бородой, но неизменно с твердой уверенностью и твердой гарантией во взоре. Чтобы уместись достояние Йозвига по части кайзеровской Германии, равно как и по Веймарской республике, а также за последние двенадцать лет, хватило картонок по одной на каждый период, и только для купюр времен инфляции их понадобилось две с половиной. В благодарность за помощь Йозвиг подарил мне пятьдесят миллионов.

Прошло пять дней, а я все еще не едал свою работу. Один только раз открыл шкафчик и вынул тетради, в так называемый «веселый» день, когда мне впервые разрешили посещения и ко мне наведалься Хильке. До чего коротко она теперь стрижется. И какая неизбывная горечь в уголках ее губ. Как безучастен и тускл ее взгляд — будто тусклый день на ругбюльском побережье. Войдя, она приветствовала меня пакетиком сластей и слабым рукопожатием и опустила на табурет с таким же вздохом, с каким обычно усаживалась наша мать, обвела мою камеру неторопливым взглядом и даже спросила, не изменилось ли тут что, ей, мол, кажется, будто изменилось. Я промолчал, она вскинула на меня глаза и,

должно быть почувствовав мое разочарование или недовольство, спросила, как подвигается штрафная работа, быть может, я уже отдал ее и мне поставили балл?

Тогда-то я и отпер железный шкафчик, достал тетради и выложил всю стопку перед ней на стол. Хильке положила на нее руку. Она расправила загнутые кое-где уголки страниц. Мясистыми пальцами погладила этикетку и улыбнулась мне. Прошло немало времени, прежде чем она догадалась раскрыть тетрадь — причем даже не верхнюю — и принялась читать, но не расслабившись, а в напряженной позе, словно собираясь мне в одолжение взять дробу. Она читала, наморщив лоб, и, только наткнувшись на что-то знакомое, что *ж* у нее сохранилось в памяти, вдруг принялась увлеченно и беспорядочно припоминать подробности, подтверждая или просто повторяя вслух: — Ах да, чайки и гроза, как же, как же, день рождения доктора Бусбека, а это про Хольмсенов, обоих уже нет в живых, человек в алой мантии, еще бы, припоминаю, и как ты только не забыл все эти имена, да тут и художник на дамбе, когда задувает норд-вест, ах, Асмус Асмуссен, он ведь поселился в Глюзерупе, Аддина болезнь — ты и это не забыл, а вот и полдень на отмели и твой тайник в мельнице, нашей старой тележки уже и в помине нет, Хайни Бунье эмигрировал, и дались же тебе мои ноги, а вот и Окко Бродерсен, наш одорукий почтальон, он, кстати, вышел на пенсию, а уж ругбюльский полицейский — чего ты только о нем не знаешь... Но так ли это все было? Разве он иногда не рассказывал нам всякие истории? А вспомни наше сухое жаркое лето. И как мать возила нас гулять в тележке молочника. Она ведь бывала и другой. Вспомни, как художник, случалось, целыми днями слова не проронит. И Ругбюль зимой, когда рвы замерзают и на полях блестит изморозь, или осень, когда мы лежим в яблоневом саду и слушаем, как падают яблоки. И теплые вечера на дамбе, когда жужжат майские жуки... Я все это непременно прочитаю, Зигги, не сегодня, но совсем, совсем скоро.

Она вернула мне тетради и, пока я их записал, обещала, что не только скоро опять придет, но и вообще станет часто меня навещать, благо это уже возможно: она окончательно рассталась с Ругбюлем и еще сегодня собирается в отель «Фатерланд» договориться насчет места кельнерши; там во второй половине дня выступает «Варьете», а вечерами играет «Трио Альстер» под управлением Адди. Хильке торопилась.

Пять дней, а я все не могу расстаться с моей штрафной работой. Временами, в тихие дождливые дни, когда из мастерских не доносилось ни звука, когда баркас не выгружал на берег психологов и ни пронзительные свистки, ни команды, ни беглый шаг не нарушали тишину, в такие дни мне подчас приходило в голову, что о моем существовании забыли. Мне казалось, будто на остров махнули рукой, бросили его на произвол судьбы, выдали на расправу чайкам и воронам, пока наконец в один прекрасный день мне пришлось убедиться, что я тут не один и что кто-то, хоть и на расстоянии, за мной неотступно наблюдает.

Нынче с утра я меньше всего рассчитывал, что меня вызовет к себе директор Гимпель.

— Давай, давай, — сказал мне Йозвиг. — Встань, причешись и надень свой парад: в дирекции по тебе соскучились. Да не забудь прихватить свидетельство своего прилежания. — Он проводил меня до привратницкой, а гам оставил одного, и я, нисколько не торопясь предстать перед директором с перевязанными бечевкой тетрадями, потрепал на ходу бюст сенатора Рибензама, задержался у глядящего в подъямок зарешеченного кухонного окошка, пока меня не прогнала кухарка, выражавшая свои чувства к нам той жратвой, коей нас угощала, и, повстречав собаку директора, которая в трогательном единении с другой, не знакомой мне собакой, словно в душевной беседе на философские темы, спускалась к побережью, ускорил их шаг, открыв по ним огонь валявшимися вокруг обломками черепицы.

Дальше я направился не по утрамбованной площади, а задами и, обойдя мастерские с тылу, мимо грядок зеленой, белой, красной и брюссельской капусты, вышел на вихляющую дорожку, что ведет не только к зданию дирекции, но и к причальному понтону.

Стояла высокая вода. Я ступил на понтон; поднимаясь и опускаясь, он поскрипывал в своих висячих креплениях и не только двигался под дыханием ветра, но, казалось, и сам дышал: плохо пригнанные доски ходили под ногами. Короткие колышущиеся волны. Ветер приминал и прочесывал камыш, где и взять-то было нечего. На большом песчаном поле жгли

картофельную ботву, и ветер прижимал к Эльбе серые и ядовито-зеленые клубы дыма, так что с понтона казалось, будто мы, разведя пары, плывем вниз по реке, весь остров плыл, дымя, мимо осенних берегов, движимый картофельными кострами и нашим желецием бежать из этих мест в более теплые и отрадные края.

Тут углядела меня секретарша Гимпеля и, открыв окно, свистнула и закивала мне; я закивал в ответ и поплелся к зданию дирекции. Повсюду, на лестнице, в коридорах и уборных хозяйничали маляры. Здесь смывали и паяльной лампой сжигали многочисленные слои масляной краски, там подрисовывали плитуса. Маляры балансировали на подмостках, приседали перед порогами, волынили у подоконников, тут собралось более сорока трудновоспитуемых, которых уговорили податься в маляры. Среди них попался мне Эдди Зиллус, остальные были мне почти незнакомы, но если я почти никого не знал, то они, по-видимому, меня знали: они шушукались, свистели, перестукивались, и этот стук провожал меня по лестнице. Они салютовали мне, выбивая дробь черенками своих шпателей, метел, кистей; то был форменный салют, воздание почестей, и это подтверждали их лица.

Кого же они приветствовали? Старшего товарища? Приговоренного к штрафной работе? Или свой эталон неукротимого упрямства? «Для этих, там, — поведал мне однажды Йозвиг, — ты допотопный зверь, легенда, быть может, даже символ: когда они недовольны, они равняются на тебя». Во всяком случае, маляры выстукивали свой салют, пока я сам не постучался к Гимпелю и, только вступив в его кабинет, услышал, как шпатели, метлы и кисти возвращаются к своим обязанностям.

Гимпель ждал меня в рубашке и брюках гольф, над его курткой трудились обе секретарши, они терли ее, скребли, отчищали скипидаром. Указав одной рукой на коридор, а другой с прискорбием на куртку, он сказал:

— Маляры, ты видел, Зигги, у нас сегодня работают маляры.

К лацкану куртки был пристегнут жетон с его именем, из чего я заключил, что он хоть и не сию минуту, но собирается в Гамбург на какой-то конгресс. В настроении ли я присесть, выпить с ним чашку чаю и в виде исключения выкурить сигарету? Да, в настроении. Я положил свой сверток на письменный стол, а сам сел и стал наблюдать за тем, как он короткими порхающими движениями рук, а особенно прищелкиванием языка подгоняет секретарш, которые не отрываясь, с отменным усердием старались удалить и самые незаметные пятнышки, как он ритмично постукивает ногой в знак того, что спешит, и как наконец, выхватив у них куртку, он для начала накинул ее на плечи.

— Я вижу, Зигги, ты присел, сейчас нам дадут чай, он, кстати, уже налит, а пока что побеседуем. — Гимпель остановил на мне долгий взгляд. Походил вокруг моей особы и вокруг письменного стола. Быстро и Энергично прошелся по клавишам рояля: дим-да-да! Уразумел ли я, почему дирекция разрешила мне так долго писать штрафную работу? Нет? А тогда он мне пояснит.

Дирекция хотела дать некий пример — это в первую очередь, — пример того, как она ценит и поощряет подобный случай добровольного самосознания и самоосуждения со стороны молодого человека, поощряет — до известных границ. Мне разрешили так долго писать свою работу, поскольку было признано, что я готов надлежащим образом развить тему, выявить заключенные в ней возможности. От него, Гимпеля, впрочем, не укрылось и нечто другое: он обнаружили, в какой мере я все же угодил в западню воспоминаний, но решил предоставить мне самостоятельно выпутаться из их плена. А кроме того, он установил, что наказание, возложенное на меня, не идет в сравнение с тем, какому подверг себя я сам, настояв на том, чтобы довести работу до конца. Но теперь довольно. Дальше это продолжаться не может. Допустимые границы тут кончаются.

Нет ли у меня каких-либо замечаний? Нет? Тогда ему хотелось бы знать, что я скажу, если он предложит мне в течение десяти дней навсегда покинуть этот остров? Дим-да-да! По делу моему вынесено решение о досрочном освобождении, и я волен отправляться куда хочу, профессии я так и не приобрел, о чем он весьма сожалеет, но достигнутые мной результаты в веничной мастерской и в островной библиотеке настолько превышают обычный уровень, что

это позволяет ему снабдить меня соответствующими рекомендациями. Так это решено? Да, и решено бесповоротно, ни о какой новой отсрочке и речи быть не может. Даже на несколько недель? Даже на несколько недель. Но ведь работа еще не закончена! Не важно, подобная работа может иметь только условный конец. Этого вполне достаточно. Когда же мне сдать ее? Завтра утром. И это бесповоротное решение? Да, бесповоротное, он будет ждать меня к восьми часам. Дим-да-да! Все ли тетради здесь налицо? Да, но мне хотелось бы оставить их у себя до завтра. Ведь это можно? Само собой, итак, завтра в восемь утра. И обдумай свой ответ малой комиссии. Ответ? Тебя спросят, что ты намерен делать после освобождения. А теперь он просит прощения, он едет в город. На конгресс, разумеется международный.

Тут уж было не до напоминания об обещанном чае и обещанной сигарете, я взял связку тетрадей, откланялся, вышел и уже без должного интереса и, каюсь, без должной благодарности проследовал по улице Салютов, которую дружным стуком распахнули передо мной сорок трудновоспитуемых маляров.

Итак, освобождение. Итак, сдача штрафной работы. Что же мне оставалось теперь? Что надвигается на меня? Что меня ждет впереди? Я поспешил прочь из здания дирекции, но не вернулся в камеру, а, рискуя поставить под вопрос досрочное свое освобождение, направился на сей раз по утрамбованной площади, миновал слесарно-механическую мастерскую и арестантскую, где увидел в окне неподвижную физиономию Оле Плэца, который отсиживал на сей раз не обычные восемь дней за попытку побега, а двадцать один день — он умудрился облегчить содержимое сумки практикантки-психолога, проходившей на острове научную стажировку, — а затем свернул к веничной мастерской и отворил дверь.

Был обеденный перерыв, машины бездействовали. Меня обдало запахом сосновой древесины и клея. Здесь стояла дисковая пила, а также штамповальный, фрезерный и сверлильный станки. Меня осенило: я вложил в штамповальный станок тщательно сложенную стопку тетрадей, включил рубильник, проштамповал по верхнему левому краю тетрадей отверстие и продел в него шнурок, концы я связал, так что тетради повисли на шнурке, как нанизанные на бечевку битые куропатки. Перебросив шнурок через плечо, я вышел и с видом беспечного охотника побрел по краю картофельного поля к Эльбе и уселся под выгоревшим на солнце столбом с повернутой к реке предостерегающей табличкой.

Я сидел и курил, поглядывая на идущее из Гамбурга кабельное судно. Что же мне делать по выходе на волю? Куда податься, где найти приют? Как вернуться в Ругбюль, когда ни Клааса, ни Хильке там уже нет? Но если даже остаться в Гамбурге, разве я уйду от Ругбюля?

Это было английское кабельное судно, оно шло с глубокой осадкой. В какие моря погрузит оно свою кладь, какие страны свяжет друг с другом? Мой кабель, я знаю, не минует Ругбюля, один его конец будет неизменно упираться в неоштукатуренный кирпичный домик, откуда, стоит мне снять трубку, непременно гаркнет голос: «У телефона ругбюльский полицейский пост». Никакие события, никакие море и землетрясения не оборвут эту связь, я навсегда подключен к тем местам. Тут не помогут попытки увернуться, заткнуть уши, и тем более не поможет бегство. Достаточно мне напрячь слух, как в ушах моих раздастся жужжание и потрескивание, а когда мне доложится тот голос, я сразу услышу вдали плачущий чайный крик, предо мной развернется широкая равнина, под ветром соберутся крестьянские усадьбы и я услышу рев пенистого прибоя, омывающего буны. Ругбюль неизменно и всегда со мной, это место, которое я исследовал вдоль и поперек и которое все же не ответило мне еще на многие вопросы. Так не сдаваться же! И под сумасшедший чайный крик, под неустанный грохот волн и шуршание ветра в наших живых изгородах я не перестаю вновь и вновь задавать вопросы.

Я спрашиваю, кто стучится к нам в дверь в грозу и попыхивает из печи колеблющимися клубами дыма? И спрашиваю, почему у нас так презирают больных, а тех, кто «зырит будущее», встречают с трепетом и чуть ли не со страхом? Кто печется о темноте и о жизни без просвета, кто варит в болотах пузырящийся суп и кутает плечи туманом, кто вздыхает вместе с чердачными балками и свистит с кофейниками и горшками, кто сшибает ворон на



лету и швыряет их в поле? И еще я спрашиваю себя, почему они отмежевываются от чужих и презирают их помощь? И почему неспособны остановиться на полпути и опомниться? Кто, глядя на ночь, чернит наши пастбища и штурмует сараи? И еще я спрашиваю, почему люди у нас и дальше и яснее видят вечерами, нежели днем, и почему так заносятся, выполняя какое-то поручение? А эта молчаливая прожорливость, эта уверенность в своей правоте, это краеведение, заслоняющее от них другие места и страны, я и их спрашиваю. И я допрашиваю их походку, их взгляды и слова и не могу удовлетвориться тем, что узнаю.

Итак, я выкурил под табличкой сигарету, зарыл окурки и, до того как уйти, начертил каблуком в мокром песке слово «дерьмо». Шагая вдоль побережья мимо камышей, куда ночами прячутся перелетные птицы, я обошел пол-острова, и никто меня не видел и не слышал, даже собаки не видели: они сидели на задних лапах, сидели в согласии рядом и глядели на Эльбу, в сторону Гамбурга, словно дожидаясь своего парохода.

Назад. Я побрел к себе назад и нашел надзирательскую пустой, очевидно, Йозвиг обедал. Ящики его письменного стола не содержали ничего нового; все тот же съездившийся и окончательно окаменевший бутерброд с сыром и по-прежнему в конверте старые деньги, очевидно, для обмена. Новостью оказалась примерно двадцатилетняя макрель; нежно фосфоресцируя, она исподволь разлагалась и наполняла стеклянную конуру такой густой вонью, к которой трудно было привыкнуть даже при самых нежных чувствах к нашему любимому надзирателю.

Да не забыть бы письмо, начатое письмо, к моему удивлению, адресованное мне и начинающееся столь характерным для Йозвига образом: «Милый Зигги, скоро ты покинешь наш остров, уедешь туда, где ждет тебя жизнь. И очевидно, скоро нас забудешь. Нам, однако, не так легко с тобой расстаться, и не потому, что мы не сочувствуем твоей удаче, а потому, что прикипели к тебе сердцем. Но такова жизнь. Я всегда говорю, что наша судьба на этом острове похожа на судьбу учителей: не успеешь привязаться к человеку, как он тебя покидает».

Больше Йозвигу покамест ничего не пришло на ум. Стало быть, и ему известно мое предстоящее освобождение, видно, это дело решенное. И видно, работу мою хочешь не хочешь придется сдать. Прочтет ли ее Гимпель? Прочтет ли ее Корбюн и поставит ли мне отметку?

А дальше? Перекочуют ли мои тетради на полку, чтобы там умереть незаметной архивной смертью? Или их выбросят на мусорную свалку? Или Корбюн отдаст их внуку, чтобы карапуз не портил книги цветными карандашами? А может быть, их передадут дальше, в органы надзора за несовершеннолетними? Но что мне до того. Мне больше нечего добавить к написанному. У меня остаются только вопросы, на которые никто мне не ответит. Даже художник, даже он.

На сей раз Йозвиг подошел тихонько и внезапно вырос за стеклянной дверью, он постучал, ухмыльнулся и поднял голову к переговорному оконцу.

— Прошу вернуться в камеру два под арест! — Я вышел к нему в коридор. — А ведь, в сущности, было бы неплохо, Зигги, подумай хорошенько, чтобы тебе поступить сюда в надзиратели? Наденешь форму, получишь связку ключей, пройдешь специальное обучение. Тебе будут повиноваться. Впереди обеспеченная старость. При очередном пополнении наших рядов у тебя неплохие шансы. Обдумай это!

— Лучше не надо! — отвечал я и, перекинув связку через плечо, без дальнейших слов направился впереди него к своей камере. Он отпер дверь. Сперва дал мне войти, а потом последовал за мной. Йозвиг достал себе табурет, а я подошел к окну и увидел на причальном понтоне Гимпеля; наш директор изо всех сил махал баркасам, которые, перемалывая воду, шли наискось вверх по течению.

— Значит, твой срок истекает?

— Какой срок?

— Твой срок на острове?

— На то похоже.

- И ты небось рад?
- Чему рад?
- Вырваться отсюда, уехать и там начать что-то новое?
- А что, собственно?
- Может, что-нибудь такое, что будешь делать совсем один, сам себе хозяин?
- Такого не бывает, во всякое хлебово, которое ты замесил, кто-то уже успел

наплевать. — Тут Йозвиг, шаркая, подошел к окну и стал со мной рядом, я чувствовал, ему хочется сказать мне что-то легкое, утешительное, даже умиротворяющее, во он так ничего и не нашел, единственное, что пришло ему в голову, — это посоветовать, раз уж мне на прощание положено заказное блюдо, просить камбалу по-финкенвердерски, на сале, он бы на моем месте это потребовал. Я обещал помнить его совет. Простясь со мной робким прикосновением, он оставил меня одного. Как осторожно, как участливо он умел при желании запретить камеру и с какой деликатностью удалиться, когда этого хотел.

Уже пять дней, как штрафная работа окончена, завтра я обязан ее сдать. Обязан? Дело не в результатах, сказал как-то Гимпель, а в твоём отношении и упорстве, которые приводят к желаемым результатам. Но поскольку он удовлетворен моим упорством, на что ему сдались мои тетради? Я мог бы спокойно подарить их Хильке, или Вольфгангу Макенроту, или безучастно текущей Эльбе, мог бы бросить в костер или после моего освобождения продать на вес как макулатуру. Возможности? Есть еще возможности. Только удастся ли их осуществить?

Окруженный знакомыми лицами, осаждаемый воспоминаниями, перенасыщенный событиями в моем родном краю, постигнув на горьком опыте, что время ничего, ровно ничего не излечивает, я знаю, что мне делать, что я и сделаю завтра утром. Потерплю крушение на Ругбюле? Пожалуй, это можно и так назвать.

Во всяком случае, я встану в шесть утра, когда бесноватые свистки надзирателей зальются в коридорах, когда во всех камерах вспыхнет свет и к смотровым оконцам в дверях припадут глаза. Прежде чем подойти к раковине, умыться и побриться, я, как всегда, обследую Эльбу, понаблюдаю с минуту слабо поблескивающие в сумерках огни, их равномерное, почти торжественное движение и с легким чувством головокружения выкурю первую сигарету.

Я надену парадную форму и впусти Йозвига, который принесет мне на подносе завтрак — жидкий кофе и два ломтя хлеба с джемом, изготавливаемым на острове из четырех сортов ягод, и, как обычно, удовлетворюсь одним ломтем, но не премину слизать джем с другого. Во время еды я буду слушать пение, которым трудновоспитуемые подростки внизу, в столовой, приветствуют утро, — песня, конечно, тоже местного изготовления.

А потом? Если будет переключка, явлюсь, отмечусь, как сотни раз отмечался на штрафную работу, и вернусь в камеру, откуда мне видны часы на здании дирекции. Выну из железного шкафчика тетради, сяду за стол и стану почитывать и курить, а может быть, и не стану, пожалуй, до прихода Йозвига засяду играть в головоломку, которую оставила мне давеча Хильке, быть может, мне удастся одновременно загнать в мышеловку всех трех мышей. Я не стану принимать решения, размышлять, строить планы, заранее готовить убедительные слова и жесты, а когда придет время, отправлюсь в дирекцию с тетрадями на шнурке, вышагивая молча рядом с Йозвигом, который, как я предвижу, обдернет на мне куртку и пригладит мой вихор до того, как ввести меня к Гимпелю.

А Гимпель? Он встретит меня с веселым и довольным видом и будет держаться со мной по-приятельски, положит мне руку на плечо, а если ему этим утром удалась очередная песенка, возможно, предложит чашку чаю. Я положу штрафную работу ему на стол; он раздумчиво, одобрительно кивая, полистает ее, не утруждая себя чтением. Приглашающий жест — и мы сядем и будем неподвижно сидеть друг против друга, довольные собой, потому что каждый будет считать, что он эту игру выиграл.

## Ругбюльские уроки Зигги Йепсена

Итак, мы только что простились с юным нарушителем западногерманских порядков Зигги Йепсеном, узником колонии для несовершеннолетних. Простились в тот момент, когда в его жизни произошли сразу три знаменательных события: ему исполнился 21 год и он достиг совершеннолетия, завтра он должен выйти из колонии на волю, и он закончил, наконец, свой штрафной урок.

Мы были свидетелями того, как был засажен он в камеру писать несданное в классе сочинение «Радости исполненного долга». Как эта работа, тема которой пришлось так неожиданно впору всему пережитому Зигги, стала его неодолимой потребностью, его жизнью на долгие недели и месяцы, выторгованные этим юным упрямым для завершения своего штрафного урока. На наших глазах — эпизод за эпизодом, кадр за кадром — он воссоздал историю, случившуюся на переломе войны в далекой немецкой провинции, в заштатном местечке Ругбюль, и перед нами прошли все ее герои: поселившийся неподалеку от Ругбюля знаменитый художник-экспрессионист Макс Людвиг Хансен, искусство которого гитлеровцы объявили вырожденческим, когда он отказался с ними сотрудничать; упрямая, деспотичная мать Зигги, его юная сестра, уже надломленная семейным гнетом, его отец — ругбюльский полицейский постовой Йенс Оле Йепсен, ретивый службист, «безотказное орудие», «добросовестный исполнитель» приказов, как говорит о нем Зигги. Мы видели, с какой неутомимой беспощадностью стал преследовать он художника, своего земляка и друга детства, когда ему поручено было конфисковать все написанное Хансеном за последние годы и надзирать за исполнением приказа о запрете художнику писать картины впредь; видели, как преследование это превратилось постепенно в навязчивую идею, в болезнь, как даже и после войны, когда запрет утратил силу, продолжал он упрямо стоять на своем и как, движимый все той же безоглядной готовностью неукоснительно выполнять свои обязанности, выдал властям собственного сына Клааса, прострелившего себе руку и дезертировавшего из армии. И наконец, нам пришлось увидеть и то, как страх и трепет перед отцом, отчаянное чувство, что ничто не в безопасности перед его твердолобым упорством, проросли в маленьком Зигги, влюбленном в художника, в его картины, мучительной душевной болезнью — и вот то за одной, то за другой картиной художника ему стал чудиться знак подстерегающей их опасности, сжигающий огонь, — и он начал выкрадывать их, прятать в тайники для сохранности, до лучших времен, за что в конце концов и угодил в колонию...

Мир этих образов, та страшная действительность нацистской Германии, которая встает за ними, да, наконец, и самая сложность, художественная многозначность этого мастерски написанного романа — все это представляет нам Зигфрида Ленца с новой, может быть несколько неожиданной стороны. Ведь до сих пор имя этого видного западногерманского писателя было известно русскому читателю только по его рассказам. Они охотно печатались нашей периодикой, в прошлом году вышли отдельным сборником («Благондежный гражданин и другие рассказы», М., «Прогресс», 1970); в них внимание писателя было обращено почти исключительно к нынешнему дню западногерманской действительности, к быту, нравам, судьбам людей, показательным для 50—60-х годов. Рассказы эти, безусловно, подтверждали репутацию Ленца-новеллиста как острого, ироничного наблюдателя современной жизни, но, в общем, не отличались какими-либо выдающимися художественными достоинствами и не выходили, как правило, за рамки социально-бытовой литературной живописи нравоописательного характера.

И все же «Урок немецкого» Зигфрида Ленца — не что-то неожиданное для его творчества (хотя, по общему признанию критики, и превосходит все, доселе им написанное). Талантливый представитель молодого послевоенного поколения немецких писателей, Зигфрид Ленц давно уже известен у себя на родине не только как новеллист, но и как автор нескольких крупных романов, многих популярных радиодрам, пьесы «Время невинных», с успехом поставленной Гамбургским театром. Для этих ведущих жанров его творчества как раз и характерно обращение к острым социальным, психологическим и философским

проблемам, связанным с осознанием уроков недавней немецкой истории, — проблематика, не случайно ставшая центральной для многих прогрессивных писателей ФРГ.

«Урок немецкого», последний и самый крупный роман Зигфрида Ленца, продолжает именно эту линию его творчества, знакомит нас с Зигфридом Ленцем в его главном писательском облике. И действительно — он знакомит нас с Ленцем, достигшим поры настоящей художественной зрелости. Во всяком случае он вполне оправдывает ту славу, которую принес своему автору, впервые сделав имя Зигфрида Ленца широко известным за пределами его родины как имя мастера большой прозы.

## 2

Смысл обращения Зигфрида Ленца к нацистскому прошлому своей родины достаточно отчетливо обозначен уже названием романа, его прозрачной иносказательностью. Правда, может показаться несколько странным, что свой урок немецкого Зигфрид Ленц проводит на полупустынном берегу Северного моря, в провинциальной глуши, где и весь-то «новый порядок» представлен одиноким домом ругбюльского полицейского.

Но разве не прав художник Макс Людвиг Нансен, когда утверждает: «Все, что случается на белом свете, случается у нас»?.. Для искусства вовсе не обязательна внешняя масштабность изображения, чтобы достичь внутренней; в том, что произошло между ругбюльским полицейским, его непокорным сыном и художником Нансеном (прототипом для этого образа послужил, судя по всему, известный немецкий художник-экспрессионист Эмиль Но льде), Зигфрид Ленц сумел показать черты времени, достаточно существенные для жизни всей тогдашней Германии. Дело здесь не только в том, что подобные истории были вполне рядовыми житейскими «сюжетами» в нацистской Германии, где преследование всяческого инакомыслия, в том числе художественного, стало чуть ли не главной заботой «нового порядка». Еще важнее здесь тот обнимающий все эти «рядовые» события мрачный колорит, то гнетущее ощущение придавленности, почти отчаяния перед торжествующей силой тупого подчинения «приказу», «закону» и «порядку», которое возникает от рассказа Зигги. Оно-то и придает частному случаю, изображенному Ленцем, обобщающе-символическое звучание, делает его зеркалом той всеобщей ситуации фанатизма, насилия и страха, которая определяла самое существо жизни гитлеровской Германии. В этом, бесспорно, выразился весь накал ненависти писателя-антифашиста к нацистскому режиму, опозорившему его родину, и смысл его исторического приговора этому позорному прошлому не подлежит никакому двойному толкованию. Не понять этого — значит ничего не понять в романе.

Но понять это — отнюдь еще не значит понять роман до конца. Даже в главных только, ведущих его мотивах. Задержавшись на конкретно-исторической его приуроченности, на его историкотипизирующем значении, мы рискуем, пожалуй, оказаться примерно в том же положении, в каком оказался Вольфганг Макенрот, когда представил на суд Зигги свое дипломное исследование. Читатель помнит, конечно, этого молодого психолога, искренне озабоченного судьбой Зигги, помнит его дипломную работу, написанную как бы в параллель штрафному сочинению Зигги Йепсена. Вольфганг Макенрот попытался дать в ней сжатое, научно точное психопатологическое описание происшедшего с Зигги, и, в общем, это вполне ему удалось. Его характеристики и формулировки ни в чем не противоречат тому, что мы и сами узнаем из романа.

Но вот итоговое заключение Зигги, когда он ознакомился с этой работой: «Нет, Вольфганг Макенрот, все это и так и не так». Он признает: то, что Вольфганг Макенрот здесь пишет, *«тоже»* верно». Но, говорит Зигги, обо всем у него так бегло, мимоходом сказано. И слишком о многом умалчивается. «Например, о том, как туман сгущается в облака или об отлете аистов, о нашей памяти и нашей ненависти, о наших свадьбах и наших зимах...»

Это очень важный, принципиальный момент — реакция Зигги, в ней следует разобраться. Она выводит нас к своеобразию романа, к его художественному и смысловому ядру, уясняет, как и о чем он написан.

Что касается последних слов Зигги Йепсена, то понятно, что они — всего лишь метафора. Речь идет, конечно, не обязательно об отлете аистов или ругбюльских туманах. Зигги имеет здесь в виду и вообще всю ту живую цельность картины, все те живые *подробности*, которые способны дать только искусство.

Но вот вопрос: почему он так настаивает на этих подробностях, почему они так необходимы ему и так не хватает их ему в исследовании Макенрота? Только ли с той точки зрения, что научные формулировки и описания, при всей их *«тоже»* верности, мало что, однако, могут дать, «если вдруг кто-то явится и спросит о месте и людях, которые здесь упомянуты, и захочет повидать это место и людей или, чего доброго, надумает с ними пожить?»?

Нет, дело не только в этом неоспоримом преимуществе искусства перед наукой, в его зримой конкретности, способной дать иллюзию «соприсутствия». Не забудем, что Зигги Йепсен добровольно обрекает себя на многомесячный «штрафной урок» вовсе не из потребности наслаждения художественным творчеством. Во всяком случае, не из одной только эстетической жажды. Ему важно, мучительно важно и необходимо разобраться в том, что произошло, — Ругбюль задает ему неотвязные *вопросы*, не ответив на которые, он просто не может дальше жить. В них, в этих вопросах и ответах — смысл его дальнейшего существования, залог того, что он ответит и на *свои* вопросы, которые задает себе в день своего совершеннолетия: «Кто ты? Куда стремишься? Какую ставишь себе цель?»

Иными словами, в ругбюльской истории его интересует прежде всего ее общезначимый человеческий смысл. Свой *н е м е ц к и й у р о к* он воспринимает для себя прежде всего как духовный, личностно-человеческий, нравственный урок.

Именно поэтому ему и необходимы *подробности* — те живые подробности отношений между людьми, знаки их состояний, чувств, поступков и стремлений, без которых невозможно уловить их индивидуальный человеческий облик. А значит — и смысл происшедшего между ними. Именно оттого и становятся они для него организующим началом повествования, определяют собой характер и движение романа, его художественную фактуру. Мы чувствуем их властную значимость для Зигги во всем: и в напряженно-пристальном вглядывании в каждый из кадров прошлого, которые возникают и проходят перед нами как бы на скорости замедленной съемки, и в задержках на крупных планах, чтобы виднее была каждая деталь, и, наконец, даже в самой избыточности всех этих деталей, обступающих нас со всех сторон, порой словно громоздящихся друг на друга, фиксирующих малейшие, даже, казалось бы, сугубо побочные впечатления, почему-либо сохраненные цепкой памятью Зигги. Да и герои романа — они тоже подчинены этому общему закону замедленного, призывающего к внимательности движения, и фигуры их, возникающие перед нами в разных, всякий раз как бы чуть застывающих ракурсах, обретают благодаря этому не только поразительную натуральность, осязаемую «вещественность», но и ту психологическую, духовную укрупненность, которая делает их одновременно как бы и чуть «остранненными», чуть условными. Недаром так неуловимо напоминают они застывшие, стилизованные образы экспрессионистской живописи Макса Людвига Хансена, о которой рассказывает нам Зигги, — весь этот, по выражению Зигги, «фантастический народец», населяющий его картины. В талантливых пересказах Зигги живопись становится в этом романе прекрасной литературой, но и литература, в свою очередь, словно бы переходит здесь порой в живопись, заимствует от нее некоторые приемы духовного наполнения образа.

Короче говоря, перед нами роман, силовое поле которого всецело определено напряжением того духовного поиска, который предпринят Зигги Йепсеном. Это роман-исследование, роман-проблема, и деталь, подробность потому что становятся структурным его принципом, что они здесь — звенья той единой путеводной нити, которая выводит и нас, и Зигги к его ругбюльским вопросам. Оттого-то мы и не чувствуем в себе сопротивления, погружаясь в плотную, порой словно бы вязкую фактуру повествования, не сетуем, когда Зигги вновь и? вновь расстилает перед нами ругбюльскую равнину, заботливо расставляет по ее насыпным холмам ветряки, приземистые усадьбы, свою любимую бескрылую мельницу,

ведет нас по узкой кирпичной дорожке в дом отца — ведет, чтобы вывести в конце концов к сложной и острой психологической ситуации, смысл которой отнюдь не исчерпывается одной лишь исторической типичностью, но обращен и к нашему нравственному, духовному «я».

Что же это за ситуация и какой человеческий «урок» ищет и находит в ней Зигги?

### 3

Я думаю, читатель обратил внимание, что, прослеживая историю взаимоотношений ругбюльского полицейского и художника Нансена, Зигфрид Ленц особенно пристален к тому, как и отчего нарушилась их дружба. Это не случайно, как не случайно и то, что взаимоотношения именно этих героев — несомненно главная, ведущая тема мемуарной летописи Зигги Йепсена.

Действительно — ведь ненависть к художнику, одержимость в его преследовании появились у ругбюльского полицейского не сразу. Ничего похожего, свидетельствует Зигги, не было, например, в тот первый, памятный день, в ту апрельскую пятницу 1943 года, когда Йенс Оле Йепсен стал собираться в Блеекенварф, дабы вручить художнику только что полученный приказ из Берлина. Мы видели, как смущенно пожал он плечами, встретив жену художника: нет, он не причастен к этой истории и сожалеет о своей миссии. Мы видели его и у Нансена — старые приятели, друзья детства сидели за традиционной рюмочкой джина, и ругбюльский постовой не без сочувствия спрашивал: «Как по-твоему, Макс, чем ты им не угодил? Почему тебе нельзя больше работать?»

Не было у Йенса никакой страсти, никакого особого рвения и позже — в тот день, когда он предъявил художнику к исполнению новый приказ — о конфискации картин. Да, он сразу же дал понять, что не пойдет ни на какую сделку — дружба дружбой, а служба службой. И он честно предупредил Нансена, что будет требовать неукоснительного исполнения приказа, таков уж его долг. Но даже и в этот день он еще пытался как-то утешить художника, наивно и жалко предполагая: «А может статься, они возвратят картины... посмотрят и вернут?»

Когда же, с какого момента начало все неостановимо и необратимо меняться? Не тогда ли, когда в ответ на все то же — я выполняю свой долг, ты знаешь, Макс, чего требует от меня мой долг, — художник взрывается: «Как же, прекрасно знаю, но и тебе не мешает знать: меня с души воротит, когда вы рассуждаете о долге. Когда вы рассуждаете о долге, приходится и другим кое о чем задуматься... А потому заруби себе на носу: я буду по-прежнему писать картины?»

Да, именно здесь, когда художник выражает *неповиновение* приказу, мы сразу же начинаем улавливать и в облике постового явственно новые *подробности*. Стоит только вспомнить, как он сразу же приосанился, ругбюльский полицейский, как исчезла из его позы былая растерянность и неловкость, как выразилось в ней сразу же начальственное нетерпение и какой неприкрытой угрозой, каким металлом зазвучал вдруг его голос: «Берегись, Макс! Больше мне тебе советовать нечего: берегись!» А уже потом было и все остальное — и слезка, и изъятие картин, и то чувство превосходства, даже торжества, которое прочитал Зигги на лице отца в день ареста художника...

Что же произошло?

Послушаем самого Йенса — он изъясняется на этот счет не однажды и без всяких околичностей. Этот человек, его земляк, ничего, видите ли, не признает — «никаких запретов и распоряжений». «Законы и постановления не про его честь писаны», они — «для других». И еще подчеркивает при этом, что «таковы уж мы из Глюзерупа»!.. Нет, это только ты такой, бросает он художнику. «Ты исключение. Есть и другие — большинство, — они подчиняются общему порядку, а тебе подавай твой личный порядок!.. Ваш брат считает себя выше всех, вам плевать на то, что для других закон. Но не ты первый, не ты последний, многим из вашего брата внушили, что к чему, и ты — дай срок — другое запоешь!»

Ругбюльский полицейский задет за живое — вот в чем дело. И задет за живое именно

потому, что неповиновение художника, как нетрудно угадать, есть для него не просто неподчинение некоему «порядку» вообще, а неподчинение порядку, на котором стоит и который исповедует и *лично он*, Йенс Оле Йепсен. Это вызов и ему лично — вызов его «я», его, если угодно, человеческому достоинству, как он его понимает. Ибо по-солдатски безоговорочное подчинение «общему порядку», «закону», «приказу» — это для него долг не формальный, но тот внутренне принятый Долг, который составляет безусловный принцип его существования, его «смысл жизни». В этом вся суть, именно это и акцентирует со всей настойчивостью Зигфрид Ленц, показывая нам психологический механизм поведения своего героя. Не случайно он предоставляет ему возможность высказаться на этот счет не раз и не два — и тоже вполне определенно. С гордостью за свое кредо. «Меня не интересует, выгадает ли человек от того, что выполнит свой долг, будет ли ему от этого польза или нет...» «Беспокоиться? Кто выполняет свой долг, тому не о чем беспокоиться, даже если когда-нибудь изменится время...»

Как видим, формулировка Йенса может позавидовать любой экзистенциалист — и, кажется, заставляя своего героя прибегать к этой типично экзистенциалистской фразеологии, Зигфрид Ленц делает это тоже не случайно — не без пародийного полемического прицела. «Ты, — говорит постовой своему сыну, — многое слышал, только одного не слышал, что человек должен оставаться верен себе, должен выполнять свой долг, как бы ни изменилась обстановка, я имею в виду осознанный долг». Вот ведь как: «верен себе», «осознанный», не иначе!..

Конечно, нормальному, нравственно здоровому человеку трудно представить, что набор нерассуждающих солдатских добродетелей, восхваляемых ругбюльским полицейским, может действительно стать основой для безусловного принципа жизни человека, для его «экзистенции».

Но кто возьмется утверждать в наш век, что этого не бывает, что рабская психология «безотказного орудия» не может заполнить место такой «безусловности»? Еще как может — недавняя история гитлеровской Германии развеяла немало иллюзий на этот счет.

Вот почему, если говорить даже только об исторически типизирующем значении романа, то и с этой стороны фигура ругбюльского постового заслуживает особого внимания. В своей зловещей монументальности она вырастает поистине до масштаба символа, становится как бы олицетворением той темной, самодовольной силы верноподданнического послушания, которая отличала миллионы таких же обычных, рядовых немецких обывателей, как Йенс Оле Йепсен, и делала их «безотказным орудием» нацистского насилия. Можно не сомневаться, что именно через этот образ прежде всего выразил автор и свое осознание, и свой приговор одной из самых страшных черт мелкобуржуазной психологии, способной служить благодатнейшей почвой для возникновения фашизма.

Вернемся, однако, к «осознанному долгу» ругбюльского постового, к этой психологической и нравственной доминанте его личности. Почему для Зигфрида Ленца так важно выявление именно этой личностной основы его служения «общему порядку»?

Я думаю, мы не ошибемся, если скажем, что в немалой степени это обусловлено, конечно, остротой и актуальностью той нравственно-психологической проблемы современности, которая приобрела особое значение именно в свете недавнего исторического опыта — проблемы ответственности человека за то, что содеяно им во исполнение того или иного долга. Ведь сколько и ныне еще в ФРГ таких, кто выставляет свое служение долгу во времена «третьего рейха» в качестве некой безусловной индульгенции: они, видите ли, были всего лишь солдатами, они только выполняли свой гражданский долг и потому не могут отвечать за то, что приходилось им делать, что им приказывали. Они — только исполнители. Но при этом, однако же, они не прочь поставить себе еще и в *заслугу* то, что были *добросовестными* исполнителями, *честно* несли свои гражданские обязанности!..

Но долг, если для человека это действительно долг, есть, как это и показывает Зигфрид Ленц, *личное* дело человека. Ничто не может заставить его принять что-то в качестве своего долга, если он сам этого не примет. Его можно принудить к выполнению тех или иных

приказов — угрозой наказания, страхом смерти. Но считать это своим долгом — никогда. Долг есть только то, что ты сам признаешь в качестве безусловного принципа своей жизни, только то, что принято актом твоего собственного, личного самоопределения. И именно поэтому долг и не может быть ни при каких условиях и ни при каком содержании инстанцией, способной снять с человека ответственность за *весь, полный* объем свершенного во имя его. Ты не отвечаешь за содержание приказов, ты *всего лишь* принимал их к безусловному исполнению? Но не забывай, что безусловное это исполнение ты *сам* принял на себя, *сам* признал своим долгом, *сам* выдал санкцию производителям приказов решать *за* тебя, *сам* поставил свою подпись на чистом векселе.

Вскрывая личностный характер служения ругбюльского постового своему долгу, показывая его как единственно возможную, психологически неизбежную форму отношения человека к долгу, если он действительно считает свои обязанности долгом, Зигфрид Ленц выступает тем самым против двойной бухгалтерии тех, кто гордится, что был бескорыстен и честен в исполнении своих былых гражданских обязанностей, и в то же время снимает с себя ответственность за то, что приходилось ему делать, исполняя эти обязанности. «Это не я замахваюсь», — говорит ругбюльский полицейский, предъявляя художнику приказ о запрете писать картины. «Нет, ты не замахваешься, зато ты рад стараться», — отвечает художник. Он мог бы выразить это и по-другому: ты рад стараться, — значит, *и ты* замахваешься.

Итак, уже со стороны этой, достаточно злободневной проблемы современности образ ругбюльского полицейского представляет, как видим, немалый интерес. И уже одного этого было бы, конечно, вполне достаточно, чтобы оправдать внимание Зигфрида Ленца к психологии своего безотказного исполнителя приказов.

Однако есть в художественном исследовании Зигфрида Ленца и еще один, не менее важный и общезначимый проблемный аспект.

#### 4

Нетрудно понять, что, выбрав для роли преследователя художника Нансена человека, считающего безусловное выполнение приказов своим личным делом, своим Долгом, Зигфрид Ленц создал ситуацию столкновения двух противоположных, взаимоисключающих отношений к жизни, двух полярных человеческих «правд». Правда художника — с его независимостью, духовной свободой, с его «личным порядком», определения которого он никому не уступит — начисто зачеркивает ругбюльского полицейского с его правдой безоговорочного подчинения чужой воле — воле «законной» власти. Равно как и правда Йенса Оле Йепсена требует устранения правды художника.

Иными словами, перед нами ситуация столкновения двух правд, формально — «на равных».

Но на равных ли — по существу? Вот вопрос, который неизбежно возникает при всякой ошибке такого рода. Вопрос, как нетрудно понять, ключевой.

Именно таким является он и для Ленца в этом романе. В ответе на него заключен главный нравственный смысл романа, его главный человеческий «урок».

Для очень многих и многих поклонников новейшего этического релятивизма, весьма распространенного ныне на Западе, ситуация, подобная той, которую показывает нам Ленц, послужила бы всего лишь иллюстрацией неизбежной, как они считают, множественности человеческих «правд», их принципиальной несоизмеримости друг с другом, их принципиального равноправия.

Зигфрид Ленц — и в этом мудрая зрелость и подлинный гуманизм его позиции — отстаивает нечто прямо противоположное. И не только эмоционально, различием своего отношения к ругбюльскому постовому, с одной стороны, и к художнику — с другой. Достоинство позиции Зигфрида Ленца в этом романе в том, что он *художественно доказывает безусловную общезначимость гуманистических критериев* жизненной



ориентации человека в мире. В том числе — и на примере самого Йенса Оле Йепсена, находящегося как будто вне всякой власти этих критериев. Здесь-то и обнаруживает свой принципиальный, свой, так сказать, методологический художественный смысл та тема «радостей исполненного долга», исследование которой Зигги сделал — как будто по воле случая, но, как выясняется, весьма проницательно, — ключевым принципом своего мемуарного урока.

Действительно, если все человеческие «правды» равноправны, если они могут дать человеку ощущение полноты и «нормальности» своего существования, то, очевидно, и служение ругбюльскому постовому своему долгу должно обладать той же человеческой наполненностью. Но как же быть тогда с «радостями», которые сопутствуют исполненному долгу? Где они?

Злобное превосходство и болезненное удовлетворение на лице ругбюльского полицейского в ту минуту, когда он арестовывает-таки художника? Или, может быть, те чувства, которые раздирают Йенса Оле Йепсена, когда он оказывается перед необходимостью либо изменить Долгу, либо выдать Клааса властям? Читатель помнит эти сцены, они написаны с подлинным драматизмом и психологической точностью — даже этот неистовый ревнитель долга явно не выдерживает, готов вот-вот дрогнуть, и только тупая жестокость жены, еще более упрямой в своем фанатизме, заставляет его в конце концов остаться верным своему фантому...

Речь идет, конечно, не о радостях в буквальном смысле, в их непосредственно эмоциональном выражении. Радости здесь — как это и вообще часто у Ленца — символический, а отчасти и иронический псевдоним более широкого и общего круга состояний, связанных с нравственным самоощущением человека — прежде всего с неразрушенной цельностью и полнотой его нравственного здоровья.

Но о чем же и в этом смысле можно говорить, если прямым и необратимым следствием добросовестного исполнения долга, оказывается как раз все большее и большее *разрушение* личности ругбюльского полицейского, разрыв всех человеческих связей с окружающим миром, даже с собственными детьми, погружение в пучину злобной ненависти, взвинченно-исступленного, из одного уже только упрямого желания доказать свою правоту, служения идолу долга? О чем говорить, если даже пресловутая эта верность долгу не может уже существовать в нем иначе, как став его «пунктиком», его «болезнью, если не чем похуже», как говорит Зигги? Если ему остается только совсем уже превратиться в «психа», чтобы «в бредовом состоянии выполнять свой треклятый долг»?..

Долг ругбюльского полицейского сшит слишком явно не по мерке человека, слишком через многое требует переступить — вот итог, к которому неопровержимо подводит нас своим исследованием Зигфрид Ленц. Поэтому-то в той катастрофической для человека ситуации в какой оказывается ругбюльский постовой, — в ситуации, когда исполнение долга требует отказа от человечности, когда, иными словами, *гражданская моральность* перестает быть *нравственной*, — в этой ситуации добросовестный исполнитель долга неизбежно становится и его жертвой. Палачом самого себя.

Как бы обобщая все эти мотивы романа, художник говорит однажды своему земляку и бывшему приятелю: «Раз ты считаешь, что каждый должен выполнять свой долг, то я скажу тебе на это нечто противоположное, а именно, что каждый обязан делать что-то несовместимое с его долгом».

Какая парадоксальная формула: долг человека в том, чтобы делать нечто несовместимое с долгом!

Но ведь она и имеет в виду не менее парадоксальную ситуацию, когда моральный долг человека по отношению к «закону» приходит в противоречие с его нравственным долгом, когда единая по своей сути сфера этического сознания человека оказывается расщепленной на антагонистические, раздирающие ее полюсы. И в этом контексте формула художника означает только одно — необходимость и неизбежность выбора, который должен сделать человек между этими двумя расколовшимися ипостасями Долга. Выбора, единственно

верными критериями которого могут служить только гуманистические критерии социально-справедливой нравственности.

Еще одним подтверждением существования и безусловности этих гуманистических критериев и служит история ругбюльского постового. История человека, переступившего в своем служении нацистскому долгу через самого себя, предавшего высший и исходный долг всякого человека — быть и оставаться в любых ситуациях прежде всего Человеком, история личности, расплатившейся за эту измену потерей самой себя. Исчезновением высшей радости, доступной человеку, — чувствовать себя человеком среди людей, быть нужным им и нуждаться в них.

С утверждением этих же гуманистических принципов связаны и образы двух самых обаятельных героев Зигфрида Ленца. Образ художника Макса Людвиг Нансена, о контрастной противоположности которого образу Йенса Оле Йепсена мы уже говорили. И конечно же, образ самого Зигги Йепсена — юного Зигги, которого Зигфрид Ленц не так уж, видимо, случайно сделал своим тезкой.

## 5

Образ Зигги — поразительное создание немецкого художника. Поразительное по душевной подлинности и свежести, по глубокому и тонкому лиризму, по какой-то пронзительной, щемящей ноте горестной, тоскующей и вместе стойкой человечности.

Наблюдательный читатель, возможно, отметит его родство с некоторыми героями Г. Бёлля и прежде всего, конечно, с юным героем повести Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Но если и можно говорить здесь о некоторых следах непосредственного литературного влияния, а не просто о едином русле художнических поисков, все равно Зигги занимает в этом ряду свое, особое, отнюдь не эпигонское место. По человеческой, да и по художественной наполненности это образ, обладающий собственной значительностью, вполне самобытный. Как и вообще по-настоящему значителен и самобытен весь этот превосходный роман в целом — роман, которым Зигфрид Ленц доказал не только то, что он стал мастером подлинно высокого класса, свободно владеющим самой сложной литературной техникой. И даже не только то, что ему дан действительно крупный художнический дар. Он доказал, что обладает и духовными возможностями большого писателя. Его Зигги — это действительно целый мир, и то, что большой, долгий роман Зигфрида Ленца читается от начала до конца с таким неспадающим напряжением, во многом обеспечено, конечно, доверием, которое сразу же возникает к юному автору «штрафного сочинения», а также тем интересом к его внутреннему миру, той потребностью войти в этот мир, которые становятся все более глубокими и настойчивыми по мере чтения романа.

Перед нами раскрывается мир души, разительно, редкостно одаренной, — вот первое, хотя, может быть, и не самое главное, что должно здесь сказать, потому что именно с этого ощущения и, если можно так выразиться, с ощущения подлинности этого ощущения начинается наша вера в Зигги как в живое лицо и наше человеческое доверие к нему. Будь иначе, он просто превратился бы для нас в условную фигуру, которая только делает вид, что водит пером, тогда как пишет за нее автор.

Причем самое удивительное здесь, пожалуй, в том, что автор сумел заставить нас поверить в безусловную принадлежность Зигги даже самой этой интонации, самого этого слога — слога, в котором вовсе не чувствуешь никакого специального изобразительного «подстраивания» под какой-либо специфический языковой колорит, под юношеский жаргон, сленг и т. п. Напротив, с самого начала этот слог открыто и безбоязненно заявляет о своей отданности законам подлинно художественной, литературной речи — со всем богатством ее выразительных возможностей, со всей искусностью, а порой даже изысканностью ее пластики и ее ритма, со всей изощренностью ее интонационной нюансировки!.. И тем не менее мы действительно не чувствуем в этом никакой условности, хотя и понимаем ее, и мастерский этот роман действительно воспринимается как бы написанным рукой Зигги—»

более того, с ощущением, что иначе Зигги и не мог написать.

Естественность этого ощущения поддерживается, конечно, тем, что одаренность Зигги, эту специфическую константу его личности, мы распознаем буквально во всем — не только в стиле, но и в том, как он видит мир, как чувствует и понимает живопись, в его детских играх и фантазиях и в его острой наблюдательности, в интенсивности его внутренней жизни и в его молчаливой скрытности.

Но прежде всего, конечно, в его нравственной талантливости. Это — главное в Зигги, и именно здесь прежде всего и происходит сопряжение его образа с ведущей темой романа — темой нравственных критериев человека, темой гуманизма.

Перед нами мир души, до болезненности чуткой к тончайшим граням добра и зла, безошибочно точной в своих реакциях на еле слышную фальшь и самый робкий, едва различимый проблеск правды и человечности. И тут же, рядом, в неразложимом единстве с этой остротой непосредственного нравственного чувства, с этой первозданной, поистине детской его свежестью и чистотой — такая усталость, столько горечи, сарказма, иронии, столько едкой злости в описаниях и характеристиках представителей рода людского, такая способность смотреть на них извне, с иронически отстраненной, скептической улыбкой понимания их истинной цены... Все это в пору, казалось бы, разве лишь много пожившему, отчаянно уставшему от этой жизни человеку.

Бедная, незащитная душа, смертельно раненная злом, ненавистью и бесчеловечностью окружающего ее мира? Но нет, не такая уж бедная, не так уж он незащищен, этот маленький упрямец, которого не свернешь с пути никакими силами.

Да, положению его не позавидуешь — ни в прошлом, ни теперь, в этом образцово-показательном заведении для трудновоспитуемых несовершеннолетних, где царят такие «мягкие», такие «гуманные», такие современные методы социальной дрессировки подопытных человеческих особей. Да, мир этот успел довести его уже и до болезни, до той самой «фобии Йепсена», которую в других вариантах, под другими именами и символами приходится изучать в наш век не одному только Вольфгангу Макенроту и на примерах не менее печальных и знаменательных, чем случай Зигги.

И все же есть в нем — и до болезни, и даже в самой его болезни — тот неподатливый, упругий духовный стержень, что дает ему устойчивость и силу перед лицом любого насилия — даже тогда, когда усталость и отчаяние лишают его, казалось бы, уже всяких сил. Он еще только ищет свой путь, но он хорошо знает, в каком направлении его искать. Он знал это даже мальчишкой, даже тогда, когда в глүзерупской гимназии было задано сочинение «На кого я хочу походить», и маленький Зигги, дабы избежать себя от оценок близких людей, придумал «из кусочков» собственный символический идеал, некоего Хейнца Мартенса. Того самого Мартенса, что в резиновых сапогах и с сигнальной ракетницей в руке отправился на пустынный остров Кааге, ставший излюбленным местом учебных бомбометаний для английских летчиков, — отправился, чтобы защитить гнездящихся там птиц, подавая летчикам сигнал за сигналом: внимание, остров обитаем, здесь — живая жизнь!..

Конечно, скажем мы, этого слишком мало для сколько-нибудь серьезной социальной или политической программы действий. Это верно.

Но, во-первых, стоит ли обязательно требовать такую программу от Зигги, у которого еще вся жизнь впереди?

А во-вторых, хотя этого и мало, но так ли уж вместе с тем и мало? Так ли мало, если и вообще о позитивной программе речь может идти только тогда, когда имеется в виду защита жизни, а не смерти, добра, а не жестокости, правды, а не лжи?

Во всяком случае, для Зигги Йепсена этих исходных ориентиров жизненного выбора оказалось достаточно, чтобы он сумел понять то, что понял по выполнении своего штрафного урока, в те дни, когда готовился покинуть навсегда свой тюремный остров. Он понял, что, куда бы он ни поехал, где бы ни оказался, он никуда не уйдет от своего Ругбюля, от его вопросов, от ответственности за него. «Окруженный знакомыми лицами, осаждаемый воспоминаниями, перенасыщенный событиями в моем родном краю, я знаю, что мне

делать... Потерплю крушение на Ругбюле? Пожалуй, это можно и так назвать».

Что ж, другая, более уверенная, менее ироничная формула отдавала бы, пожалуй, в устах тогдашнего Зигги слишком большим самомнением, вовсе ему не свойственным. Что мог он знать тогда о своих тетрадах, о том, чего они стоят? Он мог ведь отдать их и директору Гимпелю, и подарить сестре, и бросить в костер или продать на вес, как старую бумагу. «Возможности? Есть еще возможности. Только удастся ли их осуществить?»

Но теперь, когда сочинение его перед нами, когда возможности эти осуществились, ситуация уже другая, и мы можем засвидетельствовать: нет, крушения не произошло. Вот он, Ругбюль, со всеми его обитателями — он стоит перед нашими глазами, мы только что побывали в нем, и он задал нам столько вопросов, что навсегда останется в нас. А это ведь не такая уж малость, не правда ли?

Если же кто считает иначе, пусть попробует каким угодно количеством слов и понятий передать то, что он увидел, побывав в Ругбюле, или хотя бы перечислить все вопросы, которые Ругбюль нам задал. Мы благоразумно ограничились хотя бы некоторыми. А учитывая, что любая, даже самая глубокая формула всегда бедна, однолинейна, всегда приближительна в передаче той живой полноты и сложности, что доступна образам искусства, мы вполне будем удовлетворены, если наши частичные формулы, в которых мы попытались передать некоторые впечатления от знакомства с Зигги Йепсеном и его Ругбюлем, будут хотя бы *тоже верны*.

Слово — это то же дело, и в том, что Зигги понял это и встал на этот путь, — залог его и нашей победы над Ругбюлем. Это достойное и деятельное завершение его духовного поиска, его урока, извлеченного из Ругбюля. Потому-то мы и прощаемся с ним в надежде, что горевать о его незащитности и брошенности в этом мире больше не придется. Напротив — прощаемся с уважением и благодарностью к нему и к его автору за искренность и доверие, за все то понятое и пережитое ими, что стало теперь и нашим опытом.

*И. Виноградов*

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)